

Василий АКСЕНОВ

СКАЖИ ИЗЮМ







Василий АКСЕНОВ

СКАЖИ ИЗЮМ



Издательство «Изографус»

ЭКСМО

Москва, 2003

ББК 84Р7
А41

Художники Александр Анно, Сергей Успенский

Аксенов В.

А41 Скажи изюм. – М.: Изографус,
«ЭКМО», 2003. – 448 с.

ISBN 5-94661-073-2

Один из самых известных романов Василия Аксенова — озорная, с блеском написанная хроника вымышленного фотоальбома «Скажи изюм». Несколько известных советских фотографов задумали немыслимое для советской действительности — собрать свои работы в одном альбоме и издать его в обход цензуры. Бдительные стражи партийной идеологии и «органы» (в романе — «железы») начинают преследовать «идеологических диверсантов». За увлекательно придуманной историей неподцензурного фотоальбома «Скажи изюм» угадывается вполне реальная история знаменитого литературного альманаха «Метрополь», авторы которого замахнулись на один из краеугольных камней режима — цензуру и поплались за это, а за мастерами объектива, за героями книги — метропольцы, известные писатели и поэты, в том числе и сам автор романа.

ББК 84Р7

© В.Аксенов, 2003

© А.Анно, С.Успенский, оформление, 2003

ISBN 5-94661-073-2

© Издательство «Изографус», 2003

ЭПИГРАФ

I

«После кино из всех искусств для нас главным является фотография!» (В. Ленин или И. Сталин)

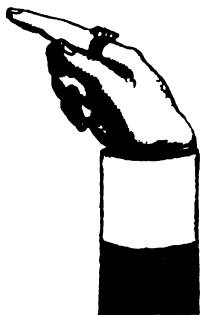
Когда и кем из двух возможных авторов изречена цитата, доподлинно не известно.

В наши дни знаменитый советский фотограф «новой волны» Максим Петрович Огородников, подвыпив в одном парижском частном клубе, внес и свою лепту в науку фотоговещения. Вот то, что удалось собрать из его идей: фотография — это связь видимой реальности с астралом. Тайна эмульсии непостижима. Суть фотопроцесса скрыта в перемещении космических и астральных сил. Нам надо лишь по-детски радоваться этой, одной из малых тайн, приоткрытых нам Высшей Милостью, благоговейно предполагать за этой малой сонм великих, а мы объясняем фотографию какой-то механической дурью.

Давайте, господа, говорить об этом, как дети. Я люблю, господа, все, что связано с фотографией, — камеру, сумку, наплечный ремень. Обвешанный аппаратурой, я кажусь себе странствующим рыцарем.

*Люблю, внезапно отрезвев,
увидеть Аттику, Элладу,
где, словно туча, дымный Зевс
обозревает эспланаду.*

*Люблю предмета смысл и звук
в его осмысленном звучанье,
пусть непригляден, как паук,
пусть непристойен, как овчария.*



*Люблю всемирный кавардак
обозревать, прикрывшись тогой,
и в той же тоге, патоцак,
в России, красной и убогой,*

*вести застольный разговор
с партийным шишкой, местным вором,
и в щи бросать табачный сор,
и вора покрывать позором.*

*Люблю в Москве поднять самум,
друзьям устроить перекличку...
Say cheese, my friends! Скажи изюм!
Внимание, вылетает птичка!*

*Я грешен, братцы, признаюсь
И опускаюсь на колени:
бывают дни — я, пьяный гусь,
девиц без устали и лени*

*ищу, но сквозь похмельный квас
вдруг вижу все по старой моде —
две пары лыж, жену, Кавказ
и месяц ранний на восходе.*

*Мучительна ничтожество фальшь,
но видит все незримый зритель,
когда печистый палец ваш
тайком тревожит проявитель.*

*Я выхожу. Мой Хассельблад
плечо мне тянет. Ночь в округе.
Направо ль Рай? Налево ль Ад?
Куда летим в московской выюге?*

*Но щелкает мой автомат...
Лицо космической подруги
освещено. Сто тысяч ватт.
Из темноты летят пичуги.*

*Широкофокусный охват.
Вальсок, тангошка, буги-вуги...
И стар, и млад, и леопард
на нашей крохотной фелюге,
плывущей в некий фотосад...*

Вот почему, собственно говоря, милостивые государыни и милостивые государи, я так интенсивно всю жизнь увлекался фотографией.

Однако как все началось в плане развития не пьяных откровений, а социалистического фотореализма? Как возникла могучая отрасль искусства, перед которой нынче даже советская литература, такой незаменимый подручный партии, бледнеет?

II

Существует в своде народной мудрости наших дней еще одно изречение, относящееся к фотографии. ЖЕЛУДКИ У ЛЮДЕЙ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ — так гласит это изречение, которое приписывают то ли Ленину опять же, то ли Сталину, то ли всему советскому народу. Эта мудрость почему-то не выносится на плакаты и транспаранты, однако в Союзе советских фотографов она известна всем. Особый идейный смысл фразы предусматривает широкие теоретические толкования, однако и практического употребления цитатка не избежала, в частности, для борьбы с пьянством в ресторане «Росфото».

Арифметически средний член СФ СССР за один присест в этом знаменитом ресторане употребляет не менее полукилограмма водочного изделия. Остерегись, Коля, говорит ему метрдотель Андрианыч. Желудки ведь у людей бывают разные. Знаю, рывкает в ответ арифметически средний. Наливай!

Ресторан этот, как ни странно, и до большевистской революции назывался точно так же, ибо в этом здании помещалась мелкобуржуазная организация фотографов, пытавшаяся насадить в российской фотографии нравы махрового объективизма. Не переименовали ресторан по чистому недоразумению. Большевики любую аббревиатуру полагали собствен-

ным изобретением, ну а народ российский все старое очень быстро позабыл, все вокруг связал со своей единственно возможной властью. Кому, например, в голову придет полюбопытствовать происхождение славных буденновских войлочных шлемов с шишаками, их длиннейших шинелей с бренденбурами, петлицами и геометрическими фигурками знаков отличия? Подразумевается как бы, что сам Семен Михайлович на пару с Климентом Ефремовичем разработали этот изысканный дизайн, от которого за версту несет «Миром искусства» и ранним модерном со скифскими инспирациями. Полностью забыто, что разработано это было художником Васнецовым в 1916 году, что новая форма была заготовлена еще при старом режиме и большевикам только и оставалось, что вскрыть московский Арсенал, нашить под шишаки свои звезды и мчаться в атаку на Варшаву.

Даже и в наши дни современный совчеловек окружен знаками старой России, о которых и не догадывается. Особенно много этих знаков в так называемом «ширпотребе». По сути дела, большинство предметов для мелкой частной жизни остались нам от «помещиков и купцов». Ну вот, пол-литровая бутылка, например, или коробок спичек, к слову сказать, конфеты «Мишка на Севере», мыло «Кармен», банка шпротов, одеколон «Шипр» — все дизайны разработаны *до*, а то, что *после* появилось, вроде электробритвы, то просто-напросто просочилось с Запада. Совдеп за все свои годы не изобрел ничего для мелкой пользы граждан, только лишь кое-что для исторических целей — стреляющие устройства, вроде «катюш».

Такие мелочи приходят в голову, когда сидишь в историческом краснодревесном зале ресторана «Росфото». Пятьдесят лет уже здесь помещается «боевой штаб советского фотоискусства», вот именно полтинник как раз и прохилил с той поры, когда знаменитый русский фотограф Аркадий Грустный весь в слезах и соплях вернулся из эмиграции и сдал в ГПУ свой «кодак». Примите, примите мое раскаяние, строители нового мира! Да, я снимал Государя и Сашу Керенского, да, я сфотографировал крейсер «Аврора» в самый неподходящий для того момент... Каюсь... Смотрите, Аркадий Грустный на коленях! Товарищи, распространим принципы социалистического реализма на отечественную фотографию!

В ГПУ, по слухам, скривились: тоже, мол, нашелся новый Максим Горький! Остудили несколько пыл неопита. Выним не Горький, товарищ Грустный, фотографии — не чета писателям. Писателей покрываем соцреализмом, чтобы не умничали, а с вами, фотарями, разговор будет попроще. Без всякого соцреализма будете отражать нашу новь, фиксировать наше счастье молодое, куда пошлем, туда и поедете!

И вот, по слухам, взбунтовался недобиток. Не согласен, заявил Аркадий Грустный. При всей моей любви к внутренним «железам» пролетарской диктатуры не согласен, товарищи! Не может партия обойти своим вниманием фотографию!

Вся эта история, повторяем, передается по слухам, по шепоткам, по разговорчикам и намекам. Архивы ЧКГПУ-НКВДМГБКГБ закрыты навеки не только для скромных сочинителей, но и для мудрых историков, но и для всей человеческой цивилизации, но и для всех, конечно, внеземных цивилизаций. Что ж, за неимением доступа к священным архивам пролетариата будем жадно пользоваться молвой.

Бывший белогвардеец, а впоследствии почетный комсомолец Донбасса развил бешеную энергию, замелькал по Москве и вдруг выскочил возле Никитских ворот с лозунгом в зубах: «После кино из всех искусств для нас важнейшим является фотография. Ульянов (Ленин), Сталин (Джугашвили)». Здесь, в особняке, украденном у господина Рябушинского, проживал вождь пролетарского искусства.

Якобы вбежав на правах еще эмигрантской дружбы, якобы влетев с трепещущим лозунгом в одной руке и с фотоаппаратом в другой, Аркадий Грустный быстро раздвинул треногу, поставил свое орудие производства на автоматический спуск, быстро присел на валик кресла, щека к щеке с классиком, и жарко зашептал, волнуя легендарный моржовый ус: «Же вудрэ вотр пасьон, Алексис! Умоляю, скажи изюм! Сейчас вылетит птичка!»

Пробил твердыню непонимания! Через неделю в боевом органе — газете «Честное слово» появился снимок двух гигантов Советской России, сидящих в кресле господина Рябушинского под основополагающим лозунгом корифеев человечества. Здесь же печаталось постановление ЦК ВКП и маленькое «б» о роспуске фотогруппы «Фокус», где под внешне

безобидным покровом свил себе гнездо буржуазный объективизм. Учреждался Союз советских фотографов, верных идеям социалистического реализма.

Большие дела стали разворачиваться в здании Росфото на Миусской площади: съезды, конференции, смычки, подписания шефских договоров, недели дружбы, декады сотрудничества, пленумы по идеологическим вопросам. Бюджет союза с каждым годом повышался, вместе с ним рос и авторитет основателя, который теперь подписывался на новый манер — Ким Веселый и в скобках б. Аркадий Грустный. Снимки его тех лет потеряли отчетливость, как будто камере передавалась какая-то странная нетвердость руки. Впрочем, критики объясняли эту нечеткость революционным волнением, этим необходимым компонентом соцреализма, а вовсе не злоупотреблением горячительных напитков.

Критика критикой, а к Киму Веселому уже торопился сподвижник, надежный дворянских кровей большевик Блужжаежжин, вез из Кремля царский подарок, дюжину вина «Киндзмареули». Согласно слухам, вино было доставлено на Миусы одновременно со знаменитой коробкой шоколада в адрес особняка, сворованного у господина Рябушинского. Согласно опять же слухам (архив, по обыкновению, нем), Блужжаежжин сам благоговейно откупорил бутылку удивительного вина, похожего на историческую «мальвазию» горбатого британца, сам передал бокал учителю, сам и дал понять, что отказ от немедленного употребления будет дарителем истолкован не в пользу получателя. Для пущей убедительности Блужжаежжин и себе бухнул стакан. После распития получатель отправился в виде праха на вечный покой в крепостную стену, а посыльный стал генеральным секретарем Союза советских фотографов. Даритель же, узнав о случившемся, как раз и произнес идеологическую фразу, на долгие годы определившую развитие советского фотоискусства: ЖЕЛУДКИ У ЛЮДЕЙ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ!

III

Нет нужды сейчас последовательно рассказывать славную историю советского фотоискусства, она неотделима от героичес-

ких свершений всего нашего народа, Партии и Государства; конечно, по ходу повествования придется нам иной раз делать нырки в историю, то в 1956-й, то в 1968-й, не раз придется нам упоминать и 1937-й и даже не всегда по общеизвестным причинам, а просто потому, что это год рождения нескольких наших героев, в том числе и упомянутого уже Максима Огородникова; однако не так уж важны для нас эти нырки, главная задача была в соответствии с указаниями Партии — освещение и фотографирование героики наших дней.

Скажем все-таки, что заветы классика Кима Веселого, огромный портрет которого в сидячей позиции с откинутой фалдой доброго бельгийского сукна, с закинутой ногой, обутой в англо-башмак, с перекинутым через плечо франко-шарфом и с человечно поблескивающими стеклами восточно-швейцарских очков украшает обширный вестибюль цитадели на Миусах, который... где... по поводу чего... фраза безобразно затянулась, и с одной лишь целью — сказать, что заветы Аркадия Грустного не забыты. Партия даровала фотографии свое неусыпное внимание. Больше того, из состава своего «вооруженного отряда» выделила она к концу тридцатых годов особую группу авторитетных сотрудников, и группа сия, законспирированная самым надежным образом, в конце концов выросла в могущественное, хотя как бы и не существующее Государственное фотографическое управление идеологического контроля, замаскированного филиала четырехбуквенного номинала, известного среди благодарного народа под кличкой «внутренние железы». Учреждение это вывески не имело, хотя и обладало огромным штатом сотрудников и автопарком, которому бы позавидовало любое министерство, если бы располагало секретными данными о количестве машин ГФУ.

Если уж появляется в природе тайная полиция, жди — неизбежно возникнет и оппозиция. Жизнь показала непреложность этого закона. Так случилось и с советской фотографией. Не прошло и сорока лет деятельности ГФУ, а впоследствии ГФИ, или, как московские вольнодумцы окрестили ее, «фишки», как зародилось в творческой среде неуместное брожение умов, ненаправляемое перемещение тел, стали проникать в прежде здоровую среду тлетворные западные катализаторы,

потом даже и свой отечественный мистицизм робко запузырился — все-таки недодавили! — и вот вдруг, уже в наши дни, вызывают на ковер заслуженного генерала Планщина Валерьяна Кузьмича и говорят ему в строгой, но товарищеской манере:

— Вот вы, Валерьян Кузьмич, все с фотографиями Польской Народной Республики возитесь, гребена плать, а у вас под носом, в образцовом коммунистическом городе, тайная секция появилась «Новый фокус» с идеями махрового объективизма и ненаучного идеализма, мальчишки альбомчик свой хитренький мастырят под названием «Скажи изюм!». Немедленно собирайте, Валерьян Кузьмич, оперативную группу, даже скорее сектор. Вот ваш бюджет — три миллиона. Для начала хватит?



ЖИЛТОВАРИЩЕСТВО

I

И задумался генерал Валерьян Кузьмич Пиланшин... Нет, не годится начинать нашу историю такого рода фразой: на кой нам черт вообще все эти генералы, все эти полицейские дела, неужто нельзя без них обойтись, начиная очередную российскую повесть, неужто нельзя, по крайней мере, до предела ужать «бойцов невидимого фронта»?..



Осень, микрорайон, крутится в сумерках некая некрасовская нота вроде «только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она». Нет, нет, народ еще жив, а значит, жива вместе с ним наша заунывная лирика. А вот и «несжатая полоска», или, если угодно, «стареющая новостройка». Гордо задуманный когда-то пятый корпус кооператива «Советский кадр», так и не превратившийся за шесть лет в жилое помещение. Бывают такие незадачливые новостройки в Москве: годы проходят, а стены до запланированной высоты не поднимаются, или крыши не наводятся, или стекла не вставляются, грязи нет конца. Иной раз вдруг начинается ворочаться забытый и проржавевший кран, появляются на вершине две-три ленивые фигуры, хулиганским разворотом закатит на площадку демон грязи — самосвал, свалит кирпича новую горку, сорок восемь процентов брака, и снова на многие месяцы все замирает и новостройка хиреет, стареет, грустные думы, конечно, наводит она.

Мимо, над грязью, по настланным вроде бы уже навеки доскам и шутикам бетона

тянутся тысячи от станции метро «Аэродинамическая» до Космического проспекта, вдоль которого выстроились более удачливые сестры нашей печальной новостройки, превратившиеся в жилища и давшие неплохой приют вот этим продвигающимся в сумерках тысячам. Обезображенный шесть лет назад переулочек живет своей хлопотливой обезображенной жизнью. Федюня, шофер-блатяга из магазина «Диета», разгружает свои блатные заказы. Задом к подъезду «Роспотребкооп» подает председательская «Волга». Частники перетаскивают с «Жигулей» на «Жигули» свинцовые аккумуляторы: зрелище довольно смешное, вес предмета не соответствует его объему, не соответствует ему и напряженный изгиб спины. Из заднего двора с тылов овощного магазина быстро вырастает очередь — подвезли бананы.

Никто вроде и не заметил, как вышел из подъезда номер 3 четвертого корпуса кооператива «Советский кадр» молодой рыжий. Только у забора новостройки в рафике «скорой помощи» что-то внутри мелькнуло.

Молодой рыжий с окладистой бородою был не кто иной, как тридцатилетний член Союза советских фотографов Алексей Охотников. Давайте сразу договоримся не путать его с сорокатрехлетним членом того же союза Максимом Огородниковым. Предки первого, очевидно, охотились, снабжали свое племя дичью, предки же второго, по всей вероятности, принесли в славянские шатры первую репу. Произнося имя Охотникова, не скупитесь на «о», в этом случае и Алеша превращается в Олешу, Олексея, потому что явился парень в столицу из поморов, архангельский такой перед нами крепыш. Что касается исконного московского продукта Максима Петровича, то тут жмите на «а», не ошибетесь, произнося Агародников с торопливым заглатыванием окончания.

Итак, Охотников вышел на крыльцо номер 3 и забросил за спину длинный конец шарфа. Четвертый корпус кооператива был, собственно говоря, местом его незаконного проживания. Больше года уже он обитал в маленькой двухкомнатной квартире фотографа Пивоварова (происхождение фамилии, очевидно, не нуждается в объяснениях), который уехал на месяц в гости к своей жене Ингрид, западногерманской подданной, и до сих пор почему-то не вернулся.

Длинная кожанка, шарф через плечо, огненная борода, поморский сын был издали похож на не очень-то советского субъекта. А ведь когда впервые появился в «Росфото», черносотенцы, разные там Фряскины, Чебрекины, Шелептины, пришли в восторг — наш, наш! Нашего полку прибыло, придется жидам потесниться перед глубинным русским гением. Невдомек было мужепесам, что Олеха Охотников причислял себя к европейскому отряду русской нации, который еще до постройки Петербурга вывозил дровишки на Запад. Не знало злое мужичье, что юность Олехина прошла в тени статуи в ботфортах и треуголке, в некотором даже общении с международной матросней, откуда и добыт был, между прочим, за пару бутылок водки уже названный выше кожаный реглан.

Впрочем, скоро стали замечать так называемые «русситы», что сидит их любимый богатырь в ресторане «не с теми», говорит «что-то такое не то», а главное, снимочки тискают в журнальчиках «не те», не дышит в них душа народная, а по нетрезвому делу даже еще и разглагольствует Охотников о Туринской плащанице как о матери всемирной космической фотографии, то есть в полном разрезе с корневым материализмом. Вдруг оказалось, что «не наш, не наш» молодчик, то ли обманутый Сионом, то ли и сам не чистой воды, с подозрительной библейской курчавостью.

Ослы, говорил Охотников, крутя свои архангельские круги, как бы звеня ими по северодвинскому льду, ослы, вот ослы-то остолопские. Они думали, что я — пень таежный, а меня еще в 16 лет в гэфэушку тягали за наш журнальчик школьный под названием «Ракурс Праги». Они думают, что я на их классика Фолохова молюсь да на Фаньдюка, а ведь мы в Архангельске на Алексе Спендере росли, на Жильберте Фамю, на нашем собственном, можно сказать, авангарде — Древесный, Герман, Огородников... Разве этим ослам понять, что такое наш северный город, куда еще в XV веке европейские послы плыли? Помню, я мальчиком еще был, а мне тетя пальцем показала на двух мужиков в мичманках — это, Леша, идут Юрий Казаков и Виктор Конецкий, два замечательных русских писателя. Я их тогда тайно сфотографировал из-за коленки Петра Первого. Горжусь этой работой до сих пор, человеки! Город наш — го-

род Архангелов, сродни калифорнийскому городу Ангелов, только старее и загадочней...

Итак, этот увалень Охотников вышел на крыльцо и увидел у забора новостройки «скорую помощь». Вот сейчас самое время бодро слинять, подумал он. Вот за крыльцом редакции журнала «Советская выдержка» приткнулся мой «Запорожец». Я иду к нему и, если он заводится, задом выезжаю на проезжую часть. Там шпарят один за другим самосвалы. Все заливается грязью. «Они» вырывают за мной. В это время встречный самосвал левой задней в лужу — жуяк! — ветровое стекло у тихарей в желтой грязи, и — напареули по гудям! Пока они включают дворники, я виляю налево и растворяюсь в сумерках. Тем временем в квартиру приходит Пробкин и принимает датчан, а я успеваю еще заехать за пленкой к Цукеру. Сделаны два полезных дела.

Так рассчитывал Охотников, стоя на пороге кооперативного дома, где в незаконно занятой пивоваровской квартире вот уже два месяца как подготавливалась «бомба» — издание неподцензурного фотоальбома «Скажи изюм!». Чуть ли не каждый вечер собиралась здесь гоп-компания фотографов, дерзостно решившихся прорваться на волю из идеологической зоны. В шутку себя называли «Новым фокусом». У шутки был нехороший душок, ибо старым-то «Фокусом», напомним, называлась мелкобуржуазная, разогнанная Кимом Веселым организация бескрылых объективистов. Шутка усугублялась еще и тем, что себя самих бунтари называли «новофокусниками».

Все шло как бы не совсем серьезно на фоне богомного развала; то вдруг пять-шесть человек, включая женский пол, пьют и поют, а то вдруг чуть ли не полсотни набивается, и тогда от взрывов хохота содрогается ненадежный лифт в лестничной клетке.

Недавно на заседании правления кооператива отставной активист Мешьячин потребовал немедленного выселения подозрительного Охотникова. Зловеще понятным тоном он высказался в том духе, что нельзя смотреть сквозь пальцы на тот факт, что квартира в жилтовариществе советских фотографов превратилась в пристанище для сборищ с определенной подкладкой, с сомнительным душком. Пристанище для сбо-

рини звучит в самом деле неплохо, и члены правления, понимая, что у Мешьячина полномочия, начали уже разогревать для гражданского гнева, но тут председатель правления Милославин в обычной своей мрачной манере, глаза в пол, предложил этот вопрос снять с повестки дня, ибо он не в нашей компетенции. Членам правления из мешьячинской группировки пришлось утереться, почувствовали сразу битые шкуры, чем кончится формулировочка.

Среди членов, конечно, присутствовал один скрытый либерал, в том смысле, что, сидя среди членов, он как бы и не считался либералом. Однако, прогуливаясь в сумерках с либералами явными, скрытый либерал со смешком отмахивался от своего членства, шепотом, округляя глаз, говорил «скоты», выбалтывал тайны собраний.

Особенно любил «скрытый либерал» прогуливаться в сумерках с одним из заводил «новофокусников» Максимом Петровичем Огородниковым. Их, между прочим, многое связывало. Когда-то, в затуманившихся уже с нынешней позиции Шестидесятых, вместе ведь штурмовали твердыни обскурантизма, в общем-то водки немало выпили по рижским и ялтинским кабакам, а это только верхоглядам покажется ерундой, для настоящих же мужчин каждая бутылка, распитая вместе, — непреходящая ценность.

Итак... — боюсь, нередко нам придется употреблять это почти одиссеевское словечко, ибо любое отступление в прозе — нечто вроде зигзага на пути в Итаку, — итак, молодой рыжий, топчась на крыльце, обдумывал план бегства от «скорой помощи», которая третий уже день подряд занимала одну и ту же позицию за забором новостройки напротив его подъезда.

...«Максиму же позвоню с улицы, — думал он, — и скажу, чтобы не приходил. Вот так мы и вставим шершавого по закону подполья»...

Подпольщик из этого молодца вряд ли бы получился толковый. Последующие несколько минут показали, что он все напутал, не рассчитал времени, то ли опоздал, то ли преждевременно выскочил из дому. Во всяком случае, он весьма удивился, увидев приближающуюся фигуру друга Пробкина. Филогенез фамилии этой совершенно не прослеживается, а внешность приближающегося уж никак не соответствовала здо-

ровому корню «проб». Признаюсь, есть в этом имени некоторый элемент авторского лукавства, явное увиливание от прямого ассоциативного пути, по которому следовало бы этого нового, появившегося в промозглых сумерках персонажа называть Развратниковым или Альковниковым. И впрямь, внешность его как бы иллюстрировала ходячий грех Москвы: красные вечно полуоткрытые губы, застойный взгляд сконцентрированных на ведущей идее современности прозрачных глаз... Веня Пробкин очень был типичным москвичом. Поиск «кайфа» и постоянная готовность к половым безобразиям — вот то, что в серьезной степени характеризует нынешних московских мужчин и начисто ускользает от западных стратегических наблюдателей.

Пробкину, так же как и Охотникову, подходило к тридцати. Он считал свой возраст юношеским, позволявшим «шалить», хотя и был уже многодетным отцом семейства: два мальчика семи и трех лет, девочка-бэби. Он ездил на тяжелом германском лимузине «Мерседес-Бенц 300» с мотором для дизельного топлива. Каким образом роскошное это «ТС» (транспортное средство) досталось Пробкину на фоне всеобщей скудости и собственного вечного безденежья, остается глухой, непробиваемой тайной. На прямые вопросы Вениамин обычно отвечал со вздохом «машина эта — горючее», имея, очевидно, в виду общественное раздражение в кооперативе «Советский кадр». Кому завидуют, удивлялся Пробкин, мы с Машей живем на почти что одной лапше. В этом он, кажется, не лукавил: Маша, генеральская дочь и бывшая красавица, и сама-то от лапшовой диеты стала напоминать лапшу — белая, длинная, с признаками уже не проходящей измученности. Конечно, соседи-завистники говорили, что измучена Маша не лапшой и даже не детишками, а самым беспредельно развратным изменником-Вениамином, но этому верить можно лишь отчасти, ибо не было у молодого человека в жизни дела более важного, чем обеспечение и поддержание семьи. Только ради семьи он и старался день-деньской по беспредельной Москве — базы, склады, телефоны, НИИ, договора на халтуру. Иной раз после очередной бордельной ночи дружки напоминали ему ради потехи о Маше, о детях. Вениамин тогда смертельно бледнел, шептал

нечно красными и мокрыми губами: не трогайте семьи, гады, но последнее, что у меня осталось...

Обычная картина: Веня Пробкин в страшной озабоченности — «чуваки, пожар, я прямо с ног сбился, Машка у меня босая». В жуткой тревоге мечется Веня по Москве и в конце концов обувает измученную жену в бесценные итальянские сапоги с миланской улицы Монте Наполеоне.

Общественность все эти дела, конечно, раздражали до последней степени. Вот, вообразите, выходит голодающее семейство на воскресную прогулку. Измученная «святая» Маша в сапогах с Монте Наполеоне и в жакетке из рыжей лисы, детишки катятся колобками космической эры в ярких «тунных» бутсах, в «дутиках»-курточках, глава семьи, бледный, похмельный, терзаемый воскресной совестью, в замшевом пальто идет огромного черного, с ярчайшими белыми зубами и сверкающими белками лукавых глаз ньюфаундленда Лонгфелло; не похоже, что чудовище на одной лапше вскормлено... Да ведь это же не забытый московский люд, сама катится международная спекуляция!

Нужно разобраться, решали после воскресных пробкинских прогулок пайщики «Советского кадра», незамедлительно нужно выяснить источники дохода, нужно сигнализировать в ОБХСС, а то и еще куда-нибудь, уж не на подкорме ли у Запада Венька этот Пробкин?

Однако в понедельник с утра Веня начинал шлаться по кооперативу и просить денег взаймы — хоть рубль, хоть мелочи немного, мы на одной лапше сидим. А собака? — спрашивали соседи. А собака, товарищи, на спецучете в Министерстве обороны, мясной паек получает, не можем же мы собаку объедать, товарищи? Ты бы лучше «Мерседес» продал, ярились соседи. Придется, вздыхал Пробкин. Эта машина — горе мое. Он стоял в коридоре, облизывая губы и с какой-то жалкой жадностью заглядывая внутрь квартиры соседа, длинные волосы его свалены были в сторону, обнажая огромную царевич-алексеевскую лбину, и у соседей вдруг появилось к нему странное сочувствие. Так и возникли особые отношения, до поры до времени спасавшие Веньку. Сосед, давший трояк или даже рубль, уже чувствовал себя отчасти меценатом, уже снисходительно покровительствовал тунеядцу.

Между тем в мире полуподпольного московского искусства кое-кому Вениамин Пробкин был известен как талантливый фотограф. Официально он числился в штате ежемесячника «Советский мяч», и его печатные снимки ничем не отличались от массовой продукции, но в то же время его «другие» снимки и слайды циркулировали по чердакам и подвалам, и кое-кто даже находил, что в них «что-то есть», а отдельные эстеты даже причисляли его к «новой фотографии», даже такой удостоился чести. Вот, господа, говорили друг другу эстеты, мы все теоретизируем, а в «новой фотографии» рождаются звезды даже из жуликов.

В теории, однако, была существенная нужда, ибо очертить границы «новой фотографии» пока еще никому не удавалось. Основным ее принципом вроде бы считалось то, что на одном снимке и в одном измерении некоторые детали выпирали как бы с суперреалистической четкостью, в то время как другие, видимо не интересующие художника, оказывались «не в фокусе». Трудно сказать, почему именно «новая фотография» вызывала наибольшую ярость партийных идеологов, почему именно на это расплывчатое течение ополчился ударный полк товарища Саурого, отложив даже до поры привычное теснение «ретро», «классиков», «позэторитма» и других незрелых ущербных течений. Партия тоже нуждалась в теоретических, пусть даже антипартийных, работах. Чтобы хорошо бороться с врагом, надо его знать. Чтобы его знать, надо, чтобы он был.

Очевидно было, что странное это фокусирование влечет за собой искажение нашей реальной социалистической действительности, но как оно достигается, вот в чем вопрос. Увы, не объяснишь это полишинелевским секретом классиков отечественного фото Фолохова и Фаднюка, когда большой палец втихаря просовывают в проявитель и размазывают эмульсию. У этих великих товарищей все эти вихри на снимках, порывы, туманные дали являются, конечно, «новаторством», они расширяют творческую палитру (не путать с пол-литрой) социалистического метода, в то время как злокозненные «новые фотографы» несомненно вовлечены в западный упадочный процесс, а их попытки объяснить особенности своих снимков комбинацией оптических причин с душевными являются,

конечно, происками доморощенных метафизиков, которым партия объявляет бескомпромиссную войну.

Однажды в редакцию «Советского мяча» прибыл боевой отряд из трех человек райкомовских активистов. Идя навстречу многочисленным сигналам трудящихся, райком решил расследовать деятельность Вениамина Пробкина, проверить, соответствует ли он занимаемой должности, не порочит ли и в самом деле то-передовое-которому-служим.

Увы, как и предполагали сигнализаторы, иными словами стукачи, расследование оказалось делом несложным. Будто пузыри из подорванной в шведских шхерах субмарины стали всплывать на поверхность подозрительные Венечкины финансовые отчеты, фальшивые командировки, туманнейшие премиальные по сатирическому фотоконкурсу «Чик», счета за «служебные банкеты» в «Национале» и «Росфото», накладные на японском языке и прочее, прочее, даже биография «Мерседеса» на мгновение обрисовалась в тумане.

Словом, В. Пробкин горел, как швед под Полтавой, или, вернее, как русский утопал под Гетеборгом. И вдруг с партийного дредноута брошен был ему спасательный круг.

Отмежуйтесь от «новой фотографии», товарищ Пробкин, разоблачите коварный ее перекося в «Фотогазете», и тогда будут забыты ваши экономические шалости. Если же не пойдете навстречу Партии, все будет передано в ОБХСС, да еще и по морально-бытовой предстанете перед общественностью, сколько по Москве женщин и девиц опоганили, товарищ Пробкин, будь ты проклят!

Мало кто думал, что полужулик Вениамин пошлет райкомычей подальше, но он это сделал. Больше того, на закрытом партсобрании заявил, что ради своего искусства, то есть ради вот именно дурацкой этой «новой фотографии», готов принять и «аутодафе».

Главный райкомыч Гибенко усмехнулся тогда этому «аутодафе», полагая, что имеется в виду автомагазин, — захотела, дескать, шука в воду, — но потом, когда объяснили, что речь идет в прямом смысле о «жертвенности», страшно взъярился и потребовал немедленного исключения Пробкина из партии. Все даже ахнули: хоть и происходило дело на партсобрании, да еще и не на простом, а на закрытом, никому

почему-то в голову не приходило, что такой сомнительный человек является членом нашей родной партии.

Вот тут в данном конкретном случае, впрочем, как везде, торжествует опять закон диалектики под названием «палка о двух концах»: с одного конца членство в партии вроде бы хорошо предохраняет от ОБХСС, но с другого конца возникает малопривлекательная ситуация — беспартийный человек еще может кое-как увиливать от обхээсины, выпавшего из партии бросают прямо в пасть чудовища.

«Советский мяч» не долго мучился, чтобы уволить Венечку. Старик, ты же сам понимаешь, сказано было ему в хорошей московской традиции. Вернешься (в смысле — из лагерей) — заходи. Халтурой обеспечим.

Итак, безработный, беспартийный и подследственный «новый фотограф» приготовился к худшему, как вдруг все повернулось, и он повеселел.

Вдруг, прямо на перекрестке повстречался ему Олежа Охотников, с которым вместе несколько лет назад в Архангельске расширяли окно в Европу. Широкоугольной оптикой, милостивые государи, промеж ног Великого Питера. Пошли со мной, сказал Охотников, и вот Веня Пробкин обнаруживает себя в кругу людей, с которыми прежде по причине партийности и журнальности был «не очень-то», только лишь издали, на бегу — шапочкой, ручкой, левым веком, дескать, сочувствую вам, старички, но бегу, бегу, бегу. Словом, оказался в московском фотографическом «андерграунде», в зарождающейся группе «Новый фокус», в которой обнаружил с огромнейшим удивлением и былых своих кумиров, «китов Шестидесятых годов» — Максима Огородникова, Славу Германа, Андрея Древесного, Эмму Лионель, Эдика Казан-заде...

Веня Пробкин всю свою «жизненку», честно говоря, чувствовал себя одиноким партизаном во враждебной национальной (хоть и был чистым русаком) и идеологической (хоть и происходил от завода «Пролетарий») среде. И вдруг оказалось, что целая группа тут собралась всяких отщепенцев и дерзко бросилась промышлять свою удачу в советских лабиринтах.

Какая новая началась у Венечки Пробкина «жизненка», какие воспарения! Духовная, вот именно духовная жизнь, чего прежде даже и не ведал. Употребляя смешанные напитки на

нешконной квартире Охотникова, Веня смело бросался в разгупоры об искусстве как о средстве тайной эзотерической коммуникации. Такая началась счастливая пора жизни! Господа, кричал Веня, пытаюсь пробиться сквозь общий гам, да знаете ли вы, что с вами я впервые почувствовал себя человеком?!

Как ни странно, и обэхээсина отвернула от него смердящую харю благодаря «Новому фокусу». У Эдика Казан-заде оказались друзья в Центральном аппарате Внутренних Дел, любители тенниса, джаза и шашлыков на ребрышках; Эдик был специалистом по всем трем видам. Нельзя сказать, что исследование вдруг автоматически прекратилось, однако повестки на собеседования приходили все реже, дело явно засыхало.

Замечательно все-таки, что у нас все-таки трудно разные вещи скоординировать все-таки, размышлял иной раз Веня Пробкин, нечась через московскую, смешанную с химической солью грязь от Фишгера, предположим, Моисея к Шузу Жеребятникову, то есть «осуществляя связь».

Как, право, совсем неплохо, в целом, получается, что всю советскую систему скоординировать невозможно, в общем и целом. Вот, скажем, фишка за нами следит, старики фотари из союза ее подзуживают, шьют политику, того и гляди жутчайший идеологический скандал разразится, а полковники, предположим, из ГАИ все еще по старой памяти Древесного Андрюшу обожают, в МВД ничего не знают, в МВТ ничего не знают, в Мосгорисполкоме ничего не знают, с ними скоординировать не успели, вот благодаря этому еще и можно жить в нашей стране. Страна технологически отсталая, вот что замечательно. Если бы у подлой власти еще и компьютеры работали, житья бы здесь совсем не стало.

Словом, В. Пробкин чрезвычайно наслаждался нынешним поворотом своей судьбы, что к тому же еще и обострялось его и в самом деле искренней готовностью к разгрому, к тюрьме, к пресловутому этому аутодафе, к потере всего на свете, даже и «Мерседеса» своего дизельного; даже блядами своими готов он был пожертвовать ради искусства, хотя эта последняя жертва и не требовалась, к счастью или на беду.

С этим делом, с «Восьмым марта», так сказать, у Венечки все усугублялось: при виде любой бабы отпадала челюсть, ув-

лажнялись губы, взгляд стекленел, в паху начинала сосать невыносимая тяга. Приходилось немедленно брать даму за руку.

Редко случалось, что женская особа оставалась глуха к такому мощному призыву. Чаше сдавалась, чтобы поскорее отделаться от «странного молодого человека». С каждым месяцем «жизненки» количество женских друзей у молодого таланта увеличивалось.

Редкие вечера в кругу своей «святыни» превратились для Вениамина в мучение. Маша уже ожесточалась от каждого жужжания. Веня, покрываясь потом, кося глазом-предателем, прыгал к телефону, имитировал деловые отношения, сухо уточнял адреса, по которым нужно «забрать материалы», и, уже влезая в дубленку, взывал к своей лапше: Маша, верь!

II

Подойдя к Охотникову, Пробкин, разумеется, попросил:

— Я тебя прошу, Охотников, позвони Маше и скажи, что ты послал меня в Шереметьевку, на дачу Лионель и что я должен вернуться где-то в двенадцать, в общем не позже двух...

— Эх ты, Пробкин, опять ты за свое, — пожурил товарища Охотников. — Об искусстве, к сожалению, мало думаешь. А посмотри-ка по сторонам. Ничего не замечаешь?

Пробкин тут же и увидел «скорую помощь» у грязного забора.

— Опять она?

— Вот именно, а к нам датчане через час приедут, а потом и Макс заявится, и Шуз, и Мойша, и еще кого-нибудь принесет... Так они за сегодняшний вечер многих пересчитают. Надо им шершавого вставить по закону подполья.

— Какие будут предложения? — с готовностью спросил Пробкин.

— А вот вытащим сейчас по мешку антисоветчины и — в разные стороны на моторах, — внес предложение Охотников. — А тот, кто оборвет хвост, вернется и примет датчан. Лады?

Конечно, Охотников опять все напутал — датчане уже заворачивали в переулок во всем блеске своего скандинавс-

кого великолепия — «Вольво-турбо» и блондинка за рулем, представители газеты «Гольфстрим».

— Разбежались? — неуверенно спросил Охотников. — Самое время, Пробкин, рвануть. Неприкрытое вмешательство мирового империализма. «Товарищи» растеряны. Мы линяем. Датчане, никого не застав, сваливают. Мы им потом звоним. Все запутывается.

— Да ты что, Охотников, — забормотал Пробкин, не отрывая глаз от приближающейся серебристой соломенногриной за рулем. — Вспомни, как Шуз и Макс нас учат — никогда никуда, не убегайте, ничего не скрывайте. По конституции имеем право на все, что делаем. Кто это мне запретил с девишками иностранными встречаться?

— У тебя только одно на уме, — проворчал Охотников.

В сумерках махнула белая грива — флашлайт. Тоненькая девица в пиджаке с плечами, едва выскочив из машины, сделала несколько снимков. Ее оптика, конечно, интересовалась безрадостной жизнью тоталитарного общества, нашими тетушками и старушками, придурковатой девочкой, вечно тихо игравшей возле мусорных баков, лозунгом «Выше знамя социалистического соревнования!» на развалинах новостройки.

Шаг за шагом датчане приближались, девице сопровождал Пер Рубергардт, глава и единственный сотрудник московского офиса газеты «Гольфстрим». Наши парни ужаснейше волновались: храбрись не храбрись, но встречи с иностранными корреспондентами под бдящим оком «гэфэушки» — занятие не очень-то комфортабельное. И все же Веня Пробкин рванул:

— May I help you, miss?

Фотографша даже чуть подскользнулась от удивления, увидев двух цивилизованных парней посреди советского старорежимья. Затем последовала еще одна вспышка, уже не фото, а просто улыбка; экие выращены в Скандинавии зубы дивной белизны!

Охотников, конечно, по соседству с девушкой начал «сгорать от смущения», не знал, куда сунуть руки-свои-крюки, как оперировать окладистой бородою. От смущения на девушку как бы «ноль внимания», как бы продолжал какой-то спор с Венькой.

— Удивлен я тОбОю, челОвек, Ох, удивлен...

Проклятый Венька между тем на удивление бегло шпарил по-европейски: вот тебе и урок, растяпа Охотников, по-морская интеллигенция, город Архангелов, смотри — простая московская фарца преодолевает языковой барьер даже без помощи алкоголя.

Наконец, закрыв свою «Вольво» на все замки и «секретки», подошел Рубергардт и тут же без всяких опять же комплексов неполноценности зачастил по-русски, рассыпая где попало предлоги и наречия, крутя деформированные существительные вместе с исковерканными глаголами, шепелявя еще по-чухонски, но с какой-то галльской прытью и все-таки абсолютно понятно.

Фотографша только утром прилетела из Копенгагена: Рубергардт писал очерк о подпольном советском искусстве и запросил свой «Гольфстрим» — пришлите Нелли, как можно скорее, мы давно уже не виделись.

Как хорошо, что не слиняли, подумал Пробкин. Есть хороший шанс познакомиться поближе со скандинавским коллегой. Тут у него сразу засосало, где полагается, и, оттирая друга локтем, он повел датчанку в дом, быстренько на ходу иронизируя по поводу советской действительности, особенно по поводу вот этой «скорой помощи», которая, вообразите, мисс, уже три дня не двигается с места, а там внутри четыре жлоба сидят с квадратными будками, у них там, наверное, какая-то звукомашина, они, должно быть, все записывают, что у нас в штабе «Нового фокуса» происходит, вообразите, мадам, а там, между прочим, живет мой друг Охотников, вот именно этот, вообразите, «ле мужик», и теперь вы можете себе представить звукозапись всех этих охотниковских звуков, вообразите, как опытные специалисты потом анализируют все звуки Охотникова, ей-ей, можно им посочувствовать...

Охотников, улавливая свое имя в безобразной англо-франко-немецкой тарабарщине друга, еще больше дичал, косил глаз на датчанку, грудью наваливался на датчанина, бухал что-то о русских артистических потенциях, о спиритуальном возрождении, об обнадеживающих письмах с Севера.

От машины до квартиры датчане продвигались не менее четверти часа. Фотографша уже нервно хохотала, чувствуя,

куда клонит Пробкин. Такая датчанка, конечно, может взбудоражить московский квартал, что и произошло у четвертого корпуса жилтоварищества «Советский кадр». Жители иные шарахались в сторону от живописной группы опасных людей с хохочущей блондинкой посредине, иные проходили нарочито близко, сурово глядя в упор на распоясавшуюся и совершенно не замечающую их бдительности международную молодежь; и зачем таких в нашу столицу пускают?

В конце концов, размахивая руками, говоря одновременно и не слушая друг друга, четверо вошли в квартиру беглеца Пивоварова, где в эти дни уже помещался на рабочем столе в углу огромный, как могильная плита, макет неподцензурного фотоальбома «Скажи изюм!».

Разглядев фотографии на стенах и просунув палец меж страниц в полумифический альбом, датчанка осознала, что она в компании мастеров, титанов фотоискусства и ей, скромной газетной фотографше, вроде бы надо судьбу благодарить за удачу и давать по первому запросу.

Между тем звонок в спорной квартире не замолкал, и двери, как обычно, хлопали непрерывно — «новофокусники» собирались для вечернего «общения». Явились Цукер с очередной женой, Шуз Жеребятников с бутылкой «Российской», Стелла Пирогова, конечно же, с яблочным пирогом. Потом пошло все гуще и гуще — Эмма Лионель с Гошей Трубецким, Фишер, Фридман, молодой Васюша Штурмин, а потом рука об руку, дыша коньячными туманами, Слава Герман и Георгий Автандилович Чавчавадзе. Все понемногу чего-нибудь приносили. Все, как обычно, несли несусветную крамолу и похабщину, ну, и пальцем показывали в потолок — дескать, там слухач. Хотелось дать понять иностранцам, в каких условиях приходится жить советскому интеллигенту и как он дерзостно на эти условия плюет. Иностранцы, конечно, понимающе кивали — в чем, в чем, а в наличии «слухача» они не сомневались, он там, добавим от себя, действительно был, иначе на что существовало подразделение генерала Планщина: ударение иногда ради собственного удовольствия мы будем ставить на последнем слоге родительного падежа.

А где же Макс, интересовался Рубергардт. Именно с Максом Огородниковым, знакомым уже читателям газеты «Голь-

фстрим», надлежало ему сделать основное интервью. Надеюсь, придет?

Придет, придет, с готовностью подтверждал Пробкин, оглаживая под столом оробевшие скандинавские коленки.

Стекла в маленькой квартире запотели от горячих пельменей. Охотников и Фишер жарили их на сковороде величинной с колпак от автомобильной шины. Жарка шла по собственной методе — пельмени в сыром виде вываливались на сковороду, сверху бухалось полкило маргарина. Как повалит от сковороды дым — пельмени готовы.

На столе имела место умопомрачительная коллекция напитков — «Солнцедар» за 1 руб. 85 коп. и «Кавказ» за 2 руб. 38 коп. соседствовали с двенадцатилетним «Chivas Regal».

— Это нам вчера ребята из «Нью-Йорк таймс» привезли, — объяснял Шуз Жеребятников Рубергардту. — Извинились, что не успели заехать в «Березку» за датским, то есть вашим, твоим, так твою, Рубер, пивом «Туборг». Извините, говорят, вот всего лишь одна бутылка «Чиваса». Но мы, господа, и этой бутылке рады. Понимаешь, Рубер? Мы рады всему доброкачественному, потому что обычно вынуждены пить сушую отраву, продукты распада социалистической системы...

— А где же господин Огородников? — вновь спрашивал датчанин, нимало не смущенный намеками Шуза.

— Будет, будет, — успокаивали его. — Можете пока спокойно слетать в «Березку» и обратно...



Гот, о ком все время спрашивают и кто однажды уже мелькнул в самом начале нашего повествования с рифмованным вздором на устах, между тем прогуливался совсем неподалеку в темном переулке между первым и вторым корпусами «Советского кадра».

Максиму Петровичу Огородникову было несколько за сорок, и в те моменты, когда его долговязая фигура попадала под свет единственного в переулке уличного фонаря, можно было разглядеть его крупный нос и пушистый под носом пеговатый ус. При более длительном экспонировании несомненно бросилась бы в глаза довольно отчетливая наглость всех черт и примет, свойственная, впрочем, многим баловням судьбы и звездам современного искусства. Бросилась бы в глаза и некоторая странность: весь удлиненно-костлявый тип артиста был на удивление изменчив — за пять минут в нем мог промелькнуть то почти старик, то еще юноша, то какая-то рассеянная растяпа, то сконцентрированный атлет.

Пока, однако, мы этими пятью минутами не располагаем и видим только, как время от времени под единственным фонарем появляются крупноватый нос и пушистый ус, выглядывающие из-за поднятого воротника лондонского плаща.

Переулок этот излюблен скрытыми либералами для совместных, как бы между прочим, моционов с шепотком через плечо «а вы слышали, братцы-кролики?». Один из таких «либералов» как раз и сопровождал в данный



момент Макса Огородникова, вернее, как бы прогуливал его, крепко взяв под локоть и обдавая снизу левую щеку артиста горячим концентрированным шепотом. Он подцепил Макса как бы случайно — «Ба, кого я вижу! У тебя есть пять минут?» — и повел в переулочек, горячим шепотом повествуя и округляя смешком — скоты, ты же понимаешь, настоящие скоты! — недавнее заседание правления кооператива, на котором Герой Советского Союза Мешьячин предложил выгнать Олеху Огородникова из квартиры «невозвращенца» Пивоварова, а квартиру, ставшую «прибежищем для сборищ с подозрительным душком», опечатать. Самое же замечательное, Макс, состоит в том, что наш мрачный Мидасьян тут же снял вопрос, потому что он не в нашей, ты понимаешь, не в нашей компетенции. Ты понимаешь, конечно, старичок, в чьей он компетенции?..

К удивлению либерала, Огородников только хохотнул в ответ на важное сообщение. Он и не сомневался ни минуты, что квартира заклопирована и окружена тихарьем. Странно только, почему гэфэушка так долго смотрит и ничего не предпринимает. Наверное, задумали какую-нибудь гадость сверх всяких ожиданий. Впрочем, хер с ними.

— Позволь? — быстро спросил «либерал».

— Хер с ними! — повторил Огородников не без удовольствия. — Надоело все время о них думать. Они для нас просто не существуют. В общем и целом мы на них кладем.

— Брось, брось, старичок, — зашептал тогда «либерал» еще горячее, еще плотнее беря Макса под руку, увлекая поглубже в тенистые углы, в неприглядную мглу московского фотографического мира. — Тебя здесь любят, старичок, тобой дорожат, не надо так разбрасываться...

— Хорошенькое дело — любят, — ощерился тогда под усами Огородников. — Все альбомы мои зарубили один за другим, журналы снимков не принимают... Думаешь, я не петрю, чей это почерк? Вот и выставку мою отложили на неопределенное время, все мои поездки — в жопу, можешь поздравить, я уже *невыездной*, почта из-за границы блокируется, телефон на прослушивании... хорошо *тут* мной дорожат, спасибо за такую заботу!

«Либерал» смотрел на него полным глазом. Такие прогулки в темноте по заставленному полуфабрикатами переулочку

ку имели еще и второй смысл, не говоря уже о третьем; и Огородников знал, что «либерал» может вот в таком же стиле с кем-нибудь «оттуда» прогуляться, и «либерал» догадывался, что Макс знает, а потому прогулки такого рода были как бы контактным звеном между опальным фотографом и могущественными невидимками идеологического сыска.

— Однако ведь не собираешься же ты?.. — еле слышно или совсем неслышно, одной лишь артикуляцией рта, просто лишь округлением и без того круглого ока, поворотом этого округлившегося до предела органа спросил «либерал».

— А вот именно собираюсь! — громогласно на всю Ивановскую заявил Огородников. — Вот доведут до ручки мерзавцы, я тогда и *пампелюсь!*

— Ну, разбежались? — тут же предложил «либерал», предвзительно хмыкнув и цыкнув углами рта в щели переулка, и тут же чесанул под фонарь, под арку, мимо аптеки, в подъезд, в холостяцкую свою квартиру.

Там, в «хавирке» (как он любил называть свое жилье), плюхнулся на тахту, укутал ноги венгерским пледом, попросил у няни (имелась такая няня Ревекка Мироновна) стаканчик югославского пунша, придвинул чехословацкий телефончик, набрал номер друга, доверительного человека, умницы, профессора-киноведа, и между делом, как бы проездом, рассказал ему о намерениях Макса Огородникова «забросить чепчик за бугор».

Между тем Максим Петрович Огородников тоже прошел между корпусами, но в другом направлении, затем вышел на перекресток и поднял трость, подзывая такси. Для того и трость была заведена, чтобы, соответствуя какому-то заграничному черту, можно было в мгlistый осенний вечер выйти на перекресток и «поднять трость, подзывая такси».

Фиксируясь с поднятой тростью, он воображал, как его только что высказанная идея «намыливания» уже прыгает сейчас из телефончика в телефончик и как возбуждены будут сегодня вечером заинтересованные лица.

За спиной у него был подъезд номер 3 и запаркованная рядом журналистская «Вольво», а также покосившийся забор новостройки и недреманная «скорая помощь», внутри которой мерцали три сигаретки. Огородников стоял прямо под

фонарем, не прячась, а, наоборот, как бы показываясь, потому что принципиально отвергал слежку. Пусть подонки сами нарушают нашу советскую конституцию, а мы не будем. Ничего тайного не делаем. О «Новом» и о «Скажи изюм!» и я, и Шуз, и все ребята треплемся на всех углах; только ленивый об этом ничего не знает. Гэфзушники, устроив слежку, как бы навязывают нам конспирацию. Вот хитрожолая компания, в самом деле неплохо придумано. Сизый Нос начини потихоньку следить за кем-нибудь, и тот поневоле становится заговорщиком.

Максим нарочно торчал под фонарем, кричал «такси-такси», начал даже слегка жонглировать своей уникальной тростью, чтобы его заметила сегодняшняя бригада. Мысли его в данный момент странно противоречили собственным принципиальным установкам.

Пусть, сволочи, запутаются, если уж датчан выследили. Наверняка ведь думают, что я должен быть у Охотникова, а я вот на такси куда-то уезжаю. В погоню, господа гвардейцы кардинала!

Только уже плюхнувшись в такси, он сообразил, что принял игру, что они его «сделали», включили в свою диспозицию. Уж если их замечаешь за собой — скрывайся от них или не скрывайся, все одно: ты играешь в их игру. До сегодняшнего вечера я делал вид, что не замечаю их, но с этого момента что-то изменилось.

Он разозлился на себя и повернул голову, ожидая найти за собой слежку, однако «скорой помощи» за хвостом такси видно не было, да и вообще ничего похожего — перся автобус номер 70, а за ним, конечно, угадывался самосвал. Словом, и игра была постыдная, и первый ход в этой игре оказался дурацким и нелепым.

Чуть не замычав от злости, похожей на острую зубную боль, он откинулся в кресле такси и попытался вызвать в памяти что-нибудь антизлое, ну, например, площадь Оперы в Париже.

Вот вам, пожалуйста: прозрачным осенним «апрэмиди» иду так себе по делам, отчасти просто так по авеню Опера и захожу в «Кафе де ля Пэ» посмотреть, нет ли мне там писем. Чудесная сохранилась в этом кафе девятнадцатого века тра-

дница: завсегда и находят письма на свое имя на висящей у входа доске, обтянутой зеленым сукном и снабженной особыми металлическими прижимами, под которые как раз и засовывается корреспонденция.

Почему-то именно осенью мучительно тянет в Европу. Поставить треногу перед входом в Жарден Тюильри и делать ленивые снимки проходящего момента парижской вечности. Вот странность — от Мавзолея Ленина, равно как и от пирамиды Хеопса, разит брэнностью и распадом. Ворота сада Тюильри вносят некоторый смысл в цивилизацию, намекают на что-то не-пре-хо-дя-ще-е...

Унтер-ден-Линден, бегом, бегом, ползком под колючей проволокой, переваливаешься брюхом через закругленную часть Берлинской стены и вздыхаешь с преогромнейшим облегчением и детской радостью — опять утек!

Ну, а почему же так и не «утек» в свои любимые осенние края, когда столько было возможностей? Потому, что кроме осени с ее европейской ностальгией есть и другие времена года... о да... Откуда все это взялось, почему для меня Европа — такой родной дом? Впрочем, родитель-то, Петяша Огородников, кандидат в члены ЦК РСДРП, вместе со своим старшим товарищем Володей У. был самой обыкновенной эмигрантской сволочью, не так ли? Оттуда, что ли?..

Теперь мне Европы не видать. «Уже развел руками черными Викжель пути...», как в школе учили. Теперь они меня не выпустят, разве что по стопам папаши, в эмиграцию. Там, кажется, у вас и детки уже есть на буржуазных просторах, Максим Петрович? Счастливый путь и постарайтесь забыть свою родину, ибо здесь, кроме вас, еще кое-кто родился. Социализм, например. Оцените гуманизм современных ленинцев — вас не сажают, не расстреливают, а просто под жопу коленкой по собственному желанию... Р-р-р, зубная боль возвращалась, только лишь растравленная парижскими картинками. Всю жизнь под властью этих сук?! Всю жизнь с неестественно зафиксированным поворотом шеи и головы, полуувечным гандикапом проклятого режима? Хер вам, никакой эмиграции от меня не дождетесь!...

— Хер вам! — вдруг вырвалось у него.

— Правильно, — пробурчал шофер такси.

II

Пока он едет, предаваясь зубной боли, оперативная группа генерала В. К. Планщина оперативно трудится на благо народа, в частности держит связь с транспортным средством «скорая помощь», так и оставшимся стоять у разрушающейся новостройки.

Капитан Сканщин Владимир, непосредственно курирующий одного из лидеров «Нового фокуса» М. П. Огородникова, осторожно косясь на шефа, тихо материт другого капитана Слязгина, уже восьмой час сидящего в рафике.

— Да загребись ты, Слязгин, со своими датчанами, напаеули по гудям! Как ты мог Огородникова-то упустить? Теперь он целый вечер один будет ходить, жопа с ручкой ты такая, в самом деле, Николай...

— Много себе позволяешь, расшиздяй Сканщин, — рычит в ответ Слязгин, даже зубами похрустывая в адрес проклятого генеральского любимчика.

Капитану Слязгину очень обидно. Без году неделя в «железах» Сканщин-сучонок в теплом кабинете изучает фотоискусство, на выходах работает по ресторанам «Росфото», ВТО, ЦДЛ, ЦДЖ, а ему, опытному сотруднику, приходится по 12 часов торчать в сраном рафике, записывать на дорогостящую японскую пленку дурацкую болтовню этих «изюмовцев», «новофокусников», или как там еще зовут этот сброд, который давно надо было бы попросту передавить, а не тратить силы и средства. Нетворческая какая-то получается работа, брошу все, махну на БАМ...

— Гудила ты, Николай, — говорит в рацию Сканщин. — Разъедай и гудила...

Генерал Планщин тем временем, делая вид, что не слышит матерщины любимого помощника, делает пометки в бумагах, передает какие-то листы своим хлопцам и девчатам и одновременно говорит по телефону, то есть хмыкает то вопросительно, то утвердительно или рассеянно мычит.

Вдруг генерал встал, подошел к Сканщину, нажатием кнопки прекратил перепалку двух способных специалистов.

— Есть новости, — сказал он. — Огородников решил эмигрировать.

— Да как же?! — воскликнул Вова Сканшин, глубоко пораженный и взволнованный. — Как же так, Валерьян Кузьмич?! Ведь только же начали с человеком работать ж!

Он был искренне огорчен, даже руки задрожали. Хорошо бы сейчас «добрую стопку коньяку», как Валерьян Кузьмич выражается. До боли обидно, между прочим, ~~терять~~ человека-специалиста по фотографии. Только начали ведь работать с человеком, и работа была интересная, творческая. Курировать такого человека, как Максим Петрович Огородников, — все равно что заграничную книжку читать в хорошем переводе, «Над пропастью во ржи», так сказать. Конечно, обидно, что такой человек вот поставил свой талант на службу мировой реакции, но ведь в противном случае никакой и работы ведь не было бы, прав я или нет? А если копнуть, между прочим, в творчестве, то можно найти и здоровое зерно. Вот в цикле «Братск» какие охуенные показаны самосвалы — такая поэзия, в общем-то, труда, в принципе, какой-то исторический оптимизм, товарищ генерал...

— Мда-а, — задумчиво протянул генерал Планшин. — Что-то слишком просто получается с эмиграцией-то...

— Вот именно! — с энтузиазмом откликнулся капитан Сканшин. — Как-то простовато! Какой-то нолевой вариант, Валерьян Кузьмич. Сравните хотя бы внешность Огорода с основной массой. Напрашивается что-нибудь посложнее, Валерьян Кузьмич.

До чрезвычайности взволнованный Володя отошел к окну. Смешно сказать, и получается вроде как бы «слишком в лоб», но из окон кабинета были видны рубиновые звезды Кремля. Володя сморщил пасть, вспомнив «основную массу» Союза фотографов, которая с таким сладострастием стучит друг на друга, а ряшки носит такие, что с утра лучше не показывать.

— Мда-а, — еще более задумчиво протянул генерал. — Слишком простое решение...

III

Однажды Огородникову было сказано: у вас, Максим Петрович, большое есть перед многими коллегами вашими преимуще-

щество — такие у вас прослеживаются замечательные, истинно советские корни!

Не было темы более отвратной, более презренной для человека, который и год своего рождения неоднократно проклинал, чем его пресловутые корни, а между тем они действительно были, хоть и неглубокие, но крепыши, уходящие прямо под кожу партии, а следовательно, и народу, ибо известно, что «Народ и Партия — едины». Папаша-то, старбол, Петяша-то, происходил прямиком из ленинской гвардии, не раз пикничковал вместе с основателем на лесопилке Лонжюмо. Прочной кости оказался человек — прошел невредимо через коллективизации и реконструкции, как говорится, от Ильича до Ильича, по ведомству «самого острого оружия Партии» и в огромных чинах почил десятилетие назад. А вот тому назад некоторое время, а именно в начале 1937 года из Гаража Особого Назначения пришла к товарищу Огородникову новая персональная машина, «Паккард» последней модели, а за рулем сидели кадры новой генерации, юная блондиночка с невинными кудряшками, так восхищавшими в те времена стареющих номенклатурных бойцов. И вот, как раз к концу этого «паккардовского» года, который теперь наш герой в подпитии иногда называет «проклятым» и «Варфоломеевским», как раз и появился на свет Божий ребенок, немедленно названный Максимкой; скорее всего, вслед за обожаемым отцом социалистического реализма, недавно почившим с шоколадкою в руке.

Мадам Огородникова, хоть и забыты уж паккардовские кожаные кресла, и по сей день «не спит, встает, кудрявая», полна энергии, вечная цыпочка и основательный автор по вопросам морали, не исключено, что в больших уже чекистских чинах. Нередко, бренча медальками, появляется она на экранах телевизора, обычно это какие-нибудь юбилеи, чаще всего фронтовые, а ведь она прошла адъютантом члена Главполитупра Огородникова большие дороги Смоленщины, и, поднимая глазки кверху, с «волнительными» интонациями рассказывает о фронтовой молодости, ни разу не покраснеет.

Увы, для Максима в последние годы мать так и превратилась в какую-то чуть ли не «телевизионную дурочку», да и второго своего ближайшего родственника Октября, старше-

го брата по отцу, он в последние годы лицезрел тоже в основном на «голубом экране».

Октябрь Огородников был фигурой не без загадочности, международный комментатор, годами сидящий то в Бразилии, то в Соединенных Штатах, то располагающийся со всеми соответствующими причиндалами в Париже. Внешность его излучала определенную мощь, настоящий аккумулятор партийной энергии. Обычно он возникал на экранах в периоды драматических конфронтаций сил мира и социализма с силами войны и реакции, веским тоном обрисовывал ситуацию прямо с передовых позиций, то есть либо рядом с Триумфальной аркой, либо на фоне Капитолия. Вранье Октября ничем, скажем, не отличалось от обычного газетного и телевранья, однако зрители считали его каким-то особенным человеком, источником какой-то особенной информации.

К матери своей Максим никогда серьезно не относился, а вот старшего брата в отдаленные времена ранней юности, или, как сейчас говорят, «тинэйджерства», едва ли не боготворил. Собственно говоря, именно Октябрь и привил ему начальную тягу ко всякого рода машинам, которая потом перешла в фотострасти.

Какие вообще-то были чудесные времена, наивнейшее начало советских пятидесятых! Два брата из высокопоставленного общества, один долговязый подросток, другой молодой красавец мужчина по очереди управляли огромнейшим ЗИС-ом-110, часами возились в его моторе, напоминавшем электростанцию Днепрогэс, упоенно оперировали различными «трофейными» и «репарационными» зеркалками, всякими там «кодаками» и «практикаматами»; теория и практика, настоящая мужская жизнь, включавшая и всяческий моторный спорт, и парус на воде, и буер на льду. Говорили они в те счастливые времена очень мало, да и слова не требовались — движение заменяло слово, схема мотора или радио калькировалась на «все дела».

Вот вам, к примеру, сцена летом 1952 года по дороге на Барвиху. По новому гладкому шоссе (конечно, засекреченному, стратегическому, построенному немецкими военнопленными для соединения «госдач» со столицей) едут два полубрата в открытом лимузине. На заднем диване марок-

канской кожи сидит предмет, на зависть Голливуду, девушка-стиляга по имени Эскимо. Ноги — дай Боже! Никто не разговаривает по пустякам. Октябрь занят рулем, вписывается в виражи, сквозь зубы насвистывает нечто подходящее к тоненькой ниточке аккуратно подстриженных усов — слоу-фокс «Гольфстрим». Пятнадцатилетний Максим приспосабливается щелкнуть «лейкой» в боковое зеркало девушку Эскимо (прозвище подразумевает, конечно, сорт мороженого — пальчики оближешь, а не определенный народ Севера) и воображает уже потрясающий кадр, на котором выйдет вперед сногшибательная коленка «барухи» и уйдет в глубину ее круглое личико с большим презрительным ртом. «Баруха» же молчит, во-первых, потому, что разговаривать не с кем, а во-вторых, потому, что вообще неразговорчива.

Милиция на пересечениях дорог козыряет. Покачиваются сосны. Где-то слышится пионерский горн. Разворот с визгом шин вокруг скульптуры «Три оленя». Октябрь недовольтно покачивает головой: визга быть не должно. Еще раз прокручиваемся вокруг «Трех оленей», на этот раз плавно и стремительно. Вкатываемся в ворота дачи. Ба, во дворе друзья — юноши из дипсмей Громыко и Царапкин. Привезли на буксире лодку с новым американским мотором «Меркьюри». Нужно разобраться. Лады. Мы втроем на озеро, а ты, Эскимо, поучи пацана науке страсти нежной. Октя-я-брь, обиженно тянет девица, но получает в ответ только отдаляющиеся звуки «Гольфстрима». Лады, говорит она. Пошли, Максим. И дальше спотыкачем через многоточие...

К вечеру ошеломленный любовью Максим отвозит Эскимо на мотоцикле в город, по возвращении видит на веранде усталых, но довольных друзей уже с новыми девушками. Славик Громыко учит компанию танцевать буги-вуги. Какой ритм, какой каскад, о, Соединенные Штаты Америки!

Октябрь при виде брата вопросительно поднимает бровь.

— Октябрь, она удивительная, — не без придыхания шепчет вчерашний мальчик.

— Давно видел, что ты на Эскимо подрачиваешься, — улыбается Октябрь. — Поздравляю. А теперь посмотри, какую машину привез Царапкин.

У Максима подкашиваются ноги — на столе новенький американский магнитофон размером не более стандартной радиолы!

Осенью того блаженного года в «Вечерке» появился фельетон про столичных стилиг под заголовком «Плевелы». Доставалось там в основном сыновьям академиков, но и сын «самого Огородникова» был хоть и глухо, но упомянут.

В семье произошел, по выражению Октября, «страшный хипеж». Папаша колотил кулаком по красному дереву и орал о «предательстве идеалов». Вскоре после фельетона Октябрь исчез, ничего не сказав Максиму. Мамаша пожимала плечиком, зная, мол, ничего не хочу — то ли на Камчатку за длинным рублем направился, то ли в какую-то военную школу поступил. Папаша только хмыкал — посмотрим-посмотрим, может, еще и человеком станет, плевел несчастный.

Через пару лет Октябрь вернулся. Все вроде бы осталось по-прежнему — машины, фото, девушки, джаз, но кое-что и прибавилось — например, великолепный появился английский. Он стал международным журналистом и быстро, год за годом, выходил в первые номера, становился членом всевозможных редколлегий и ученых советов, дослужился даже до депутатства в Верховном Совете СССР. Впрочем, большую часть времени он проводил за границей и однажды «под баночкой» признался Максиму — больше месяца на родине социализма не вытягиваю и, честно говоря, не представляю, как здесь люди живут. Максим тогда посмотрел на брата, через прицел своей камеры, и ему показалось, что почтенный международник как был, так и остался стилигой Пятидесятых годов; вот и волосы, еще довольно густые, зачесывает с намеком на «канадский кок» и курит «Кэмел» без фильтра, хрустальную мечту плевелой молодости.

Что же касается статей Октября Огородникова, то они даже среди обычной профессиональной продажности отличались особенной ложью, хотя и пестрели так называемыми «детальками», как бы направленными к элитарному читателю. К «леваческим», как он выражался, делам Максима Октябрь поначалу относился с прежних позиций, усмешливо, как к ребяческим проделкам, однако год за годом, по мере того как Максим все больше «антисоветчиной зверел» (тоже собствен-

ного октябрьского изготовления метафоришка), они все больше и больше отдалялись друг от друга.

Иногда Максим узнавал через третьи руки, что приезжал Октябрь в отпуск и даже с матерью, то есть с мачехой своей, встречался, даже и первую жену Макса навестил и привез какие-то подарки, а вот брату, понимаете ли, не дозвонился... Впрочем, бывает ведь и так — суета, суета...

IV

А как вообще-то получилось, что столь известный советский фотограф стал, можно сказать, диссидентом? — такой вопрос обсуждался не раз московскими либерально-художественными кругами по мере того, как развивалась эта история. Ведь был когда-то членом правления ЭСЭСФЭ, даже, кажется, лауреатом премии Ленинского комсомола...

...А кто тогда в комитете премий-то сидел, сплошные ведь леваки, — возникало тут мнение проницательного наблюдателя. В сущности, товарищи, Макс Огородников прошел вполне естественный путь развития. От фрондерства к диссидентству, согласитесь, прямая дорога. Странно, что власти с ним так долго тюткались, вот что странно...

Все это по новой моде высказывалось таким тоном, что невозможно было понять, на чьей стороне симпатии дискуссантов.

...В самом деле, ведь столько лет он и его друзья буквально ведь на грани... порой, знаете ли, все это творчество казалось просто шельмованием власти, а между тем до последнего же времени причисляли же это к своему, к... так сказать, нашему достоянию... странно, что так долго пользовалась эта группа официальным доверием...

В конце концов в таких дискуссиях все-таки происходила еле заметная расстановка: одна сторона как бы ставила под сомнение прежние официальные позиции «этой группы», другая же сомневалась в неконформистских качествах.

...Позвольте, позвольте, что же в этом странного? Вспомните первые альбомы Огородникова, Германа, Древесного, все эти репортажи с великих строек коммунизма...

Тут вдруг подключался кто-нибудь, только что «принявший коньячку», ибо дискуссии такого рода чаще всего происходили в домах творчества «Проявилкино», «Фэдино», «Раскадрож», где с недавнего времени в буфетах снова была разрешена продажа крепких напитков.

...И между прочим, интересные, свежие, искренние были эти первые альбомы! Очень отличались от обычной казенщины. Вот как раз у Огорода, помните, сцена драки в очереди за шампанским! Какая лепка лиц, характеров...

...Что же, вы скажете, не снимал он эти плотины, самосвалы, экскаваторы?..

...А разве их там не было? И разве не возникало в этих альбомах ощущение странной бессмыслицы?..

...Внимание, братцы-кролики, к нам приближается Кесмеционкин. Давайте-ка лучше поговорим о бабах!

V

За полгода до этого мглистого вечера... Какого еще мглистого вечера? — спросит читатель. Он давно уже потерял в кулуарах романа заляпанную грязью «Волгу»-такси, а между тем она все едет сквозь этот мглистый октябрьский вечер, пересекает площадь Сокол, проезжает мимо аэровокзала, стадиона «Динамо», и нахохлившийся Макс Огородников сидит рядом с водителем, тухлым глазом смотрит в не очень-то отдаленное прошлое: полгода назад.

Зазвонил тогда, майским утром, телефон. Огородников сразу почувствовал — какая-то подлянка. У человека с его телефоном, конечно же, развивается некоторый интимный контакт. Коммуникационной машине ничего не стоит предупредить хозяина о подлянке. Звонок звонку — рознь. Сразу же можно понять, друг ли звонит или какая-нибудь подлянка. В общем-то оказалось — ничего особенного, просто некто Владимир Сканщин из ГФУ; ну, все равно как «гутен морген, это вас из гестапо беспокоят». Голос в трубке напоминал знакомого хоккеиста из соседнего подъезда, такой разбитной москвич.

— Вы меня, по идее, должны знать, Максим Петрович.

— Не имею чести, — согласно литературным традициям (жандарм и присяжный поверенный) ответил Огородников. Какой удалось найти нужный, одергивающий тон, несмотря на мгновенное сжатие кишечника.

— Да разве ж вам, Максим Петрович, меня в «Росфото» не показывали?

Огородников, хотя и высокомерно хмыкнул, сразу же вспомнил — показывали. Вспомнилось в ресторане неопределенное блондинистое лицо за чайным столом — с пирожком во рту. Консультантша секретариата Лолочка, вечная травестюшка с челочкой, привстав на цыпочки и упираясь вечно крепенькими шишечками в руку, вечно ароматным шепотком в ухо:

— Максуща, хочешь покажу твоего *куратора*?

Огородников был уже наслышан, что в последнее время целое подразделение гэфэушников, молодые люди в замшевых пиджачках, с обручальными кольцами на лапах, повадилось целыми днями заседать в баре, буфетах и ресторане знаменитого клуба Москвы. Потягивают коньячок, дымят американскими сигаретами и не только не скрываются, как прежде, а, напротив, подчаливают с интеллектуальными беседами и представляются в открытую, такой-то и такой-то, сотрудник ГЭФЭУ. Вот замечательные шаги социалистического прогресса — теперь тебе не надо гадать, кто твой *куратор*, теперь тебе его просто покажут, твоего личного специалиста-лечебника, просто-напросто твоего политического врача, иначе как же прикажете понимать слово «куратор»?

И Лолочка, верный товарищ «четвертого поколения советских фотографов» по столику и постели... — теперь-то, после напоминания о показе, уж не осталось и малых сомнений, кто таков этот бойкий дружок...

— Надо бы побеседовать, Максим Петрович, — хорошо отработанным на оперативных курсах голосом сказал Вова Сканшин. Он стоял в этот момент с телефонной трубкой в кабинете генерала, старший товарищ непосредственно наблюдал начало операции.

Обычно, по науке, люди ужасно «пужались» таких приглашений, это немедленно ощущалось через телефонный кабель. Первый телефонный звонок из «желез» — это всегда пол-

дела, так учил Володю старший товарищ В. К. Планшин. В данном-конкретном, фля, что-то с этой половиной дела не очень-то получалось. Обычно так поднажмешь чуть-чуть голосенком, и клиент плывет, любому можно назначать свидание в гостиничном номере, как бляди. Данный-конкретный, однако, высказался в том направлении, что, хотя, по его мнению, у них нет общих тем для беседы, он, хорошо, согласен *принять* — принять, товарищ генерал! — Сканщина с товарищем у себя дома. Вы же слышали, Валерьян Кузьмич, каким тоном разговаривает Огород, как будто ему и не из «желез» звонят, а какие-нибудь «фотилы» со своими альбомчиками к классику напрашиваются. Ведь подумать только, товарищ генерал, даже «товарища» поставил под сомнение. С каким, говорит, товарищем? Даже и не на сегодня назначил, товарищ генерал, а на послезавтра, а уж про гостиницу-то я и не заикнулся, товарищ генерал, при такой постановке вопроса. Вот вы говорите, Валерьян Кузьмич, что у них в такие моменты адреналин выделяется, а я этого что-то не заметил...

Молодой специалист В. Сканщин напрасно все же усомнился в эрудиции старшего товарища. Адреналин выделялся, между нами говоря, однако Огородников настолько оказался хитер, что запаса седуксеном, к приходу офицеров успел уже проглотить три таблетки и слегка задремал.

В назначенный час офицеры в отлично пошитых костюмах и галстуках явились «на прием». Фотограф открыл им дверь, обнаружив себя в джинсах на подтяжках и шлепанцах, и прикрыл ладонью рот, неумело скрывая зевоту. Позднее Огородников сам удивлялся, как это ловко у него получилось. Смешно сказать, но именно они, а не он выглядели в момент встречи растерянными. Впрочем, может быть, просто тактику переменили, предстать в смущении — простите, так сказать, за вторжение в творческую лабораторию... Уж поверьте, не стали бы тревожить вашу творческую лабораторию, если бы...

— Да это у меня просто кабинет, а вовсе не лаборатория, — все еще как бы борясь с зевотой, обманывая, скорее всего, самого себя этой простодушной сонливостью, сказал Огородников. — Лаборатория совсем по другому адресу.

— Хлебный переулок, дом семь, квартира двадцать, правда? — выпалил В. Сканщин.

В.К.Планшину только и осталось поморщиться и выразительно посмотреть на младшего партнера: экий болван, опять не по делу употребил хороший отработанный десятилетиями прием. Да разве эту хитроглазую бестию поразишь такой информацией? Только лишь посмеется над молодежью.

— А вы разве у меня были там?

— Володя пошутил, Максим Петрович. Это мы ведь просто фигурально про творческую лабораторию. Просто в том смысле, что не явились бы, если бы не чрезвычайные обстоятельства.

— Извольте, вот сюда, вот кресла, садитесь. — Огородников плюхнулся в свое любимое, и вдруг его продрало по коже ощущение дичайшей неуместности всего того любимого, привычного, что сейчас его здесь окружало.

Здесь сейчас предполагаются голые стены, а не македонский мохнатый ковер, привезенный лет пятнадцать назад из Скопле. В лучшем случае (или в худшем) портрет Рыцаря Революции, но уж не снимки же диссидентов: Солженицын с детьми, туман и в тумане контур церкви Преображенья; Сахаров на берегу моря в Сухуми, босые ноги на гальке. Вот и фотографический главный диссидент Алик Конский присутствует и снят по месту ссылки, Сохо, Нью-Йорк, какие-то рожи в масках за спиной, карнавал, надменная ухмылка, так раздражавшая «железы» в Москве, еще по крайней мере пять или семь отпечатков с персон, «железам» весьма известных, а вот и одно из самых любимых произведений — толпа перед зданием суда во время процесса Гинзбурга и Галанскова, это был момент, когда на перекрестке завизжали тормоза и все, диссиденты и «железушники», повернули головы в одном направлении.

Голых баб на стенах кабинета, в отличие от стен настоящей «творческой лаборатории» в Хлебном, не было, но было нечто, хоть и одетое, но стыдное, — выплывание из мрака: Таллин, запах сланцевой гари, жалкая светящаяся вывеска CAFE, тебе двадцать четыре, ей — тридцать, белая жакетка и белый берет, жалкий лепет о национальной независимости... Почему-то это показалось стыдным до мерзости под неулыбающимся рысьим взглядом старшего гэфэушника.

— Я вижу, вы бывали там, — сказал Огородников.

— Не раз, — ответил Планшин. — Ведь это же Латинский квартал, да?

— Правильно. Улица Мазарини, — с некоторым облегчением произнес Огородников: хотя и Париж в этот момент подернулся пленочкой позора, однако неузнанному Таллину стало все-таки чуть-чуть легче.

Старшой, человек лет под шестьдесят, с беспорядочно лысеющей головой, снял пиджак и вопросительно направил его к спинке стула. Разрешите? Душновато сегодня. Молодой специалист немедленно последовал примеру, под мышками обнаружили темные полукружия, пахло футбольной раздевалочкой. Старшой показал Огородникову открытые руки:

— Как видите, Максим Петрович, у нас ничего нет.

— Чего нет? — озадаченно спросил Огородников.

— Техники, Максим Петрович, — пояснил старшой. — Как видите, мы пришли к вам бэз... (слово «без» почему-то у генерала Планшина всегда получалось через э-оборотное)... бэз техники, Максим Петрович. Надеемся, что и вы с нами по-честному...

Огородникова тут слегка замутило от еще неясных, но мерзких чувств, и он, чтобы скрыть муть, потянулся к столу в поисках сигаретки. Володя Сканшин снова отличился — вытащил из кармана — на выбор — французский «Житан» и советский «Мальборо», угощайтесь.

Полная, значит, опять проявилась осведомленность — ведь Огород-то как раз по «Житану» выступал, посылки получал из Парижа от третьей жены Надин Шереметьефф, а когда с посылками случался перебой, сваливал на местный продукт детанта. Что-то не то, приуныл Володя, поймав недовольную гримасу генерала, опять, кажется, пенек нахватал, что-то не по делу выступаю...

— Я себя жуликом никогда не полагал. Что вы имеете в виду? — спросил Огородников.

Планшин отмахнул ладошкой — ерунда, мол, не стоит и разговаривать на эту тему, но рысьи глаза безулыбчиво смотрели прямо Максиму в лоб.

— Да я просто к тому, Максим Петрович, что мы нашу беседу не записываем. Надеемся, что и вы не записываете.

Пиджаки сняты, ладони протянуты, лица чисты, и в этот момент автору снова приходится отвлечься от повествования, чтобы посетовать на долю русского романиста, на невозможность обойти эти вездесущие «железы» при описании современной русской жизни, на невозможность даже придать представителям этих «желез» какие-то человеческие черты, ибо и в этот вот данный момент Планшин и Сканшин ввали — записать шла.

Между тем в животе Огородникова прошла холодящая мысль: да ведь эти гаврики меня, как видно, принимают *совсем* всерьез, вроде бы считают врагом на равных. Ой, мамочки-папочки, куда затягивают! Холодящая мысль бередила кишечник, лопнуло несколько пузырей, на поверхность вынеслось легкое ворчание. К счастью, увидел отражение в дальнем угловом зеркале и подумал, что угол выбран правильно и вся мизансцена с двумя сыщиками, прямо сидящими в жестковатых креслах, и с артистом, расслабленно утопающим в диване, работает в его пользу.

Бодрящим образом заработало и тщеславие. Они меня, должно быть, считают заправилкой «Нового фокуса», иначе бы не явились. Собственно говоря, так оно и есть, хотя идея и возникла в стоматологическом центре Тимирязевского района, в разговоре двух соседей по креслам, Олехи Охотникова и Венечки Пробкина; оба были оставлены врачами после уколов новокаина. Все-таки именно я и есть заправила, хотя бы потому, что без меня эта идея не прожила бы и недели. Ну, собственно говоря, только со мной из всей нашей кодлы им и приходится считаться всерьез — с моим именем, с международными связями...

Он улыбнулся в духе только что продуманной мысли, которая из «холодящей» под давлением тщеславия быстренько превратилась в «бодрящую», и сказал:

— Я тоже вас не записываю.

Нужно ли пояснять, что Огородников-то не врал? Офицеры быстренько переглянулись, даже не переглянулись, а просто одновременно шевельнули какой-то соответствующей мышцей лица: раскладка оказалась правильной, перед нами серьезная птица — какой холодный и спокойный тон вместо предполагающегося в каждом совчеловеке перепуга и священ-

ного ужаса — как, дескать, могли подумать такое святотатство — записывать наши советские «железы»?..

Огородников же, призвав на помощь олимпийский сонм богов, приготовился к схватке. Я их сразу первым же встречным вопросом. А вы-то сами, господа, вернее, товарищи, когда-нибудь фотографировали? Вообще-то знаете, что это такое? Если уж вы за нами наблюдаете, то предполагается, что вы в курсе дела, так, что ли? Вроде бы знаете, с чем это едят и с чем это пьют, да? Стало быть, догадываетесь, что фотография — это не совсем то, чем занимаются советские классики Фарков, Фотаднюк, Фисаев? О'кей? Может быть, вообще проникаете в глубины, товарищи офицеры? Может быть, мы вас катастрофически недооцениваем? Все-таки позвольте усомниться в том, что ваша пытливость уходит к папаше Шульце с его светящейся субстанцией или еще глубже к истинным мудрецам — алхимикам, к великому колдуну Кристоферу Адольфу Болдуину, к его дымным ночам в поисках *Weitgeist*, ведь ваша идеология тогда еще не родилась, даже не подразумевалась, а мел, растворяясь в *aqua regia*, уже втягивал влагу из атмосферы и оставлял на дне реторты светящийся в темноте осадок. Ведь не будете же вы утверждать, что наши славные «железы» унаследовали архивы инквизиции, а если нет, то какого черта лезете в чужие дела?

— Ну что ж, — сказал старшой. — Начни, пожалуй, ты, Володя. Объясни Максиму Петровичу наше вторжение.

Планцин довольно драматично насупонился. Стало похоже на телепостановку по сценарию Юлиана Семенова.

— Темнить не буду, Максим Петрович, у нас *это* есть...

— Это? — Огородников несколько опешил от нажима на «это», артистическое высокомерие, не говоря уже о «предках-алхимиках», было забыто, и таким образом то, что он про себя именовал «схваткой», началось для него с афронта. — Это? Это? — запинаясь он. — У вас? Позвольте, не понимаю...

Генералу встреча начинала нравиться.

— Ну, поясни, Володя, что мы имеем в виду, а то Максим Петрович, возможно, и не о том думает.

Огородникову казалось, что рысый взгляд как бы контурирует его, малейшее смещение в плоскости и в объеме немед-

ленно контурируется по какому-то неведомому фону. Он разозлился. Что за дурацкий понт? Каким образом «это» может быть у них, если «этого» пока вообще не существует?

— Мы говорим о вашем произведении, Максим Петрович, о «Щепках»...

Планшин даже улыбнулся, когда злокозненный артист выскочил от изумления из дивана. Попрыгай, попрыгай, полезно будет, а то уж слишком загениальничались. Сканшин в этот момент подумал: «Какие джинсы у Максим Петровича хорошие...»

— «Щепки»? Вы сказали «Щепки»?

— Вот именно «Щепки», Максим Петрович, ваши собственные «Щепочки»... А вы о чем-то другом подумали? Может быть, еще что-нибудь нафотографировали... хм ... противоречивое?

Огородников плюхнулся обратно в любимую диванную продавленность. Фантастика, их, оказывается, интересуют «Щепки», о которых он и думать забыл. Прошло уже года три, как он закончил этот альбом, открывавшийся эпиграфом из песни Алешковского «...а щепки во все стороны летят! ». Альбомчик этот собирался годами, начиная еще с тех отдаленных времен, когда забубенными компаниями московские фотографии «новой волны» путешествовали на Дальний Восток в поисках «молодого героя». Так было весело в те времена, все вокруг свои, поколение «Звездного билета», принадлежность к авангарду определялась возрастом. Правда, с этой возрастной общностью уже тогда случился скандал. Однажды в Петропавловске-на-Камчатке явились на «Голубой огонек» под хорошим газом, да еще в карманах принесли пару бутылочек «чечено-ингушского коньяку».

Те, кто пригласил столичных гостей, местные «ровесники» из обкома комсомола, рассчитывали на оживленную такую миловидную дискуссию о романтике, собирались прокламировать то, что было тогда в ходу, т. е. «серости — бой!», а получился безобразный скандал. Москвичи издевались над ударниками коммунистического труда, требовали от всех «теста на иронию», возмущенного полковника погранохраны называли «пнем», потом Слава Герман плюнул в телекамеру, а Андрей Древесный свалился со стула. На следующий

день вся делегация была вымазана дегтем, вываляна в перьях и вынесена из города на шестах. Впрочем, за городом, в сопках, их тут же спасли другие, настоящие уже «ровесники», вулканологи с Ключевской, и далее «Голубой огонек» разгорелся над вулканом, как тогда говорили, по новой, по новой. Первый сейсмически опасный фотофестиваль, или как там это называлось...

Однако уже тогда, на фоне всех подобных фиест и фестивалей, в негативах стали просвечивать странные мраки. Карнавальная вереница кадров прерывалась вдруг засветкой — то ли провал в памяти, то ли, наоборот, момент пробуждения. Год за годом все собиралось — от Москвы до самых до окраин, до Колымы, до Печоры, Северного Казахстана, Норильска, Кольского полуострова, — и в конце концов возникла исторически вполне наивная фотоидея. По огромному пространству мира прошел сталинский лесоповал, перед нами земли, покрытые щепой, пробьется ли жизнь?

Разобравшись в конце концов, куда его тянет, Макс забросил кабаки и всех своих баб, выключился из выставок, как официальных, так и чердачных, года два только и делал, что бродил с «примитивкой» (так называл он свою любимую камеру), шелкал и колдовал в лаборатории. В конце концов отобралось чуть больше сотни снимков, и все как-то легко, в такой страннейшей композиции, что вызвало при первом же проглядывании некоторый морозец по коже.

Во всей коллекции, над всей щепой, доминировали два лица: сталинского какого-то ублюдка, вневозрастной и внеполовой сволочи, и послесталинского недоразвитого хмыря с вечно приоткрытым вследствие аденоидов ртом, задраченного «вечного юноши». Первый с весомостью члена Политбюро наблюдал за шахматной игрой пенсионеров на Тверском бульваре. Второй, в отчаянии и пьяный, объяснял что-то двум дружинникам и милиционеру на углу Литейного и Невского проспектов. Ни того, ни другого Макс не знал и никогда после снимков их не встречал, однако лица эти как бы в единоборстве присутствовали повсюду, то есть были там, где их не было, включая и чистейшие внеполитические сюжеты, пейзажи и натюрморты. «Беглец»,

например, угадывался в крутом повороте какой-то городской реки с пустынной набережной и маленьким каменным лионом в глубине кадра. «Охрана», например, наплывала словно газовое облако из малоотчетливого рисунка отвисших обоев над натюрмортом вполне отвлеченного характера — тарелка хороших щей, бутылка французского коньяку, «рушничок» на спинке венского стула, штопор — «спутник агитатора».

Закончив альбом, Огородников, разумеется, походил немного в гениях. Во-первых, друзья, что видели «Щепки» — числом не более дюжины, — говорили: «Макс, ты гигант», а во-вторых, сам себя очень зауважал — какова персона, усы, очки, висловатый нос, а между тем — гений! Так, по сути дела, было всегда, после каждой новой коллекции, после всех предыдущих «сомнительных», так и сейчас случилось после первой по-настоящему «опасной». Впрочем, сейчас он ликовал дольше — опасность, как оказалось, прибавляет гениальности. Однако прошла пара-другая месяцев, и радость без всяких причин потускнела, и, как обычно, гениальности малость побавилось, точнее, она приблизилась к своему обычному уровню. Все же надо было «забросить штучку за бугор», и это оказалось делом не особенно сложным.

— Нас, конечно, прежде всего, Максим Петрович, интересует, каким образом ваша работа попала за рубеж? — Рысьи глазки продолжали калькировать Огородникова, показывая, что не поверят ни одному его слову, но все же не упускающая и возможности неожиданного «раскола» с истечением мочи и слюны.

— За рубеж? Вот это новость! — Огородников на такие вопросы отвечал почти автоматически, потому что за последние три года немало его картинок выскакивало как бы случайно то в альбомах, то на выставках «за бугром» и в Союзе фотографов козлы из аппарата время от времени интересовались: как? за рубеж? Кроме служебного рвения в таких вопросах чувствовалось и искреннее удивление, как будто почтового сообщения просто не существовало. — А вот меня, товарищи, интересует другое, — продолжил он.

Тут он заметил новый мгновенный перевзгляд-перемиг гэфзушников, в перемиге на сей раз было что-то положитель-

ное, не исключено, что родимые «товарищи» так подействовали: все-таки употребляет же наших родимых «товарищей», а не «сударей» каких-нибудь, не «господ», может быть, и не до конца еще потерянный человек.

— «Щепки» — штука внутренняя, сделанная для друзей, а вот как она к вам-то попала, товарищи?

— Только не подозревайте ваших друзей, Максим Петрович, — сказал Володя Сканшин и опять как-то кашлянул в стиле Юлиана Семенова, показывая, что уж что-то, а законы мужской дружбы «рыцарям революции» ведомы. — В вашей компании, Максим Петрович, немало ведь и стукачей вращается, — брезгливость вздула некоторый пузырь на молодом лице, — если бы вы знали, сколько стукачей!

«А вот сейчас хорошо Володька работает», — подумал Планшин и улыбнулся.

— Уж если вы, Максим Петрович, недоумеваете, как за границу ваше произведение попало, позвольте уж и нам руками развести...

Он прав, подумал Огородников, давайте вместе недоумевать, товарищи. Неужели тот ярко-оранжевый «фольксваген» остался вами незамеченным? Мимо шли бесконечной чередой демоны грязи, московские пустые грузовики, была в расцвете дурная московская весна, он протянул свою папку в окошко «фольксвагена», и тот сразу с тарахтением отшвартовался, оставив его стоять поистине в недоумении — неужели вот таким образом «Щепки» в конце концов доедут до арт-агента нью-йоркского Шлемы и упокоятся в его сейфе?

Однако прежде всего надо было спросить их, а лучше самого себя — отчего такой пожар? Являться в генеральском составе по «Щепкину» душу? Ведь в самом деле не собирался публиковать, не решился, несмотря на внушительные суммы, предлагавшиеся из-за моря, а снимки-то в ящиках есть пострашнее и у Славки Германа, и у Шуза, да у кого их сейчас нет. Может быть, просто на понт берут дорогие товарищи? Может быть, все же к «Изюму» подбираются, к «Новому фокусу»? Трудно все же предположить, что для них мой альбом пострашнее «коллективки». Во все века советской власти «коллективка» считалась самой большой крамоллой и опасностью.

Впрочем, что там гадать, да и хитрость с ними бессмысленна. Мне скрывать нечего, это им есть что скрывать, это они тайная шобла, а не мы.

— Ну и что же? — не без высокомерия, вроде как бы польский шляхтич, поинтересовался. — Стало быть, считаете мой альбом «антисоветским»?

Молодой Сканшин опять с некоторой досадой поморщился, опять, дескать, не поняты благие намерения. Старый Планшин тоже чуть скособочился в этом направлении, однако не без некоторого напоминания о «лучших временах».

— Это вы уж нас несколько примитивизируете. Кто же не увидит в «Щепках» трагического разлома времен, отразившегося в творчестве противоречивого художника.

— Ого, — сказал Ого (так, между прочим, в прошлые времена дразнили его в школе). — Ого! Поздравляю! Звучит прямо как рецензия в «Иностранном фотоискусстве».

Генерал озлился. Он все же чина моего не знает, этот гад, явный гад. Надо ему все-таки дать понять, с кем разговаривает.

— В общем, чтобы было короче, Максим Петрович, мы публикации вашего альбома на Западе не допустим, в том смысле, что здесь, на родине, вам в западных гениях ходить не придется.

— Нельзя ли попонятней? — спросил Огородников.

— Можно. Если «Щепки» появятся на Западе, у вас будет только две альтернативы...

— Как это понять? — пробормотал Огородников.

— Или покаяться, публично отказаться от этой работы...

— Чего вы, конечно, не сделаете, — вставил Вова Сканшин.

«Ну, почему же?» — подумал Огородников.

— Либо хлопать дверью, — продолжил генерал.

— То есть? — спросил Огородников.

— То есть прощаться. Отправляться туда, где издается, присоединяться к Эрнсту Неизвестному, Конскому, словом, к тем, кто на родине оказался чужим. Откровенно говоря, нам бы не хотелось, чтобы советское искусство теряло такого профессионала...

Володя Сканшин снова вмешался как бы плачущим голосом:

— Вас ведь и у нас любят, Максим Петрович. Все слои общества, собственно говоря, вас ценят. Ведь вы у нас тут как бы символ всего передового...

— Что вы имеете в виду? — На этот раз Огородников был в серьезном замешательстве.

— Ну все ж таки, — как бы даже занял молодой капитан, — ведь все ж таки оптимист же вы ж... ведь не скажешь же, что пессимист же ж...

— Что касается меня, — очень сухо, явно работая на контрасте с Володей, сказал старый генерал, — то лично для меня основное значение играют...

«Значение не играют», — уныло подумал Огородников.

— Основную роль играют, — поправился генерал, — ваши корни. Славное революционное имя вашего отца, настоящие русские пролетарские традиции.

Упоминание «корней» всегда злило Огородникова, сейчас взбесило. Выброшенный опять из продавленности, он метнулся в неопределенном направлении, длинные руки и ноги под внимательнейшими взглядами чекистов будто бы произвели большое колесо. Пузыри негодования теперь вылетали изо рта, напоминая даже нечто сродни орлиному клекоту, образуя в то же время некоторую спасительную бессвязность, затемняющую картину полной уже антисоветчины, белогвардейщины, которую он тут понес.

— Корни?! Прорастание в тридцать седьмое тридцать семь раз проклятое поле?! Прерываю цепь хамских возражений! Увольте, к подземной гнили никакого отношения! Гидропонический продукт! По трубкам фотографии соединяюсь с цивилизацией! Руки прочь! Мы от Туринской плащаницы, а не от языческой гнили. Постоянно навязывается пошлятина идей, мразь борьбы! Для меня «Щепки» — метафизика, метафотография, для вас в лучшем случае — какой-то трагический разлом времен, а по-настоящему — акция, передвижная фишка в вашей сраной идеологической борьбе. Чего пугаете? Я об этих «Щепках» и думать забыл, особенно с гидропонических событий, а тут берут на понт, тычут в нос большевицкое корневище...

Таково приблизительно было содержание огородниковского клекота или бульканья, если его очистить от междометий, включающих, увы, блямкающий звук «бля», а также от разных внеграмматических звуков. Высказавшись, он подумал: «Ох, много лишнего наговорил», посмотрел в зеркало на офицеров и вдруг увидел на лицах непрощенных гостей некоторого рода просветление, спуск отходов производства.

— Можно ли это так понять, Максим Петрович, что вы не собираетесь печатать «Щепки» на Западе? — спросил Планцин.

— Да и не собирался никогда, — буркнул Огородников.

Вру или не вру? — подумал Огородников. Самому непонятно. Врет или не врёт? — прикинул Планцин. Не очень-то было понятно. Чего это он про гидропонику загибал? — озадачен был Сканцин. Непонятно, но здорово. Надо будет по словарям ползаться.

В этот, можно сказать, ответственный момент беседы в передней возникли посторонние звуки — поворот ключа в замке и постукивание каблуков. Появилась Виктория Гурьевна, вторая бывшая жена Огородникова, которая помогала ему по хозяйству.

— Вичокка, познакомься, — устало сказал он. — Товарищи из ГЭФЭУ.

Оба шевалье тут же привстали и познакомились путем рукопожатия. Володя всем внешним видом показал, что впечатлен. Валерьян Кузьмич бросил на хозяина слегка укоризненный взгляд — зачем же, дескать, так всеу раскрывать государственные секреты? С другой стороны, однако, он как бы даже и доволен — вот, как ни странно, появилось у Огорода простое человеческое отношение к их нелегкой профессии — взял и представил второй бывшей жене Виктории Гурьевне Казаченковой, 1937 г. р., проживающей по адресу...

Последняя оказалась в этой сцене совсем на полной высоте.

— Я вам сейчас кофейку приготовлю, мальчики, — глубоко женским голосом проговорила она и, топая кавалерийскими сапогами, запросто отправилась на кухню.

Мальчики! От такой простоты даже бывалый чекист малость сбоку оплыл в некотором умилении, молодой же специ-

илист выразил хорошие эмоции сильным хлопком по колену — эхма!

«Гребена платье», — впадая в острейшее уныние, подумал Огородников.

Последняя экспрессия кажется нам уместной для того, чтобы именно здесь напомнить читателю, что в основном пласте повествования Макс Огородников все еще едет в такси по направлению к центру Москвы и в данный момент машина стоит в ожидании стрелки для поворота с Ленинградского проспекта на площадь Белорусского вокзала.

С повествовательным жанром, господа, происходят шилошь и рядом неподвластные литературной теории метаморфозы. Связно и в хронологической последовательности изложенные воспоминания героя по ходу его передвижения в городском такси, по сути дела, чистейшая условность, т. е. литературный формализм. Клочковатый же, разорванный поток памяти и сознания, т. е. хрестоматийная примета формализма, гораздо ближе все же к реальности, ну, согласитесь же. Мы, однако, здесь используем более заезженного коня, жертвуем джигитовкой, до которой горазды, ради интересов читателя, ибо в этой повести и сюжет важен, не только словесные струи.

Так или иначе, но именно в ожидании стрелки для поворота вокруг памятника Горькому Макс Огородников вспомнил, как Вика, стуча кавалерийскими сапогами, пошла на кухню варить им кофе.

— Гребена платье, — вздохнул тогда Макс.

«Он прав», — подумал таксист.

Стрелка загорелась. Поехали дальше.

— Важнейшее решение вы сейчас принимаете, Максим Петрович, — говорил Планцин. — Отказ от публикации «Щепок», безусловно, будет означать, что вы остаетесь в рядах сов... — Тут произошла вдруг некоторая запинка, словно генералу вдруг почему-то не захотелось произнести любимое слово. — ...Ну, словом, в рядах отечественного искусства.

— Да я решений не принимал, просто и не собирался...

— Понимаю-понимаю. Словом, если по-джентльменски заключаем договор, если все будет о'кей, как сказал старик

Мокей (пауза для веселой реакции на шутку, легчайшее продление паузы в расчете хотя бы на улыбку — все без толку, не прошибешь, с чувством юмора у нас всегда хромало), в общем от нашей организации хлопот у вас тоже не будет. Все ваши публикации будут в порядке, и заграничные поездки состоятся. Итак, лады?

— Ну, если угодно, лады.

Только уж как бы без рукопожатий, подумал Макс. Что ж, хватает все-таки такта не лезть с ладошкой. Все же можно найти в манерах даже что-то мужское — так говорят, как будто не соврут...

Что-то, кажется, появилось человеческое в этом хлыще, подумал Планшин. А вдруг и в самом деле удастся договориться?...

— Ну вот и кофе, мальчики!

Вкатившая столик с кофеом Виктория Гурьевна застала в кабинете просветлевшую погоду, даже подобие улыбок, а мужские улыбки эту влиятельную театральную даму Москвы всегда грели, ибо воспитана она была на идеях Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Если бы парни всей земли!..

В.Сканшин с немым вопросом обратился к В.К.Планшину, и тот кивнул. Из Володиного портфеля мигом вынырнула тут нераспечатанная британская льдинка — джин Beefeater. Расчет опять оказался правильным — Огород пошел встречным курсом, вытащил из заглашника бутылъ «Армении». Со всем не дурная получилась концовка матча.

— Со свиданьем, — вполне искренне произнес Вова и, хапнув рюмаху, улыбнулся своему клиенту, с которым, сказать по правде, успел уже сжиться. — Да вы не огорчайтесь, Максим Петрович...

— Да я и не огорчаюсь, — пожал плечами клиент.

— Однако ведь художник всегда хочет...

— Хочет, — по-деловому поправила Виктория Гурьевна.

— Спасибо, — поблагодарил Володя. — Всегда же хочет свое детище показать интеллигенции. Или я не прав?

— Максим Петрович немножко нашу интеллигенцию переоценивает, — сказал генерал. — Эти-то с университетскими значочками — интеллигенция? Думаете, они аплодировать вам будут за «Щепки»? Нет, Максим Петрович, не пой-

мет вас интеллигенция, растерзает. Конечно, альбом ваш — выдающееся произведение искусства...

«...отнести ли это за счет джина с коньяком?..»

— ...и давайте, товарищи, не будем его окончательно хоронить. Будем ждать!

— Чего ждать? — вздрогнул Огородников.

— Как чего? — вздрогнул Планшин. — Ждать, когда созреет наша интеллигенция.

— О чем речь? — спросила тут Виктория Гурьевна.

— О фотоискусстве, — пояснил ей вполголоса Володя.

— А-га, — дама слегка отпала.

— Вот говоря о фотоискусстве, — Планшин, как бы сдувая пылинку, легчайше притронулся к мосластому колену, — как вы, Максим Петрович, оценили бы современное его у нас положение?

Макса вдруг словно острейшая тошнота поразила, такой пошлятиной вдруг вывернулась вся ситуация. В собственном доме пью с сыщиками; хитрю ли (?), трушу (?), дерзко ли блефую? Да неужели же никогда нам из-под них не выкарабкаться? Никогда? Под ними всегда? Под хеврой?

— Какое еще там искусство, — грубо сказал он. — О каком еще искусстве вы можете говорить? Какое может быть искусство, если им занимается тайная полиция?

Он встал и отошел к окну, давая понять, что время истекло. Не слишком ли спедалировал, спросил он тут же себя. Впрочем, их ведь еще паханок учил, что с талантом надо обращаться осторожно, как с красивой и глупой блядью.

Планшин сделал Володе знак — сворачиваться. Успех сегодня достигнут большой, диалог начался, дальше пока развивать не стоит, а то еще сорвется сом с крючка.

— Уж тоже вы скажете, Максим Петрович, — полиция... Где же вы тайную-то полицию увидели... ну ладно, спасибо за гостеприимство, как говорится, этому дому, пойдем к другому...

— Максик, пока! — точным приложением ладошки снимающая зевок, сказала Виктория Гурьевна.

— Ой, Виктория Гурьевна, вы, должно быть, всех театральных знаменитостей знаете? — спросил ее по пути к лифту восторженно посапывающий Володя.

— Ну, как вам сказать... — Виктория Гурьевна начала тут что-то утробно напевать. Вся жизнь дамы прошла, как в Москве говорят, «на театре», последние пять-шесть лет вообще на высокой позиции в Центральной театральной кассе. Она, конечно, переспала со множеством знаменитостей и при упоминании какого-нибудь имени обычно начинала что-то с хорошим юмором утробно напевать. — Как вам сказать? Всех ли? Всех ли?

— Товстоногова, Михаила Шатрова? — заглядывал ей в лицо молодой человек.

— Над Россиею-ю-ю небо синее-уу-уу...

Выйдя за «молодежью», Планцин уже возле лифта подумал, что слишком простенько все как-то получилось, как-то слегка не на уровне, что-то все-таки необходимо добавить к картине дня...

Лифт пошел вниз без него, а он вернулся к огородниковской двери. Она была еще не заперта. Генерал проник внутрь и увидел длинную спину с выпирающими лопатками. Запустив обе руки в разваливающиеся патлы, Огородников стоял у стены в прихожей и как бы подвывал; слышалось что-то вроде «па-а-адлы-ы-ы».

Генерал тоже прислонился к стене, только к противоположной, вынул портсигар, постучал папироской по крышке. Он видел свое отражение в каком-то зеркале в глубине квартиры и понимал, что Огородников заметил его возвращение, хотя и не поворачивается.

— Не мог уйти, не сообщив вам одну малоприятную штуку, Максим Петрович... коллеги наши... ну, за океаном... внимательно вами занимаются... разрабатывают вас... после крушения диссидентов там решили намывать новый слой оппозиции внутри нашего общества... из писателей и фотографов, работающих на грани лояльности...

— Бре-е-ед, — промывчал Огородников, как бы вытаскивая голову из-под бормашины. — Кому я там нужен?

Генерал Планцин наблюдал за ним с отеческой симпатией. Немало он видел на своем веку подозрительных, но этот один из лучших.

— Как-то вы себя принижаете, Максим Петрович. За такого большого художника стоит побороться. Вот скажите,

встречался ли вам в ваших странствиях некий такой Клиффорд Зусси?

— Встречался, — сказал Огородников, хотя, конечно, никогда не встречал человека с кошачьей фамилией Зусси.

— А Веронику Фрондаик знаете? — сощурился Планцин.

— Знаю, — сказал Огородников, хотя никогда ничего ближе Анели Торндайк, лауреата Ленинской премии имени Хрущева, к этому звуко сочетанию даже и не слышал.

— А Грибовича Михаила Марковича?

— Наверняка встречал.

Макс оторвался наконец от стены, повернулся и как бы слегка навис над генералом.

— Прикажете понимать как допрос?

— Да что вы, Максим Петрович! — Генерал широко развел руками, словно «трехрядку» растягивал. — О вашей же безопасности заботимся, вернее, о вашей репутации. Старайтесь, Максим Петрович, держаться все же в стороне от этой публики, что бы она ни сулила... Это просто мой вам *личный* совет... Ну, вот и все, Максим Петрович, вроде бы все, ах нет, простите, вот еще... Личико-то там у вас в «Щепочках» запечатлено очень знакомое. Сталинский-то персонаж. Между прочим, этот человек жив и по-прежнему работает у... у нас...

— Это не вы? — Огородникову показалось, что у него кожу свело на лице от напряжения.

— Нет, это не я, — глухо и мрачно сказал генерал, весь будто налился чугуном, охотно показывая свое настоящее чувство к фотохудожнику.

На этом они наконец расстались. Оба испытывали странное удовлетворение, ибо мрак и сдержанное рычание все же показались им обоим более естественными метеоусловиями для «концовки матча». Генерал отправился анализировать воровские пленки, а Огородников с бутылкой в кармане помчался к корешу Шузу Жеребятникову и, между стаканами, все ему выложил с деталями и в лицах.

— Шиздец, — сказал могучий, блатной и хиповый мужик Жеребятников, главное лицо «Нового фокуса», гордившийся тем, что у него, в отличие от остальных интеллигентиков-«фокусников», был настоящий лагерный стаж — отбухал пятак уже после Сталина за попытку срыва выбо-

ров в Верховный Совет Молдавской ССР. — Шиздец, Огороша, запахло «фишкой», все окна открывай, не избавишься. Это как раз не коллеги заокеанские, а сама «фишка» взяла тебя в разработку, «коллегами» на понт берет, пугает — дескать, можем и шпионаж вжучить. Теперь, плять буду, они с тебя zenки не спустят ни на минуту и дровичь тебя будут повсеместно, а джентльменство ихнее сухой шандавошки не стоит.

В подвале у Жеребятникова, где шел этот разговор, у Макса отказали тормоза: и руки пошли ходуном, и кожа покрылась адреналиновой слизью. Куда, куда меня затягивает? Где моя фототехника, где мои женщины, была ведь когда-то жизнь чиста и немногословна.

Шуз, кажется, понял, что происходит с Максом, хотя обычно мало обращал внимания на окружающих, залепил ему леща под лопатку и одобрил любимым словечком «небздимо».

— Вспомни триаду классика, гребена плать: «Не верь, не бойся, не проси!» Это ко всей «гэбухе» относится, включая и нашу «фишку».

Невероятной ширины мужлан с седыми кудрями до плеч, на шее переплетение золотых цепочек, на правом кулаке пара массивных перстней с печатками, впору челюсти ломать такими перстнями; что за человек такой, всю жизнь не верит, не боится, не просит... Огородников ободрился — буду и я таким.

— Одного я только не секу, — сказал Шуз. — Почему они про «Изюм» ничего не спросили? Не может быть, чтобы уже не пронюхали. Ладно, небздимо, Огороша!

Они отправились в «Росфото», сильно пили весь вечер и под конец увели, конечно, девушек. Хотелось, чтобы все было как всегда, но все было уже по-другому, и даже с девушками в ту ночь спалось как-то плохо, мешала, конечно же, дурная мысль — а вдруг стукачки?

Какие все-таки падлы, какие крысы, как они прогрызают все это общество, как они растлевают всех и каждого... шестьдесят лет... деструкция такого масштаба... — думал Огородников.

Москва за грязными стеклами такси текла мутной массой. Возле Дома кино мелькнуло скопление лиц.

«Он прав, — думал шофер. — Этот кадр абсолютно прав. Хорошего кадра везу, это факт...»

VI

После весеннего визита прошло уже полгода, и за это время все отличным образом проверилось. Шуз оказался прав — «фишкино» джентльменство тянуло как раз на названную им цену. Прежде всего они наглухо заблокировали все огородниковские выезды — одна за другой рухнули поездки в Нью-Йорк (по линии СФ СССР), в Милан (по линии Госкино СССР), в Париж (по линии ОВИРа, просто детишек повидать от третьей бывшей жены Надин Шереметьефф), то есть по всем линиям. Объяснения всякий раз давались нелепейшие, или совсем никаких не давалось.

«Признано нецелесообразным», да и все тут. «Фишка» как будто не только не скрывала, но как бы даже демонстрировала свой почерк, а то и мордашку свою высовывала, сморщенную в зловещем лукавстве.

Как-то махнул Огородников к своей нынешней законной супруге, гляциологу Анастасии, в университетский поселок под Эльбрусом. Всю ночь воспаряли, ликовали на высокогорный лад, а утром глянули из окна и сразу увидели пару нелепейших идиотов в одинаковых шляпенках. Они прохаживались по дощатому тротуару и поглядывали на их окна с похабными улыбочками.

В другой раз как-то отправился Огородников в Шереметьевский аэропорт встречать заокеанскую знаменитость Александра Спендера с женой и дочкой. Вдруг, бац, какая неожиданность, в зале ожидания скромный рыцарь революции Вова Сканшин за чашечкой кофе. Присаживайтесь, Максим Петрович. Вот, в самом деле, как бывает: зайдешь кофейку принять и хорошего человека встретишь. Улетаете куда-нибудь за рубеж? Кисленькое молочко в глазах куратора то и дело сменялось хулиганской прохладцей. Спендера встречаете

Александра? Хорошее дело. А что же этот мистер Спендер-то не из наших ли коллег будет, а, Максим Петрович?

У Огородникова даже челюсть затряслась в отвратительном чувстве. Как же это вы, Владимир, фотографией ведь все-таки занимаетесь и не знаете Александра Спендера?

К чести капитана Сканщина надо сказать — никогда не обижался он на критику невежества. Краснел, конечно, но делал соответствующие выводы. Спасибо, Максим Петрович, за критику, в дальнейшем учту.

Огородникову ясно стало, что только ради вопроса о «коллегах» и прикатил в аэропорт Сканщин. Шуз прав — разработка продолжается. Щупают, давят, шьют...

Однажды, в творческом блуждании с камерой, под Троицу, под московскими дождями он познакомился с милейшей задумчивой девушкой, ну прямо из французского кино. В постели она оказалась совсем чудесной: едва о чем-нибудь подумаешь, тут же это тебе предоставляется. Не был бы женат, женился бы, подумал Макс по своему обыкновению, засыпая. Проснувшись, девушки рядом не обнаружил, исчезла, как Золушка, экая прелесть, такой такт, как будто знала наперед, что у меня с утра настроение говенное. Вдруг услышал внизу под антресолями шорох и шепот. Подкатился к краю, посмотрел из-за перил. Девушка, пальто внакидку, листала тайные его альбомы и что-то нашептывала в телефон. Ах! Увидев свисающие меж перил усы и космы, пенсне на ниточке, ахнула в театральном ужасе. Застучали по лестнице каблуки. В окне за палисадом ждала ее серая «Волга», молодчик в блейзере за рулем, если не Сканщин, то его молочный брат. Шпиончка подбежала, оглянулась на окно, хохотнула дерзостно и нырнула на заднее сиденье. Еще один ход конем. Браво, товарищ генерал!

В почтовом ящике однажды обнаружился занюханный конвертик с рисунком ко Дню артиллерии — булыжное рыло воина и хвостатая сука — ракета. Внутри текстик на машинке:

«Жидовский подголосок Огородников! Имеешь ли ты право называться русским фотографом, обделывая свои гряз-

ные делишки с Фишером, Цукером, Златковским, Серебровским, Германом? Прекрати свою позорную стачку с жидами, иначе Родина покарает ублюдка!

Русские патриоты» .

Огородников сначала лишь задыхался от ярости и ничего не соображал. Потом стал накручивать телефон, всей Москве зачитывал текст анонима, орал, что сейчас же — в «Нью-Йорк таймс» и в агентство Рейтер, пусть все знают, как шантажируют, пусть записывают каждое слово, скрывать нечего, ненавижу эту падлу, вонючую Степаниду, моя Россия другая, она — не советская! Макс, Макс, увещевали его, да что ты так распсиховался, да таких писем сейчас полно, да брось ты его в сортир...

Вдруг резкий раздался в паузе характерный звоночек. В голосе генерала Планщина звучала металлическая ниточка сильной и верной дружбы:

— Можете быть уверены, Максим Петрович, авторы провокации будут найдены и понесут наказание.

Сбоку на линии подрабатывал Сканщин голосом обиженного теленка:

— Да я эту шпану из-под земли достану, Максим Петрович! Куски говна, позорят нашу интернациональную идею...

Огородников тогда спросил неприятнейшим голосом:

— А что имели в виду авторы провокации, вы не можете мне объяснить? Может быть, «Новый фокус»? Может быть, наш коллективный альбом «Скажи изюм!»? Как прикажете толковать «жидовскую стачку»?

В телефоне возникла и расширилась неопределенная пауза. Потом забормотал Сканщин: что-то я вас не особенно... о чем это вы.. Новая пауза. Планщин: в таком тоне как-то трудно с вами разговаривать, Максим Петрович. Отбой. Неназываемое было названо.

«Неназываемое», так сказать, то есть вот именно названный в том телефонном разговоре злокозненный альбомчик, за прошедшие шесть месяцев сильно продвинулся вперед и превратился уже в альбомище. Изготовлено было двенадцать копий размером с хорошую кладбищенскую плиту, и оформлено все было в соответствии с культивируемой Олехой Охот-

никовым «эстетикой бедности», то есть с завязками из ботиночных шнурков, с обложкой из рогожи, в общем красиво.

Двенадцать и не больше, господа, объяснял участникам альбома самый опытный их друг Григорий Автандилович Чавчавадзе. Советская конституция, господа, легкомысленно закрепляет у нас на территории свободу печати, однако, вообразите, какое бы вышло свинство, если бы граждане следовали своей легкомысленной конституции. Граждане, однако, знают, что изготовление текстов или фотоальбомов числом более дюжины карается как нелегальная акция сродни самогоноварению. В Прокуратуре СССР именно такая существует для внутреннего пользования инструкция.

Собравшиеся поаплодировали. А нам больше и не надо, чем двенадцать. Первое советское неподцензурное фотоиздание тиражом двенадцать экземпляров. Хотят этого или не хотят, а все равно будет веха в истории. Так мы им и скажем с голубыми глазами — вот наше первое издание, хотите, издайте в типографии, не хотите — перебьемся.

Шуз Жеребятников тут «вставлял в ствол», по его выражению. Не исключаю, пацаны, что козлы наши примут «Изюм» к изданию. А что им остается делать, если не принять и не попытаться замусолить? Почему «фишка» только ходит за нами и нюхает? Почему не обратали нас с самого начала и весь наш тираж не разжужачили? Очень феровая для них ситуёвина сложилась с «Новым фокусом». Конечно, меня замести им ничего не стоит, как и Цукера, как и Васюшку, даже и Веньку с Охотой заметут не дорого возьмут, а вот на Огороде обжечься можно, а Древесо как взять, а Эмму, а Георгия Автандиловича, прости, кацо, с его иконостасом боевых наград? Шухер-то начнется же неимоверный. По ходу дискуссий все общество, разумеется, «злоупотребляло» спиртные напитки и с каждой бутылкой все дальше отходило от тактических соображений, все ближе подходило, как говорил Олеха Охотников, к «нутряному скотству».

— Что же нам, господа, с «фишкой», что ли, противоборствовать? — спрашивали они друг друга. — Низменная идея, не так ли? Это пусть литераторы со своей «лишкой» противоборствуют, потому что они все выдумывают, искажают нашу прекрасную действительность, а от них хотят, чтобы они по-

меньше или побольше выдумывали. А ведь мы, господа, ничего не выдумываем, правда? Наше дело — чикать, не так ли? Увидел какую-либо натуру, достойную быть увиденной, увидел на ней определенный свет, соответственные тени, говоришь натуре: «Внимание, сейчас вылетит птичка, скажи изюм», и — чик! Ведь если «фишка» хочет или хочет — как правильно? — чтобы фотография изменилась в их пользу, им надо просто натуру изменить в свою пользу, вот и все. Ну, а наши интимные отношения с эмульсией — это, в самом деле, никого не касается... Пусть лучше за своими фотоклассиками следят, которые постоянно большими пальцами в проявителе дробчат для сочетания реализма с романтикой, то есть для засирания природы...

Все идеи в «охотниковщине», то есть в незаконно занимаемой жилплощади кооператива «Советский кадр», высказывались громогласно, подчеркнуто с пренебрежением к слушателям «фишки», за исключением одной — заброски «Изюма» за бугор. Слабо надеясь на благоразумие «козлов», все имели в виду основную альтернативу — издание альбома в Париже, Милане, Нью-Йорке. Не говорилось, но подразумевалось, что Ого все устроит. Кому же еще, как не Максусу с его связями за занавеской, с его языками. И в самом деле, Огородников художественно мог объясняться на всех основных европейских языках. Сподвижник Ильича по цюрихским кондитерским, его папаша, обучал своих наследников языкам в расчете на продвижение мировой революции. С Октябрем расчет явно оправдался, а вот с Максимкой, увы, нарушился поступательный ход истории, можно было бы его знаниям найти лучшее применение. На этом рассуждении и в умилительной тревоге за чехословацких товарищей Огородников-старший отбыл в отсутствующий мир иной, не дожидая ни до очередной славной страницы в истории своей партии, ни до позорной страницы в жизни своего младшего сына.

А позорная страница уже разворачивалась в полную ширину. С привычным унынием чуть ли не каждое утро Максим смотрел из окна на серую «Волгу» и двух хмырей в ней, как бы читающих газеты. В этот вечер, подъезжая к Арбатской площади, он подумал, что, по сути дела, впервые за долгое время остался без хвоста. Его вдруг охватила какая-то неадек-

ватная дикая радость, как будто в Москве отсутствие хвоста открывает перед человеком большие приключенческие возможности.

— Останови возле «Праги», друг, — попросил он шофера и, выходя уже из машины, подмигнул сумрачному парню. — Вот такие дела, друг.

— Согласен на сто процентов, — сказал шофер. — Гнать надо поганой метлой всю эту лавочку.

Итак, поездка нашего героя на такси, начавшаяся возле Речного вокзала и потребовавшаяся для того, чтобы информировать читателя о предшествовавших событиях, а также для того, чтобы убежать от соглядатаев, заканчивается на Арбате, возле ресторана «Прага», ибо больше она нам не нужна ни для той, ни для другой цели.

Можно было бы, конечно, перестать огород городить, махнуть рукой на всю эту фотографическую историю, последовать, в порядке экзистенциалистского эксперимента, подчиняясь одной лишь логике — логике хаоса, вслед за таксистом в его озлобленный против власти таксопарк, увы, профессионализм нас туда не пускает, напоминает о необходимости и дальше плести сюжет, имея перед собой основную задачу при писании авантюрных романов — начать и кончить.

Признаться, в эмигрантском отъединении от родного языка недурно было бы вспомнить ключевую фразу прежней жизни — «Всего делов-то начать и кончить!».



ДРУЖБА

I

Итак, Огородников оказался в суетливой толпе возле «Праги». Из всех дверей образцовой столовой Нарпита, столь щедро описанной двумя одесситами, валил пар, туда вбегало все больше народу: был щедрый вечер, внутри что-то давали. Максим Петрович в возрасте своих превосходных сорока двух стоял на углу и наслаждался незаметностью. Никто не обращал внимания — какое благо! За спиной у него в нише помещалась огромная чугунная ваза эпохи позднего сталинизма. Ее присутствие на Арбатской площади и в юности грело душу — казалось, что в случае чего (чего? чего?) можно в этой вазе отсидеться, перекурить — да вот и сейчас уже в своих превосходных сорока двух он не без удовольствия ощущал за спиной чугунное убежище.

Кое-где над площадью висели фонари, под ними виден был моросняк, а когда глаза привыкли, различились на противоположной стороне зубчатые башни бывшего дворца мецената Мамонтова, нынешнего Дома дружбы с народами зарубежных стран, внутри которого размещалось соответствующее учреждение, осуществляющее дружбу нашего внутреннего народа с народами внешними, Комитет обществ дружбы. Огородников некоторое время смотрел на башенки, не мог отвести взгляда. В бессмысленном пейзаже вдруг возникло ощущение какой-то смутной идеи. Берлин! — вдруг возопил он и далее, не рассуждая, ринулся в подземный переход, расталкивая «сограждан усталых», проскочил под площадью, вынырнул, рва-



нул резные двери и оказался внутри дворца. Снимая плащ в гардеробной, перевел дыхание. Берлин, шептали по Москве три брата, Берлин, Берлин, Западный Берлин...

Год или около тому назад ему повстречался старый друг по бильярдной Никита Буренин, консультант по дружбе с населением обеих Германий и Западного Берлина. Паааслушай, Макс, хочччешь, я ттебя в ппплан на гтод вппперед вставлю? Каккая-то разшиздяйская конференция какккой-то загребистой ассоциации пппролетарского исссскуства имени Эрнста Ттттельмана ссссовместно ссс молодыми социал-ххххристианами ззза Европппу беззззз грраниц... Хочешь в Западный Берлин, короче, пппрокатиться?

Вялый и длинный, вечно такой вельветовый, коричневатый, Никита был в тот вечер до похабнейшей уже степени ослаблен и заикался сильно сверх своей меры, стало быть, перебрал уже за пол-литра. Огородников, конечно же, спешил, согласился, тут же забыл и вот только лишь сегодня вдруг — словно рожок где-то протрубил — вспомнил, и его вдруг осенило — а вдруг?

Ангелы меценатства давно уже отлетели от мамонтовского дворца, в нем воцарился с претензией на вечное проживание смутно ухмыляющийся демон дружбы. Из-под дверей в деловом коридорчике трещали пишмашинки, бубнили телефонные голоса.

Паспортистка выездного отдела Людмила Терентьевна сидела спиной к двери, ну, и, как обычно, проворачивала что-то свое важное по телефону.

— ...погоди, Валентина, ты же вчера говорила о сиреневой, а сегодня, родная моя, бэж... ну... ну... а ты сама-то как считаешь?.. голубая?.. Фээргэ?.. А Югославия?.. Япония, родная моя?.. Нормальночка... а насчет бэж?

За прошедший год задница Людмилы Терентьевны еще больше округлилась. В углу комнатенки у батареи сушились черные, так называемые «чулковые» сапоги, при надевании обращавшие ножки Людмилы в подобие рояльных. В настоящий момент дама пребывала в пушистых ваннх шлепанцах, тоже «не наших». Даже в этом учреждении, где мухи дохли на лету, Людмила Терентьевна была известна своей ленью и неповоротливостью. В прошлом Огородников не раз ускорял

се движения, а следовательно, и получение загранпаспорта при помощи то загранкосметики, то загрансумочки, однажды даже загрантуфли принес, не подошедшие четвертой жене М. Васильевой. Этим «сувенирчикам» Людмила Терентьевна радовалась, как дитя, и действительно начинала подавать своей застоявшейся в московской торговой белиберде «попе» ускоряющие команды.

В общем и целом, дама сия благоухала, как кустодиевская купчиха, и имела в мужьях какого-то солидного гэбэшника.

Войдя, Огородников прервал трикотажную тему путем поцелуя в свежую мочку правого уха. Смешно сказать, но эротический живчик мигом проскочил в цветущие недра, и паспортистка вздрогнула.

— Ах! Валентина, родная моя, я тебе перезвоню. Ах! Максим Петрович, как же это вы? Солидные товарищи, а как себя ведут!

Вздыхали под мохером Валдайские холмы, каким позавидовала бы и сама царица Российской Федерации Людмила Зыкина. Тоненькие брови полезли вверх, в поросячьих глазках засияло. На ладони визитера лежала увесистая, обтянутая крокодиловой кожей газовая зажигалка.

— «Ронсон»!

— Он самый. Вашему мужу ко Дню Конституции, с прошедшим праздником!

Двумя пальчиками зажигалка была поднята с ладони, как редкое насекомое.

— Вот это фирма! Вот ведь умеют же! Вот будет рад Николай!

Огородников уселся рядом.

— А я, знаете, Людмила Терентьевна, так в этом году заездился за рубежом, что едва про наш Берлин не забыл, Людмила Терентьевна...

Паспортистка ахнула. Да разве ж вам Ника не звонил, Максим Петрович? Это ведь просто ж такая халатность. Чего ж еще ждать от Буренина?

Сунулась в какую-то папку, зашелестела, в другую, зашелестела, потом — боги Олимпа! — оторвалась от сиделища, открыла ящичек в секретном шкафчике. Что же там у нас с этой конференцией?

— А паспорт-то готов? — небрежнейшим тоном, хоть и замерло все в животе, спросил Огородников.

— Паспорт? — Людмила Терентьевна тяжелым взглядом уперлась в Огородникова, потом развернулась к другому шкафу с алфавитом на ящиках-ячейках и вдруг радостно взвизгнула, обнаружив в секции О-П-Р искомое. — Вот ваш паспорт-точек, Максим Петрович! С апреля лежит готовый.

Тут она чуточку растерялась, что выдала такой государственный секрет, поджала губки, дескать, не сообщала, потому что не положено, но потом, видно вспомнив о «ронсоне», подмигнула по-свойски.

— Вы же знаете, как у нас любят людей томить. Вот, распишитесь в получении, Максим Петрович.

Потрясенный Огородников держал в руках загранпаспорт, выданный по ведомству Дома дружбы. В Госкино и в Союзе фотографов заведены были на него отдельные паспорта. Всякий раз перед поездкой соответствующее ведомство выдавало ему паспорт, чтобы потом забрать для передачи в соответствующие глубины секретного гиганта СССР.

— На когда вам билет заказывать?

Напряжение сказалось, он пробормотал что-то несуразное — билет? просто так, взять и заказать?...

Людмила Терентьевна ничего подозрительного не заметила. Совсем уже как своему она излагала:

— Вообще-то, с этой конференцией в Западном Берлине не порядок. Ника Буренин все пустил на самотек. Знаете, из ЦК ВЛКСМ прислали двух периферийных, чем они там думают... Знаете, Максим Петрович, я вам устрою индивидуальный билет. Один полетите. Значит, на когда?..

— На завтра, — сказал Огородников, но спохватился, расслабился. — Или, пожалуй, на послезавтра...

— На послезавтрачка, — пропела Людмила Терентьевна, открыла какой-то свой грессбух и вдруг задумалась, потянулась к телефону.

Огородников вытер пот со лба.

— Увы и ах, на послезавтра у нас рейса аэрофлотовского нету. Давайте в четверг поедem, Максим Петрович?

— ОК, а за билетом я завтра заеду, Людочка...

— Ох, гоните вы меня, Максим Петрович, ой, гоните...

— Завтра заеду и духи вам привезу авансом к празднику Восьмого марта. «Мадам Роша» вам по душе?

Людмила Терентьевна просияла.

— Ну и прекрасночка! Завтра утром за билетом вашим прямо поеду! — Затем она в лучших традициях потупилась. — Щекотные у вас усы, Максим Петрович, такие, уж право, усики...

— Опасная женщина, — томно тогда прогудел Огородников, как бы оставляя тему открытой.

Все еще ошарашенный, вздрюченный до звона, он выскочил на Калининский проспект. Мелкая сволочь-дождь посыпал его голову, вокруг был общий ноябрьский, то есть великооктябрьский сволочизм, но из-за отдаленного шпиля гостиницы «Украина» вдруг пустила закатный лучик матушка Европа. Неужели так грубо лопухнули товарищи? Все пути перекрыли, а ДД прохлопали? Неужели проскочу?

Прежде всего — никому ни слова. Немедленно появиться у всех на глазах, чтобы «фишка» не волновалась и не искала. Тут же помчался он в «Росфото», весь оставшийся вечер колобродил там от стола к столу, торчал в баре, рассказывая брежневские анекдоты завязтым стукачам, и девочку подклеил — пробы негде ставить, известную всем сотрудницу Виолетту. Ночью в «творческой лаборатории» на Хлебном признался Виолетте в любви, пообещал немедленно развестись с женой Анастасией, которая хоть и хороша, но холодна, как глетчер, среди глетчеров и проживает, вот пусть и ищет там йети.

Виолетта изумленно на него посматривала — неужели, мол, не знает, кто я такая? — однако принимала мечтательные позы, когда он освещал ее своими лампами и щелкал из разных углов. Крамольная мысль иной раз, как ветер, проходила по ее волосам и лицу — а не завязать ли с «железами»?

Утром он повез ее на Центральный рынок и купил огромный букет роз по три пятьдесят штука. Лучше бы сапоги купил, болван, на эти деньги, подумала циничная Виолетта, но все-таки была впечатлена — какое кавказское благоухание!

Слежки за собой он в тот день не заметил, однако, расставшись со стукачкой, он сразу помчался в Дом дружбы и сделал несколько отвлекающих маневров: оставил машину на паркинге ТАССа, зашел в кассу кинотеатра повторных фильмов, потом в Дом культуры медработников, потом в театр

имени Маяковского, потом в комиссионный магазин, потом в общежитие ГИТИСа, откуда служебным ходом выскочил в пустынный переулок.

Поразительно, но в «Дружбе» все было готово: билет в Берлин, командировочное удостоверение, жалкая командировочная валюта, — словом, все, что нужно для вояжа советского «деятеля культуры».

Никита Буренин ждал его в своей комнатенке по соседству с кабинетом роскошной паспортистки. Длинные ноги в вельветовых штанах и мягких туфлях протянулись от стены до стены.

Вечный мальчик-холостяк Ника чем-то даже смахивал на самого Огородникова, оба принадлежали к редкому типу высоких, тощих и длиннолицых русских. Он идеально знал все диалекты германской речи и в принципе мог претендовать на хорошую карьеру, скажем, в дипкорпусе, однако год за годом и в общем-то уже десятилетие за десятилетием сидел в своей каморке в качестве консультанта Комитета обществ дружбы с зарубежными странами по вопросам дружбы с народами германоязычного мира на ста восьмидесяти рублях месячного жалованья.

Напиваясь иногда (впрочем, не чаще чем раз в месяц) в каком-нибудь творческом клубе, Никита говорил собутыльникам: «В моем прошлом, старички, есть нечто постыдное, есть такая гадость, что иногда противно смотреть на себя в зеркало». При затуманенных глазах и кривой улыбке проносилось это таким странным тоном, что можно было предположить даже некоторое хвастовство. Собутыльники, однако, никакого любопытства к постыдной тайне Никиты Буренина не выказывали, ну-ну, давай-давай, будто бы само понятие «прошлое» несовместимо с вельветовым человеком.

Пока жива была единственная его близкая душа, интеллигентная мама, Никиту еще пускали в поездки, в ГДР и Берлин, а иной раз даже и в любезную его сердцу Федеративную Республику, но после маменькиной кончины все поездки для него прекратились. «Объяснили мне, старичок, что не могут выпускать б-б-без як-к-корей. Нормально, старичок. У меня ведь и в самом деле не осталось як-к-корей»...

Огородников симпатизировал Буренину, и, без сомнения, взаимно.

Вот и сейчас они симпатизировали друг другу, сидя в маленькой комнате и вытянув длинные ноги в опровержение теории Лобачевского. Буренин объяснял Максу порядок проезда в Западный Берлин. Ты прилетаешь в гэдээровский Шенефельд. Там тебя встретят светлые личности из нашего консульства в Западном Берлине...

— А без них нельзя обойтись, Ника? — лениво спросил Огородников.

— Спокойно, Макс. Одного тебя восточная стража не пропустит за стенку. Это такой порядок, старичок, для проезда наших делегаций. Я уже в консульство звонил, полный хоккей, Макс. Тебя встретит такой Зафалонцев, между прочим, не полный дундук, знает твои картинки. Он провезет тебя через Чекпойнт-Чарли, а там уже передаст этим мудацким западноберлинским пролетариям, которые засунут тебя в какую-нибудь вшивую гостиницу в Шарлоттенбурге...

Улыбка Буренина показалась Огородникову жалкой, вдруг в позе расслабленного, вечно молодого человека проступила какая-то обреченность, взгляд бессильно скатился с лица собеседника к вельветовым кулуарам собственных штанов.

Уж не думает ли он, что я сбегу в этом Западном Берлине?

Уж не думает ли он, что я думаю, что он сбежит, с понятным унынием и непонятым стыдом думал консультант. Неужели он догадывается, что я догадываюсь, что его поездка — это просто ошибка соответствующих органов? Знает ли он, что я знаю, в каком хреновом положении его дела?..

— Как, вообще-то, твое ничего-себе-молодое, Ника? — спросил Огородников. — Не обзавелся еще якорями?

— А зачем, Макс? Зачем мне теперь якоря? Скоро уже полста набегит. Я, между прочим, старше тебя на пятак... Зачем мне якоря? В Германию ездить? В Австрию? Хочешь честно? Надоела мне и Германия, и Австрия не меньше, чем... — Он хмыкнул и, не глядя в глаза, хлопнул Огородникова по колену. — Квач унд шайзе. Будь здоров, Макс.

Они попрощались.

Следующий день Огородников весь колобродил со своей новой «невестой», хорошенькой стукачкой Виолеттой. Отку-

да вдруг такое пристрастие, удивлялась сдержанная девушка. Он ей объяснял словами классика: «В тот день тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову...» Понимаешь? Кажется, понимаю, шептала она, отворачиваясь.

В конце дня он даже привез ее к «новофокусникам», то есть на квартиру Охотникова. К счастью, в тот вечер завалилось не так много народу — Фишер, Васюша Штурмин, Андрей Древесный, бледный и замкнутый в очередном приступе величия, Стелла Пирогова (разумеется, со свежим пирогом), Цукер, Марксытников и Венечка Пробкин... Последний с изумлением смотрел на нежно гугукающихся Максима и Виолетту, шептал друзьям: что это с нашим шефом, кого притащил, да ведь этого кадра в Москве все знают как облупленную, я и сам ее колупал...

Охотников под водку и отвратительные охотниковские пельмени с луком, нисколько не смущаясь, рассказывал девице об альбоме «Скажи изюм!». Затем сказал товарищам, что нужно обсудить важнейшее дело, и не позже чем завтра. Виолетта тут закрыла глаза и откинулась на диване, давая понять, что ее эти важнейшие дела совсем не интересуют, а Огородников попросил Олеху собрать побольше народу на тот час, когда предполагал уже быть в Западном секторе.

Затем влюбленная пара оставила «новофокусников» и отправилась по соседству к старому другу, скрытому «либералу» с круглым глазом. Короткий путь оказался долгим, ибо по дороге не менее десятка раз останавливались с затяжными поцелуями, а потом еще из глубокого кармана английского плаща извлечена была бутылка шампанского, с шумом откупорена и опорожнена способом «играть горниста» и с громогласными провозглашениями любви. Капитан Слязгин поскрипывал зубами в своем рафике.

Ввалились к «либералу». Голуба, мы гудим! Открывай свой иконостас. Либерал опешил — открыть «иконостас», вот эту красочную коллекцию импортных напитков? Помилуй, Макс, да ведь это же просто экспозиция, просто-напросто поп-арт! Открывай, сукин сын, ты мне друг или портянка, за мной не заржавеет, выпьем за любовь! И пока «либерал», кряхтя, вытаскивал из «иконостаса» что-то самое неценное, какой-то вермут югославский, кружились с Виолеттой в танце, сбро-

сив туфли, по болгарскому ковру, мимо рабочего стола, где сочиняемая в текущий момент статья о творчестве Александра Спендера прервана была на фразе «Трагический разлом времен отразился в творчестве этого противоречивого мастера». Обернувшись с бутылочкой, «либерал» никого в комнате не застал. Только из ванной слышалось шумное, восторженно срывающееся дыхание двух столь бесцеремонных тел.

Расставшись в час ночи с Виолеттой, Огородников подъехал к зданию Центрального телеграфа. Там на лестнице его ждал Шуз Жеребятников. Странная фигура. Седая артистическая грива падала на плечи тяжеловеса, а на глаза была надвинута блатная восьмиклинка. Они вошли в зал междугородних переговоров, где, несмотря на поздний час, полно было еще армян и грузин.

— Шуз, не падай в обморок. Завтра я могу оказаться «за бугром».

Шуз, чье имя в начале тридцатых годов произведено было восторженными родителями от дивного словосочетания «Школа-Университет-Завод», в обморок не упал.

— С концами? — спросил он. Узнав, что не «с концами», просто кивнул, но видно было, что рад.

— Шуз, у меня командировочное удостоверение, в принципе прохожу без досмотра. Может быть, рискнуть и сволочь «Изюм»?

Он коротко рассказал дружку, как все сложилось и как протекает в настоящий момент. Похоже, что меня закружила какая-то везуха, а «фишка» сейчас раскручивается в другую сторону. Конечно, валить на нахалку через кордон с альбомом под мышкой рискованная игра, но, с другой стороны, второго такого случая явно не будет.

Дорогущее кожаное пальто прибавляло Шузу монументальности. Некоторое время он стоял молча, напоминая что-то из советской классики, потом вдруг спросил совсем «не по делу»:

— Фраер, а ты Стаське дал знать, что линяешь?

Огородников ахнул — законная жена забыта! Кандидат наук по гляциологии Анастасия предпочитала уменьшительное Стася, однако законный супруг называл ее Настей. Месяцами она сидела в своих горных экспедициях и, естественно,

супругом забывалась. Что поделаешь, равнинные и высокогорные люди, увы, далеки друг от друга. Когда в ясную погоду с Эльбруса смотришь вниз, ужасаешься скоплениям копоты даже в близлежащих долинах, что уж говорить о мерзости городов. Третий месяц Анастасия жила в академическом поселке долины Азау, и, честно говоря, наш герой попросту забыл о существовании своей шестой уже законной жены, нет, простите, увы, уже седьмой, если считать Викторию Гурьевну и Л. Васильеву. Стыдно, конечно, но в данный момент, может быть, ее и не стоило бы вспоминать по соображениям конспирации. Шуз, однако, распорядился иначе. Повсюду в Москве у него были друзья, и переговорная станция не исключение. Обойдя грузино-армянскую очередь, он пошептался с какой-то телефонисточкой и через пять минут крикнул Огородникову:

— Иди в одиннадцатую кабину!

Стася, сказал Огородников, это тебя «левак» беспокоит. Мы завтра выезжаем на западный склон Памира, и я хотел уточнить дату симпозиума.

Должна же понять, подумал он. Во-первых, Стасей называю, а не Настей, ну и потом вспомнит же «левака»...

— Сейчас это называется симпозиумом? — таким знакомым, всегда почему-то возбуждавшим его голосом сказала она.

Он представил себе, как она сейчас стоит в темном коридоре у телефона и за спиной у нее окно с Эльбрусом, под лунной на горе видна каждая складочка. Плунуть на дикую игру с «фишкой» и улететь туда.

— Будто ты и сам не знаешь даты симпозиума, левак коварный, — засмеялась Анастасия. — Надеюсь, позвонишь с Памира?

Он даже задохнулся от восторга — мгновенно все усекла, какая баба! Благодарю Всевышнего за такой подарок судьбы и каюсь, каюсь, каюсь в своей распутной грязной жизни.

Повесив трубку, он увидел, что Шуз с расстояния пяти или шести метров целится в него зеркалкой. Вместе они вышли на улицу. Ночной воздух стал суше и холоднее. Пахло приближающимися снегами.

— Ну, как она реагировала? — спросил Шуз.

— Послушай, кажется, ведь не раз договаривались не снимать друг друга, — с явным раздражением проговорил Макс.

— Да я и не снимал, просто смотрел. У тебя была довольно дикая рожа и поза, как... как... О'кей, Огороша, давай по делу. Брать альбом с собой рискованно. Ты лучше, как разберешься, махни из-за бугра, и мы попытаемся здесь сработать черняка. Лады?

Наутро, едва продрав глаза, Максим уже звонил Виолетте на работу в бюро обслуживания Союза архитекторов СССР. Договорились вместе пообедать в Доме кино.

Приблизительно в это время генерал Планшин вошел в кабинет, где трудились оперативные сотрудники. Любимый сотрудник, одаренный капитан Сканшин, отличался эмоциональностью в подходе к делу. В данный момент он просматривал последние сводки на своего подопечного М. П. Огородникова, крутил головой и хихикал:

— Ох, оптимист все же этот Огород... настоящий, товарищ генерал, оптимист... Вот и Виолетка звонила, уточняла детали... ничего не скажешь, настоящий оптимист...

Планшин Валерьян Кузьмич, вновь отяжелев лицом, держал в руках стопочку «оперативок». Неужели этот Огород не понимает, куда все его дело катится?

III

Все шло как по маслу. Максим подъехал к Дому архитекторов за пятнадцать минут до назначенного срока и видел, как от подъезда отчалил в своем «Жигуле» куратор Вова, быстро дунул в конец переулочка под знак «проезд запрещен».

Стоял солнечный день с легким морозцем. Ледяная пленка на лужах трескалась под шагами подходящей Виолетты. На лице статной пышноволосой сотрудницы можно было прочесть смесь человеческих чувств, привет и надежду.

В Доме кино, конечно, было полно знакомых. Развязный Кичкоков подрулил к их столу, зашептал в ухо:

— Макс, ты что, не знаешь, кто эта особа с тобой?

— Садись, Кичкоков, — пригласил Огородников этого типа, репутация которого по части стукачества тоже оставля-

ла желать лучшего. — Виолетта и я будем рады, если ты ото-бедаешь с нами.

Кичкоков упрашивать себя не заставил. Не веря своей уда-че, он смотрел, как на столе появляются икра и набор рыбы, шампанское, коньяк и шашлыки по-карски за тройную цену. Он не понимал, почему его вдруг пригласил надменный Ого, а потом, глядя на волшебные сближения рук и ног над и под сто-лом, догадался — любовному счастью необходим свидетель.

В подходящий момент Огородников помчался пописать, а из туалета выскочил на улицу, нырнул в свою «Волгу», по-колесил, оставил машину на стоянке возле Тишинского рын-ка и здесь кликнул «левака». Через полчаса он был в между-народном аэропорте Шереметьево.

Таможенник ему попался со значком юрфака в петлице.

— Что-то давно ваши работы в печати не появлялись, — сказал он.

— Ну, вы же понимаете, какие сейчас времена, — отве-тил Огородников, как «своему», и таможенник, очевидно, этим был весьма польщен.

Конечно же, он не притронулся ни к атташе-кейсу, ни к фотографическим сумкам. При таком таможеннике можно было вывезти и не одну копию «Изюма», но кто же знал, что такой попадется интеллигентный приветливый человек.

Аэропорт был почти пуст: после афганских событий де-тант стал испускать вонючий дух, за дурацкой маской мат-решки туристы, то есть современное человечество, опять уви-дели свирепую пасть. Огородников бодро шел через пустой зал к пограничному контролю, когда вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд и споткнулся. Значит, не вышел номер. Чу-дес, оказывается, и в самом деле не бывает. Теперь главное — не потерять лица. Издеваться над собой не позволю. Он вы-нул сигарету, медленно, на прикуривании, обернулся и уви-дел за стеклянной стеной одинокую женскую фигуру, в кото-рой без труда угадывалась его законная жена Анастасия.

Она не шелохнулась. Он не приблизился. Сомнений нет — ночью она звонила Шузу и узнала, куда и когда я лечу. Види-мо, предположила, что я уже не вернусь с западного Памира. Рванула на самолет в Минводы. Хоть краем глаза в послед-ний раз. Неисправимый романтизм русских студенточек.

Эта формуленция помогла ему преодолеть сентиментальное желание, как в кино, в последний момент броситься к любимой и быть схваченным подоспевшими волкодавами. С этой формуленцией он приблизился к священной границе социалистического отечества и, пока круглолицый болван с комсомольским значком проверял его паспорт, поглядывая на одинокую фигурку и повторял «неисправимый романтизм русских студенточек». Накачав таким образом некоторое раздражение против НРРС, он без напряжения и даже рассеянно встретил цепкий взгляд комсомольского болвана-пограничника.

КБ нажимает в своей кабинке какую-то педаль, турникет открывается, и ты за пределами отечества, хотя вовсе еще не значит, что ты на свободе. Эти суки могут тебя обратить и в международной зоне аэропорта, и на борту самолета запереть в сортирный чуланчик, как недавно поступили с нежной балериной В., и в братской республике захапают за милую душу. И все-таки как трепещет душа, когда ты пересекаешь линию турникета, какое-то в душе происходит сотрясение при пересечении, когда угрюмый большевизм души преодолевается ее же светлым либерализмом. Несмотря на международный опыт и антипартийную закваску, Огородников всегда оставался хоть и неполноценным, но советским человеком.

Где там русские студенточки с их неисправимым романтизмом? Стекланные анфилады уводили все дальше. Дура Настя могла сорвать все дело... «Из тюрем приходят иногда, из-за границы никогда»... станется с Насти...

Он вошел в бар и спросил рюмку коньяку. Потом пошел к телефону-автомату, позвонил в ресторан киношников и попросил официантку. Ритка, сказал он ей, это Ого. Через час придет Жеребец и заплатит по моему счету. Схвачено? Целую. Вернулся в бар и спросил еще рюмку коньяку. Сказал с иностранным акцентом «Поултоураста». Настроение стремительно улучшалось. В зеркале отражался международный артист-фотограф. Если к нему подойдут и попросят *пройти с ними*, он поднимет скандал. Пусть тайное станет явным! Требуем немедленного отделения искусства от государства! Хвала неизжитому романтизму русских студенточек! Битте шен, эстчо поултоураста!

В этот момент чья-то рука легла на его плечо. Итак, свершилось. Мужество, призываю тебя к действию! Прежде всего допить коньяк. Там не дадут. Затем — стряхиваем поганую лапу.

— Да ты что, старик?

— А, это ты! А я думал, это не ты!

— С похмелья, что ли?

— Угадал.

— Куда летишь?

— В Эфиопию.

— Молодец, Макс, просто молодец! Сейчас как раз нужно быть в Эфиопии.

— А ты куда, отец, рулишь?

— В Брюссель. Освещать сессию Совета НАТО. Октябрь, кажется, тоже там будет.

— Передай Октябрю привет. Скажи, что братишка в Эфиопию полетел.

— Молодец ты, Макс. Очень важно сейчас быть в Эфиопии.

— Знаю, киса. Потому туда и лечу.

— Ну, пока!

— Счастливо.

Огородников глубокомысленно наблюдал удаление толстожопого международника. Вот удивительный феномен нашего времени: человек выступает по телевидению со своим худым европейским лицом, и никто из зрителей не подозревает, что у него такая роскошная азиатская жопа.

Через полчаса объявили посадку, и Огородников, изрядно к этому времени набухавшийся, плюхнулся в кресло, чтобы проснуться уже в мягком сумраке оккупированной Центральной Европы. Аэропорт Шенефельд, Германская Демократическая Республика, бастион прогрессивного человечества.

БЕРЛИН

I



Первая мысль: даже здесь лучше, чем дома. Вторая мысль: здесь хуже даже, чем дома. У пограничников рожи нацистов, портрет Маркса предполагает разгул блох, циркуль и рейсшина напоминают орудия пытки. Ире папире, ире папире... Трое мышино-серых потрошили огромные заплечные мешки английских мальчиков и девочек, едущих из Китая. К советским геноссе холодное почтение, два пальца под козырек.

Вдруг уже за линией контроля Огородников увидел знакомое чучело в перуанском пончо, с трубкой в зубах. Берлинский коллега Вольф Шлиппенбах, вместе когда-то учились на операторском факе ВГИКа.

Обычно Вольф сидит в своей студии на Шоссее-штрассе, фотографирует цветы. В этой его бесконечной серии цветов, как говорится, «что-то есть». Он называет их «Волчьи цветы», то есть «Вольфблуме». Партийцы его спрашивают: какое идейное звучание у ваших «Волчьих цветов»? Это просто «блуме», говорит он, а я просто Вольф. Куда это вдруг собрался старый Шлиппенбах?

— В Югославию на курорт, — объяснил он.

— Поздравляю, — сказал Огородников. — От югов ты наконец-то сможешь мотануть на Запад.

— Я передумал, Макс, — сказал Шлиппенбах. — Никогда не мотану на Запад. Там слишком много коммунистов, Макс. В ГДР люди легче понимают друг друга.

Огородников увидел себя и Шлипа отражающимися в стеклянной стене. Вместе мы выглядим безобразно. По-одиночке еще терпимо, а вдвоем — настоящие антисоциалистические элементы.

— Посмотри, Макс, на этих двух «горилл», — сказал Шлиппенбах. — Мне кажется, они ждут тебя. Я прогуливался мимо и слышал твое имя.

Два битюга лет под сорок с одинаковыми зонтиками растерянно разглядывали пассажиров московского самолета. Скованность поз безошибочно представляла совчеловеков. Вот странность: казалось бы, поработили уже пол-Европы, так и смотрите на всех этих «пшек» победителями, ан нет — совчеловек в соцлагере самый ущемленный, самый кривоватый, будто грыжу зажал между ног.

Филяхт, Филяхт... Огородников смотрел на этих двоих. Скорее всего, один из них как раз и есть тот самый Зафалонцев из консульства, о котором Ника говорил. А вдруг «фишка» уже спохватилась и послала за мной своих «горилл»? Почему же они не подошли ко мне? Внешность не совпадает с воображаемой? Однако «фишка» должна знать внешность преступника. Почему же эти двое, явно растерянные, не обращаются в информацию, не вызывают прилетевшего деятеля по радио? Вот слышно, как шепчутся — «не прилетел, наверное...» «нету его...», а обратиться за помощью к службе не решаются; стесняются? Языка не знают? Станные какие-то пошли дипломаты. Так или иначе, другого пути через стенку нет. Он приподнял шляпу.

— Пардон, товарищи, вы не меня ли ждете? Максим Огородников, к вашим услугам.

Так и оказалось: встречающие из консульства Зафалонцев и Льянкин. Вот уж не предполагали, дорогой Максим Петрович, именно в этой личности идентифицировать именно вас, члена Правления СФ СССР, 1937 года рождения, лауреата Государственной премии. Мы думали, это просто часть толпы. Смутило наличие усов. Хорошо то, что хорошо кончается. Короче, добро пожаловать в город Берлин! А этот товарищ не с вами? Ну и прекрасно. Машина ждет.

Приближение к любимому детищу супружеской пары Хрущев — Ульбрихт, то есть к Берлинской стене. Предстенная зона — пустынные дома, надолбы, торчащие из торцевой мостовой, будки коммунистической стражи, шлагбаумы и за ними всемирно знаменитый пропускной пункт «Чарли». Гэддэровский пограничник с непроницаемой миной, которую можно принять и за машинную подчиненность, и за скрытую ненависть, берет под козырек перед советским флажком на дипломатическом «Мерседесе». Английские солдаты на другой стороне, кажется, играют в карты, не обращая внимания на проехавшую с Востока машину. На Западе к стене можно подойти и помочиться, можно намазать на ней любой политический лозунг, любую похабщину, что и делается.

Товарищ Зафалонцев внутри «Мерседеса», т.е. на советской территории, кардинально переменился. Застенчивости с косолапостью как не бывало. Развалившись на переднем сиденье и обернувшись к гостю, разговаривал с профессиональной полуусталостью, со смешком, со свойственным советским талейрантам полужинизмом к стране аккредитации.

Максим Огородников, борясь с омерзительным волнением, смотрел на западные вывески, мелькающие за окном машины, внимал инструкциям Зафалонцева. Лицо пытался держать непроницаемым, как бы напоминая о номенклатурном расстоянии, однако временами вдруг перекашивалась щека, возникала икота, и тогда советник Льянкин удивленно поднимал тонкие китайские брови, с волнением принохиваясь к коньячному перегару.

—...Эти деятели из «Объединенного фронта социалистов в искусстве» вместе с Баптистской академией резервировали для вас номер в отеле «Регата», между прочим, вполне приличном. Завтра к вам такой Том Гретцке явится, поосторожнее с ним — с нами сотрудничает, но философия анархическая, скользкий товарищ. Мы с вами выходим на связь в десять утра. Лады? Срок пребывания у вас три дня, но, я думаю, денек-другой мы вам сможем подбросить. И отовариться, возможно, устроим в посольском магазине. Эти вопросы я согласую в верхах. Лады? Ну, вот перед вами Западный Берлин, Максим Петрович. Вы

здесь впервые? Мда-с, не тот стал нынче город, померк по сравнению с временами «холодной» войны. Хиреет экономика, культурная жизнь чахнет... Ну, в общем и целом пусть чахнут и хиреют, нам, что ли, их жалеть, — он по-блатному подмигнул, — согласны, Максим Петрович? Упадок этого города ведь в наших же интересах, правда, Максим Петрович?

Зафалонцев с интересом ждал, как ответит гость на этот «тест», внимательно смотрел ему в лицо.

Не юлить же мне, однако, перед этим типом, подумал Огородников. Надо ему показать, что он в чинах не разобрался. «Отовариться», «денек подбросим»... Отдасте себе отчет, кого везете? Подите-ка, братцы, на конюшню и скажите, чтоб задали вам плетей.

— Не понимаю, — сказал он.

— Ну, как не понимаете?! — Зафалонцев даже губы надул, будто с ребенком разговаривает. — Зачем же нам, социалистическому лагерю, этот Западный Берлин? Вот отсюда и вытекает идея, Максим Петрович, чего же проще...

— А я вас не понимаю, — очень отчетливо сказал Огородников, в голосе послышалось отдаленное погромохивание, раздулись горьковские усы, торговая марка соцреализма.

Зафалонцев, пораженный, как бы вывернул шею, перевесившись с переднего сиденья со своими выпяченными губами и вытаращенными глазами. Этот «тест» был его личным изобретением, и он всегда его с определенным успехом применял к прибывающим товарищам, а вот с такой загадочной реакцией столкнулся впервые. Как будто пыльным мешком, можно сказать, по башке ударили, да еще в присутствии Льянкина и шофера-ушки-на-макушке. Он растерянно забормотал:

— Да я ведь, Максим Петрович, просто по логике рассуждений... чего капиталистам плохо, то нам, коммунистам-то, хорошо... верно?... где русскому здорово, там немцу смерть... ага?

Огородников с неприкрытой уже угрозой, как бы грохоча по словам кованым сапогом:

— Я... ВАС... НЕ...ПОНИМАЮ...

Застывшее изумление на китайском лице советника Льянкина. Шофер делает плечами одобрительное движение в адрес Огородникова.

До Зафалонцева наконец дошло. Кажется, не по чину разговариваю. Приезжий лауреат явно указывает на субординацию. Не простая, видать, птичка...

Придя к такому заключению, он тут же перестроился и переменил тон:

— Вот и гостиница ваша, Максим Петрович. Номер с ванной, мы проверили. Значит, вы с этой шатией революционной не особенно церемоньтесь, Максим Петрович, а то затаскают по своим дискуссиям...

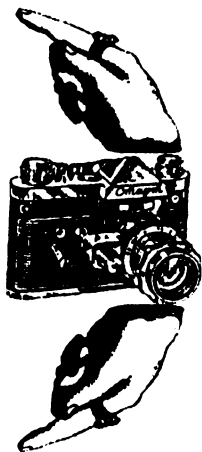
— Благодарю за доставку, — сухо сказал Огородников, всем обстоятельно пожал руки и вышел из машины.

Войдя в номер «Регаты», швырнул в один угол шляпу, в другой — сумку, подпрыгнул и цапнул рукой потолок — Запад! Плащ полетел на пол, и Максим, словно ныряльщик, сиганул на тахту — к телефону, к телефону! Раздвинулся железный занавес, с легким треском, как в борделе, отошел и бамбуковый, желтая телефонная книга приглашала в открытый мир — Париж, Милан, Нью-Йорк, Лондон, Токио... Осень, остров свободы...

В ту ночь в фотографических кругах указанных выше мировых центров, а также среди русской эмиграции стала распространяться сенсация — Максим Огородников каким-то образом оказался на Западе.

III

...уснул Берлин врасая в сплин а почем нынче сено у извозчиков Вены не советую пошло издеваться над Осло направляя фольксваген в продувной Копенгаген...



УИК-ЭНД

I

К Олехе Охотникову пришел в штаб-квартиру Моисей Фишер и привел с собой незнакомого молодого человека.

— Ты чего, гребена плать? — так приветствовал Олеха товарища.

— Я просто зашел к тебе об искусстве поговорить, — сказал шупленький еврей широкогрудому помору. — Разве нельзя? Что у тебя, баба, Олеха, что ли?

— Заходи, — сказал Охотников и тут же отправился на кухню. В одной из комнат незаконно занятой двухкомнатной квартиры под сильной голой лампочкой стоял здоровенный стол, на нем, словно могильная плита, возлежал макет фотоальбома «Скажи изюм!». Все остальное было погружено в темноту, так, во всяком случае, показалось вошедшим. Через несколько минут, впрочем, стало видно, что вокруг стола и по углам царит жутчайший беспорядок, именуемый в современном русском языке энергичным словом «бардак»: горы папок и пакетов, увеличители, станок для разрезания фотобумаги, бачки, железные коробки, пузырьки, бутылки, бутылки...

Фишер соответствующим жестом пояснил своему спутнику, что вот теперь тот — в «святая святых», в таком, можно сказать, убежище свободного духа, где производится неподцензурный альбом «Скажи изюм!», который может стать...

— Чем, простите? — спросил спутник, тихий блондинчик лет двадцати пяти — двадцати семи.

— Вехой в истории советского фотоискусства, — сказал Финшер.

— Как интересно, — в манере, очень подходящей к моменту, то есть благоговейно, прошептал молодой человек.

Явился Охотников с кастрюлей вареной картошки, куском масла и початой бутылкой омерзительного «коньячного напитка».

— Больше угощать нечем.

Он почему-то полагал, что всем приходящим надо дать что-нибудь пожевать или промочить глотку. Порой в «охотниковщине» можно было увидеть парижских снобов, жрущих квашеную капусту и глотающих несусветную советскую алкогольную гадость. Этот Охотников, ох уж этот Охотников, говорили потом о поморском сыне в Париже.

— Если позволите, я кое-что добавлю, — с удивительным тактом произнес молодой блондин. — Совершенно случайно... полностью непредвиденно... но, может быть, кстати... — Из своего объемистого портфеля он извлек несколько свертков дивной парафинированной бумаги, развернул их и предложил обществу граммов около двухсот малосольной лососяны, примерно столько же широченных и тончайших кругов вымирающего вида «столичной» колбасы, некоторое количество хорошо известного москвичам по художественной литературе «швейцарского» сыра с дырой и слезой. К этому добавлена была баночка греческих оливок и ноль семьдесят пять давно исчезнувшего с поверхности грузинского вина «Цинандали».

— Да ведь мы живем, человеки! — вскричал Олега.

— Что ли! — потер руки Моисей.

— Где берешь такой паек? — прищурился Охотников на молодого человека.

— Видите ли, я имею доступ в буфет третьего этажа МГК КПСС, — спокойно и скромно объяснил гость. — Нет-нет, не волнуйтесь, я не оттуда, просто случайные связи... ну вот, иной раз захожу и беру ограниченные количества того и сего. — Он сделал соответствующий жест продолговатой ладонью с мягко очерченными линиями судьбы.

Охотникову все это чрезвычайно понравилось, между прочим, и внешность молодого человека с его европейско-рус-

ским лицом и густыми длинноватыми, но не очень, по тогдашней моде, волосами, понравилась тоже. Недурен был и костюм, ловко сидящий, кажется, финский тергаль. Никакого к тому же формализма — пуговики на воротнике расстегнуты, в сторону сбилась шейный фуляр. Понравилась Охотникову и речь молодого человека и жестикуляция, чрезвычайно понравился, например, вышеназванный жест ладонью, равно как и сама ладонь, мать честная.

Олеха Охотников поймал себя на том, что в нем шевельнулось какое-то подобие гомосексуального чувства к этому молодому человеку, и поэтому спросил с нарочитой грубостью:

— А ты кто таков, чело?

— Ах, простите, ведь я вас не познакомил, — по-светски сказал Фишер. — Олеха, перед тобой Вадим Раскладушкин.

Охотников даже ухнул от удовольствия — ух, и фамилия ему пришлась по вкусу.

— Кажись, ты, чело, тоже фотограф? Небось снимки принес в «Изюм»? — уже без всякой нарочитости спросил он.

— Знаете ли, Охотников, — ответил Вадим Раскладушкин, — конечно же, я фотограф, однако, знаете ли, пока я не решусь предлагать свои, так сказать, пробы пера туда, где выступают такие мастера, как вы, Охотников, или Моисей, не говоря уже о гигантах типа Германа, Древесного, Огородникова...

И эта речь понравилась Олехе Охотникову. Подняли стаканы. Удивительным образом мерзейший «коньячный напиток» показался всем троим доброкачественным и ароматным бренди. Возник момент душевного единства.

— А мы с Вадимом, понимаешь ли, прогуливались, философствуя, — объяснил Фишер. — И тут я подумал, что невердно было бы вас познакомить, человеки.

— Меня, Охотников, интересует фотография как таковая в ее отношениях со средой, — сказал Вадим Раскладушкин. — Вот вы, на основании личного опыта, могли бы меня просветить?

— Эх, человеки! — Олеха Охотников уже вскарабкался на первую ступеньку опьянения, ту, что он потом, с похмелья, называл «примитивной задущевностью». — Я, как тот сол-

лит, завсегда об этой бляди думаю, а толку чуть. Вот возьмите национальную бредовину нашей фотографии. Говорят, что ее вообще не существует, дескать, полный интернационал, мировые стандарты. Однако американский фотограф просит натуру произнести cheese, чтобы пасть растянулась и обнажились клавиатура зубов, демонстрируя оптимизм. Русский фотограф между тем любезно просит сказать «изюм», чтобы губки сложились бантиком, скрыв гнилье во рту и подлые наклонности. Глубочайшая разница, человеки и джентльмены! Из русской позиции все принципы социалистического реализма проистекают!..

Тут прошла вторая рюмка душистого крепкого бренди, и Охотников весь одним махом взвинтился, борода и грива, скачок на ступеньку «примитивного пафоса».

— Для меня существует один лишь социальный заказ — лови улетающее мгновение! Божьим странником броди посреди мира, щелкай своей одинокой камерой... Фотографический процесс соединяет нас с астральным миром. Фотография суть отпечаток праны. С этой точки зрения... — постепенный подъем на ступеньку «примитивного вызова», — ...с этой точки зрения, какого фера они к нам все время цепляются?

Тут Олежа Охотников слегка перевел дух, и в эту паузу, опять же до чрезвычайности тактично, показывая, что, не будь паузы, он никогда и не осмелился бы прервать, вошел с вопросом Вадим Раскладушкин:

— Простите, Охотников, — «они» — это кто?

— «Фишки», — тут же пояснил мастер фотографии и прищурил левый глаз. — Ты, надеюсь, не из них будешь?

— Боже упаси, — улыбнулся Раскладушкин.

— У писателей есть своя «лишка», это более-менее понятно, — продолжал Охотников. — Писатель — гад, деформирует действительность подлым воображением. «Лишка» требует, чтобы писатели искажали в их пользу, то есть соц-, а не сюрреализмом, давит на них, стучит, это вполне нормальное, очень естественное в данном обществе дело. Ну, а фотари-то несчастные, чем не угодили? Ведь мы только щелкаем действительность, и больше ничего. Почему к нам претензии, а не к действительности? Если вам, говноедом... — тут Рас-

кладушкин мягко улыбнулся неожиданной грубости Охотникова, — собственные рожи не нравятся, так давите на собственные рожи, а не на фотографов. Вот, вообрази, Раскладушкин, два года назад союз послал меня на «перековку». Хватит, говорят, подзаборные гадости снимать, иди освещай работу комсомольского съезда. Принес я со съезда серию портретов, а они мне говорят — «это антисоветчина». Какая же, ору я, антисоветчина, если это ваши собственные рожи, а значит, самая настоящая советчина? Так-так, говорят, и смотрят, и смотрят, и вижу, как «фишка» меня просвечивает.

Или вот, например, Мойша поехал в командировку на БАМ... Жить надо, семью кормить надо? Помнишь, Мойша, как тебе бамовскую серию зарубили?..

— Что ли! — Фишер щелкнул языком.

— ... Сионистский, говорят, взгляд на советский народ. Ну, где, где же тут сионизм можно найти, Раскладушкин, кроме подписи под снимком, да и то ведь Фиш — на всех языках рыба, а снимает Мойша японской оптикой... Что важнее для снимка — оптика или глаз?..

Тут Охотников взял молодого гостя обеими лапами за оба колена, пригнулся над чемоданом, на котором, собственно говоря, и было сервировано пиршество, и уставился прямо в глаза.

— В ваших рассуждениях, равно как и вашем последнем вопросе, есть некоторое лукавство, — улыбнулся Раскладушкин.

— Не без этого! — захохотал Охотников.

Зазвонил телефон, и он, бросив колени нового друга, пошел в угол, к одной из гор мусора, то есть к расположению полезных вещей. Ну, как впечатление, спросил глазами Фишер. Гений, тем же ответил Раскладушкин, знамение времени...

Охотникову звонил Огородников. Привет, Макс, сказал Олеха. Нет, еще не собрались, один только Фишер с другом. Часа через два начнут подгрывать. А тебя ждать когда? Не ждать? Это не по делу, человеке. Народ разочаруется, особенно иностранцы, особенно, конечно, женщины иностранного происхождения. Шучу. Подгрывай, маэстро. Не сможешь? Далеко находишься? В Берлине? Большое дело, бери тачку и приезжай. Хочешь, Веньку за тобой пошлю? Ты не в ресторане

«Берлин»? Как тебя понимать? В городе Берлин? В Западном Берлине? Что? Чего? Отпад! — завопил он и впрямь отпал от телефона. Вытаращенные глаза и вставшие дыбом волосы создавали впечатление начинающегося пожара. Впрочем, непристойное это изумление длилось не более полуминуты, после чего Охотников в ответ Огородникову радостно гоготал, кричал несвязное, типа «расшибец», «конец света», «полный вперед», спрашивал о западноберлинских «партийных кадрах», то есть о девках, а под конец даже пропел из Высоцкого: «Как там дела, в свободном вашем мире?»

Повесив трубку, он вытер руки о рубашку на груди, и там стало влажно.

— Моисей, ты понял, что произошло? Ого из-под носа «фишки» ушел на Запад! Вот так сенсация! Он сказал, что Шуз все объяснит на общем собрании. Вот так будет сенсация! Видишь, Раскладушкин, а говорят, что нынче в мире невозможны чудеса. Жизнь показывает другое, да и как же может быть иначе, если только надеждой на чудо жив род человеческий?!

Вадим Раскладушкин тогда поднялся, поблагодарил хозяина за прием и сказал, что далее не считает себя вправе оставаться в «Новом фокусе» в связи с такой исключительной сенсацией, которая потребует, конечно, интенсивных дискуссий в кругу посвященных.

Эта реакция новичка на «сенсацию» тоже понравилась Олехе Охотникову. Провожая гостя, он подарил ему пачку заветных «тихоокеанских» снимков, помял ему изящное плечо и тонкую руку, пригласил заходить почаще, если пофилософствовать приспичит или еще чего... Тут наш новый Ломоносов вдруг засмутился, как девушка, и, чтобы скрыть смущение, пробурчал:

— А сейчас вались, человеке, к жуям жрячьим, видишь — не до тебя...

Вадим Раскладушкин вышел на крыльцо кооператива «Советский кадр» и, конечно, сразу же увидел, что в микроавтобусе «скорой помощи», дежурившей напротив, царит какая-то неуклюжая неразбериха, сродни панике.

— Нет конца этим играм, — вздохнул молодой человек, — нет конца этим страннейшим, страннейшим, страннейшим и хаотическим играм...

II

Пятидесятилетний человек, тяжеловатый и по-государственному сумрачный, стоял у окна в своей квартире на восьмом этаже правительственного высококачественного дома, что всякому известен в Атеистическом переулке столицы. Это был не кто иной, как Фотий Фёклович Клезмцов, первый секретарь Союза советских фотографов Российской Федерации. Собственно говоря, первый секретарь лишь на мгновение остановился возле окна, как бы делая паузу в своей беседе с важным гостем, но, остановившись, как бы прилип: в родном Атеистическом переулке за окном почудилось ему что-то странное, и он никак не мог поначалу догадаться, в чем эта странность состоит.

Атеистический переулок, получивший свое наименование в недоброй памяти третьем десятилетии нашего века, был в этот ноябрьский вечер хмур. Соответствующая толпа двигалась по нему в двух направлениях, из метро и в оное, расположенное на протекающем поблизости проспекте Голубя Мира, получившего свое изящное название в пятом десятилетии нашего века, то есть тогда, когда святыни третьего десятилетия оказались под вопросом. По соседству с проходящей хмурой толпой от Голубя Мира вдоль Атеистического ехал велосипедист. В этом и была странность — велосипедист среди зимы.

Не кто иной, как Вадим Раскладушкин, весело вселял свою прыть через педали в колеса, будто бы с одной лишь целью — оживить городской пейзаж. У московского гражданина первая реакция на чудака, конечно, нехорошая. Разъезжился тут. И зимой от них деваться некуда. Но вот приближается Вадим Раскладушкин, и строй мыслей московского гражданина почему-то меняется. А чего же не поехать-де велосипедом молодому человеку, если ездится, отчего же педали не покрутить, если крутятся? Вот такой появлялся антисоветский порядок размышлений при взгляде на стройного велосипедиста с гривой светлых волос из-под теплого кепи, едущего в вертикальной позиции на велосипеде с высоким рулем, облаченного в легкое шерстяное пальто, имеющего на груди фотик, имеющего приторочен-

ный к раме велосипеда портфель, во внутренностях которого можно было предположить вкусные вещи в лимитированных пристойных количествах. Приятное, в самом деле, зрелище, улыбающийся и слегка кивающий встречным велосипедист.

Вот так, проехав по мокрому асфальту, лавируя меж луж и плешин грязного снега по мрачному переулку с его дурацким названием, вот так прокатив в предсумеречный час пик, молодой фотограф все-таки как-то повлиял на общее недоброе настроение русской столицы, вызвав хоть и микроскопический, хоть и секундный, но сдвиг к лучшему.

Даже и Фотий Феклович Клезмцов позволил себе на минутку смягчить государственный взгляд и подумать: вот среди зимы едет русский молодой человек на велосипеде нашей советской работы, где такое еще возможно?.. С этой доброй русской мыслью Фотий Феклович обернулся к важному гостю, и ему стало чуточку не по себе: он понял, что важный гость во время паузы не отрывал от него внимательного взгляда. Но вот пауза истекла, гость оторвал от хозяина тяжелый аналитический взгляд, улыбнулся и хлопнул ладонями по подлокотникам кожаного кресла, в котором, собственно говоря, пользовался гостеприимством. Отличные кресла у вас! Такие удобные! Финские?

Он, этот важный гость, конечно, уже успел отметить, как капитально все организовано в этой еще не вполне обжитой квартире: финская мебель, японская звукотехника, братский, т. е. чехословацкий, хрусталь, ну а в кухне, уж извините, царит Франция. Возражений, собственно говоря, никаких нет — почему бы и не пожить в достатке, когда подошло к полста, сделано хозяином немало полезного, хотя и ошибок, надо сказать, натворено в свое время немало.

Глупо скрывать, подумал в ответ Клезмцов, ошибки были. Партия знает, что от ошибок никто не застрахован, даже Она.

В этот момент, многоуважаемые господа отечественные и зарубежные читатели, мы вновь применяем технику стоп-кадра, и вовсе не для того, чтобы щегольнуть «кинематографи-

ческим приемом», который, собственно говоря, уже оскомину набил в современной прозе, а по суровой необходимости совершить путешествие в прошлое Фотия Фекловича, ибо без этого заскрипит наша главная забота — сюжет. Выпусти Клезмцова на страницы без его прошлого, сюжет, конечно, не развалится, однако возникнет в нем некоторый перекос, периодические скрежеты и взвизги. Начнет расползаться внутри псевдомодернистский хаос; чего доброго, вздохнет утомленный повсеместным модернизмом читатель и отложит в сторону книгу скрежетать и взвизгивать в одиночестве.

Итак, стоп-кадр: важный гость, утопающий в кресле, хозяин, в неуклюжей позе застывший у окна, между ними на низком столике бутылка французского коньяку.



ОШИБОЧКИ

I

Мда-с, ошибочки у Фотия Фекловича были, и не в юности мятежной, как можно было бы предположить, а вот как раз к зрелости, к молодому мужскому зениту больше всего дров наломал, кое в чем не разобрался.

В юности-то как раз, еще на факультете, когда белесого угловатого провинциалишку все называли Фотиком, в те времена развивался правильно, хотя и сложные были, такие противоречивые времена. С одной стороны, со злоупотреблениями культа личности партия покончила, то есть можно было не опасаться неожиданного расстрела, а с другой стороны, устои-то ведь не зашатались, и, трезво рассудив, юный Фотик решил, что «прививка от расстрела» (как Мандельштам это назвал) на будущее не помешает.

«Прививку» эту надо, конечно, понимать аллегорически, в расширенном, конечно, историческом значении, равно как и докладную в партком записку можно лишь по примитивной логике называть «стуком». Вот если по этой примитивной логике идти, то можно сказать, что Фотик настучал на факультетского демонического красавца Славу Германа, а вот если расширенно подойти к вопросу, то без труда увидишь, что в небольшом том, не опасном для Германа сигнале не стука было больше, а теоретического недоумения. Просто задавался руководящим теоретикам вопрос, совместимы ли с позицией современного комсомола псевдодерзкие размышления С.Германа о правомочности однопартийной системы.



Что касается прямой факультетской деятельности и общего направления событий, то здесь Фотик, безусловно, шел ноздря в ноздю с временем, с тем же Славкой Германом рядом выступал на межвузовских дискуссиях против «замшелости».

Все на факультете знали, что выгнали Славку вовсе не за его разглагольствования об однопартийной системе, а за «Поэзию плоти», то есть серию снимков, сделанных совместно с однокурсницей Полиной Штейн.

Как тогда взволновалось, всколыхнулось студенчество, и Фотик Клезмцов был в числе тех, что требовали немедленного восстановления Славы Германа, этой «противоречивой художественной натуры», в списках будущих «объективов Партии» с сохранением стипендии. Именно во время этой борьбы за справедливость замечен был Фотик и студентами, и академическим руководством, так и диплом защитил, и в жизнь вышел с репутацией, как тогда говорили, «неравнодушного». В этом качестве и к Партии присоединился по призыву XX съезда — если мы не пойдем, пойдут «равнодушные»!

Хорошее, удивительное, важное время, и Фотик с его репутацией сразу получает место в центральной «Фотогазете», боевом органе, что вечно взведен на воплощение принципов наступательного гуманизма. И далее «ФГ», на летучках — порывистое вставание с дерзким отмахиванием прямых разнчинских прядей, с колкими вопросами в адрес некоторых «замшелых» членов редколлегии, упорство которых, хоть его и можно сравнить с позицией старой гвардии некоего корсиканца, все-таки ждет лучшего применения, все понимают, что я хочу сказать, товарищи.

И вот — таковы были те удивительные времена — дерзкого Фотика включили в делегацию для укрепления фотографических связей с братской Польшей. Предупредили, конечно, что обстановка сейчас в Польше сложная, противоречивая и, если возникнут в ходе встреч с коллегами какие-нибудь теоретические затруднения, пусть, не колеблясь, обращается хотя бы на самый высокий уровень.

Вернулся из ПНР Фотик окрыленным. Какой там, братцы мои, серьезный дается бой «замшелости»? А трудности были? — спросили его те, кто посылал. Не без этого, признал-

и он. Интересно, сказали те, с какими трудностями сталкивается Народная Польша на пути своего развития?..

Он стал вспоминать в письменном виде все эти в общем-то неизбежные в сложной противоречивой обстановке теоретические сомнения, кто сомневался, где и когда, в каких клубах и редакциях схлестывалось в жарких спорах молодое панство. Увлекаются иногда ребята, подменяют одно понятие другим, хотя и искренность в заблуждениях порой присутствует у таких-то работников польского комсомола.

Так или иначе, но только пьяная сволочь вроде С. Германа может назвать теоретическую записку «доносом», только такой подонок, как Славка, полезет в стол в отсутствие столподдержателя якобы для того, чтобы сунуть туда свои дрянные снимочки, алкогольные свои миражные этюдики, только такая наглая, агрессивная, неблагодарная (да, неблагодарная!) скотина может вытащить из стола теоретическую записку с обращением «Дорогой Фихаил Мардеевич!», чтобы напасть на держателя стола и теоретика записки с криком «стукач!» и с желанием мордобоя во имя, видите ли, идеалов юности.

Хорошо, что в «Фотогазете» никто не поверил Герману, ведь все же знали, что из-за девушки у них грызня, из-за Полины Штейн. Да и сам Герман Слава, как протрезвел через несколько месяцев, восстановил, ну, не дружбу, но творческое содружество, печатал через Фотика снимки в ФГ, получал малый гонорар.

Через небольшое время Клезмцов стал самым молодым заведомом газеты, появились у него новые друзья, прогрессивно мыслящие консультанты главного дома страны, словом, развивался сын Фёкла в правильном направлении, пока однажды осенним вечером 1962-го (просветы пронзительной сини над Манежной, мысли о Полине) не занесло его в Клуб гуманитарных факультетов на выставку молодой группы «Фотоанализ». И вот в переполненных бурной молодежью коридорах наталкивается Фотик непосредственно на упомянутую Полину Штейн, успевшую со времени окончания учебы и на Камчатку смотать, и двух деток прижить от талантливого ленинградца Андрюши Древесного. Здесь же в толпе присутствует и сам Древесный с новой подругой Эммой Лионель, и московские новые гении Максим Огородников, Алик Конс-

кий, здесь же и Славка, разумеется, Герман, о котором уже говорили, что «выпадает в осадок», ан нет, жив курилка, с английской трубкой в зубах, хоть и опухший слегка, но красавец, как и прежде, здесь же и Утюжкин, и Садковский, и Стелла Пирогова, и Фишер Моисей, и Эдик Казан-заде, и Гоша Трубецкой, и Карл Марксятников, и Федя Цукер, и еще какая-то зелень с девчонками «на подхвате» — и все они, оказывается, и составляют молодую группу «Фотоанализ», смело идущую к вершинам советского фотоискусства, как тут же в толпе заявляет их седовласый покровитель Збига Меркис, недавний космополит и буржуазный формалист, ныне объявленный советским классиком.

Висят на стендах дерзкие фотошедевры, гудит вокруг восторженная толпа, а из зала доносится «Песенка про Черного Кота» — это Окуджава пробуждает молодежь.

Тут вот учуял Фотик Клезмцов — что-то совсем уже новое прет, устарели уже «комсомольские кафе» с их дискуссиями «Серости — бой!», как бы на задворках эпохи не оказаться. Тут вдруг охватило Фекловича незнакомое чувство, теоретически именуемое вдохновением, тут он и примкнул к новому движению, освещенному глазами Полины Штейн, которым, прямо скажем, ни Камчатка, ни Древесные отродья не повредили.

Сейчас, задним числом, подводя, так сказать, итоги, можно сказать, что ошибся, залетел не в ту дверь, никаких преимуществ ему не дала близость к левому Олимпу. Ну, переспал несколько раз с Полинкой, но ведь всякий раз была эта красавица в состоянии «N – 1», а на утро как бы и не помнила, кто с ней был, что с ней было, а на все предложения руки и сердца отвечала презрительным смехом...

И все-таки... и все-таки... маета и круговерть тех дней даром не прошли, многое прибавили к «нравственному опыту», как рассуждал теперь со своего поста государственной важности Фотий Феклович Клезмцов, ведущий отечественный теоретик по вопросам нравственности фотоискусства.

Поначалу были сплошные афронты с этим новым направлением. Собственное клезмцовское творчество, увы, восторга у товарищей не вызывало. Этой загадки он никогда не мог постичь: арсеналом технических средств владею не хуже дру-

них, эрудиции не занимать, внутренний мир богат, а снимки почему-то восторга у зрителей не вызывают. Таясь от самого себя, Фотик даже выучился постыдному — пальцем размазывать эмульсию, создавать такие вдохновенные вихри... все шепотом. Все эти «товарищи по оружию», всякие там деревенские, германские, конские, огородниковые, никогда всерьез его не ставили, никогда даже не критиковали, а если он к ним обращался за дружеским советом, по какому, дескать, руслу идти дальше, они изумленно на него вскидывались — по руслу, ты говоришь, так ты сказал, Фотик, по руслу? А высокомерная тварь Алик Конский, нынешний эмигрант и отщепенец, даже спросил однажды: а ты, Фотик, разве тоже нашим делом занимаешься?

Трудно было выскочить на гребень «новой волны», но тут вдруг судьба подсунула Фотику удачную фитюлю. Озирая однажды привычную дрянь в газете «Советская культура», натолкнулся он на мемуарные эссеики реабилитированного формалиста Збиги Меркиса, а точнее, на фразочку, звучавшую в таком примерно ключе: «... и мы, фотографы Революции, сейчас с волнением вглядываемся в еще не вполне отчетливые, но, безусловно, неповторимые черты молодых мастеров четвертого поколения советской фотографии»... Фразочку эту, набранную нонпарелью, начальство вроде и не заметило, а ведь заложен был в ней основательный подрывной заряд: протягивал маэстро руку из Двадцатых в Шестидесятые, перешагивал через все поколение сталинских говноедов. Прежде такая фразочка заинтересовала бы Фотика Клезмцова главным образом с теоретической точки зрения — дескать, не запросить ли разъяснения у партии? — ныне, посидев над фразочкой с полчаса и поковыряв ногтем за ухом (там имелась любимая незаживающая ранка с корочкой), он был озаарен другим смыслом.

Через неделю в «Фотогазете» бабахнула бомба, статья на два подвала «Четвертое поколение советского фото!». Москва ахнула: каков Клезмцов! Проследил все традиции, вычислил и назвал всех по десятилетиям, никого не упуская, и привел, наконец, к нынешним молодым мастерам, наследникам славных традиций, к Четвертому Поколению! Четвертые! Да как же этого раньше никто не видел, никто не умудрился пе-

ресчитать? Вот Клезмцов и увидел, вот и умудрился! Считайте сами, у кого пальцев на руке достаточно... Первое: революционные авангардисты, супрематисты, конструктивисты — хоть и немецкой техникой работали, а славы нашей державе прибавили, один Родченко чего стоит, не говоря уже о ныне плодотворном маэстро Меркисе... Второе: это когда уже первую отечественную камеру свалили из отходов трактора на ХТЗ... тут уже пошло бурное развитие соцреализма с некоторыми досадными напластованиями культа личности... умолчим все-таки о засвеченных пленках и пропавших из позитивов лицах, зачем беречь раны, партия осудила напластования, а достижения были огромные, товарищи, время Днепрогэса, покорение Северного полюса... Третье: это те, что «с лейкой и с блокнотом, а то и с пулеметом»... все помним... никто не забыт, ничто не забыто... вперед, товарищи, за Родину, за... за Родину, товарищи!.. И вот четвертое: поколение XX партсъезда... молодые, обогащенные традициями, эрудициями... космическая эра, научно-техническая революция... впитавшее в себя все самое ценное, отбросившее все наносное...

Вот так в одночасье неудачливый фотограф и столоничальник газетной канцелярии Фотик Клезмцов стал теоретическим лидером им же открытого (о фразочке Збиги Меркиса никто и не вспомнил, включая самого Збигу) Четвертого поколения, важнейшим критиком-фотоведом периода поздней «оттепели». Блестяще он овладел искусством марксистско-ленинской «отмазки». Лишь только налетит неуклюжий сталинский гужеед на кого-нибудь из «четвертого поколения», как Фотик большущую запускает фитюлю основоположнических цитат, и окружающие рукоплещут — еще одна победа «четвертого поколения»! Даже эти надменные гады, которых и защищал своими боками Фотик, стали ценить его усилия, уже принимали как бы за своего, уже не удивлялись, когда он увоził из застолья набухавшуюся Полинку.

Фотик своих подопечных даже как бы полюбил, прислушивался к их болтовне весьма внимательно, все новое на снимочках изучал кропотливо, одного только не одобрял — религиозной моды. В те годы и начались прерстраннейшие для «эпохи НТР» разговоры о Боге. Слишком уж далеко уходили

новые гении от основ марксистской философии. Все о Боге да о Боге талдычат друг другу, несут возвышенную заумь, частенько и плачут, упоминая о Лике — вот Он явил нам Свой Лик в Иисусе...

Оказывается, атеизм ущербен и возник не от образованности, а от комплекса, понимаете ли, неполноценности. Фотография — это, видите ли, промысел Божий, а не торжество разума...

Фотик на эту тему предпочитал не высказываться, но в глубине души, так сказать, возмущался новой модой. Претил ему отход от принципов Писарева и Чернышевского, коих полагал своими духовными отцами. Сетовал он на товарищей, которые своим «экстремизмом», т. е. Богом этим, понимаете ли, своим, ставят под сомнение позиции всего «четвертого поколения», под вопрос благоволение сектора отдела культуры ЦК КПСС.

Вслух, однако, возмущения новой модой Фотик не высказывал, чтобы не отшатнулось «четвертое поколение», только лишь осторожно задавал вопросы то Древесному, то Огородникову, «уточнял позиции», так сказать.

Полина Штейн, конечно, на волне этих идей крестилась сама и ребят своих — безотцовщину — крестила.

Вдруг и за собой Фотик стал замечать опасные странности. Иной раз в застолье, после трех-четырех стопарей, да еще и под Полининым взглядом, бухал он своим основательным кулаком и начинал «выступать» — уж кому-кому говорить о Боге, как не ему, Ф. Ф. Клезмцову, у коего и дед, и прадед были священнослужителями, уж кому-кому говорить о народе обманутом, как не племяннику раскулаченного сеятеля, уж кому-кому говорить об издевательствах над интеллигенцией, как не внуку Бестужевских курсов с маминой стороны!

После таких «выступлений» утром, жутко мучаясь, обзванивал товарищей: как, мол, я вчера, не слишком ли накуролесил? Все трепетало внутри, и, конечно, не от вранья, милостивые товарищи, а от чуткого ощущения опасности; организм с похмелья хорошо улавливал то, что кружило постоянно вокруг этих сборищ «четвертого поколения».

Ну, а для гениев этих засранных все — как с гуся вода! Наорет, понимаете ли, на сто лет лагерей строгого режима, а

через три дня отправляется на международный фестиваль фотоискусства, в какую-нибудь умопомрачительную австралийскую Аделаиду. Удивлялся Фотик долготерпению Партии и все больше укреплялся во мнении — неспроста это, кто-то за нами стоит, значит, правильным путем идем, товарищи.

Не угадал, прокололся. Ослабил бдительность, не уследил за выражением лица зава фотосектором ЦК КПСС. Скулы высокопоставленного товарища были, можно сказать, барометром классовой борьбы. В период тактических маневров правящего класса скулы уходили внутрь, будка превращалась в подобие тещиног сдобного теста, а то и с цукатами. Однако, когда подчиненные классы — рабкласс и село с прослойкой — больно уж начинали наглеть, скулы выступали вперед, в боевой порядок: не отдадим кремлевского пайка, скорее человечество уничтожим! Ну, а в конкретном 1968 году, когда борьба за «кремлевку» танковыми средствами велась в братской Чехословакии, завсектором с его скулами и сам превратился в подобие карательной машины. Никаких уже отечески снисходительных бесед с гениями-шалунами, а Фотию, однажды в ответ на звонок, суровейший втык с предупреждением — перестаньте звонить по пустякам, время серьезное, подумайте лучше об уточнении своей позиции...

Хотел было Фотий тут же уточнить свою всегдашнюю коммунистичность, но его и слушать не стали, дали отбой.

«Четвертое поколение» после 1968-го все глубже погружалось в маразм, откуда только пьяный рык доносился. Фотик стал метаться, втягивать ноздрями воздух, вдруг уловил — потянуло онучей. Стал в клубе подсаживаться к окающим компаниям, очень сильно жал руки, заглядывал в глаза, басил по-народному «Здоров!»; и в статьях его и в речах вдруг недобитые петухи закукарекали.

...Чего же еще человеку русскому надо на родной Вологодчине, а тем паче фотографу российскому — поставил треногу на взгорье, прикинул на глазок, как прашуры учили, светосилу (а нам ее не занимать-брать) и снимай родной «Уралочкой» все, что душе мило: перелесины да перекатины, уголья колхозные, шагнувшие через лихую годину к нынешней рачительности, зяби этой нежной светло-зеленое шелковистое колыхание...

Вечный жизненный враг Славка Герман не преминул, конечно, опозорить на заседании секции пейзажа, заорал безобразно: а ты, задница, знаешь, что зябь колыхаться не может? Ибь, Фотик, — это вспаханная земля!! Деревенщина ты неграмотная!

Фотик метнулся было за поддержкой, но одни лишь заисключительные улыбки нашел на широких лицах. Вполне понятное недоверие испытывали к нему ревнители отечественной фотобумаги: вчерашний стилиста, с иностранцами якшался, с инородцами...

Непонятное равнодушие замечалось и в теоретических кругах. Ведь там же знали (не может быть, чтоб забыли) о прежней фотиковской любознательности, о пусть немногочисленных, но ценных же запросах. Конечно, в период «четвертого поколения» Фотик несколько чуждался товарищей из теоретических кругов, но ведь по понятным же причинам, для пользы же дела. Сейчас, случайно встречаясь с такими товарищами, он смотрел на них выразительно, здоровался со значением, увы, находил в ответ только равнодушие. Должно быть, в те дни предложение теоретических услуг превышало спрос.

II

И все-таки мало-помалу Клезмцов Фотий (щенячий «ик», конечно, был уже отброшен — катилось к сороковке) выбирался из «исторически детерминированной трясины», как он про себя эту трясины с уважением величал. То вдруг статейка проскочит «о нравственности», то, глядишь, доклад, вот, поручат на секции «Родного пейзажа», то в зональное совещание «Фотограф — объектив партии» пригласят, то на какую-нибудь декаду в делегации...

Как раз одна такая декада и оказалась поворотным пунктом в судьбе Клезмцова.

Дело было в Тифлисе горбатым, что снился Мандельштаму, конечно, и в каторжных ночах, в городе, где порой кажется, что социализм смягчен до неузнаваемости легкими ветрами вечного плодородия. Проходила декада дружбы, в гостинице

«Иверия» стояла огромная московская делегация по всем видам искусства во главе с выдающимся фотографом соцреализма Матвеем Грабочеем, семижды лауреатом Сталинской премии, трижды Государственной, однажды (увы, больше нельзя) Ленинской, депутатом Верховного Совета, членом ЦК КПСС, Героем Советского Союза, заместителем председателя Всемирного Совета Мира, главным редактором пропагандного ежемесячника «Социализм»... да, словом, перечисляя все его титулы, не заметишь, как докатишься до края бумаги.

В шестидесятые годы в кругах «четвертого поколения» над Грабочеем, а также над двумя другими титанами сталинизма, Севарковым и Пистуком, потешались за милую душу — вот, де, бражка, вот так монстры, динозавры колхозные!.. Посмотрите теперь вокруг, все эти «гении» в отпаде, в разбросе, а динозавры, как сидели, так и сидят в своих креслах, и, если уж речь пойдет о делегации в братскую республику, возглавлять ее Партия пошлет не какого-нибудь сомнительного Древесного или Казан-заде, а своего верного солдата Матвея Грабочея.

В течение всех празднеств Фотий издали внимательно наблюдал Грабочея, его голый череп, слегка почему-то зеленеющий в моменты эмоциональной эрекции, и думал, почему же так незыблемо торчит на вершине этот товарищ при всех вождях, от Сталина до Андропова, ведь не благодаря же своей репутации «верного солдата» и «пламенного трибуна», что-то тут есть еще... масонство какое-то, масон, нет сомнения, это партийный масон!

Декада шла от пира к пиру. Пьяный корабль гостиницы «Иверия» качался посреди некогда великолепного кавказско-европейского города, который даже и в условиях «зрелого социализма» тшится поддержать легенду о вечном празднике у горы Царя Давида.

И в общем, удавалось. Всю ночь до утра из номеров доносились звуки «Алаверды». В кулуарах праздника братских искусств витал эрос, а где эрос витает, там и фронда околачивается.

Однажды в коридоре Фотий натолкнулся на нечто почти уже забытое: «синий берет, синий жакет, темная юбка, девичий стан, мой мимолетный роман» — Полина Штейн! Не жен-

нина, а чудо! Семитское и славянское слилось в чудо природы: ведь через какие только дела не прошла, да ведь и годы уже не малые, а стоит ей только повернуться к тебе, как тут же и теряешь классовые позиции.

Оказалось, что Полина в Тифлисе с командировкой от журнала «Декоративное искусство» — освещать декаду. Как своему, она стала выкладывать ему последние московские ужасы. Герман зашил себе «торпеду», но тут же сорвался, была реанимация. «Фишка» приперлась среди бела дня к Ритке, она сейчас близка с этим, ты знаешь, видным диссидентом Юрой Клейкиным, конфисковали массу негативов. Древесный и Конский подрались в клубе, бились, как злейшие враги, переломали массу стульев. Что ты хочешь, Фотик, у всех нервы на пределе. Андрей халтурит в «Охоте и рыболовстве», Максим докатился до оформления стендов в домах культуры... «Степанида Властьевна» озверела совсем, бьет по самым лучшим... что ты хочешь, Фотик, такие дела...

Да чего же он хочет еще? Он только ее и хочет, хоть она и не признает его отцом второй пары своих детей. Он стоял в коридоре среди топота декады и звуков «Алаверды», начавший уже тяжелеть, с сильными линзами на носу, в распадающихся своих сальных народнических патлах, вчерашний Фотик, без пяти минут Феклович, и голова у него подкруживалась то ли от бесконечных грузинских тостов, то ли от мокрого облака мучительной, как прерванный коитус, ностальгии. Хочу ее как прежде, нет, сильнее, хоть и столько лет утекло, хоть и прошла она через столько рук...

Вечером на встрече с руководством республики в ресторане «Фуникулер» Фотий наблюдал свою Полину в обществе двух грузинских «комсомольских вожаков» и тихо зверел. Поддав основательно высокомарочного «Греми», он вдруг стал орать нечто ужасное о преступлениях Сталина, о лжи сегодняшнего дня, о задушенном чешском социализме, о том, что повсюду стукачи, он и сам был доносчиком, по глупости, по молодости лет, хотелось больше узнать из теории коммунизма, а теперь-то он понял, какой это все наглый обман, ненавижу коммунизм, ненавижу!..

«Вожак» проволокли его через весь огромный зал под прищуренными взглядами руководства республики и батьки

Грабочей. В принципе, они могли его и пришить в тиши в самшитовых кустах поблизости, но следом бежала Полина и слезно просила пощадить дурака. Хорошенькой женщине нетрудно договориться с двумя подонками, так или иначе — Фотий очнулся у себя в номере на облеванном ковре.

Он ничего не помнил, но что-то ужасающее, непоправимое одновременно и засасывало, и высасывало его. Вдруг вспыхивало, как на экране: огромный зал с многосотенной толпой, угощающейся аляфуршетно, Полина в обществе комсомольских плейбоев, барельеф под потолком и там лукаво сохраненный профиль Отца Народов, «солдат партии» Грабочей с бокалом в правой руке, вытянутой, как для расстрела... слышался чей-то голос, вопящий нечто чудовищное — «коммунистов ненавижу!».

И вдруг прорезалось — мой это голос, мой собственный голос! Конец...

Дальнейшее (как и предыдущее) — в тумане и с каждым годом уходит все глубже. Ведь если очень страстно хочешь все забыть, все и забывается или, по крайней мере, замутняется до неузнаваемости. Интересно то, что, если страстно, напряженно забываешь постыдное, оно и окружающими скорее забывается, быстрее превращается в полузабытую легенду.

Пытаясь что-то все-таки восстановить, применяя противотуманные фары высокой интенсивности, мы еще сможем увидеть размытые очертания Фотия Клезмцова у дверей номера суперлюкс, занимаемого главой делегации Матвеем Грабочеем, но за дверь все же нам вряд ли удастся проникнуть, да, честно говоря, и не хочется — тошнит.

Он постучал (десять лет назад в дыму забвения). Дверь открылась. На пороге сталинский солдат в халате (производство героического Вьетнама), похожий на пространщика из Сандуновских бань. Сквозь расходящиеся волны времени Фотий бухнулся на колени. Согласно одним источникам, бухнувшись, он возгласил: «Пощади, Матвей!» Согласно другим источникам, просто молчал, подняв к руководителю стражащее лицо. Источники сходятся, утверждая, что после минутного молчания Грабочей сказал «заходите» и теоретик «четвертого поколения советских фотографов», не вставая с колен, вошел в суперлюкс.

Что происходило в течение полутора часов за закрытой дверью, неведомо никому. Авторской волей, конечно, не трудно проникнуть и в эту тайну, можно, в принципе, даже пролезть в сердцевину грабочеевской «масонской ложи», однако мы тут воздержимся от дальнейших ходов по причине брезгливости.

Ночь была на исходе, когда Фотий Феклович вышел из номера, провожаемый суровым отеческим взглядом Грабочея. Выйдя и не раздумывая, он направился туда, куда ноги понесли, то есть к корреспонденту журнала «Декоративное искусство» Полине Штейн, и изнасиловал усталую женщину с огромным аппетитом. Вечером того же дня они вместе улетели на Север.

III

Удивительно, как все повернулось по-новому после той исторической ночи. Вдруг прекратилась многолетняя борьба с Полиной, она капитулировала и признала Фотия отцом своих вторых двойнят. Попробуй откажись — наши, клезмецовские, уши у ребят. Больше того, она вышла за него замуж и родила еще одного гвардейца, первого бесспорного. Старшим девочкам, записанным хочешь не хочешь на Древесного, Полина постоянно стала прививать уважение к новому отцу. Сама же ежедневно выказывала супругу чуть ли не рабскую преданность, а уж очаг создала по-настоящему образцовый и в хорошем смысле современный. Кто бы сказал, что в такую «душечку» превратится дерзкая Полина Штейн, богемная баба «четвертого поколения»? Фотий Феклович нарадоваться на нее не мог.

Не очень, конечно, ловко с отчеством у Полинки получается. Львовна сразу выдает львиное происхождение, ну что ж, пятно есть пятно, мы его не прячем, а, напротив, являем собой живой пример интернационализма нашей Партии. В конце концов Фотий Феклович убедился, что интернационализм в Партии и даже в ее «вооруженном отряде» жив. Судите сами — полуеврейка в женах, а такой идет бурный неудержимый рост. Двух лет не прошло после коленопреклонения в

Тифлисе, а Клезмцов уже стал секретарем правления Союза фотографов СССР, депутатом Моссовета, получил отличную квартиру в Атеистическом переулке, выехал с творческими и идеологическими заданиями в две валютно-устойчивые страны, ФРГ и Норвегию, издал солидный том идей «О нравственности в советском фотоискусстве».

Именно как спец по нравственности утвердился Клезмцов в головном эшелоне творческих кадров, и, если в верхах возникала малая или большая нужда по вопросам нравственности, там уже знали — надо вызывать Клезмцова. Фотий Феклович никогда не подводил и смело шел на любой теоретический риск в отстаивании позиций Партии. Да, он был не из тех, что ваньку валяют, в кусты прячутся от острых вопросов, очки втирают, — дескать, мы все-таки не хуже других. Нет, мы лучше всех других, смело заявляет Фотий Феклович и на любой конференции, даже и за рубежом, смело идет на обострение по любому вопросу, будь это хоть продовольственные трудности, временное присутствие ограниченного контингента, хулиганские делишки диссидентов, клевета на нашу психиатрию, крушение подрывных планов «Солидарности», заблуждения западных мастеров фотокамеры с их ограниченным религиозным воспитанием кругозором и т.д. и т.п.

Не кому-нибудь, а именно Клезмцову приписывают авторство термина «зрелый социализм», хоть и прозвучал впервые термин в речи члена Политбюро. Что ж, в наблюдательности Фотию Фекловичу явно не откажешь: социализм советский явно созрел, даже, кажется, уже и перезрел основательно, но об этом молчок во избежание несварения желудка.

К моменту нашей встречи с Клезмцовым прошло уже десять лет с тифлисской ночи, и образ этого «большого политика» (как он себя полагал) окончательно откристаллизовался. От Моссовета дошел он до Верховного Хурала, от членства в бюро до Ревизионной комиссии ЦК, от секретариатства в Союзе фотографов до первого секретариатства в могучем фотосоюзе Российской Федерации. Был он членом редколлегии десятка журналов, возглавлял бесчисленные выставки, да еще еженедельно просвещал массы по телевидению в рамках Ленинского университета миллионов — «после кино из всех искусств для нас главным является фотография!».

Внешне являл он теперь собой тяжеловатого товарища, однако не совсем традиционно партийного толка. За ним как бы утвердилось право на намек. Длинные волосы кружком, полуседая уже борода клинышком как бы намекали на пресмственность от русских революционных демократов. Мощные линзы с дымком прятали нехорошие глазки Фотия Фекловича, и в общем иностранцу какому-нибудь нетрудно было его принять за возродившийся тип русского традиционного политика-земца, журналиста и либерала. Даже уж и самый реакционный иностранец не поспешил бы сказать о Фотии Фекловиче «чекистская шкура». Не всякому ведь иностранцу бросались в глаза губы могущественного товарища, не всякий же был физиономистом и мог обратить внимание на губы, которые, хоть и звучит это дешевым каламбуром, выдавали Фотия Фекловича с головой. Просвечивая сквозь седоватую растительность, они свидетельствовали исключительную мерзость, и, хоть не пришлось еще деятелю «зрелого социализма» подписывать расстрельных списков, по губам было ясно — надо будет, подпишет и еще попросит.





УИК-ЭНД-2

I

Итак, мы выскакиваем из «волн времени» на островок текущего момента, в кабинет Клезмцова, где оставили важного гостя, утопающего в кресле, бутылку «Рэми Мартена» и самого хозяина, только что высказавшего по адресу проехавшего под окнами чудака-велосипедиста национально-позитивную мысль.

Полина Львовна, обеспечив встречу всем необходимым, удалилась. К телефону было приказано не звать. Предстоял важный разговор. Неважных разговоров с таким гостем, генералом Валерьяном Кузьмичом Планщиным, как читатель догадывается, не бывает. Серьезный ответственный товарищ, на таких-то и стоит держава.

Между тем генерал, попивая клезмцовский коньячок, думал о хозяине не без злобы. Наверняка этот Фотий имеет побольше, и даже основательно побольше, чем я, идеологический генерал, хотя по нашей-то фирме чин у него в сравнении с моим — плевый. Плюс к окладу у него ведь еще идут гонорары безграничные, сам себе назначает, все фотоиздательства в кулаке, плюс к этому по номенклатуре еще «кремлевка», о которой нашему брату чекисту и мечтать не приходится, плюс к этому фотофондовая двухэтажная дача в Проявилкино, по соседству с истинными нашими советскими классиками, хотя художественные достижения у самого-то хмыря практически нулевые, а на даче, по последним сведениям, две новеньких «Волги» у него засолены — для чего? вложение

капитала? неуверенность в своей позиции? — плюс, не следуют прибывать, заграникомандировки и в соц-, и в кап-, дефицит и сертификаты лопатой гребет, а тут даже и в Болгарию за новой дубленкой не выпросишься, плюс, нет, это уже, товарищи, за пределами понимания, к своей пятикомнатной квартире присоединяет еще двухкомнатную соседа по этажу Ефима Четверкинды, «переехавшего на жительство в государство Израиль», пробивает стенку и такие, понимаете ли, получают дворянские анфилады... Ох, хапает, хапает Феклович, пользуется слабостью Партии к «творческим кадрам», а ведь, по сути-то дела, кто он такой, как не «ведомый» по кличке Кочерга...

— Хорошо у вас, Фотий Феклович, — сказал генерал, искусно делая вид, что французский коньячок не злину в нем берedit, а, напротив, «людскую ласку» к товарищу по оружию. — Кажется, расширились за последнее время?

— Да вот, квартирешка по соседству освободилась, — с некоторой натугой проговорил Клезмцов. — Ну, Моссовет решил ее присоединить к моему... апартаменту, так сказать... нередко приходится ведь принимать избирателей, и фотографии приходят, и ТиВи, и то, и се... иностранные гости опять же...

— Очень правильное и своевременное решение принял Моссовет, — покивал генерал. — Творческому человеку нужен метраж... — замолчал на секунду, подумал «поразить — не поразить», решил «поразить» и процитировал из Пастернака: — «Мне хочется домой, в *огромность* квартиры, наводящей грусть... » А Маяковский-то как шагами саженья мерил? Впрочем, ему как раз тесновато было... — Он вдруг заметил свое отражение в отдаленном зеркале и обозлился еще больше, так ему не понравился отражающийся почти старик с неопрятными клочками седых волос и бровей. — Вы, кажется, квартиру Четверкинды Ефима присовокупили к своей? Интересно, он про это знает?

— Простите, не понял. — Пальцы Фотия Фекловича, по новой позитивно-национальной привычке сомкнутые на животике, разомкнулись в вопросительном движении.

— Просто интересно, знает Фима, что вы его квартиру заняли, или нет. — Планшину вспомнил быковатый наклон

головы этого богомного Четверкинды. Много нервов ребятам попортил во время разработки, однажды даже рафиком его чуть не задавили, сам бы и был виноват, нечего убегать, когда за тобой «железы» ездят.

— Да ему, должно быть, уже все равно, — не без некоторой озадаченности хмыкнул Фотий Феклович.

— Ну, почему же, Фотий Феклович? — с неадекватной как бы страстью удивился Планшин. — Ведь не мертвый же еще человек!

— Я не говорю, что мертвый, я этого не говорил...

Клезмцов явно сбился, не понимая столь неожиданной симпатии к «отъехавшему». Вот редкий пример неприятного чекиста, подумал он о генерале Планшине. Всегда говорит с каким-то задним смыслом, как будто всех подозревает в нехорошем, странный какой, несовременный профессионализм.

— Я ведь не сказал, что он умер, — повторил Фотий Феклович. — Просто, должно быть, и думать забыл об этой квартире в своем Тель-Авиве.

— Нью-Йорке, — уточнил генерал.

Клезмцов поднял рюмочку.

— Как-то странно мы сегодня, Валерьян Кузьмич, разговариваем. Ведь были же на «ты», даже на брудершафт пили в ГДР...

Планшин хлопнул себя ладонью по лбу.

— Прости, Фотий, запямятовал я. Ты же знаешь сам, сколько у нас сейчас хлопот, ты же, Фотий, понимаешь...

Неестественным нажимом на «ты» генерал явно показывал неестественность панибратства между ними. Пусть понимает, что меня эти брудершафты ни к чему не обязывают.

— А вот ты скажи, Фотий, ты в каких отношениях с Максимом Огородниковым?

— Я думаю, вы знаете, Валерьян Кузьмич, градацию отношений между людьми в моем Союзе фотографов. — Сухостью этой фразы Клезмцов показывал, что с ним эти генеральские психологические игры не пройдут, что если же вы все-таки так предпочитаете все время *щупать*, то нечего было в гости на коньячок напрашиваться. Никого вы здесь этим особенно не осчастливили, бывали здесь и повыше ко-

митетские особы и вели себя по-человечески, иной раз и нагибались, иной раз и Полинку норовили обнять ниже пояса.

— А все-таки как насчет Огородникова? — сощурился генерал. — Многое ведь с ним неясно, а? Как ты считаешь, Фотий?

— Вы так говорите, как будто арестовать его собирается, — хохотнул Клезмцов.

Планщин по-страшному разозлился, но виду опять не показал.

— Откуда же такие крайности, Фотий?! — глумливо изумился он — дескать, к чему толкаете. — Известного советского фотографа под арест? Чью «Плотину» в средних школах по всей стране изучают как советскую классику?! Мировое имя?! Чего же вы думали, когда в правление Росфото его выбирали?! Сами же выдвигали еще в прошлом году, а теперь под арест?! Нельзя, Фотий Феклович, быть таким максималистом, да еще и к своему пусть бывшему, но товарищу! Ильич нас не этому учил...

Он лукаво грозил Клезмцову пальцем.

Экая циничная скотина, ведь и над Ильичом явно глумится, ему все позволено. Фотий Феклович злился все больше, пошел красными пятнами, окружающее пространство затемнилось какой-то туго натянутой пленкой, циничный собеседник оказался как бы «вне», давление явно повышалось.

— Ну-ну-ну, — хихикала наблюдательная скотина, — ну, Фотий, давай не будем, ну, как говорится, давай-ка поднимем бокалы, расширим сосуды.

— К чему вы ведете весь этот разговор? — спросил Клезмцов.

— К тому, товарищ Клезмцов, что у вас под боком и частично в недрах вашего Союза фотографов возникла нелегальщина, — с серьезной мрачностью сказал тут генерал.

— Это из разряда черного юмора, Валерьян Кузьмич, художественное преувеличение?

Сосуды у Фотия Фекловича расширились, и теперь он смотрел на Планщина таким губатеньким лицом, которому только выдержанный человек не залепит пощечины. Генерал себя относил именно к таким.

— А вы о кружке «Новый фокус», об альбоме «Скажи изюм!» ничего не слышали? Никогда? И краешком уха? Великолепно! Вся Москва уже год болтает, что готовится бомба против цензуры, восемнадцать членов союза участвуют в провокации, а председатель союза, опытный наш работник... — тут Планшин сделал красноречивую паузу и уперся во вновь «поплывшего» Клезмцова своим рысьим взглядом, — ничего не знает! Великолепно!

Тут он благородно дал первому секретарю опомниться и углубился в «семейные закуски», вытащил пупырчатый огурчик, со стоном прокусил маринованный помидорчик, мягко наслаждался поджаренным окорочком, обсосал косточку. Когда же он снова поднял глаза к собеседнику, от «равной позиции» не осталось и следа — перед ним сидело нечто желеобразное. Еще бы, восемнадцать членов союза в конспирации! При желании можно таким говном закидать «теоретика нравственности», до конца уже не выберется. Ну, вот теперь можно начать серьезный разговор, а то сидит тут, раздулся от важности, как будто классик, как будто и не подписывал ничего, как будто не работает на нас, как будто не Кочерга.

Покорный и даже слегка подрагивающий Фотий Феклович теперь просто ждал. Снова подошел «судьбоносный момент»... Как ему нравилось это слово, с каким вкусом он его в речах употреблял, и не просто ради показухи, собственный опыт научил угадывать моментики, поворачивающие судьбу.

Довольный Планшин теперь уже говорил с ним, как со своим, снабжал Кочергу необходимой информацией. Много лет назад подсунули они компании Древесного, Конского и Огородникова через «человечка» идею свободного, так сказать, альбома. Важно было тогда определить, много ли контры накопилось за период разрядки международной напряженности. Увы, идея тогда почему-то зачахла, не осуществилась, объединить народ не удалось, все оказались отчаянными себялюбцами, как будто не в нашем обществе воспитывались. Все они тогда друг с другом грызлись, все не могли поделить корону в фотоискусстве. Пришлось эту идею похерить, да, в общем, и нужда в ней отпала: информация тогда шла широким потоком. Как вдруг, год назад, *без нас*, идея снова

появилась на поверхности, возникла группа «Новый фокус», стал создаваться неподцензурный, как они его определяют, фотоальбом «Скажи изюм!» с отчетливым антипартийным душком, а если точнее, с настоящей антисоветской вонью. Теперь ждите со дня на день: растреляют по рупорам — бунт в Союзе советских фотографов!

Тут генерал замолчал и как бы в глубокой задумчивости прогулялся по туркменскому ковру. Постоял у окна. Пальцы, сцепленные на крестце, слегка пошевеливались перед лицом деятеля «зрелого социализма».

— Как же так далеко-то зашло, Валерьян Кузьмич? — забормотал Клезмцов. — Ну хорошо, мы прошляпили за спорными, за текучкой, но... «железы»-то как же позволили?.. Стратегия, что ли?

Генерал тогда плотно сел к Фотию Фекловичу коленями и колени и ладонь свою, хорошо отработанную во времена культа личности, положил на месиво секретарской ноги.

— А вот это, Фотий, пока не твоего ума дело. Извини за юмор, но основные вопросы будем задавать мы.

О, Генералиссимус незабвенный!

Месиво под чекистской рукой затрепетало живее.

— Позволь, Валерьян Кузьмич, дорогой ты мой человек, не могу обойтись без вопросов-то. Ведь о вверенном мне союзе идет речь, а мне его Партия вверила, спросит-то она с меня...

Шандавошка какая, подумал генерал, все еще трепыхается, все еще выскочить от нас хочет, эго обнаглела партийная камарилья... сами себе признаться не хотят, что все с нами повязаны...

— Спрашивать теперь с вас мы будем. Начинается очень важная операция. К «вертушке» можете даже и не бросаться, на «этажах» все согласовано; уровень Пелипенко. По соответствующему сигналу *от меня* возьметесь за организацию общественного мнения в Союзе фотографов. Партия и «железы» идейного контроля уверены, что советские фотографы дадут достойный отпор попыткам взорвать союз изнутри. Пока что, самым осторожным образом, подготовьте информацию на каждого человека, указанного в этом списке.

Фотий Феклович держал в руках список. Можно было и без него обойтись, состав участников заранее известен. Ну, так и есть — отец моих детей Андрей Древесный, любовник моей жены проклятый Славка Герман, конечно же Эмма, конечно же Стелка, Эдик, без него не обошлось, вот и молодые, о которых сейчас говорят, Охотников Олеха, Пробкин Вениамин, ну и без Мишки Фишера, без Карла, без Цукера разве крамолу начнешь... ха, вот и неожиданность — Чавчавадзе... князь-то с какого боку припека?.. а вот и темные имена — Штурмин, Жеребятников... сионистской вылазкой не назовешь, русские преобладают...

Эх, только бы не показать безжалостному генералу, какая тоска сжимает горло. Талантливые головы полетят, такие чуткие линзы, выпестованные ведь не кем иным, как мной самим, и в теоретическом и, позже, в административном ведь смысле. Они-то ведь и сами не подозревают, как много для них сделал Фотий Клезмцов. Как все эти годы он их вел, оберегал от «гужеедов». И вот пришло возмездие за благородное дело, пришел час записываться в историю погромщиком любимых, выпестованных собственными руками талантов...

— И все-таки, Валерьян Кузьмич, опять не могу удержаться от вопроса. Не вижу в вашем списке Максима Огородникова. Это что, случайность?

— А вот это вопрос по существу, — с неожиданной демонической мрачностью, будто и не ерничал только что, произнес Планшин. — Вот тут мы, Фотий Феклович, подходим к важнейшему вопросу повестки дня. Помните, я сказал, что когда-то это наша собственная была «дренажная» идея, однако осуществить ее не удалось. Кем же сейчас заброшена в фотографическую среду эта идея, если не нами? По многим признакам, Феклович, можно судить, что сделали это наши коллеги из Лэнгли, штат Вирджиния. И по некоторым признакам... боюсь пока утверждать... ждем еще дополнительных данных... по некоторым, которые у нас уже на руках... держись за кресло, Фотий... похоже, что ЦРУ действует через Максима Петровича Огородникова как своего прямого агента. Так или иначе, но этот «классик советского фотоискусства» сейчас у нас в отдельной разработке и не включен в список политически незрелых людей,

которых он затянул в свой отлично спланированный заговор. Вам понятно?

— Какая гадина... — прошептал Клезмцов. Сердце его радостно наполнялось ненавистью к надменному честолюбцу, подонку, искателю «сладкой жизни», барвихинскому аристократишке, докатившемуся до государственной измены. Нет, не погромом талантов тут пахнет, а их спасением! Спасать надо талантливые линзы для них самих и для... ну... в общем-то, просто-напросто для России, для отечества, для будущего. Они получают хороший урок политической зрелости, но будут спасены, спасет их снова он, Ф. Клезмцов, большой общественный деятель эпохи «зрелого социализма».

— В случае, если все подтвердится?.. — Он заглянул в рысьи глаза. Ответ в них на этот раз прочесть было нетрудно.

В этот напряженнейший момент повествования вдруг неслышно вошла милая Полина, бывшая Штейн, с ее пучком тяжелых волос и небольшим лицом, начинающим запекаться вокруг огромных глаз.

— Простите, Валерьян Кузьмич, но вас настоятельно просит к телефону ваш сотрудник. Я не хотела звать, но он кричит в трубку так, словно... словно... — Она замаялась, потом как-то странно улыбнулась и протянула генералу трубку. — Ну, в общем, вопит!

Планшин сразу понял, что произошла какая-то крупная подлянка. Голос капитана Слязгина и впрямь звучал панически:

— ЧП, Валерьян Кузьмич!.. По телефону не могу!.. ЧП! ЧП!

— Вы где сейчас? — Генерал уже застегивал пиджак, подтягивал галстук.

— Еду в Атеистический!

— Спускаюсь!

Клезмцов проводил его до лифта. Вопросов больше не задавал. Обменялись крепким рукопожатием. Оскорбить на прощание или не надо? — подумал генерал. Решил все-таки оскорбить и сказал с прищуром:

— Продумайте все, как следует, Кочерга!

II

Володя Сканщин никогда не жалел, что в «железы» пошел служить. Во-первых, конечно, Родине больше пользы в ее борьбе, во-вторых, конечно, материально получается лучше, чем на прежнем месте, в оргсекторе МГК ВЛКСМ. Судите сами: ставка выше на 52 рэ плюс 60 рэ за звездочки, снабжение капитальное, еженедельный пакет с энным количеством мяса, масла, обязательно батон финского «сервелата»... Плюс! Чуть не упустил, дорогая... 5 рэ 50 коп. «оперативных» на вечер... ну, если нужно — понимаете, дорогая? — если нужно в ресторанчике посидеть, а это приходится делать, можно сказать, каждый вечер при специфике моего, лично, труда. Оф корс, на пятак с полтиной не разгуляешься, однако ведь это только чтобы воттить — войти, конечно, извините за промашку, дорогая, — войти и заказать бутылочку «Кабэрнэ» для разгона, а уж потом от угощений не отобьешься: народ сейчас к «железам» с уважением, не то что при Сталине. И третий аспект, дорогая...

Володя приподнялся на локте, взял с полочки оперативную пачку «Мальборо», подбил себе повыше подушку и с удовольствием закурил. Неплохо получилось со словом «аспект», вовремя и к месту. Аспект хорош тем, дорогая, что непрерывно растешь, иначе и нельзя, такой характер работы; не поднимаешься над собой, будешь плестись в хвосте.

Возьмите хотя бы лично меня. Кем я являюсь по происхождению? Тем же, что и папа наш, завскладом, то есть настоящий пролетариат. Комсомол, конечно, дал мне немало, но насчет духовной жизни и там по нулям. И только благодаря «железам», помогающим творческим союзам держать идейное оружие в чистоте, я прикоснулся к сокровищнице искусств, вообще почувствовал себя человеком. Вот, гляньте — а почему не гляньте, а посмотрите, дорогая? — ну хорошо, вот посмотрите, за один только год сколько скопил полных собраний, не у каждого потомственного интеллигента найдешь. А вот здесь подаренные альбомы мастеров советского фото. Впечатляюще выглядит для истории, хотя отчасти секретно: не все мастера желают, ну... в общем, это особая тема. Может, вы думаете, дорогая, что я эти книжки-

то собою? Читаю, дорогая, вникаю, даже делаю выписки. Постоянно приходится расти над собой, жизнь подсказывает. Вот, к примеру, однажды в Шереметьеве Максим Петрович швырнул мне насмешку насчет английского фотографа Алекса Спендера — дескать, не знаешь, лапоть, мастеров культуры. Другой бы разозлился, а я взялся за справочную литературу, и вот теперь спросите меня про Спендера, все его периоды знаю. Ну, вот спросите, дорогая, сколько длился у Алекса Спендера экстраполярный период. Ну, спросите, спросите, дорогая!

«Дорогая», однако, вместо того чтобы задать Владимиру желаемый вопрос, повела себя несколько иначе. Резкое движение ногой влево, сильный поворот, одеяло и подушки — в сторону, основательное белое тело на мгновение уподобляется большой рыбе, после чего «дорогая», то есть Виктория Гурьевна Казаченкова (вторая бывшая жена М. П. Огородникова, помогающая ему по хозяйству), фиксирует соответствующую позицию в подрагивающем ожидании.

Пришлось Володе опять пристраиваться, впрочем, он делал это всегда с удовольствием, и не только плотским, но и художественным. Вот и еще одна выгода нынешней роли — доступ к интеллигентным и многоопытным, с солидным возрастным стажем дамам. В орготделе МГК ВЛКМС и мечтать не приходилось о подобных пропорционально сложенных шагенках. Возьмите зад — круглый и плотный, возьмите талию — тонкая, но мягкая, возьмите молочные железы — тяжеловаты, но в меру, возьмите и сочетайте полезное с приятным, физиологическое и эстетическое, службу и дружбу.

Отдышавшись после процедуры, Виктория Гурьевна несколько раз протрубила «у-у», чтобы разгладить складочки вокруг рта, а потом вполне небрежно и даже как бы свысока сказала молодому офицеру:

— Все эти ваши служебные преимущества, Вовик, такая мелочь. Разве так должен жить человек в наше время?

— Не понял, дорогая, — встрепенулся Сканщин. Реплика Виктории Гурьевны явно задела его за живое.

— Ну, вот и ударения ваши... — Она поморщилась. — Как-то все это мелко, мелко... Современный молодой человек считает какие-то пятьдесят два рубля за какие-то там звездоч-

ки, восхищается пакетами с какой-то там колбасой, или как ее там. Нет, Вовик, вы не умеете жить!

Она вдруг резко, как гимнаст, встала с кровати, скакнула и застыла в йоговской позиции: левая рука держит оттянутую назад левую ногу за щиколотку, правая рука, как у вождя революции, устремлена в светлое будущее.

Володя Сканцин даже обиделся на свою «дорогую». Не умею жить, так научите, хотел вскричать он. Смеяться над ударами легко, вы лучше научите, как правильно. Если я не умею жить, так научите, пожалуйста! Готов всему научиться, если только не во вред Родине.

Однако не успел он этой тирадой разразиться, как прозвенел телефон, Вова так с кровати и скатился. Из фирмы звонят, не иначе как генерал. Безошибочно отличал он звонки из «фирмы» от других, а уж особенно от маманиных медовых позывных.

Голос у Планщина был — врагу не пожелаешь, хоть проволоку из него тяни, вот большевички железные; на «вы» и полным именем.

— Ну, что, Владимир Сканцин, по обыкновению гребе-тесь?

Володя сразу весь взмок, а тут еще дорогая Виктория Гурьевна с шумом выпустила из ноздрей воздух, то есть подтвердила чуткому уху генерала свое присутствие.

— Немедленно ко мне! — Планщин бросил трубку.

Затрепетав всем внешним обличем, капитан Сканцин ринулся в ванную. Так и есть — на шее засос, жадные большие губы опытной женщины. Запах выделений. Подбородок негладок. Бриться некогда, мыться некогда, отлить хотя бы! Вот тебе и уик-энд, настоящий «подвиг разведчика»!

— Да что вы суетитесь? — пренебрежительно сказала Виктория Гурьевна. — Нет, Вовик, если по большому счету, вы живете вне стиля.

— Да уж какой там стиль, дорогая, — бормотал Сканцин, влетая в штаны. — Ведь государственная же служба же, дорогая...

— Хо-хо, — не потревожив лицевых мышц, хохотнула московская дама. — Хороша эта ваша государственная служба!

— А вы думаете, лучше театральными билетами спекулировать? — вдруг обозлился Сканщин и, сказав сие, даже охнулся — впервые так резко парировал свою «дорогую», влиятельную сотрудницу театральных касс столицы.

— Лучше, — коротко ответила она.

— Осторожно, осторожно, дорогая, — бормотал Володя. — Все ш таки о «железах» говорим. Все ш таки, видать, повлиял на вас бывший супруг.

— Не трогать! — скомандовала Виктория Гурьевна. — Гения не трогать!

Диалог происходил на фоне суматошных сборов офицера тайной службы и по-солдатски четкого одевания его подруги.

Несясь в «Жигулях» на тайные квартиры своего ордена, молодой советский масон обиженно бормотал:

— Не трогать гения, понимаете ли, не трогать, а кого ж тогда трогать-то, если именно к гению этому сраному представлен?... Стою перед тобой, как лист перед травой. Узнать нельзя отца-командира, не человек, а стальной кишечник. Короткий вопрос...

— Где он?

... сковывает все члены, включая язык.

— Вы что, не слышите, капитан?

— Вот он, — показал на самого себя капитан Сканщин.

В углу просторного кабинета кто-то грубо хохотнул. Так и есть, Слязгин Колька в полной форме, ремнями перетянут, тоже мне лейб-гвардеец.

— Отставить смех! — рявкнул в угол генерал и, привставая, развернул перед Сканщиным нечто подобное многоступенчатому грому. — Капитан Сканщин, хотелось бы знать, чем вы занимаетесь вместо служебных обязанностей, яйца чешете, блюдете, пьете?

— Да ведь уик-энд ж, товарищ генерал, — словно нашкодивший школьник пробормотал Володя. Колька Слязгин захохотал еще грубее, с нескрываемым хамством.

— Уикэнд... во англичанин... во дает... во дает... уик-энд...

Планщин как опытный психолог решил прежде всего прекратить ужесточение внутрислужебных отношений. Одним взглядом он прихлопнул хохочущую пасть Слязгина, другим

слегка, еле-еле, но все-таки ободрил проштрафившегося любимчика Сканщина.

— Приведите себя в порядок, капитан.

Владимир бросился к зеркалу. Что же не в порядке?.. Ну, вот, правда, кончик трусов чуть-чуть свисает, зацепившись за «молнию» штанов. Легко устранимый беспорядок, об чем речь...

— О том речь, Владимир Гаврилович, что подопечный ваш, фотограф Огородников ЭМ ПЭ... — по старой следовательской привычке генерал прервал фразу и показал подчиненному стул напротив, — ... в настоящий момент разгуливает по Берлину... — трудно удержаться и не растянуть зловещую паузу, — ...по Западному Берлину, многоуважаемый Владимир Гаврилович.

В общем, если бы не хорошая физическая подготовка, а за это как раз комсомолу спасибо, пришлось бы капитану Сканщину сыграть со стула. Вспомнив, однако, в критический этот момент все, чему учили, а также примеры из патристической литературы, Володя хорошо удержался на стуле и даже челюсти сжал и глаза сузил, зная, что таким вот больше всего нравится генералу.

— В буквальном смысле понимать или в переносном, Валерьян Кузьмич? — спросил он.

Планшин перебрал ему через стол несколько листов так называемого «радиоперехвата». Там значилось: корреспондент радио «Свобода» сообщает из Западного Берлина, что два дня назад сюда прибыл известный советский фотограф Максим Огородников. Выступая на дискуссии в «Обществе баптистских чтений», он вызвал возмущение германских «левых» своими на удивление немарксистскими высказываниями. Приводим, с некоторыми сокращениями, выступление Огородникова, опубликованное в газете «Ди цайт». Текст в обратном переводе с немецкого...

Володя сделал глубокий вдох, как будто после глубокого нырка, и покрутил хорошо тренированной головой.

— Пока еще полностью охватить не могу, товарищ генерал. Во-первых, как это он прибыл? Как это может человек прибыть, если мы не пускаем? Во-вторых, ведь Сорока с ним и пила, и спала, можно было не волноваться...

Соперник Колька Слязгин больше не смеялся, но зато прогулывался вдоль западной стены кабинета, жестко поскрипывая дореволюционным паркетом.

— Позови ребят, Николай, — сказал генерал.

Володя Сканщин опять «нырнул». В кабинет входили и рассаживались вокруг конференц-стола все сотрудники сектора — Бешбашин, Люшаев, Крость, Чирдяев, Плюбышев, Гемберджи. Вот какая пошла пьянка-режь-последний-огурец, подумал Володя. Не иначе как горю синим пламенем. Прощай, столичная жизнь! Отправят на БАМ, к остобалдевшим комсомольцам.

— Товарищи, — обратился генерал к своим людям, — вы уже в курсе ЧП. Руководство Союза обществ дружбы заверило меня, что по отношению к сотрудникам, проявившим преступную халатность, которой воспользовался Огородников, будут применены строжайшие дисциплинарные меры. Наш товарищ Володя Сканщин, будем смотреть правде в глаза, тоже оказался не на высоте. Это урок для всех. Нужно всем сделать соответствующие выводы и нужно помнить, что «железы» основаны не только на дисциплине, но и на нерушимой товарищеской спайке. Теперь перед нами стоят важные оперативные задачи. Прошу всех высказываться. Прежде всего хотелось бы услышать Володю, как он оценивает действия Огородникова?..

Сканщин уже понял, что на БАМ его ссылать не собираются. Сердце его наполнилось благодарностью к генералу и теплотой ко всем товарищам — все-таки спайка, все-таки настоящая мужская дружба... Он поднял голову и посмотрел в глаза генерала, расширенные швейцарскими линзами.

— Сильный враг, Валерьян Кузьмич, — с некоторой задумчивостью сказал он. — Перед нами очень сильный и, я бы сказал, опытный враг... — Планщин просиял: нет, не зря все-таки вложено много души в этого паренька из Марьиной Рощи. Угадывает, угадывает направление!

— Правильно, Володя! Сильный, хитрый, опасный враг!



ГЛЯЦИОЛОГИЯ

I

Нынешняя, или, если можно так выразиться, «текущая», жена Максима Огородникова гляциолог Анастасия, урожденная Бортковская, принадлежала к той удивительной части человечества, чей день рождения обозначен 29 февраля, то есть случается раз в четыре года. Именно в этот день три года назад Настю-Стасю угораздило повстречать будущего, так сказать, супруга. Хохма усугублялась еще и тем, что цифра в этот день дублировалась: с утра стукнуло 29.

Бытовые московские мерзости. Очередь за «заказами» в Елисеевском, позорный провал с пирожными в «Будапеште», полусладкое шампанское с нагрузкой в виде размокших вафель — немедленно в урну — и вдруг, наскок на дефицит — севрюжки брюшки! Мамаша с тетей Маришей партизанили с утра вдоль Ленинского проспекта — надо, чтобы стол был «не хуже, чем у людей».

Итак, в тот день обвешанная сумками Анастасия стояла на углу Кузнецкого моста и Неглинной улицы. Снег из мокрого становился колючим, видимо, приближалось падение температуры и обледенение дорог. В такую погоду шубки искусственного меха становятся основательной гадостью, и Анастасина не была исключением. Проходившие мимо такси были набиты до отказа, даже попутчицей не устроишься. Над Неглинкой висела старая туча, неподвижная, как политическое бюро. Проходившие и стоявшие рядом люди мрачно смотрели исподлобья. Через дорогу в очереди за пирожка-

ми по гривеннику хохотала группа театральной молодежи, всех раздражал этот неуместный смех.

Как вдруг удача для Анастасии — левак! Заляпанная грязью «Волга» остановилась у самых колен. На Ломоносовский? Левак кивнул. Она пошвыряла свертки на заднее сиденье, а сама плюхнулась рядом с шофером. Внутри было тепло. Лилась чудесная музыка. Скрипичный концерт Гайдна, ни больше ни меньше.

— Вы знаете, какое сегодня число? — спросил левак.

— Случайно знаю, — буркнула Анастасия. — Двадцать девятое.

— Ба! — сказал левак. — Високосный год! Погода мерзкая! А день волшебный!

«Кадрит», — подумала Анастасия и не ошиблась, как выяснилось. У левака был долговатый нос над пушистыми усами, шарф вокруг шеи обмотан — обалдеешь!

— А сколько будет стоять от Кузнецкого до Ломоносовского? — спросила она.

Левак улыбнулся.

— Договоримся, сударыня.

«Кажется, это какой-то известный артист», — подумала Анастасия. Ситуация довольно идиотская. Ну, как такому, с Гайдном, предложишь трешницу? А вдруг просто фарца какая-нибудь, не дашь трешку, матом обложит...

— Да вы не смущайтесь, — пришел он ей на помощь. — Трояк, как по таксе, а если рубчик подбросите, покупки поднесу.

Мамаша и тетя Мариша при виде «интересного мужчины» во всем заграничном, по своему обыкновению, слегка окаменели. Он внес покупки, взял четыре рубля, поблагодарил, но не ушел сразу, а стал, отступая, фотографировать женское семейство, щелкнул не менее двадцати раз, пока Анастасия не вытолкала его за дверь. Только тогда мамаша с тетей Маришей ахнули: что же это такое? шпионаж какой-то?

Вечером, в разгаре веселья, когда гляциологи уже почувствовали себя в седловине Эльбруса, явился посыльный, вот именно посыльный, даже в какой-то шутовской униформе, принес огромный букет роз, не менее как рублей на двести и пакет свеженьких фотографий весьма странного свойства.

Сфотографированные женщины предстали на них в позах, которых они, ей-ей, не принимали. Мама и тетя Мариша были изображены некими шаперонами, дуэньями, пытающимися удержать романтическую красавицу, то есть Анастасию, от любовного порыва к тому, кто фотографировал.

У Анастасии до Огородникова, несмотря на приближающуюся уже тридцатку, очень был скудный, если не сказать отрицательный, любовный опыт. В весьма нежном возрасте она была напугана одноклассниками, которые однажды затащили ее в географический кабинет с целью коллективной потери невинности. Она даже не помнила, сколько там было ребят, трое или четверо, все эти дровичли матерились, неловко выворачивали ей руки и ноги, залили ее всю своей гадостью, оставили отвратительные ссадины, так ни у кого ничего не получилось, а ведь были все гимнастами-разрядниками. После этого на долгие годы у нее остались какие-то рефлекторные сжимания при приближении любого мужчины.

Нельзя сказать, что в студенческие годы и позже, в ледниковый период, не было у нее некоторых, как она невкусно называла, «романешти». Внешних данных, как говорится, было не занимать-брать, и «романешти» возникали со всем необходимым антуражем, луной и черемухой. Увы, в постели все засыхало, ничего не могла с собой поделаться Анастасия, сжималась, деревенела и после первого же проникновения, всякий раз похожего на штурм Шлиссельбурга, начинала тихо ненавидеть возлюбленного.

К двадцать девятому году жизни она уже как бы и смирилась со своей фригидностью — что, мол, поделаешь, не всем, мол, дано, вот и буду с мамой и тетей Маришей куковать, обе ведь ненавидят мужиков и ничего себе, живут. Вот тут-то и появился «левак».

К тому времени Максим Петрович благополучно завершил свое пятое или шестое супружество с гражданкой Франции Надин Шереметьефф. Международная хиппица Надин стала его «хорошим другом, настоящим парнем». Детей надежно воспитывала бывшая теща. «Студенточка», как Огородников всегда называл Настю, появилась в самый подходящий момент. Он взял Шлиссельбург неудержимой атакой и, взяв, закрепился. Пресловутая фригидность в первую же

ночь улетучилась под эротическим и алкогольно-романтическим напором сексуального революционера Семидесятых годов. Пошли жениться, говорил он ей каждое утро. Она его обожала, но замуж не шла, жалела маму и тетю Маришу. «Лошади» Макса ненавидели: где это видано, чтобы у человека дети были в Париже?

Все-таки как-то с похмелья они расписались, а потом, спустя полгода или больше, даже обвенчались в Новгородской области в приходе отца Глеба, с которым Максиму случилось познакомиться на одном диссидентском «кухонном сидении».

Анастасия, однако, брак свой почему-то всерьез не принимала, даже хохотала при слове «муж». Маме и тете Марише ничего об этом не было объявлено, и даже встречи супругов по-прежнему обставлялись Анастасией с некоторой таинственностью, что иногда нравилось Максиму, как бы добавляло огонька, иногда злило, чаще просто потешало. Впрочем, он эту игру принял, а через некоторое время сообразил, что это даже удобно при его образе жизни.

Так год за годом прошло что-то около трех. Половину этого срока Анастасия провела в заоблачных краях. Возвращаясь, она затыкала ноздри, входя в квартиру Макса или мастерскую на Хлебном. Не могу дышать, запах греха, вонь разврата, милостивый государь! В ответ на это Макс орал, что еще не проверено, соответствует ли целомудрие гляциологинь белизне вечных ледников. Они хохотали, и Анастасия думала: вот так и надо жить с мужиком, вот такую и надо сохранять независимость, хотя прекрасно понимала, что положение неравное — белизна вечных снегов, увы, соответствовала ее целомудрию (даже и представить себе не могла кого-нибудь, кроме Макса), а вот каждый квадратный метр мастерской, увы, действительно разил блядством, даже и вещественные доказательства иной раз попадались — трусики, лифчики, контрацептивные средства, забытые визитершами. Тут уж она не выдерживала. Это свинство! Ого! Мне надоело твое половое свинство! Товарищ Огородников в таких случаях по старому своему обычаю уходил в «глухую несознанку».

Словом, они любили друг друга, хоть и с разной интенсивностью. Хм, написав или прочитав эту фразу, невольно подумаетесь: экая мерзость! «Любовь с разной интенсивностью»

звучит приблизительно как «макаронные изделия» вместо простого и любимого народами всей земли слова «макароны». Увы, что-то от этой аляповатости, скособоченности было и в супружестве Макса и Анастасии. По идее, они были чуть ли не разнопланетянами. Каждый шаг Огородникова иллюстрировал какое-либо общественное понятие, слишком много понятий, иллюстраций, репрезентаций для не очень-то счастливой женщины, которая если уж и иллюстрировала что-то, то не более чем «неисправимый романтизм русских студенточек». Как это может сочетаться с тем, что представляет сейчас, улетающая на Запад, ее муж, а именно с «бунтом советского фотоискусства против линии партии»?

Он не вернется, думала она, сидя на бульваре возле своего дома на Воробьевском шоссе. Он вырвался чудом и теперь не вернется. Я его больше никогда не увижу. К «невозвращенцам» жен не выпускают. Да я ему и не нужна. Все-таки мы чужие, и в этом я сама виновата: не сумела его привязать, не смогла перебороть идиотского мужененавистничества. Прежде она никогда не плакала, а тут, в который уже раз за два дня после его отъезда, разрыдалась себе в колени. Пошлейшие стенания трясли ее, мелодраматические причитания, которым она прежде устраивала преграду, теперь получили волю. Любимый мой, единственный, жестокая жизнь разлучила нас навеки, но верь, ничто не вытравит из моей души твой светлый образ — вот именно так выглядели ее причитания, и она их даже не стыдилась, потому что именно они казались ей правдивыми, а не что-нибудь другое, не дурацкая, скажем, поза с сигаретой. Дома как раз она сидела с сигаретой, бессмысленно смотрела в телевизор. Дома не дашь себе воли. Бульвар в этот час пустынен, кадрильщиков нет, никто не предлагает утешений. Вот только вдоль решетки медленно едет моторная инвалидная коляска. Большое белое лицо старика инвалида повернуто к ней. Между прочим, и отец мой, кажется, ездит в такой коляске, вдруг пришло ей в голову. Вдруг вспомнился отец, которого она видела последний раз еще до встречи с Максимом, то есть больше трех лет назад. Почему мама и тетя Мариша так враждебны к нему? Почему я так равнодушна к нему?

— Настя! — позвал инвалид из-за чугунной решетки.

— Это как раз и оказался отец.

— А я по твою душу, — сказал инвалид-отец и поехал на своей тарактелке вдоль решетки ко входу на бульвар. По дороге он все время оглядывался, как бы боясь, что она исчезнет.

Кто он такой, мой отец? Ветеран Великой Отечественной войны, какой-то чудаковатый умелец, мать говорила как-то, что он работает для каких-то артелей по договорам, инкрустирует какие-то шкатулки. Несерьезный человек, говорит мать, хотя алименты платил исправно. В детстве он появлялся иногда, странный визитер на протезах, двигается, как робот. В общем, он как бы «не считался». Даже Максиму ничего о нем не говорила, да он никогда об отце и не спрашивал.

— Хочу тебе объяснить мое появление, — начал отец, приблизившись и выключая мотор.

Его дряблые щеки дрожали, свисая на воротничок рубашки. Пиджак флотского сукна был отягощен «иконostasом» бо-свых наград. На плечах рисовались галактики перхоти. Он весь был белый, то ли от волнения, то ли от хронического нездоровья.

— Подожди, папа. — Она вдруг безотчетно взяла его руку и прижалась к ней щекой. Тут же ей показалось это ужасно неуместным, стыдным, и она зачастила, чтобы скрыть смущение: — Почему ты всегда в этом пиджаке с орденами? Где ты живешь? Ты одинок? Почему мы такие чужие? Что вы с матерью не можете поделить?

Но он был гораздо сильнее потрясен неожиданным прикосновением ее щеки к своей руке. Она видела, что он едва ли не в смятении.

— Видишь ли... видишь ли... — бормотал он и тыльной стороной только что обласканной руки вытирал пот со лба, — я, собственно говоря... по важному делу... нечто... нечто... бо-юсь, ты удивишься... дочка... — Как видно, не без труда да-лось ему это слово, но после этого дело пошло лучше. — Бо-юсь, ты удивишься, Настя, но я по поводу твоего мужа Мак-сима Петровича Огородникова...

— Откуда ты знаешь, что я?.. — изумилась она. — Разве я тебе когда-нибудь?..

Он улыбнулся, совсем уже спокойно.

— Ты думаешь, это такой уж большой секрет? Он сам мне сказал, что вы муж и жена, когда узнал, что я Бортковский.

— Вы знакомы? — Изумлению ее не было границ. Очень уж не соединялся ее «левак» с этим колясочником.

— Да, — сказал отец не без важности. — Мы встречались несколько раз на некоторых... хм... на некоторых чтениях.

— На диссидентских, наверное, чтениях? Папа, неужели и ты диссидент?

— Я член Совета инвалидов. Мы боремся за права калек, а они в нашей стране ущемлены даже больше, чем права здоровых людей. Но это просто к слову, Настя. Если хочешь, я когда-нибудь тебя познакомлю подробнее с этими делами. Сейчас другое. Мы разыскиваем Огородникова. Ему угрожает опасность.

— В чем дело? — Она снова схватила отца за руку, но это уже было другое движение, полное электричества.

— «Железы», — сказал он. — Пожалуйста, никому, кроме Максима. У моего друга есть приятель из отставных чекистов. Он играет в шахматы с генералом ГФУ, или, как ее называют, «фишки». Он сообщил нам, что против Огородникова разработан оперативный план. Разработан и утвержден. Это значит, что «железы» будут вести дело к изоляции твоего мужа. Какими методами это будет сделано, мы не знаем. Во всяком случае, ты должна предупредить Максима...

— Поздно, папа, — вздохнула она. — Позавчера Макс улетел в Западный Берлин. Как это случилось, я не знаю. Торчала на Эльбрусе, дура...



Как вам нравится Берлин?

— Он неповторим.

— Неповторим?

— Неповторим, как Венеция. Скажите спасибо Хрущеву и Ульбрихту, это они сделали ваш город неповторимым.

Огородников и настоятель Баптистской академии патер Вилли Брандт (никакого отношения к бывшему канцлеру) шли через площадь к «Кароян-Сараю», как здесь называют здание филармонии. Там в этот вечер был джазовый фестиваль. Стена была неподалеку за прозрачными липовыми аллеями, мирно розовела под закатными лучами. Можно даже было видеть черные и синие граффити и при небольшом усилии различить слово «свиньи».

— Простите, Максим, что вы имеете в виду? — наморщил лоб патер Брандт.

Он шел пружинистым шагом, был розовощек и выглядел по крайней мере на пятнадцать лет моложе своих шестидесяти. Потертый твидовый пиджак и вельветовые брюки — униформа берлинской передовой интеллигенции. Трудно было бы признать в нем человека Церкви, если бы не выражение лица, но кто сейчас обращает внимание на такие мелочи. Впрочем, был еще в руках настоящий пасторский зонт, перешедший по наследству из XVIII века.

— Да разве же нет в вашем городе тайны, Вилли? — спросил Огородников.

— Тайны? Я извиняюсь, но вы меня что-то запутываете, Максим.



Вокруг филармонии было довольно много, но и не так уж много народу, во всяком случае, билеты спокойно продавались во всех кассах. Можно себе представить, как в Москве бы рванули на такой концерт с Чиком Корией, Фредди Хаббордом, Херби Хенкоком, а главное — с биг-бэндом Вуди Хермана вместе с Джери Маллиганом Великим! Впрочем, не только в Москве, в любой европейской столице все было бы продано за неделю вперед. Зафалонцев, должно быть, прав — Берлин-Вест чахнет. Когда-то, говорят, здесь было столько электричества! Ведь именно здесь в 1957 году играл Армстронг и пела Элла, и на концерты тайком пробирались молодые советские офицеры. Тогда и пошла гулять хохма: «Джаз — американское секретное оружие». Ульбрихт в штаны наложил. Хрущев тоже вздрочился против «шумовой музыки». Почему эта бражка джаза не любит? Ни наци, ни комми джаза не выносят. Может, из-за импровизаций? Если бы по нотам играли, больше было бы доверия.

Со ступенек филармонии он отщелкнул панораму: некий тоннель через фестивальную толпу и липовые отряды к пятнам заката на отдаленной полосе бетона и к слову Schwein.

В дверях патер Брандт приостановился.

— Максим, я хотел бы с вами подробнее поговорить об этой проблеме.

— О какой проблеме, Вилли?

— О тайне, как вы выразились.

— Ну, давайте поговорим.

— Вы шутите, Максим? Не здесь же говорить на серьезные темы. Может быть, завтра в академии?

— Можно.

— Одиннадцать тридцать?

— ОК, Вилли, одиннадцать тридцать.

— Значит, я жду вас для дискуссии завтра в одиннадцать тридцать в своем кабинете. — Он придержал Огородникова за локоть и подмигнул ему прямо в глаз. — Уверен, что фрау Кемпфе чем-нибудь нас побалуует.

...На сцене был Маллиган, пятидесятилетний викинг с золотым оружием. Звук саксофона, казалось, вытеснил воздух из огромного зала. Трюк был в том, что саксофонист не импровизировал под оркестр, а, напротив, держал могучий пуль-

сирующий ритм, на фоне которого импровизировал весь состав.

Спасибо священнослужителю, пригласил на фестиваль. Огородников сначала даже не понял, куда приглашают. Джаз? Вы, Вилли, любитель джаза? О да, я тоже, но меня удивляет, что и вы. Ба, да ведь это же тот самый знаменитый Берлинский джаз-фестиваль, или, как вы, немцы, говорите, Берлинер Яац Тагес, о да, трубы свободы! Нет-нет, Вилли, я не преувеличиваю, для людей моего поколения в СССР — это были трубы свободы.

Охваченный маллигановским свингом, Огородников впервые с того момента, когда осенним вечером увидел зубчики Дома дружбы, почувствовал себя свободным, молодым, полным юмора и любви. Значит, в мире еще играют джаз?

II

Утром этого дня в старомодном здании Баптистской академии на берегу водохранилища Фогельзее состоялась дискуссия «Артист и Власть» с участием западноберлинских фотографов, советской делегации, а также группы турецких мастеров объектива, ибо постоянно живущих в Берлине турок набралось уже полмиллиона.

Разместились вокруг большого круглого стола и вдоль стен симпатичного зала с дубовыми панелями, камином и люстрой. Перед началом советник по культуре советского генерального консульства Зафалонцев подсел к Огородникову, как бы передавая ему письмо (на самом деле пустой конверт), зашептал: «Тема дискуссии с нами не согласована. Вся надежда на вас, Максим Петрович»...

А что это за публика, Зафалонцев? В целом ненадежная, Максим Петрович, либеральные элементы. Не похожи, говорите? Нет, не похожи на либералов. На кого ж они, по-вашему, похожи? Просто сброд какой-то. Ага, вот мы и называем таких либералами, анархистами...

— Товарищ Зафалонцев! — Огородников изобразил вельможное удивление. — Где вас учили? Либерал с анархистом никогда за один стол не сядет.

Публика вокруг с уважением прислушивалась к непонятной дискуссии двух советских товарищей, из коих один басил, а второй шептал даже как бы и не собеседнику, а самому себе.

— Срать рядом не станет, — уточнил Огородников. — Вы, голуба, неправильно употребляете терминологию. Либерал, дружище, это носитель идей либеральных, то есть человеческих и мягких, анархист по природе своей — тупой разрушитель, хоть и вызывает к свободе. Усекаете, кому он сродни?

— Вы не выпили с утра? — шептал с полужакрытыми глазами Зафалонцев. — Не понимаете важности события?

Бдительный дипломат не уловил, что за его спиной сидели три девушки-славистки из университета, которые кое-что понимали. Турецкие участники дискуссии, развалившись словно для принятия каляна, влажно на девушек поглядывали. Два советских представителя из Западной Сибири обмирали от ужаса. Немцы проверяли свои записи. Огородников заметил, что один из них бросает на него взгляды, исполненные какой-то особой дерзновенности.

— А вот это кто таков? — спросил он у Зафалонцева.

— Этот как раз ничего. С этим мы хорошо работаем. Иоахим фон Дерезки, революционный фотограф из группы «Роте фане». Ну, Максим Петрович, удачи, я отчаливаю! — Голос Зафалонцева вдруг окреп, губы растянулись в благодушной улыбке, неизвестно откуда возник вполне грамотный немецкий. — Нам, чиновникам, не место на творческих дискуссиях.

Хотящее опровержение дешевой антисоветской пропаганды направилось к выходу. Патер Брандт дружеским полуобъятием проводил гостя. Фабричный паренек Том Гретцке, простоватый и лукавый будто из советского фильма, подмигнул Огородникову: хе-хе, будем разговаривать без няни. Дискуссия поехала.

В саду, рядом с окном, на стволе березы появился дятел. Несколько раз ударил клювом. Из всех стукачей самая приемлемая птица. Огородников сочувственно смотрел на дятла. С какой дерзостью донашивает одежду XIX века. Вдруг, обнаружив какую-то щедрую донатию природы, дятел заработал отбойным молотком, только щепочки полетели. За окном

простиралась некая даль — берег озера, лес. Фальшивая даль, она обрывается скрытой в лесу стеной. Фальшивая дискуссия, да и сама академия крестителей под вопросом. Почему здесь не произносится Имя Божье? Одними только «измами» сыпят...

В другом окне каминной виден был парадный подъезд особняка, за ним безмятежная улочка, выложенная мелким круглым булыжником, один к одному, как яички; чугунные розочки на садовых решетках, машины, стоящие вдоль тротуаров, и среди них ярко-красное пятно стотысячного спортивного «Феррари». На крыльце экономка академии фрау Кемпфе беседовала с почтовых дел мастером, в двух этих фигурах, казалось бы, и воплотилась разумная Германия, придумавшая кран к русскому самовару. Фальшивое спокойствие... Он сделал несколько снимков того окна и другого... Дятел... тирольская куртка почтмейстера...

— ...суровая логика классовой борьбы диктует нам простые истины. Долг художника в капиталистическом обществе — противопоставить свое творчество реакции, то есть выступать против своего правительства. Художник в социалистической стране не имеет права противодействовать своему правительству, даже если он видит его недостатки, потому что таким образом можно нанести вред самому передовому общественному строю...

До Огородникова наконец дошло, что говорит как раз тот самый красноармеец Иоахим фон Деревки и вроде даже перешел на английский, чтоб лучше дошло... до кого? вот именно до него, до Огородникова, именно к нему горящий взгляд обращен. Резким движением то и дело откидывает, словно дама вуаль, жидкую занавесочку своих длинных волос.

— Я хочу напрямую поставить вопрос перед советским товарищем — согласны ли вы с моим мнением? Вот вы, советский товарищ, вуд ю кайндли энса зи куесчин?

Они сидели друг против друга по периметру огромного стола. Даже по морде не дашь за провокацию, подумал Огородников. Какой я тебе, в жопу, «советский товарищ»? Вон работы мои висят в углу. Кажется, ясно, что автору не надо задавать вопрос о социалистическом правительстве.

Дискуссия приостановилась. Все смотрели на «советского товарища». Пролетарий Гретцке глотал слюну. Патер Брандт смущенно протирал очки. Фон Деречки, подперев бледное лицо ладонями, гипнотизировал застывшей улыбкой. Между тем сам «советский товарищ», делая вид, что вопрос не к нему относится, задумчиво смотрел на дятла, достал голландские сигарки, предложил соседу, закурил сам, помахал спичкой...

— Господин Огородников, — позвал Брандт.

— Яволь, — встрепенулся кривляка.

Фон Деречки стукнул кулаком по столу. Том Гретцке мягко похлопал его по плечу и подмигнул «советскому товарищу».

— Максим, ви биль отвечай унзере комрад Иоахим?

Уже русскому научился будущий квислинг. Огородников вполне естественно удивился:

— Мне отвечать? Простите, геноссе Гретцке, я немного отвлекся. Нужна какая-нибудь справка? — С фальшивой растерянностью стал копаться в своей папке, вытаскивать бумаги, менять очки. Вдруг выскочил на свет Божий очень неподходящий к случаю журнал «Континент». Наконец фон Деречкому: — Мне очень жаль, сударь, но я вопроса вашего не слышал. Не изволите ли повторить?

Революционер, поскрипывая зубами, повторил.

«Вот так, наверное, следователи НКВД разговаривали в проклятом году моего рождения», — подумал Огородников.

— А вы уверены, что это вопрос ко мне? — любезно осведомился он. Сейчас бы «Контом» через стол в коммунистическую чушку!

— К вам, к вам, советский товарищ!

Огородников повернулся к сидящим у стены сибирякам.

— Юрий Юрьевич, Петро, может, ответите чувачку?

Юрий Юрьевич, работник отдела культуры Кемеровского горкома с выпученными глазами, поплыл в страну пространства. Петро, фотограф журнала «Сибирские огни», хоть и побагровел до критической стадии, начал все-таки что-то быстро-быстро нести о марксистской формуле искусства, о том, кому оно принадлежит, о том, какую радость испытывает он, потомственный сибиряк, встречая на чужбине, в капиталистическом окружении такую общность взглядов, а также для

него большая честь передать демократической общественности Западного Берлина привет от рабочих Саяно-Шушенской ГЭС, и вот товарищу фон Дерецкому личный подарок-сувенир — место ссылки Владимира Ильича Ленина, резьба по дереву.

— Ух ты, как здорово! — похвалил сибиряка Огородников.

— Издеваетесь?! — вдруг завопил апостол пролетарского искусства.

— Вопрос поставлен вам, господин Огородников! Увидеваете?!

В зал вошла и остановилась в дверях Линда Шлиппенбах, корреспондент большого гамбургского журнала и родная сестра восточноберлинского кореша. Она подняла руку в район своего миловидного уха и помахала Огородникову пальчиками. Он понял, что его французская виза у нее в сумочке. Полезнее Линды трудно было найти человека в Берлине. Она знала весь город, вплоть до секретарей гэдээровских райкомов за стеной. Журналистка новой международной породы, из тех, что всегда на нужном месте в нужный час, перелетают океаны с той же легкостью, с какой рулят свои «Фольксвагены» и «Моррисы» в сутолоке больших городов, бодро трещат на основных европейских языках, включая почти всегда русский, носят твидовые пиджаки, да еще и умудряются сохранять женственность и всегдашнюю готовность познакомиться поближе с интересным человеком.

Обрадованный Огородников дружески улыбнулся немецкому коллеге. Значит, коллегу интересует мое мнение о соотношении современного фотографа с правительством? С социалистическим правительством, вы сказали? Вы имеете в виду, сэр, Гельмута Шмидта или Бруно Крайского? Правительство СССР, сэр? То есть коммунистическое правительство? Итак, вас интересуют мои отношения с правительством СССР? Да-да, давайте уточним. Не отношения, а соотношение и не детали, а проблема в целом... Ну что ж, это звучит как-то приличнее, а то ведь можно было подумать черт знает что. На мой взгляд, дорогой западный коллега, соотношение с правительством не очень существенное дело для артиста.

Линда Шлиппенбах и здесь оказалась вовремя. Она проскользнула к главному столу и толчком пустила по гладкой поверхности свой тэйп-рекордер. Машина остановилась точно там, где нужно было: между Огородниковым и фон Деревки. Последний, когда первый начал говорить, приосанился и нацепил на нос очки в железной оправе, ни дать ни взять теоретик из Пномпеня.

Парень, должно быть, нищ, как монастырская крыса, подумал Огородников. Кожаночка говенненькая, рубашонка бросовая. Дрочит на богатеньких, вот и стал революционером. И конечно, бездарен. Они все бездарны, эти ворошиловские стрелки.

— Глупо противоборствовать правительству, еще глупее лизать ему жопу, — глубокомысленно изрек Огородников и протянул оппоненту руку, до которой тот при всем желании не смог бы дотянуться через огромный стол. — Как фотограф фотографа вы должны меня понять, Ганс, да-да, простите, Иоахим, — продолжал Огородников, непринужденно помахивая непригодившейся рукой. — Мы должны при нашей жизни осуществить попытку очень многих соотношений. Например, с водой и огнем, с природой... В частности, с деревьями... в принципе, важнейшее — это соотношение с Богом — не нужно вздрагивать, дружище Леонард, да-да, простите Иоахим... человек и Храм — что вы по этому поводу думаете?... ваше собственное тело и тело внешнее, переплетение тел?... фазы, цивилизации?... нравственность и комбинация цветов спектра? — вот где-то здесь, по периферии от этого, лежит соотношение с правительством... Обратите внимание, коллега, и вы, дамы и господа, что нас окружает в данную минуту, какие таинственные брызги времени и вечности: дятел среди веток, рыжая туча летит мимо, ниже основной, сероватой с прорехами массы, а в этом окне, коллеги, взгляните, какая возникла случайная гармония — зеленая куртка почтмейстера и красное пятно вон того спортивного «Феррари» на фоне всего серого и лилового.

— Не хитрить! — гаркнул тут фон Деревки, как заправский полевой фебель. — Уходите от вопроса? Маскируетесь под чистое искусство? Я вижу, кто вы! Вы — замаскированный диссидент!

Теперь он стоял и держал над столом направленный на (Огородникова разоблачающий палец.

— Всюду теперь шлятся русские отщепенцы и чернят нашу идею! Пожалуйста, теперь они уже и в советских делегациях!

— Тэйкитизи, — мягко нажал на свою педаль Огородников.

Гретцке и патер Брандт обменялись встревоженными взглядами. Гретцке вмешался:

— Товарищ Деревки слишком горяч. Наша общественность знает его как слишком темпераментного парня. Не обижайтесь, Максим, что он сгоряча назвал вас диссидентом.

— А я и не обижаюсь, — пожал Ого плечами. — Я и есть диссидент, только не замаскированный, как Иоганн сейчас сказал. Любой настоящий фотограф — это диссидент. Коллега, желая разоблачить, сделал комплимент.

Он резко встал. Резко встал и немец на своей стороне стола. Почти одновременно оба подняли свои камеры и в упор сфотографировали друг друга. Нажимая затвор, Огородников отсылал фон Деревки в подвалы 37-го года. Иохиму же казалось, что он матрос Октября и целится в колчаковского офицера.

Прошла минута недоуменного молчания, потом Линда Шлиппенбах шлепнула себя по бедру и расхохоталась. Захихикали три русистки. Глядя на них, вальяжно заулыбались турки. Берлинские фотографы повернулись друг к другу, как баскетболисты в тайм-ауте. Том Гретцке амортизировал обеими ладонями. Патер Брандт одной ладонью делал овальные примиряющие жесты. Представитель кемеровского отряда «нашей партии» сидел как пыльным мешком из-за угла стукнутый. «Сибирские огни», ободренные своим удачным выступлением, с превосходством суперсилы взирали на суматоху среди малых народов.

За день до дискуссии Огородников повел сибиряков на Курфюстердам и там купил обоим по кожаной куртке на свой тайный «Америкэн экспресс». Парням такая удача даже и не снилась. Ради таких «кожаных изделий» можно и на родную марксистско-ленинскую махнуть. Авось не заложат. Впрочем, кажется, и не поняли ни шиша. Косноязычный переводчик пос-

ле того, как диалог перешел на международный ломаный английский, совсем вырубился.

В следующую минуту «горячий парень» Иоахим фон Дерцки, фиксируясь, как памятник огня и стали, стал выкрикивать, что одобряет деятельность советского правительства и КГБ, очищающих свою землю от диссидентской заразы.

Снова возникло всеобщее смущение.

— Ну, это вы, однако, Иоахим, слегка чуть-чуть, — пробормотал патер Брандт.

— М-м-м, — сказал председатель собрания Гретцке.

Фон Дерцки тогда отшвырнул стул левой рукой, правой же как бы пощупал перед собой воздух, после чего рванул на выход. Возникло ощущение чего-то исторического, сходного с происшествием в цюрихской кондитерской «Сюзанна», когда товарищи высмеяли предложения Владимира Ильича по демократическому централизму.

Все смотрели бегущему вслед. Бедные волосы персоны в этот момент неплохо отлетали назад, напоминая еще одного героя, легендарного Че на борту яхты «Гранма» после пяти дайкири. Он выскочил на крыльцо. Всплеск чего-то белого — фрау Кемпфе: куда ж вы, сударь, ведь фрюштик на носу! Фон Дерцки упал в красный «Феррари». Спортивный кар с кривой улыбкой вылез из ряда, броском подтянул стильную задницу и мигом перенес седока в пространство, которое участниками дискуссии «Артист и Власть» уже не просматривалось.

— Он не ошибся машиной? — невинно спросил Огородников.

Теперь уже все вокруг расхохотались, включая и турок, которые мало что поняли, и русских, которые не поняли ничего. Да, он миллионер, этот фон Дерцки, объяснила Линда Шлиппенбах. Вернее, он зять миллиардера, вот и все...

За фрюштиком бодро выдергивали пробки из бутылок рейнского. Огородников хотел расслабиться, хватанул один за другим три стакана, однако вместо «релакса» почувствовал подъем энергии и начал распространяться о немецкой склонности к тоталитаризму, о том, что позорно жить за стеной и называть ее «границей», а также позорно обсуждать ущемление прав человека в Турции в присутствии русских,

исель Турция по сравнению с СССР — это Афины Перикла по сравнению с Персией Дария Гистаспа.

При этих словах одна из девушек-русисток разрыдалась, сказав, что товарищ Огородников разрушил все ее идеалы. Линда тем временем хохотала. Макс шутит, неужели юмора не понимаете? Патер Брандт сказал, что у него есть серьезные возражения концепции герра Огородникова, хотя он и понимает разочарование русской интеллигенции советской моделью марксизма. Максим начал было снова заводится, но в это время «левый поп» как раз извлек билеты на джаз-фестиваль и обезоружил «правого» члена Союза фотографов СССР.

Завтрак завершался, когда в трапезной появились советские дипломаты Зафалонцев и Льянкин, проперли через зал прямо к Огородникову с таким видом, словно у них чемодан украли. Надо немедленно поговорить! Жарким шепотом прямо в ухо: скажите Брандту, что нужно согласовать некоторые технические, чисто технические вопросы. Зафалонцев полностью утратил привычную томность в движениях, которая казалась ему признаком международного стиля, в глазах его был дикий перепуг. Льянкин же смотрел на Максима, как бы оценивая, через какое бедро кинуть.

Они вышли из трапезной и пошли на крыльцо. В конце переулка стояла машина с советским флажком. Московская муть мгновенно заполнила Огородникова. Нет, от них не уйти.

— Максим Петрович, — с некоторой торопливостью начал Зафалонцев, — обстоятельства резко изменились, и нам нужна ваша программа во всех деталях. Что вы намерены делать, куда направляетесь сегодня, завтра и послезавтра?

— Дружище Зафалонцев, не пейте крепкого до захода солнца, — посоветовал Огородников и присел на каменного льва, который охранял этот дом, невзирая ни на какие обстоятельства.

Зафалонцев нервно хохотнул.

— Да я ведь серьезно, товарищ Огородников. Многое изменилось, мы вам скажем позже. А лучше бы всего, айдате поедем в посольство?

— В консульство, вы хотите сказать? — Максим старался ответить и Льянкину, меряя его взглядом, как бы прикидывая, чем ответить на нападение.

— Нет, я посольство имею в виду, — чуть ли не пропел Зафалонцев.

— За стенку, что ли? — искренне изумился Огородников, как будто не третьего дня сам туда явился.

— Ну, на Унтер-ден-Линден, — зажеманился Зафалонцев. Льянкин чуть пошевелил своим преступным лицом.

— В столицу Германской Демократической Республики.

— Сегодня не могу. — Огородников поднялся с львиной спины.

— А вас там ждут. — Зафалонцев глянул исподлобья таким взглядом, что Максиму сразу же все открылось. В Москве его хватились. «Фишка» взъярилась. Шлют шифровки. Не исключено, что и сами прикатили. Скорее всего, и прикатили. Они и ждут.

Зафалонцев, очевидно, понял, что лишнее сказал, зачастил:

— Руководство ждет, Максим Петрович. Кажется, сам Абракадин, наш посол. Айда, слетаем, а? Быстренько все согласуем...

— Сегодня исключено. — Огородников поднял ногу, чтобы шагнуть к порогу баптистов.

— Давай-давай! — Льянкин левую руку потянул к огородниковскому плечу, а правой махнул в глубину переулка.

Консульская машина тут же стала приближаться к академии.

— Обожди, Льянкин, — сказал Зафалонцев. — Максим Петрович, видно, не совсем понял. Дело-то серьезное, Максим Петрович. Или у вас что-то посерьезнее есть в Западном Берлине?

Льянкин шагнул повыше и локтем как бы стал разворачивать дерзновенного непослушанца. Шофер изнутри открыл переднюю дверцу машины.

— А ну, отскочи, жуй моржовый! — с неожиданной для самого себя свирепостью хрипанул Огородников в лицо Льянкину. — Давай не толкайся, не старые времена!

С таким непослушанием Льянкин, видно, давно уже не сталкивался; отшатнулся. Огородников сделал решающий шаг и взялся за ручку двери.

— Ох, устал я с вами, Огородников, — вздохнул советник по культуре и махнул рукой. — Поехали, Льянкин, доложимся, раз тут такая, понимаешь ли, проявляется независимость.

Перед тем как сесть в «Ауди», они оглянулись, затянутые и добротные средняцкие костюмы, с галстуками под кадык два недобрых молодца. Не такие ли в прошлом году вывозили из Англии забрыкавшегося физика? Кольнут иглой прямо через штаны, чтобы человек на несколько часов превратился в слюнявого идиота и очнулся уже на Лубе...

Огородников не мог оторвать от них взгляда. Давайте не толкайтесь, не старые времена, не старые времена... Машина покатила вдоль мирной улицы Митте-Фогельзее. Пейзаж восстановился.

III

Бурные серебристые подъемы всего биг-бэнда разом... Максим как бы поднимался вместе с трубами, однако набрать, как прежде, ту же высоту, увы, не мог. Вдруг выплывало льянкинское «давайте-давайте», и начинал ощущаться весь кишечник; недаром в английском есть выражение guts (кишки) в отношении мужества — хватит ли у него кишок?

После отъезда «товарищей» весь день он старался настроиться на легкомысленный лад, как в прошлые свои заграничные поездки, особенно в Шестидесятые годы; «дитя соцреализма грешное»... А вот возьму и смотаюсь в Париж, думалось с настойчивой несерьезностью, но снова тут выплывало «давайте-давайте», и кишки мгновенно наливались чугуном. Нечего темнить, не «сматываюсь» в Париж, а бегу, не шаловливый это скачок баловня выездной комиссии ЦК, а бегство врага прямо из-под носа разъяренной Степаниды. Не может она этого так оставить, выкрадет, угробит... Но ведь не старые же времена... Он всматривался в разноплеменную толпу на Курфюстендам. Она деловито шагала во встречных направлениях, иногда теряя кого-то у витрин, деловито шагала, не обращая на Макса никакого внимания, полагая его своей час-

тью. Это успокаивало — быть частью чего-то легче, чем оторвавшимся куском.

Такое же успокаивающее чувство появилось и в перерыве фестивального концерта, особенно когда повстречалась Линда Шлиппенбах со своей толпой берлинской богемы, все немножко в стиле Двадцатых. Сначала курили на лестнице, обсуждали достоинства стиля «фьюжн», потом отправились в бар пить шампанское, и вот тут, по дороге в бар, снова возникла зловещая парочка — Зафалонцев и Льянкин. Они шли, словно патруль, рука в руку, посреди фестивальной толпы, деловито, квадрат за квадратом, сегмент за сегментом, прочесывали взглядами холл. Не бежать же! Вздор! Они сближались. Зрение у товарищей дурное или плохой расчет, но заметили они свой объект, только когда сблизились почти вплотную. Зафалонцев улыбнулся лживо и предательски:

— Максим Петрович! Уверен был, что вас здесь встречу! Так и тем товарищам, что вас безуспешно ждали, сказал — наверняка Огородникова на фестивале встречу, ведь джаз — «американское секретное оружие». Ну, в порядке шутки, конечно: нынче ведь не старые времена, вы правильно сказали. Настроение такое шутить, дурака валять. Ведь джаз-то какой, а, ведь незабываемый же, Максим Петрович, джазище-то! Those foolish things, ведь просто незабываемое, а?! Ведь на этом же наше поколение росло, да? Правда, а?

Рядом чуть подрагивало белое лицо Льянкина, наглухо запечатанное неизгладимой советской лепрой.

IV

Ну, вот уже и спать не могу, бьет какая-то мерзкая трясучка. Может быть, не ехать в Париж? Из Берлина еще есть обратный ход, а из Парижа не будет. Уж тут-то Планшин и сошьет «международный заговор». Мы все думаем, что у них руки коротки замахиваться на известных людей, но однажды они решатся и хапнут короткими руками — показательное дело, бульдожья хватка. Заголовки в «Фотогазете» и в «Честном слове» представить себе нетрудно: «Нравственное падение

фотографа Огородникова», «Тайные линзы Огородникова», «На чью пленку снимаете, господин Огородников?»...

Похоже, что они делают из меня большого политического врага. Для Степаниды любой, кто ей хоть в чем-то препятствует, серьезный политический враг. Мои альбомы для нее — это связка динамита, ну, а «Скажи изюм!», наверное, атомная бомба... «За доллары проданся Огородников»... «Дешево вы продали революционные традиции вашей семьи, мистер Огородников»... «Солженицын от фотографии»... хватит ли «кишок» выдержать все это?..

Может быть, плюнуть на Париж, вернуться в Москву, забросить все к чертям, собрать аппаратуру, махнуть к Насте, в Терскол, остаться там надолго, на год, на пять лет, пока все обо мне не забудут? Снимать там все на этих резких горных контрастах, очиститься от советчины и антисоветчины, как те парни, что уже не спускаются с гор, предаться медитации, концентрации... Как это учили? Собирать все черные хлопья в зеленую рамку, сужать эту рамку... Выныривать из воображаемого океана. Соединять над головой радужную дугу...

Устав швыряться по постели, Огородников оделся, накинул плащ и вышел в коридор. Тусклые плафоны в коридоре «Регаты» едва освещали ковровую дорожку и несколько пар башмаков, выставленных постояльцами на утреннюю чистку. Экие приверженцы доброго старого времени, небось сейчас мирно посапывают в своих ночных колпаках.

Внизу, в холле, ночной портье, с журналом в левой руке, с сигарой в правой, сидел в мягком кресле у телевизора, по экрану которого в этот момент метались какие-то отвратные пятна «кунг-фу».

Такой паренек, как этот портье, вполне мог бы быть точным шпионом. Возле отеля вполне может дежурить какой-нибудь особый автомобиль... Портье, скособочившись, вылезал из кресла. Чего изволите, сударь? Нет-нет, все в порядке, не беспокойтесь...

Он вышел на штрассе, она была пуста. Запаркованные вдоль тротуаров машины тоже были пусты. Полная остановка — листва, наполовину еще зеленая, обвисла под мутными фонарями. Говорят, что здесь можно годами жить в районе Кройцберг и никто тебя не хватится. Он вышел из-

под светящегося козырька «Регаты», свернул за угол, там было совсем темно, только чуть отсвечивали крыши машин. Пройдя несколько кварталов, он присел на какой-то каменный пенек, прислонился спиной к стене дома, закурил. Не нужно преувеличивать — околоток спит, «Фольксвагены», «Порши» и «Мерсы» спят. Не спит только витрина антикварного магазина, там видна зеленая нефритовая собака. Впрочем, вот еще один бодрствующий — кока-кольный автомат. Вдруг все поплыло перед глазами. Скольжу, подумал он, выскальзываю. Скорость увеличивается, не затормозить. Быстро вырастает нефритовая собака. Столкновения не избежать. Столкнулись или нет? Теперь она уносится, уносится в умопомрачительную даль, уношусь то ли в погоню, то ли в бегство. Хватайся всеми четырьмя за «реальные вещи». Чувство юмора может выручить. Пограничный город Берлин. Стена между жизнью и отчаянием прокручивается вокруг оси, не преодолеть...

Наконец он вынырнул. Вот так накуришься в бессонницу и не такой еще получишь бобслей. Немыслимо захотелось помочиться. Он встал с каменного пенька и двинулся к ближайшей арке ворот. В этом городе провел молодые годы большой русский фотограф. Попробуйте жить и любить в Берлине, не разделенном стеной. Брандмауэры с надписью «Рояли Петрофф». Однако он жил и любил, пока не стал снимать по-американски...

Вдруг в двух шагах послышалась отчетливая советская речь:

— Товарищ лейтенант, на улице пусто. Разрешите отлить?

— Давай, Матькин, по-быстрому!

Как наваждение, из-за угла выплыл и остановился советский джип с тремя солдатами и офицером. Огородников прижался к стене. Неужто за мной прислали? Спокойно, это же союзнический патруль, антигитлеровская, так сказать, коалиция. Так же и западные ездят за стеной. Эх, Европа, веселые поля, идем все скопом, трясутся вензеля. Матькин спрыгнул, пробежал мимо, исчез под аркой, зажурчала благодарная стихия.

— Товарищ лейтенант, там фриц стоит, — сказал один из оставшихся в джипе. — Бухой, что ли?

— Это нам не касается, — сурово ответил командир патруля.

Повеселевший Матькин уже бежал к джипу. Немного надо русскому человеку — отлил без помех и рад, и даже слегка романтичен.

— Ребята, там кока-кола на углу! — романтично воскликнул Матькин. — Вот бы напиться!

— Сначала поссал, а теперь напиться хочет, ну, Матькин, — сказал один солдат.

— Чем ты напьешься? Жую? — спросил второй.

— Короче! — приказал лейтенант.

Машина двинулась. Огородникову казалось, что у него отрываются почки. Он стал мочиться у стены. Патруль медленно удалялся в игольчатом тумане. Круглые спины в теплых не по погоде бушлатах. Торчат стволы «калашниковых». Кургузые, нелепые, нищие мои ваньки матькины, «стражи мира и прогресса»...

Моча была из него бурным неудержимым ключом, потом вдруг обрывалась и тогда все его тело передергивала судорога, и снова начинал бить неудержимый ключ. Откуда льется это огромное, непостижимо огромное количество влаги? В пузыре не может быть больше трех литров, а я зассал уже всю эту улицу, уже четверть часа журчит вдоль тротуара мой мочевого поток. Ничем его не остановишь, в отчаянии сотрясаясь Максим Петрович Огородников, я вытекую весь до дна...

V

Паршивый остаток ночи в «Регате» был прерван телефонным звонком.

— Доброе утро, — сказал в трубке машинный голос. — Я насчет программы на текущий день.

— Кто говорит? — прохрипел Огородников.

— Из консульства. Льянкин.

— Очумели, Льянкин? Который час?

— Вы бы грубости-то прекратили. Девятый уже.

— Без семи восемь! — в ярости завопил разбуженный.

— Значит, мы минут через двадцать подъедем, — сказал Льянкин и быстро положил трубку.

Огородников выскочил из постели, охваченный странной бодростью и злостью. Эка обложили! Мразь бесцеремонная! Так доведут, что и политического убежища попросишь! Сейчас я вам, шляди протокольные, обрежу нос! Хрен найдете! Через десять минут меня здесь не будет!

Через восемь минут в дверь постучали. Кого нелегкая еще раньше принесла? Он распахнул дверь. Проем тут же заполнили советники Зафалонцев и Льянкин в свежих сорочках, и галстуки под кадык.

— Слышали новость? Гроссмейстер-то Корчной-то, перебежчик, попал, говорят, в автомобильную катастрофу!

Огородников сделал резкое движение правым плечом вперед и вниз, как в детстве пугали. Ой, простите, шнурок развязался!

— Дайте в номер-то зайти, — сказал Льянкин. — Здесь немцы ходят.

— Прошу, соотечественники! — Фиглярствуя, Максим как бы протанцевал внутрь с зафиксированным широким объятием, потом резко повернулся. — Голова целая?

— Чья? — дернулся Зафалонцев.

Огородников зло захохотал.

— Забыли уже, с чем пришли, Зафалонцев? Корчного голова целая, надеюсь? Ему еще в шахматы играть, думать надо. Вот вашему любимчику Карпову важнее другое сберечь. Что именно? Правильно, Льянкин, язык — чтобы жопу лизать!

Советник по физкультуре даже слегка задохнулся, посмотрел на советника по культуре, как бы спрашивая — может, прикончить гада?

— Кто вам позволил такие угрозы применять ко мне? — спросил Огородников. — Такие идиотские намеки? Я ведь могу об этом сообщить кое-куда.

— Куда? — быстро спросил Зафалонцев.

Может быть, это поворотный момент? Я говорю — «в печать!», и бросаются с иглой. Может быть, именно такая у них инструкция. В газеты! И тут же укол через штаны в ляжку?

— В ЦК! — выпалил.

Зафалонцев нервно хмыкнул.

— Ох, боюсь, не поймут вас в Центральном Комитете!

Трое сели на три имевшихся в номере стула, само собой, образовался разноразмерный треугольник. Две горшины катались под углами нижней челюсти советника Льянкина — очень уж ненавидел! Огородников вдруг подумал, что мрачная сцена в любой момент может обернуться полнейшим фарсом.

— Я шучу, — улыбнулся он. — Вы шутите, а мне нельзя? Я вот подумал, ребята, иногда... — он с притворной строгостью поднял палец, — ...подчеркиваю, иногда — хорошо бывает выпить прямо с утра. Ведь мы же русские люди, а? Почему бы нам с утрянки, по-нашему, по-русски?

— У вас что, селедка с собой? — хмуро поинтересовался Льянкин.

— У меня душа русская с собой, старик. Вон там, через улицу, имеется бар. Уже открыт. Айда, ребята? Я угощаю.

После некоторого переглядывания, криканий в кулак и кручения голов предложение, разумеется, было принято. Да и какой русский, скажем мы, в нынешнее-то время откажется выпить на дармовщину. Нынче в ведущих институтах социалистического отечества в отношении заграничных напитков и некоторых сувениров развился какой-то странный материалистический фатализм, то есть на первом месте стоит «брать», ну а «отвечать» — ушло в глубину. Фактически за какой-нибудь приличный сувенир можно прикупить неплохой государственный секрет. К счастью, спецслужбы Запада еще об этом не догадались. Или ассигнования на подкуп не могут пробить. В общем, Зафалонцев и Льянкин не устояли перед предложением, и троица вышла из гостиницы в направлении бара «Салоники», перед которым хозяин с сыном и снохою пытались швабрами разогнать ночные лужи.

— У вас тут что? Ночью дождь был? — полюбопытствовал Льянкин.

— Да нет, это просто слон нассал, — охотно объяснил Огородников. — Слышите, греки хохочут — элѣфантос, элѣфантос!

В пустом и попахивающем чем-то неаппетитным баре началось безобразное распивание «Белой лошади» вперемежку с пивом «Шмитц». Очень быстро все нагузились.

— Ты думаешь, нас купил за эту височку? — тыкал пальцем Льянкин. — Да я этой височкой за свою карьеру вот, — палец выше уха, — нажрался. Это мы тебя просто прощупываем, фотограф-фугеграф!

— А что, ребята, боитесь, что подорву, не доверяете советским фотографам? Какие у вас инструкции на мой счет? — спрашивал Огородников.

— Эх, Максим, — отвечал Зафалонцев, — ты думаешь, мы здесь такие серые, в этой глуши? Да я всех твоих друзей по искусству знаю. У нас тут Мишанин-Кучковский зубы лечил, так мы с ним очень капитально сдружились. Бывало, сидим-сидим, говорим-говорим... Ты не заводись, Максим, у нас же служба... Ну, про Корчного экспромт, конечно, получился бестактный, но ведь посыл-то был благородный, о тебе же беспокоимся. Ведь мы же все послесталинского поколения, даже Льянкин.

Огородников почесал у Льянкина за ухом.

— Хорошо, что мы подружились, братцы. Теперь я на вас жаловаться не буду ни в ЦК, ни на «Голос Америки», ну а завтра, так и быть, освобожу фронтовой город от своего присутствия.

Дипломатов охватили смешанные чувства, в связи с чем взята была еще бутылка «Лошади». С одной стороны, баба с воза — кобыле легче, а с другой — кто для кого, кобыла для бабы или баба для кобылы этой белой — уайтхорсины, гребена плать? В целом жаль, только и стало что-то родное в человечке прорисовываться, но ничего, мы тебя проводим с запасом времени и в Шенефельде еще посидим, пофилософствуем. У тебя восточные марки есть?

— А вы меня неправильно поняли, — захлопал глазами рассеянный артист. — Разве я не говорил, что не в Москву еду? Нет, не говорил? Да, говорил, говорил! Вчера три раза говорил, что не в Москву. Вернее, в Москву, но с предварительным заездом. Нет, не в Варшаву. Почему в Прагу? С какой стати в Прагу, если я вам вчера три раза говорил, что в Москву еду с заездом в Париж?.. Куда, вот именно туда... Нет, не туда, дружище Льянкин, палец тычешь. Там как раз Варшава. Париж — это вон туда, в направлении туалета.

Дипломаты уже бежали к выходу, если, конечно, можно назвать бегом череду спотыканий о табуреты.

Огородников же, не пьяный, но потный, с летучей какой-то чесоточкой, порхающей со щек то подмышку, то в промежность, отправился в такси на Митте-Фогельзее, чтобы забрать свою экспозицию и попрощаться с хозяевами.

Патер Брандт раскрыл ему навстречу объятия. Мой дорогой Максим! Пахнуло пошлостью якобинского Конвента. (От этого не убежишь, если и назван-то в честь кривонногого пошляка из «Юности Максима»). Предвкушаю, предвкушаю, милый Максим, нашу дискуссию! Доннерветтер, он, оказывается, дискуссию предвкушает!

Явно волнуясь, патер потер ладони, а потом прижал локти к животу и сделал несколько боксерских движений.

В этой стране надо удивляться не экономическому, а психологическому чуду. Перед нами здравый смысл срединной Европы, переливающейся в Скандинавию. Нацизма как не бывало! Просто двенадцать лет какого-то досадного провала в развитии экономики и мысли. Впрочем, двенадцать лет и в самом деле пустяк, у нас бы тогда все кончилось в 1929-м! Итак, мой милый Максим, прошу, повторите свой вчерашний выпад. Смею уверить, здесь найдется, чем его парировать! Лукавый боксер на наших глазах сменяется лукавым фехтовальщиком. Гитлерюгенд румяного Вилли забыт, теперь мы готовы к восприятию позитивных идей.

Ах, Вилли, прошу вас, не принимайте слишком всерьез ерунду, которую иной раз несут русские фотографии. Огородников тер себе лоб, но искра не выскакивала. О чем вчера мы с ним говорили? В чем предмет дискуссии? Ах, Вилли, дорогой Вильгельм, все окружающее так необязательно, тухляко, случайно...

— Ага-а. — Патер Брандт лукаво погрозил пальцем. — Неплохая увертюра, недурная артподготовка. Коварный фланговый маневр, дорогой Максим. Ну что ж, сейчас вы получите ответный удар. Отлично подобртые виски, крепкие щеки и маленькая пуговка на носу; увенчано золотыми очками. Ладная фигура отражается в стеклянной двери книжного шкафа. Отражение четче, чем сама персона, частично попавшая под пыльный луч осеннего солнца. Вы говорите о зыбко-

сти и необязательности современных идей, дружище Максим, однако смею вас заверить, что европейская цивилизация и по сей день держится на фундаментальных идеях Ренессанса...

Тут появилась фрау Кемпфе. Торжественная, с книксенами, она вкатила столик с майзелевским кофейным сервизом и граненым флаконом ликера. Ободряюще улыбнулась Огородникову. Понимаю, дескать, что положение у вас хуже губернаторского, патер Брандт — непобедимый дискуссант, однако вы все-таки сопротивляйтесь, сударь! В полуоткрытую дверь заглядывали турецкий поваренок и испанская горничная. Очевидно, вся академия подготовлена к философской схватке.

Идеалы гуманизма живы и по сей день, милый Максим, более того, процесс этот еще не завершен, и то сообщество людей, которое мы называем европейской цивилизацией... Простите, вы не возражаете, что наша беседа записывается на магнитную пленку? Даю вам слово, она будет использована только в этих стенах.

О Господи, вздохнул Огородников. Придется платить за гостеприимство, придется изображать спорщика, располагаться в турнирной позиции, громить идеи Ренессанса с позиций средневекового обскурантизма, ныне столь модного в московских кружках.

Как вдруг все стремительно поехало, не остановишь: фрау Кемпфе, и турчонок с цукеркухеном, и сам патер Брандт, по-ленински заложивший большие пальцы за жилетку. Тяжко закачался паркет под советским державным шагом, хлопая полами распахнутых пиджаков, мощно приближались столь преждевременно забытые товарищи Зафалонцев и Льянкин. На этот раз, Огородников, кончайте дурака валять. Сам посол за вами «Мерседес» прислал. Абракадин, понимаете?

Чрезвычайный и полномочный товарищ Абракадин, седой сталинский гардеробщик с надменно опущенной губой, по слухам, полагал себя первым человеком в Германии, поскольку сидел в той ее части, где стояли войска империи. За стенкой его политбюрошный ЗИЛ-броневик наводил ужас на советскую колонию и на местный партактив, подразумевалось, что и в западных частях должен присутствовать некоторый трепет.

Все еще ощущая текучесть окружающих предметов, Огородников встал и попросил у фрау Кемпфе чашечку кофе. Посхватить, увы, невозможно — у нас дискуссия с господином Брандтом. От этого во многом зависят будущие отношения между... В зеркале отражался желтоватый, длинноносый и плохо вымытый с дымящейся чашкой в руке.

В следующий момент — телефонный звонок, и, очевидно, тоже непростой. Патер Брандт с серьезнейшим почтением: гутен морген, экселенц, яволь, экселенц... Прикрыв ладонью трубочку, в серьезнейшем остеклении: господин Огородников, вас просит Его Превосходительство — советский генеральный консул Булкин. Огородников услышал голос, как бы предполагавший самым своим звучанием немедленную и повсеместную капитуляцию:

— Вы что же, забыли? Советской власти нужно подчиняться всегда и везде!

В этом пункте, почтенный читатель, нам снова придется сделать фиксацию, остановку, стоп-кадр, называйте, как хотите, и опять же не для стиля, а для суровой необходимости. Известно, что нынче Степанида Властьевна иной раз пытается с присущей ей блудливой ухмылкой сослаться на Библию — дескать, «всякая власть от Бога». Однако вы ведь не всякую имеете в виду, а советскую, гражданин генеральный консул? Так и попросила бы неискушенная душа. Ведь ваша-то все-таки не от Бога, господа чекисты, правда? Ведь это же и не власть, как таковая, если по сто раз на дню нарушает собственные законы, да? Ведь власть, товарищи, это то, что следит за соблюдением законов, правильно? Как же вас властью можно назвать, если вы все тайком делаете, если только втихую по своим «малинам» все решаете? Может быть, лучше все-таки себя не властью называть, а силой? Попросту злой советской силой, а, товарищи? Чтобы не было уже никакой путаницы с Библией, лады?

Так спросила бы неискушенная душа в этой придуманной нами короткой остановке. Огородниковская душа была искушенной, хотя бы уже потому, что пустилась в очередное земное путешествие в 1937-ю славную российскую годину.

— А кто же с этим спорит? — быстро ответил он.

Генеральный консул как-то неопределенно хмыкнул, видно, ответ прозвучал неожиданно. Затем произошло энергичное, но как бы мимолетное фехтование.

— Ведете себя крайне двусмысленно...

— Это ваши сотрудники меня вынуждают...

— Как объяснить ваш отказ приехать в посольство?

— А почему меня подвергают слежке?

— За нашей спиной оформляете себе французскую визу?

— Вы меня толкаете...

— С огнем играете, Максим Петрович!

— Вы меня толкаете на крайний шаг!

С этим едва ли не воплем один из фехтовальщиков ринулся во флешевую атаку и, по паузе, следовавшей за атакой, понял — попал!

Булкин после паузы запел медовым голосом, будто сваха. Да как же это Максим Петрович не понял, ведь о нем же самом пекутся. Ведь свои же ж люди-то, не чужие. Только ведь и забот, как бы свой хороший парень не поскользнулся. В Париж слетать к девочкам? Большое дело! Ведь не старые же ж времена. Сказали б заранее, и все дела. Кому ж еще в Париж-то мотать, как не нашим фотограмм. Только можно ведь и посла понять, не так ли, большой государственный человек, почему бы к нему не зайти водки выпить? Немного обиделся посол, вот и все дела, можно же ж понять, сам большой любитель фотографии, вот и обиделся. Ну, вот, что вы сегодня вечером-то делаете? Заняты? Ну, я так и думал. А завтра, значит, в Париж? Ну и лады, чего уж там, Максим Петрович, какие уж там крайние меры, скажете тоже. А на послезавтра отложить не можете? Не можете, я так и думал. Ну, хоть объяснительную-то записку напишите Абракадину? Ну и на этом спасибо. Дайте-ка мне кого-нибудь из наших товарищей.

Пара купидонов с потолка пытались призвать к сохранению чувства юмора. Нелепейшая сцена: два дядьки с розгами пришли за нашкодившим школьником, на дворе цветет середина XVIII, директор, обанкротившийся вольтерьянец, фрау Кемпфе держит за руку дрожащего турчонка, кофе остыл, шкодливый и желтый дровича передает трубку дядьке Зафалонцеву. Огородников поклонился и пошел к выходу. О продолжении дискуссии почему-то было забыто. Академия по-

нилась ему западной, надо было поскорее выбраться отсюда. За спиной послышалось зафалонцевское «обождите», но он, только буркнув себе под нос что-то вроде «фер-вам», распахнул дверь на крыльцо.

Под крыльцом стоял «Мерседес» с металлическим красным флажком, а рядом с флажком, чуть опираясь задницей о крыло машины, стоял шофер. Это был не тот, что вез его с ипподрома, безучастный и молчаливый сотрудник. Этот был другой, как бы из другого рода войск, сотрудник по другому департаменту, совсем-совсем другой. Он жадно вглядывался в лицо Огородникова. Почему-то вдруг знакомым показался этот «другой», что-то мелькнуло *печужное* в волчьем тухлом лице. Вот это и есть наш последний решительный бой? Секунду они смотрели в глаза друг другу. Потом шофер метнул подстраховочный взгляд себе через правое плечо и вдруг — поскучнел, расслабился, задрожал как бы безучастной ляжкой. Проследив вороватый взгляд, Огородников увидел в конце улицы Митте-Фогельзее еще один патруль антигитлеровской коалиции, на этот раз американский. Джип медленно катил в сторону академии. Когда он поравнялся с крыльцом, Огородников зашагал вровень. Солдаты, развалившиеся на сиденьях, не обратили внимания ни на советский флажок на крыле «Мерседеса», ни на длинного немца, стремительно зашагавшего вровень с ними по выложенному кирпичами тротуару. У Огородникова внутри подрагивал неопознанный орган страха. Краем глаза он наблюдал четырех солдат, один из них был черный. В прозрачной серости осеннего дня ярко светились снежно-белые треугольники маек, выглядывающие из расстегнутых воротников. Солдаты лениво о чем-то разговаривали, долетали отрывки фраз... yeh... I liked that chick... yeh... kidding... you gotta guess...

Происходит нечто позорное, подумал Огородников. Я бегу от русских под защитой американской машины. У меня вырвался позорный вздох облегчения, когда я американцев увидел. Однако что делать дальше? Сейчас они прибавят газу, и я останусь наедине с нашими мазуриками. Надо дотянуть с ними до угла, там идет поперечное движение, вон даже такси мелькнуло. Этот момент стоило бы запомнить. Стоило бы сфо-

тографировать и оставшуюся за спиной улицу Птичьего Озера с тремя черными фигурами, глядящими тебе вслед, с отсвечивающими окнами особняков, с облетающими деревьями.

Советник Зафалонцев и Льянкин, а также оперативник из ГФУ, капитан Слязгин Николай, выступающий в роли шофера, самым внимательным образом смотрели ему вслед.

Все произошло одновременно. На перекрестке загорелся зеленый свет. Защитники свободы проехали под светофор. Огородников взял такси. Рыцари революции нырнули в черный лимузин.

VI

Новый портье в «Регате», круглолицый юный-фриц-любимец-мамин. Надо быть слепым, чтобы не заметить в нем восточного агента, куплен, конечно, с потрохами или запуган.

— Давай шлиссель, гребена плать, без разговоров!

— Вам был телефон из Нью-Йорк, — с улыбкой сказал портье по-русски.

Огородников расхохотался:

— Прелестно! Уже по-русски! Уже без масок!

— Я учился в зоне, сэр, — пояснил портье на отельном языке, улыбкой как бы благодаря за интерес к его скромной персоне. — Впоследствии я покинул зону.

— Сбежали? — Огородников зорко, будто детектив, следил за выражением лица молодца. — Я тоже собираюсь сбежать. Любопытно?

— Из Западного Берлина не нужно бежать, сэр. Отсюда люди просто переезжают.

— Любопытно, значит, я просто переезжаю, — глупо улыбнулся Огородников, забрал шлиссель и пошел в циммер, по дороге, с одной стороны, упрекая себя за дурацкую подозрительность, когда всякий хорошо вымуштрованный портье кажется чекистским шпионом, а с другой стороны, некоторым поднятием бровей как бы спрашивая — где же еще сидеть гэбухе, если не в западноберлинских отелях.

Едва вошел в циммер, как снова позвонил Нью-Йорк, агентура другого типа, мировой бизнес в лице маклера иску-

сти Брюса Поллака. Хелло, Брюс, ты не обрюзг? Здравствуй, пона-новый-год. Не понимаешь? Пора уже понимать, не первый год знакомы. О'кей, о'кей, ай эм олсоу вери хэпи ту хиа ер войс, сэр...

До него вдруг дошло и почему-то неприятно царапнуло, что Брюс говорит с ним на «вы». Посылая в последние годы торопливые записочки через «коров» и «дипов», он думал, что они давно уже на «ты», на ломаном-то английском вроде бы, и все равно сплошные ю-запанибрата, а вот сейчас по интонациям мистера Поллака была очевидна основательная и даже чуть-чуть прохладная дистанция.

— Ваше прибытие в Берлин, Максим, многих здесь у нас изумило. Об альбоме говорят в Нью-Йорке, Париже и Милане. Такого мощного мэссиджа из России еще не было. Тридцать пять имен под одной обложкой! То, что до нас дошло, звучит впечатляюще. Поздравляю! Можно вас ждать в Нью-Йорке? Или вы хотите, чтобы я прилетел в Берлин?

Огородников вообразил, как Поллак покачивается сейчас на отклоняющейся спинке кресла в своем офисе на 57-й улице. Раннее утро. Кофе на столе.

— Простите, Брюс, а вы понимаете, что для меня означают — мой приезд в Нью-Йорк или ваш приезд в Берлин? Вы, вообще-то, представляете мою ситуацию?

— Ну конечно, конечно, Максим! — Раскачивание за океаном, видимо, прекратилось. — Я понимаю, сколько у вас сложностей, но как-то уже стало привычным, что Макс Огородников творит чудеса. Вы так отличаетесь от всех русских...

— Не думайте, что это комплимент. Кроме того, вы, должно быть, ждете слайдов, но их не будет. На Запад придет одна из копий законченного московского издания.

— Простите, не вполне понимаю...

— Ну, словом, слайдов у меня нет, а альбом все еще в Москве.

После некоторой паузы Поллак спросил с исключительной сердечностью:

— Макс, что я могу сделать для вас?

— Вы можете сейчас подключить магнитофон к телефону? Я хочу сделать заявление. О'кей. Текст. «Максим Огородников из Западного Берлина, пятнадцатое ноября. Мне угро-

жает опасность. Советские дипломаты стараются увезти меня в Восточный сектор. Если со мной что-нибудь случится, прошу известить прессу о том, что это дело рук ГосФотоУпра СССР. Фотограф Огородников». Записали?

— Черт побери, — прошептал Поллак.

Огородников хихикнул.

— Это просто на всякий случай, Брюс. Надеюсь, что ничего не случится до моего отъезда в Париж.

— Вам нужна французская виза? — быстро спросил Поллак.

— Не беспокойтесь, у меня уже есть.

— Bravo! — вскричал рыжий и кудрявый ньюйоркер. Пружинящее кресло, очевидно, было брошено. Шаги по пружинящему ковру с бесшнурной трубкой под ухом. Справа внизу курящиеся миазмы Нью-Йорка. — Нет, в самом деле, верно говорят, что вы самый западный из всех русских!

Еще минуту или две Огородников слушал странно бессодержательную болтовню Поллака. Почему-то он ни словом не упомянул собственные огородниковские альбомы, даже и злополучные «Щепки», за которые еще недавно собирался получить внушительный аванс. Огородников же, хоть его и считали преуспевающим «западником», не мог преодолеть чисто советской застенчивости в отношении «материальных вопросов» и сам никогда не начинал разговоров о договорах и авансах. Затем они попрощались.

Под окнами «Регаты» передвигались граждане «фронтального города». Один из граждан с трубкой в зубах стоял у афишной тумбы. Ну, ясно, на задании с трубочкой, с чем же еще. У афишной тумбы, где же еще. Я окружен, это бесспорно. Звонить в полицию? Просить политического убежища?.. Но ведь это же позор, капитуляция, провал «Нового фокуса»... все отдать им на пожирание... да, между прочим, и с Настей тогда — навсегда... в том смысле что — навеки... так-так, до гробовой доски...

Он набрал номер Линды Шлиппенбах, и — о чудо! — она оказалась дома. Только быстрее, Макс, я бегу, я бегу, опаздываю на заседание Европейского парламента. Заехать к тебе? Макс, развратная бестия, мы же просто друзья! Ах, ты не об этом? У-у-п-с, какое разочарование. Ты хочешь, чтобы я была

готова ко всему? Возможность пресс-конференции? Уж не хочешь ли ты остаться на Западе, дорогой? Не исключено? Какая сенсация, какая отвратительная сенсация, какая будет радость для нашей правой прессы! Макс, я тебе немедленно по-июно после заседания Европейского парламента, о'кей?

Он бросил трубку — вокруг одна только левая тоталитарная сволочь, помощи не жди. Рванул листок из блокнота, пошел фломастером: «Дорогой товарищ посол»... Гребена писать, имя-отчества не знаю, да и нелепо так, фломастером... да и вообще, нелепо и вздорно писать... хоть поэму о Сталине сейчас ему посылай, все равно не поверит...

Выглянул в коридор и как бы остоленел с невероятным ощущением распространяющейся вдоль позвоночного столба пустоты — вот это, может быть, и есть тот самый «крайний случай», кто-то приближается, бежать поздно...

Звякнул сигнальчик лифта, некая плотная субстанция шагнула в коридор, преувеличенно выбросив ногу в крепчайшем ботинке. Патер Брандт. Приближается, немецкое чудо! Должно быть, пожаловал продолжить прерванную дискуссию?!

— Вилли, вы не можете на секунду остановиться как раз там, где сейчас находитесь? Я возьму камеру. Вот так, спасибо огромное. На фоне бардачного штофа «Регаты» вы торчите, как воплощение европейского смысла!

— Вам не нужно здесь ночевать сегодня, — проговорил Брандт и вошел в комнату. — Соберите свои вещи, я отвезу вас в академию. Там вам не о чем будет беспокоиться, я принял меры.

Огородников, потрясенный, смотрел на священника. Неужели все-таки настоящий неподдельный человек? Спасение бес-пяти-минут-беженца, что может быть дерзее для «прогрессивного деятеля»?

Пока паковался, несколько раз бросал взгляды на Брандта. Священнослужитель был взволнован донельзя, хотя и старался держаться подобающе моменту с немногословной мужественной сдержанностью. Он прогуливался, положив руки на поясницу, бросал иной раз на себя взгляды в зеркало, то хмурился, то беззаботно как бы что-то насвистывал, а один раз даже быстро поиграл мимическими мышцами, словно при-мывая выражение лица.

Сумерки уже затягивали улицу, когда они вышли из «Регаты». У афишной тумбы стояли двое, причем один из двоих был в тирольских штанах. Белый «БМВ» пастора был запаркован неподалеку.

— Ваша машина, Вилли, самая красивая из всех присутствующих, — сказал Огородников.

— Не понимаю, как вы можете шутить в такой момент, — пробормотал пастор.

— А вы, Вилли, в этой мягкой шляпе и в вашем старом дорогом пальто — самый элегантный человек из тех, кого я встретил в Берлине.

— А это серьезно или опять юмор? — Пастор Брандт слегка покраснел.

По дороге он то и дело поглядывал в зеркальце заднего вида, а на светофоре даже оборачивался.

— Мне даже кажется, ваше преподобие, что вы верите в Бога, — тихо сказал Огородников.

«БМВ» чуть вильнул, но остался на курсе. Чуть кашлянув, пастор Брандт пресек очевидную бестактность.

VII

...Снова в особняке на Митте-Фогельзее. За окном у причала раскачиваются лодки. Мачты их даже задевают друг за дружку. Вдоль противоположного берега, над деревьями, заходит на посадку очередной трансокеанский гигант.

...Как передать объективом дикую опасность этой ночи? Присутствие невидимой стены, усеченность этого пространства?..

...Он включил свет и увидел себя в зеркале. Престарелый затравленный верзила, почему-то что-то еврейское появилось в лице, только этого не хватало для вашего удовольствия, товарищи чекисты. Как можно так постареть за пять берлинских дней?..

...А вот забуду сейчас всю эту мерзость, всю эту «фишку» позорную, всего этого советского Абракадина, вот и забыл! Вспомню-ка что-нибудь хорошее, вспомню сразу всех баб, с которыми спал, вот и вспомнил! Вспомню-ка долину Азау,

как с Настей ночью на лыжах катались — никогда этого не бывал!..

...Он снова посмотрел на себя в зеркало и увидел, что явно помолодел, что перескочил в молодости даже свои великие сорок два. За несколько секунд такие изменения! Вот сейчас зафиксирую любопытное явление физиологии. Поставил камеру на автоспуск, укрепил на штативе. Уселся и вспомнил гадости. Щелк-щелк-щелк. Теперь забыл гадости, вспомнил прелести. Щелк-щелк-щелк. И снова, и снова...

...За окном, конечно, кто-то сидит, кто-то так неосторожно скребется в стекло... Резко поворачиваемся — никого! Третье о стекло скукоженная лягушенция платанового листа...

...Но вот внизу слышались голоса. Тут же, с отзвуком по всему телу, глухо забухало сердце. Так просто не возьмете, товарищи! Драться буду руками и ногами. Зубами тоже. Он вышел в коридор и заглянул вниз. Там, в кресле, восседала фрау Кемпфе, в руках вязание. В позе Пушкина на рекамье полулежал почтмейстер. Турчонок на ковре, тоже в классической позиции, созерцал затвор охотничьего ружья. Тема для снимка «Европейская стража»...

Утром Максим был разбужен фрау Кемпфе, явившейся с полным комплектом континентального завтрака. Герр Максим, его преподобие просил сообщить, что он придет за вами ровно в десять и отвезет вас в Тигель. Фрейлейн Шлиппенбах очень взволнована, говорит, что вчера вас потеряла и искала. Придет сюда через час. Кажется, все. Ах да, еще звонил какой-то швейцарский журналист, о, майн Готт, какой там грубый диалект!

— Дорогая фрау Кемпфе, ваше присутствие всегда меня ободряло и как артиста, и как мужчину!

Жарко вспыхнув — нет-нет, не нужно так думать о бедной вдове, герр Максим, — с шуршанием юбок и с полыханием румянца, фрау Кемпфе покинула будуар не вполне одетого иностранного мужчины.

Придется ее обмануть, слить, не попрощавшись. Может быть, сам и лезу в ловушку, а может быть, эта наивная хитрость как раз и доведет до Парижа.

В такси до аэропорта Тигель он все еще боролся с выжигающим все внутренности страхом. В самом деле, ведь не

прежние же времена, ведь не будут же они, в самом деле, втыкать иглу с галоперидолом столь известному человеку, ведь с плащом-то и кинжалом нынче в основном только по народно-освободительным выступаем, своих-то вроде бы не вылавливаем таким макарон, ну, разве что несколько случаев, ну, вот с физиком тем в Лондоне, ну, балерину затолкали в чуланчик, но в общем-то не так уж много таких-то случаев...

И все же страх сжигал все внутри, и не было уверенности, что ноги донесут до самолета.

Оказалось — ерунда: прекрасно двигались нижние конечности. Вообще в аэропорту было чудесно — просторно, кондиционировано, надушено, увлажнено, пропитано запахами комфортабельного путешествия; мандраж почему-то сразу пропал.

У стойки «Эр Франс» он попросил переписать его билет на ранний рейс. С любезностью необыкновенной просьба была удовлетворена. Он с удовольствием закурил и огляделся. Вот в чем причина неожиданного комфорта — масса военщины вокруг, союзное офицерье с преобладанием американщины.

А вот и за стеклянной стеной среди «Мерседесов» и «Фольксвагенов» несколько солдат выгружают какие-то ящики из армейского грузовика. Белые треугольники маек выглядывают из гимнастерок. Это что же, по уставу так у них полагается или просто природная чистоплотность?

В принципе, несколько стыдное чувство — видеть защитников в тех, кто противостоит русским. Нужно стыдиться, но что-то не стыдится. Не знаю, за что они стоят, но противостоят они не русским. Противостоят тому, перед чем мы капитулировали. Собственно говоря, это наши солдаты... Они защищают тебя... Вздор, у тебя одна защитная грамота — твоя фотокамера. Ты независим... хм... особенно в присутствии этих темно-зеленых с белыми треугольниками исподних маек...

На пограничном контроле сидел немецкий персонаж, но тоже в американском «пограничном стиле», эдакий шериф.

— Ihre papiere, sir? — очень доброжелательный «джеринглиш».

— Mein Gott! You have the Sowjetisch passport!

Офицер полистал «краснокожую паспортину», рассмотрел французскую визу, потом поднял на Огородникова весьма заинтересованный взгляд.

— У вас, кажется, нет восточного штампа, сэр? — Уголок рта под усами поднялся вверх. — А французскую визу, значит, вы получали не в Москве, а в Берлине, так?

— Яволь, — сказал Огородников. — Шурли.

Офицер с непонятным значением покачал головой и взял на телефонную трубку.

Неужели вот тут вдруг застряну? Вот здесь, среди *своих*, подумал Огородников. Офицер быстро что-то говорил в телефон по-немецки, но звучало это опять же как из американского кино. Потеряли прусский дух западные немцы. Лишь в «государстве германского пролетариата» он процветает. Проследили за Огородниковым, офицер извинился перед путешественником за задержку и стал ждать. Уже через пару минут, сказав «яволь», он начал принимать инструкцию. Хм, они, должно быть, заложили мое имя в компьютер и сразу получили ответ. Хм, все-таки мы недооцениваем этих западных. Может быть, они вообще и не собираются сдаваться? Офицер протянул паспорт и подмигнул по-приятельски:

— Все в порядке! Счастливого пути!

Огородников прошел за кордон и оглянулся. Офицер с улыбкой смотрел ему вслед. Похоже, что мы их очень сильно недооцениваем.

Теперь все уже позади. Проходя через холл к посадочным воротам, Огородников ликовал, мысленно посылая привет всей «фишке» и послу Абракадину, как вдруг поймал на себе взгляд, полный ненависти. Он исходил от мужичишки в плащишке, сидящего у кофейной стойки. Откуда такие сильные чувства? — удивился наш беглец. Ну хорошо, ты советский шпион, ты за мной следишь, но почему ты меня так испепеляюще ненавидишь? Почему бы не быть просто профессионалом? Неужели так оскорблены в идейном смысле? Да ведь ни тебе, ни моим хозяевам, ни вашей сраной идее я ничего особенно плохого не сделал, только лишь срал на вас с высокого дерева. Зачем такая сильная страсть, поберегли бы аккумуляторы...

Он пересек жгучий луч ненависти и тут догадался, что она адресована не ему, она жжет просто-напросто все, что по-

падает в зону действия, в данный момент стену с рекламой путешествия на Канарские острова.

...Едва ДС-10 пошел вверх, пассажиры прильнули к окнам, чтобы увидеть белую ленту стены, прорезающую городские кварталы и парки и уходящую к горизонту.

— Гренце! Гренце! — возбужденно восклицали позади Огородникова два молодых паренька.

Тогда, не понимая ни смысла, ни формы своего поступка, он перегнулся и яростно стал хрипеть, булькать и скрежещать:

— Какая вам, на жуй, это граница? Это тюремная стена, мудачье! Это лагерная зона, кретины марксистские, пролетарские... Видите меня? Я — зек, я — беглый зек оттуда, из-за вашей так называемой «гренце»...



ПАРИЖ

I

Всякий раз, когда случалось Огородникову попасть в Париж, его бывшая теща мадам Шереметьевф, урожденная Ле Бутилье, говорила:

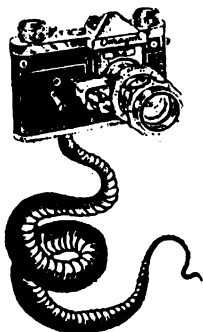
— Не забывайте, мой дорогой, здесь наш дом.

Смешно, но он и в самом деле всякий раз обнаруживал в огромной старой квартире на авеню Фош ждущую его спальню с отдельной ванной, с запасом белья, с дюжиной карденовских рубаш, со шлепанцами, — о, боги! — с ночным колпаком, а все его брошенные в прошлый визит книги, сапоги, пленки, вся бумажная и целлюлоидная нечисть, все было собрано и уложено в крытый бархатом секретер, на котором имелось золотое тиснение «Мадагаскар. 1939».

— Иначе и быть не может, мой друг, — говорила бывшая теща. — Вы отец моих дорогих внуков.

Мадагаскарский сувенир, равно как и тибетские и индийские статуэтки, самурайские мечи, афганские ковры, китайские гонги, полинезийские божки, колониальные кресла-павлины, а также многое другое, напоминали о капитане Жане Луи Шереметьевф, ярчайшем представителе Тридцатых и Сороковых, писателе, летчике и шпионе французской разведки, жизнь которого оборвалась вполне логически — взрывом бомбы, подложенной в его самолет.

О, я помню, как ушел Жан Луи, рассказывала бывшая теща. Я провожала его на аэродроме в Катманду. Он никогда не сооб-



шал свой маршрут, но я подозревала, что он летит в Лхасу, там шли бои. Он смеялся, как на этом портрете. Его маленький самолет круто ушел в ярко-голубое небо, а потом вдруг взорвался. Яркая вспышка — и все. Так осиротела Надин.

Да почему бы мне и в самом деле не уразуметь, что это «мой дом», думал Огородников. Такая любящая бывшая теща. Такие замечательные дети. Ведь это мои единственные, в самом деле, дети.

Из всех огородниковских жен плодоносной оказалась лишь парижанка Надин. Принесла ему мальчика Мишу и девочку Машу. Сава, папа! — говорили ему дети, и он всякий раз поражался, как они меняются.

Не менялась только бывшая жена Надин. После разрыва в 1975-м она круто захипповала, купила себе пятнистые, маскировочной расцветки штаны по колено и выступает в них по сей день. Однажды Огородников осторожно пытался узнать — может быть, панталоны все же другие, реплика, так сказать, полюбившегося дизайнера?.. Увы, оказалось, все те же, неповторимые, на удивление прочные и в чистке, вообрази,OGO, совершенно не нуждаются.

После московской богемной школы у Надин выработались прочнейшие люмпенские навыки, хорошо подходящие к международной интеллектуальной рвани, — способность благополучно проживать в подвалах, на лестнице, факоваться где попало, жрать и пить всяческую дрянь. Все это было, скажем, мило до тридцатилетнего возраста, но нынче-то нам, господа-товарищи-мадам, порядком с хвостиком, а мы все еще бросаемся в экзальтированные перелеты из одной страны в другую с видимостью неких новых горизонтов, новой духовной жизни или каких-нибудь мифических деловых перспектив. Некая коммуна в Пиренеях, тридцать монахов новой формации, которые на деле оказываются обыкновенной марксистской сволочью, ворующей у горцев уток и кур. Вдруг продюсеры новой могущественной фирмы выезжают в Москву снимать что-то эпохальное. Надин, конечно, с ними, незаменима с ее-то знанием русского мата. Оборачивается вся история, увы, хватанием за горло в лифте, да и не с целью гребания вовсе, а опять все по тому же унылому советскому делу — фарцовка вперемежку со стукачеством. И вот, все бросив, по-

раскидав, в Японию, в Японию, там, оказывается, миллионеров-жених, мечтает о француженке благородного русского происхождения, торопит, и: летим-летим — и все в тех же пятнистых панталонах «здравствуй, Бим, здравствуй, Бом!»... Засим в глубинах квартиры на авеню Фош дети вдруг слышат никотинный кашель маман, отхаркивание мокроты, хриплое «мерд-мерд-мерд» и по-русски «чопа-плать-шизда». По-русски, к счастью, детвора ни бельмеса.

В этот раз Надин, разумеется, снова отсутствовала — курсы шведского языка в Гетеборге, — и Огородникова после берлинской трясучки вдруг охватило ощущение благодного комфорта: очаровательные французики Миша и Маша, благородная вдова благородного шпиона Франции, тоненький пальчик возле ямочки на щеке: имейте в виду, мой дорогой, вы у себя дома!

II

Сменил рубашку и шась на Шанз-Элизе. Едва ли не декабрь в Европе, а здесь по-прежнему столики на тротуарах, и вот, извольте, уже знакомые лица... У стенки кафе «Фукец» группа каких-то бородатых-волосатых улыбалась и аплодировала, напоминая московский групповой снимок в стиле Плотникова. Он поднял камеру, встречный «шат», снимок будет называться «В стиле Валеры» — столики, стулья, деревья под ветром. Арка вдали, аплодирующая компания... Тут он вдруг сообразил, что это не просто знакомые типовые лица, а друзья-эмигранты, художники и фотографы, и это как раз ему они и аплодируют.

— Поздравляем! Поздравляем!

— Да с чем, ребята? Чему обязан?

— Да как же, Макс, весь Париж говорит, что ты «дефектнул» от советчиков.

Оказалось, еще вчера по русскому городу Парижку поползли слухи: Ого подорвал на Запад, где-то в Бразилии это случилось. Вот уже и «Либерасьон» вышла с портретиком — мрачайшая личность с обвислыми а-ля Максим Горький усами, средоточение всех пороков и болезней: снимочек гнусный

«взят» был два года назад, когда он здесь зубы лечил у дорогого халтурщика на рю де Севр; месье Коган-недоучка анестезию сделал прямо в нервный узел, так что половина нижней челюсти онемела на полгода. Вот и заголовочек тут имеется — «Очередной скандал советского марксизма»; дескать, если бы не был марксизм советским, то и скандала бы избежал.

— Увы, господа, должен вас разочаровать. Вовсе я не подорвал, а просто в Париж приехал деток повидать.

Компания и в самом деле слегка скисла, но потом набросилась в жажде новых московских анекдотов. Странное томление эмиграции: в Москве задыхаешься, кажется, что большая жизнь проходит мимо, вырываешься, и снова ты окружен глухоманией, ибо лишился Москвы...

Пока что Огородников наслаждался, выбросил из головы берлинский напряг, забыл даже и о «Новом фокусе» и о «фишке» зловещей — таковы чудеса Парижа. Господа, а ведь где-то еще гребутся, говорили при встречах друг другу, и начинался бесконечный треп о прошлом, об общих друзьях, об их чудачествах, и тут уже пропадал раздел — кто эмигрант, а кто внутренний, советский, тут вроде бы слово «наши» обретало свой прежний смысл.

Вот здесь Володя любил бывать Высоцкий, с Шемякой, бывало, как загудят! А вот здесь последний раз видели Сашу Галича. Смотрите, вон Максимов проехал в такси. Интересно, дадут ли визу Андрюше Древесному? А правда, что Полина все еще с ним встречается? В Нью-Йорке, в Сохо, говорят, драка была возле галереи «Китчен», Алик Конский швырнул в Четверкинду упаковку пива. Эрик приезжает? Неизвестно. Окуджава приезжает. Шутишь? А ты, Ого, и вправду собираешься вернуться? Рассказывали смешную историю. На площади Конкорд стоит знаменитый грузинский киношник Тамаз Цалкаламанидзе, глазаеет на новенький «Ягуар». Подходим сзади, спрашиваем: «Тамаз, за такую машину продал бы родину?», а он, не повернув, как говорится, головы кочан, отвечает: «Нэ задумываясь!»

Потом вдруг стала снедать тоска. То ли реакция на Берлин, то ли просто пришла в свой срок, то ли к бабе тянет. Раньше в Париже появлялась жажда проститутки, вот именно про-

дажной бабы, которую беру за деньги и делаю с ней грех, не стесняюсь, и гадости всякие говорю. Все это в общем-то проходило у него в сфере воображения, к проституткам так никогда и не сходил, но все женщины, с которыми случалось ему бывать в Париже, почему-то представлялись дешевками, шлюхами, какими-то армейскими подстилками.

Сейчас печаль и стыд стали снедать его. Проституция — такая грязь, а тяга к проституткам — еще большая мерзость. 'Окое скотство эти бордели в алжирском квартале за холмом Монмартр, еще большее скотство очереди мужиков у дверей. За полсотни, кажись, франков, вставляешь свой конец в человеческое волшебное существо, извергаешь и на выход. Следующий! Ведь не для мерзостных же ощущений, не для проституции построен этот город. Построен для всемирной же жизни же, для скольжения по времени на золотой же ладье.

Он поехал к одной из прежних любовниц и поразил ее безупречнейшей галантностью. Ты правда насовсем приехал? — спросила прежняя любовница. Тут говорят, что на днях в советском посольстве заезжий «железист» делал доклад и среди прочего сообщил, что М.П.Огородников предал Родину.

Придется им брать свои слова обратно, не без некоторой фальши взъерился он и прямо от любовницы *поутрянке* отправился в так называемую «группу культуры», амбасад советик.

Там сидели молодые хмырьки, незнакомые по прежним временам, очевидные доки по французской культуре и с французскими манерами, ни малейшего душка от чекистской портяночки, как будто это и не они жгли картины авангардистов в составе дружины МИМО на знаменитой Бульдозерной выставке. Дай-ка спрошу об этом!

— А вы, товарищ Мясниченко, случайно не помните Бульдозерную выставку 1974 года?

Мясниченкины очки были особого свойства, они темнели в зависимости от улыбки. Чем ярче улыбка, тем темнее очки.

— Как же, как же, еще бы не помнить!

— Разгоняли тогда художников?

— Корректман. Сейчас даже слегка неловко вспоминать. Второй курс. Молодые были, горячие.

— Загорелись, значит, товарищ Мясниченко?

— Вот именно, Максим Петрович, какой-то огонек по курсу пробежал. Влетели тогда хлопцы из Краснопресненского райкома...

— Кто влетели, пардон?

— Из райкома.

— Но кто из райкома? Как вы выразились, кто из райкома влетел?

— Понимаю вас! — Еще ярче улыбка, еще темнее очки. — Хлопцы прискакали из райкома, хлопцы...

— Как в Гражданскую войну, стало быть? Художников бить?

— Вот именно такое настроение было, Максим Петрович. Идеологическое кулачье насаждает. Ну, молодые были, горячие...

— А можно мне вас сфотографировать, товарищ Мясниченко?

— Почту за честь. Очки снять?

Мягко вошел глава «группы культуры», хитрейший Ребешко. Этот был знаком по прежним вояжам.

— Ма-а-аксим Петрович! Добро пожаловать! — Уселся, свисая боками с современной табуреточки.

— Тут вот слухи циркулируют, — сказал Огородников.

— Слышали, слышали...

Хитрости и коварства в Ребешко было столько, что никак не спрячешь, и, значит, надо было обманывать вдвойне, втройне.

— В Берлине было множество недоразумений, — сказал Огородников.

— Слышали, слышали. — Ребешко, совсем уже расплывшись, смотрел на визитера, как добрая бабуля на внука-шалунушку. Обезоруживающий взгляд; даже и Огородников, умудренный, поймал себя на том, что говорит тоном капризули.

— Там наши дипломаты вели себя по отношению ко мне просто дико. Командовали, как будто я им ефрейтор какой-нибудь из группы войск, а не известный фотограф. Где это видано, устроили за мной слежку...

— Да, бывает еще у нас, бывает... — Ребешко вдруг весь зарозовел от пришедшей в голову какой-то очередной подля-

тины. — А что, если, Максим Петрович, на бумажке изложите ваши претензии?

— А почему бы нет? Давайте бумажку!

Пока он писал корявым почерком хулу на всю берлинскую агентуру, включая и застенного монстра Абракадина, в офисе царила полная тишина. Ребешко бровями призывал свою молодежь к еще большему спокойствию — как бы не спугнуть.

— А на чье имя адресовать жалобу?

— А на имя нашего посла адресуйте, Максим Петрович, — прошелестел Ребешко, как весенняя вишня. — Наш-то посол очень-очень просвещенный человек.

Получив вожделенную бумагу, Ребешко стал читать, иной раз упирая алчущий палец в строку и покачивая укоризненно головою, «ох, берлинцы, берлинцы», давая, стало быть, понять, что эдакое у них, в свободном Париже, невозможно. «Ох, Абракадин, Абракадин», — вздохнул он, и глаз его от сильного подмига превратился на мгновение в своего рода сибирский пельмень. Возможен ли такой подмиг в адрес все сильного монстра? — подумал Огородников. Что ж тут удивляться на дочку, развел руками советник по советской культуре. Дочку? Кто дочку? Кому дочка? — заострился Огородников. Когда-то, кажется, с этой дочкой даже вроде «пересекались» на Пицунде — непротивный для глаза субъект. Неужели не слышали, Максим Петрович? Дочка-то Абракадина — вот история, вот позор! — позавчера сбежала в Лондон с югославом.

Огородников хохотал, пока шел через двор, уставленный черными «Пежо-504», похожими на гэбэшные «Волги», а на улице Гренель дохохотался до болей под ложечкой. Вот так вас, большевистские кувалды, собственные дочери учат...

III

Между тем галерея Зуссман и издательство Фруа в рекордный срок подготовили его выставку. Впрочем, и продолжительность выставки оказалась рекордной по краткости — один день.

К утру вернисажа с сен-жерменских небес полетели белые мухи. Их подхватывал ветер и завихрял попеременно с платановыми листьями вдоль домов, исполненных спокойствия и богатства, и вдруг весь этот город, который ты порой полагал своим домом, как бы чуточку сдвинулся и открыл будто щель в вагонной шторе, и там мгновенно промелькнул твой истинный дом-полустанок в бескрайних снегах, пятнышко российского прозябания, юдоль и жалость посреди современной свирепости СССР, тлеющий огонек, который ты ни разу не держал в руках, но все-таки чувствовал его присутствие.

В трех небольших залах галереи циркулировал, разумеется, весь «русский Париж», и, конечно, все опять спрашивали: остаешься совсем? После такой выставки назад собираешься? А что же тут особенного, в этой маленькой выставке? Знаешь, Макс, не строй из себя целки. Выставил тут *такую* голову Ленина и еще целочку из себя строит. Позвольте, что ж тут особенного, месть Пирогов, в этой голове Ленина? Ее Вучетич ваял, но не доваял, она и сейчас так стоит за забором его усадьбы на Верхней Масловке. Вуаля, он хочет нас убедить, что голова Ленина так и стоит затылком к улице и с торчащими вот так ушами. Позвольте, господа, да ведь не сам я ее туда заташил, я ведь фотограф, господа, не более того...

Вдруг рядом с героем дня оказалась исключительная посетительница. Исключительная некрасивость, одутловатая крысиность лица и исключительный дизайн одежд, бахромы, аппликации, «латинские мотивы», что ли, какой-то вроде арагоновский коммунизм, кажись...

На прекраснейшем «франгле» дама задала обычный идиотский вопрос: правда ли, что русская фотография отстала от западной на тридцать лет?

Охотно подтвердив и попытавшись тут же слинять, Огородников вдруг увидел, что все не так-то просто. «Латинские мотивы», расширившись, как бы загнали его в угол. Под крокодилым взглядом вдоль позвоночника к крестцу поползла знакомая пустота.

— Мне кажется, дорогой господин Огородников, что в этой экспозиции появилось кое-что из вашего альбома «Щепки»... Вот эти уши, например... Эти усы?.. Вы вздрогнули слегка, месть? Вас, может быть, удивляет моя осведомленность?

Ах, вас не удивляет?... Тогда позвольте чисто журналистский куэсчин — неужели вы собираетесь все же опубликовать ваши «Щепки»? Предполагаете ли вы последствия?

Он нашел ее локоток в широченном кожаном рукаве.

— Позвольте встречный вопрос, мадам? Неужели там не могут найти кого-нибудь без славянского акцента? Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать?

Он попытался было внушительно сжать локоток, но с тем же успехом можно было жать чугунные перила. Крокодилий изгляд обшарил его лицо. Вслед за тем страшенькая модница испарилась.

Немедленно подскочили оживленные Ребешко, Мясниченко и другие хлопцы из «группы культуры». Успех, успех, Максим Петрович! Вся пресса здесь! Поздравляем, большой бой выиграли и клевету пресекли!

День тянулся очень долго, народ в галерее менялся, иногда обносили дешевым шампанским. Кто-нибудь из «хлопцев» обязательно болтался в толпе, хотя на осмотр экспозиции и, скажем, на обмен мнениями хватило бы и получаса. Наконец незадолго до закрытия все «хлопцы» исчезли, и тут же появился Брюс Поллак. С багажной сумкой через плечо, рассеянно влезая пятерней в рыжие кудри и подталкивая большим пальцем сползающие очки, он приблизился к герою дня. Вновь возникла короткая неловкость. Огородникову опять показалось, что они на «ты» и вроде бы полагается облапать друг друга за плечи, но Брюс с некоторой даже сдержанностью протянул руку и объяснил, что он прямо из аэропорта — прилетел, чтобы обсудить важные дела.

После закрытия выставки толпой персон в двадцать отправились в «Куполь». Преобладали русские эмигранты, но были и французы, американцы, парочка скандинавов и один сенегалец. Засели в углу большого зала, и очень скоро под шампанское и шатобрианы воцарилась столь любимая Огородниковым атмосфера кабацкого легкого протекания жизни. Для того чтобы гости не чувствовали «напряга», он сразу объявил, что платит за весь стол и показал пачку хрустящих франков, аванс Зусмана и Фруа.

Брюс сел с ним рядом, быстро сожрал свой стэйк и начал «важные дела». Простите, спешу, пока вы не перегрузились,

Макс, а у нас тут возникает довольно острый момент. Речь сразу же пошла о «Новом фокусе», это слегка раздражало Макса. Почему Брюс словно намеренно не упоминает «Щепок», как будто он не пророчил еще недавно этому альбому а *smashing success*? Похоже на то, что он на меня нынче смотрит только лишь как на лидера группы...

Оказалось, что «Н-Фокус» оценивается авторитетными кругами (какими? где они кружат? — о'кей, я объясню позднее) как сенсация мирового уровня. И «Фонтан» и «Фараон» уже готовы подписать очень знатный контракт! Еще не видя альбома? Да, еще не видя альбома, но в том случае, разумеется, если вы, Макс, приедете в Нью-Йорк и сделаете в издательстве подробное сообщение.

...Позвольте, в Нью-Йорк? Если я еще в Нью-Йорк заряжусь после Берлина и Парижа, наши товарищи совсем озвереют...

...А они и не узнают, Макс. На три дня вы слетаете в Нью-Йорк на «Конкорде», никто и не узнает. Визу мы вам выправим на вкладыше, в паспорте никаких следов, вернетесь в Париж и выбросите ее, вот и все дела. Вот, кстати, вот так удача, вот как раз кстати вошел мой молодой влиятельный друг, некто Филип. Вот он как раз и поможет вам с визой. Вот он завтра вам все и устроит с визой, а послезавтра он, этот славный Филип, как раз в Москву летит, у него огромные связи в Советском Союзе, так что если нужно что-нибудь привезти из Москвы, то лучшей возможности и не придумаешь...

Хорошо сложенный и отлично причесанный Филип замечательно пожал плечами — нет ничего невозможного.

Хороший парень, проговорил Огородников. Надежный, клевый паренек. Кажется, месье Филип неплохо говорит по-русски, предположил Брюс. Об этом можно было догадаться, сказал Огородников. Великолепная встреча, сказал по-русски Филип. В общем, сказал он, уж вы, товарищ Огородников, в конечном счете милости просим завтра за американской визой. Вот с удовлетворением вам моя карта.

Он протянул визитную карточку, на которой уже было указано и время визита. Затем, одернув безукоризненную фланель, попрощался, ибо оказался в «Куполе» совершенно случайно, а впереди имеет достопримечательное свидание.

В рукопожатии его чувствовался хороший теннис и неплохое карате.

Удивительный вечер, сказал Огородников, столько удачных совпадений... Если бы я прежде не бывал в «Куполе», я бы решил, что все это подстроено.

Рыжее лицо адвоката с выражением «еврейская мама» обращено было к клиенту.

— А вы знаете, что меня сегодня опять предупредили... хм... коллеги месье Филипа с той.... хм... нашей стороны? — спросил Огородников. Он сидел, расслабившись, охваченный ощущением неожиданного уюта, словно в безделии и безмятежности читал книгу об интриге в парижском ресторане.

Брюс кивнул — да, он знает, конечно. Ему, разумеется, сказал об этом Филип. Вот этот самый Филип? Вот именно он. Ну, это уж просто великолепно, расхохотался Максим. И что же, содержание разговора вам известно? Более или менее, «еврейская мама» положила ладонь на костлявое колено опекаемого, как бы говоря — не обращайтесь внимания на все эти мелочи, это в самом деле не ваша забота, дорогой. Хм, подумал Максим, вглядываясь в веснушчатое лицо, хм, хм, хм, почему же продолжается молчание?

За очертанием брюсовской головы в стеклянной стенке террасы протекал вечерний Монпарнас. Там остановились вдруг среди толпы и уставились в глубь «Куполя» два белоснежных животных — коза и лама. Розовые зенки среднефранцузской козы и агатовые очи перуанского чуда.

— Это еще что такое?! — вскричал Огородников.

— Коза и лама, с вашего позволения, — сказал по-русски проходивший мимо средних лет господин располагающей наружности — продымленная трубочка и желудевого цвета иронические залысины, обмятый десятилетней ноской твидовый пиджак. Растоптанным замшевым башмаком он уже подтягивал к огородниковскому столу свободное кресло. — Позвольте представиться, Амбруаз Жигалевич. Можете не волноваться, я не эмигрантская сволочь. В отличие от своих родителей я просто француз. Представляю журнал «Фотоодиссея», но можете не волноваться — никаких интервью...

— Присаживайтесь, присаживайтесь, — пробормотал Огородников и вдруг, заметив, что в «Куполе» произошло еще

одно событие, воскликнул громче прежнего: — А это еще что такое?

В дверях стояло существо женского пола, высокое и закутанное в драгоценную шерсть; все было многоцветным и струилось. На голове имелось золотое свечение тяжелых кос. Это было существо не вполне земной породы, и по всему огромному ресторану от него (от существа) стали распространяться будоражащие волны, у едоков и выпивох возникло вдруг ощущение ПРИСУТСТВИЯ при чем-то, СОПРИЧАСТНОСТИ чему-то...

— Не верю своим глазам, — сказал Огородников.

— И тем не менее это она, — сказал Амбруаз Жигалевич, протирая синим платком запотевшую плешь.

Сверхъестественное лицо рассеянным взором панорамировало обеденный зал, и вдруг луч его (ее) взгляда заплулся на столе фотографов и непосредственно — невероятно! — на тощей, с висящими мотками ушей физиономии месье Ого.

Он оглянулся — может быть, на кого-нибудь позади смотрят? Позади него была стена и два фазана на обоях. Радость вдруг нахлынула на него, словно музыка Россини. Безусловно, познакомимся сегодня! Безусловно, поговорим о седьмом-ЕЕ-десятилетии этого века! О спасении животного мира, без сомнения! Вне всякого сомнения, поговорим о многом!

Вдруг его вырвало. Что это было? Он даже опомниться не успел, когда, словно под давлением какого-то поршня, снизу вверх через все тело стала проходить коричневая мерзость, он содрогался, а она сокрушительным потоком низвергалась на крахмальную скатерть, в ней различались кусочки недавней еды, еще не тронутой процессом пищеварения, включая проглоченную второпях целиком дольку танджерина, коричневое, пронзительно воняющее желудочным соком месиво. И шло, и шло...

Потрясенный, он смотрел на извергнутое, на обезображенный стол. Не поднимая головы, он знал, что взгляды всего зала сейчас направлены на него, потому что «риголетто» (вдруг забытое студенческое словечко выплыло из мрака) сопровождалось оглушительными, будто пушечными звуками и стоном и не могло не привлечь всеобщего внимания. Сволочь французы, думал он тупую мысль, почему у них нет оркестров в каба-

ких? Под оркестр можно было бы «слабать риголетто» за милую душу, никто бы и не заметил. Сволочь эдакая, французы...

Беготня вокруг. «Неотложку», что ли, вызывают? Хрен нам, не поддамся на провокацию! Салфеткой удалил с лица и груди желудочное содержимое, посидел немного молча, демонстрируя полное самообладание. Человек-синюха, подумал вдруг о себе с проказливым смешком, настоящая синюха. Экстраестественное существо сделало шаг к человеку-синюхе, потом еще один шаг, потом вообще как бы устремилось. Не бывать этому! Соприкосновение народов обычно происходит в полях, под шатрами главнокомандующих, а не за облеваным столом. Он бросился бежать и через секунду оказался в бодрящем холоде Монпарнаса.

Лама тянула губами лямку колокольчика. Коза, размахивая бородой, крутила колесо с попугаем.

IV

Что происходит со мной, думал он, шагая и срезая углы. Я не был пьян. Я облевался здесь так же, как обоссался в Берлине. Куда убежа... проклятый возраст с избытком и недостатком лет... полн пуст их... камера ведь тоже облевана, свящ оруж... как быстро, понимаете ли, думаю, что теряю буквы...

Один таксист отказался везти из-за запаха, второй сразу отрулил, чураясь внешнего вида, третьему — сразу в зубы сто франков; вези, жуесос! Бутт Монмартр! Поехало. По бокам опрокинутой головы покачивался забываемый Париж.

— Приехали. Вылезай, вонючий осел, — сказал таксист.

— Думаешь, я по-французски не понимаю? — хихикнул Огородников. — Держи еще полсотни за удачную остроту... Жопа ты, — сказал он таксисту на прощание и получил, разумеется, в ответ: «От жопы слышу!»

На холме Монмартр было пустынно и оттого туманно: пернее — наоборот. Из ресторана «Гасконец» доносилось глухое мычание швабской песни. Огородников шел, куда ноги вели, если можно так сказать о подгибающихся конечностях. Вскоре он оказался в североафриканском квартале, некогда поразившем дикое советское воображение.

Как в романах пишут, «слышались гортанные арабские голоса». Запах нечистот, исходивший от месье Ого, здесь потерялся среди собственных ароматов. В ночном тумане произрастал пенек, на который наш артист наткнулся. Сидел не пенек, а темнокожий остолоп торговал разложенными на тротуаре кожаными изделиями. В какую по счету ночь из мрака к такому торговцу выходит покупатель и берет дурацкий суспензорий с бубенчиками? В окне мелькнула идиллическая сцена: семья честного труженика Востока смотрит телевизор и жрет кус-кус. А вот и очередь — как стояла три года назад, так и стоит. Рядом еще одна, еще, еще: заведения располагаются одно за другим, но конкуренции явно не ощущается — спрос здесь превышает предложение.

Какой дом выбрать? Помнится, вот здесь мелькнула тогда светлая головка одной труженицы. Кто последний, товарищи?

— Я последний, — сказал последний, дрожащий, с одеялом на плечах.

— Фатигэ? — спросил месье Ого.

Владелец одеяла кивнул и показал руками, что весь день работал отбойным молотком, все трясется. А гребаться все-таки хочется? — спросил месье Ого. Одеяло опять закивало, дрожа всем телом, как бы еще соединенным с перфорирующей машиной. Все члены, дескать, опали и дрожат, один лишь, как штык, торчит, надо его успокоить, а то спать не дает, снижает производственные показатели, немой, что ли? Хоть и немой, а объясняет хорошо, все понятно, все нюансы.

— Дернье? — спросили сзади.

Два марокканца еще подгребли. Дернье, дернье, товарищи. Вся очередь стояла сумрачная, серьезная, настоящие пролетарии всех стран соединяйтесь, а говорят, что марксизм уже сдох. Может, это просто очередь в сортир? — обеспокоился месье Ого. Тут произошло движение. Двое вышли, закутываясь в шарфы и закуривая. Двое вошли в узкую дверь, и теперь можно было увидеть в мутном окне на втором этаже «белокурую головку»...

Она, видно, тоже решила перекурить и весело с кем-то внутри разговаривала. Ну и девчушка — ведь пропускает за

смену полсотни шурупов! Давайте займемся делением и умножением. Предположим, пятая часть заработка идет ей в карман — пятьсот франков в день, три тысячи в неделю, двенадцать кусков в месяц — высокооплачиваемый специалист! Где она еще такие бабки огребет? Однако пятьдесят штук принимать каждый день! Не многовато ли, господа! Ведь целое блюдо одной только секретиции! А физическое напряжение, товарищи? Впрочем, за «ничего» такие деньги нигде... Этими рассуждениями он как бы старался сдерживать все нарастающую тягу к желанному дому.

Девица в окне бросила сигарету, хохотнула кому-то внутри и отправилась работать. На пороге появился здоровенный дядяша в джерсевой кофточке и молча, большим пальцем обратил внимание очереди на «правила поведения клиентов». Запрещалось девушкам: бить, кусать, щипать, целовать (!). Самим клиентам запрещалось: сквернословить, плевать, петь (!), употреблять спиртное, курить, есть, проходить к девушкам без совершения санитарной процедуры. Рекомендовалось клиентам и «а прэ» совершить туалет отработавшего органа, но на этом администрация не настаивала.

Работали две девушки. Слева была дверь с фотографией «белокурой головки», она гостеприимно улыбалась, расставив ноги в сетчатых чулках. Брюнетища справа, демонстрируя шары груди и мешок живота, была как бы даже слегка строга, чуточку нахмурена. Мужской поток, таким образом, весьма точно разделяли на два основных ручья — влекущихся к «детке» и жаждущих «мамаши».

Месье Ого, сказать по чести, слегка растерялся перед выбором: страстно хотелось и туда, и сюда. Все же направился к «белокурой головке», все же она была символом холма Монмартр столь долгий срок притворства. В проходе столкнулся с предшественником. В левой руке тот тащил свое одеяло, правой заправлял ширинку. Поразила неопрятность лица. Не беспокойтесь, месье, это наш постоянный клиент, сказал могучий кассир. Пожалте сюда, нажмите там кнопку, санитарные предосторожности.

Нажал кнопку. На ладонь выпал голубоватый презерватив. Это несколько разочаровывает, предвкушалось-то хлюпанье, сырость, слизь.

Следующий шаг, вы у цели. На синем матрасе деловитое и даже несколько изящное существо. Алор, алор, командует оно, осматривает вас, производит некоторые движения пальцами вдоль вас, легкие пожатия и, убедившись в вашей готовности, подставляется. Поза вами принята. Начинают тикать часы, стрелка пружинисто прыгает. Осталось четыре минуты. Вы двигаете орган вашего тела в органе чужого тела.

Какая благодать, и стоит недорого — подумаешь, шестьдесят франков плюс такс за такую яркую человеческую потеху!

Вдруг месье Ого заметил, что мадемуазель Анэт посматривает на него в боковое зеркало. Ты явно не араб, говорит она. Швед? По пьянке забрел? Бу-бу, ответил он, стараясь влезть в нее поглубже. А ты, Анэт, откуда? Шварцвальд? Немочка? Может, сходим в кино? Скажи, влагалище у тебя, конечно, не настоящее, а? Муляж? Ведь невозможно же по полсотни штук ежедневно...

Ты что-то, милоч, разгулялся, с хрипотцой говорила она. Ему даже показалось, что ее слегка забрало, но это было невероятно. Глянь, милоч, меньше минуты осталось, ты не один, у меня очередь. Давай-ка я тебе помогу, кирюха несчастный... так она говорила со шварцвальдским сельским акцентом и опытной рукой помогала ему прийти к венцу приключения, довольно бурному, освежающему и даже как бы очищающему. Вон, брось туда. Возьми бумажное полотенце. Вазелин. В кино не хожу. Тайм из мани. Учусь на медсестру. В дверь уже лез очередник с голубым пакетиком в лапе. Абъенто, заглядывай, швед.

В коридорчике месье Ого предложил кассиру сигару «Ритмастер». Они закурили. Получили удовольствие, месье? Он заверил, что удовольствие огромное. Анэт — славная девушка, кивнул кассир, он же директор предприятия. Из спальни «мамы Сильвы» доносилось повизгивание араба. Из будуара Анет лишь ритмичное поскрипывание пружин.

— Этих бедняг можно понять, — сказал кассир.

— Деньги, — глубокомысленно изрек месье Ого.

— Вот именно! — Кассир слегка воспламенился. — В ходу элементарная политэкономия, месье. Бедняг эксплуатируют на дорожных работах, на конвейерах, они копят деньги, что-

бы вернуться с ними в свои страны, ограбленные неокOLONиализмом, их семьи там, а ведь естеству не прикажешь, раз в неделю трудящийся несет свои франки сюда.

— Значит, предчувствия меня не обманули, — сказал Огородников. — Это марксизм.

— Везде марксизм, это наука, — сказал кассир на прощание. — Заходите еще, месье.

Почему-то пощипывало в промежности, но ноги были легки, и голова чиста. Огромнейшая луна смотрела на спускающегося в Париж человека. Высокогорный озон Монмартра, прощай! Из темно-зеленого «Ягуара» высунулась голова с желудевой плешью. Амбруаз Жигалевич, конечно.

V

Вот так встреча! Совершенно случайно вас увидел! У вас такой вид, Макс, будто вы из бардака идете. А я направляюсь в одно местечко, где наш брат, парижский фотарь, собирается. Айдайте со мной? Браво, плюхайтесь в это старое авто, в кожаное кресло доброй британской работы. В те времена капитализм еще был вполне надежен. Как вы сказали? Капитализм — это публичный дом социализма? А знаете — свежо! Вижу, что случайно у вас вырвалось, а между тем — незатасканно! Итак, поговорим по-товарищески, лады? Надеюсь, вы меня шпионом не считаете? Ну, и на том спасибо. Эх, Макс, мне под полста, а что мне дала моя камера, мое перо, поверь, не последнее в «Фотоодиссее»? Ни кола ни двора, вот только этот старый зверь, что нас везет. Да, я пью! Нет, за рулем никогда! Ты мог бы заметить, что отхлебываю только перед красным светом. Почему не угощаю? Да на — соси! Я думал, ты выдержишься после... После чего? Ты называешь свое выступление в «Куполе» — монологом? Ей-ей, недурно! Откровением? Что ж, ну-ну... Отчасти, видимо, так и есть — призыв к состраданию, все наизнанку. Эта гадость называется граппа, вполне под стать... хм, запашку откровения... Давай сюда ее, не видишь — красный! Почему, Макс, скажи, один становится знаменитостью, а второй, ничем не хуже, вынужден выпрашивать интервью у всякого заезжего сброда? Приехали, ваше

благородие, вот наш клуб, открываю своим ключом, такие правила. Нравится этот бар в староамериканском стиле? Вижу — нравится. Кого эти стены только не видели! Еще меся Даггер с братьями Люмьер играли здесь в бридж. Макс, знакомься с нашими звездами — Анри Колиньи и Жанмари Колиньяк, оба сербского происхождения, так что и по-нашему немного кумекают. Возник исторический момент, господа, — четверо мастеров встретились в ночном Париже! Макс, ты не возражаешь, что тут у меня магнитофончик работает? Не записывать же мне за тобой твои вонючие афоризмы. А вот бармена Николя попросим пощелкать старой камерой. Негатив тебе, Николя! Когда-нибудь большие деньги огребешь! Теперь давайте беседовать, господа, поговорим наконец как профессионалы. Вот, скажи, Колиньи, какими объективами пользовался, когда снимал свои «Мосты»? А ты Колиньяк, не слишком ли далеко зашел в своих экспериментах со вспышкой? Короче, короче, ребята! Краткость — сестра чего? Давай-ка теперь ты, Макс Огородников, выскажись — что такое фотография, то есть как вы, советские мастера «новой волны», ее понимаете?..

В этом пункте нашего повествования мы обращаемся к читателю с призывом захлопнуть книгу, потом заглянуть в ее начало и найти там с грехом пополам собранные огородниковские откровения, потом снова захлопнуть книгу и вообразить себе финал этой безобразной сцены.



СНЕГА

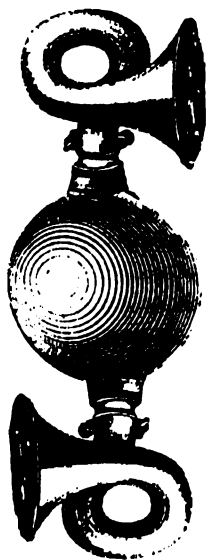
I

Между тем, пока в парижках и берлинах туманы давили на психику населения, в столице мира и прогресса наступила хорошая русская зима. Осадки каждый день, и все в виде снега. Всем хорош русский снежок, только многоват и, в частности, затрудняет движение. Вот однажды, после возвращения из заграникомандировки в город, деленный надвое, пошел капитан идеологической службы Владимир Сканцин на коньках покататься в Парке культуры Измайлово, так, не поверите, застрял в сугробе.

Со смеху можно было уссаться, иначе и не скажешь! Вначале лихо так мчался на «ножах», весь в мальчиковых воспоминаниях. Ох, бывало, «зюбрели» здесь с мальцами, хоккейными клюшками да железными прутиками давали шороху! Культурки, конечно, не хватало, что поделаешь. Очкарики-то разбегались, ой, мама! А кадришки-то, кадришки! Включишь с пацанвой скоростенку, вжих, и окружаешь заплаканную старшекласницу. Давали шороху!

И вот что-то опять занесло Владимира на измайловский каток. Скользил в полном одиночестве по романтическим аллеям и сам себя не узнавал, в душе происходил какой-то размыв, шевелилась жалость к тому, кем был, к тощему хулигану с вечной соплей под носом.

Сыплет и сыплет снег. Чего-чего, а вот этого у нас всегда в избытке. Парковая служба уже и чистить аллеи перестала, небось портвешок где-нибудь давят, а зар-



плата идет, а капитана какая-то нетипичная и колючая энтропия-мизантропия забирает. Как мир несовершенен! Люди подчас занимаются чепухой. Вот я, может быть, родился, чтобы доктором неплохим стать или многообещающим фотографом, увы... вокруг низкие страсти, подогреваемые из-за рубежа, и вот приходится заниматься неблагоприятными делами — доносы читать, самому вынюхивать чужие запахи, чтобы оградить это общество несовершенных и неблагоприятных людей от еще более несовершенных, то есть не наших, ну...

Споткнувшись в этом пункте, он чуть было не полетел в сугроб под елки, однако спортивная подготовка выручила, проехался всего лишь на «пятой точке». Поднявшись, однако, получил неожиданный подарок судьбы — впереди ехала одинокая стройная девушка. Конечно, помчался!

Отчего же не помчаться, что ж тут плохого, товарищи? В пустом лесопарке грех не познакомиться, не показать неумелому женскому конькобежцу лихой вираж, не пошутить в непринужденной манере ресторана «Росфото»... А вдруг подружимся, а вдруг, того гляди, поженимся? Вот мать-то будет рада!

Девушка старательно ехала по узкой полоске льда меж сугробов. Черные вельветовые джинсы в обтяжку, яркий свитерок, золотая гривка из-под шапочки. Высокая, стройная, весьма приемлемая с задней позиции студентка.

Сканщин еще нажал, поравнялся, заглянул в лицо и вот тут-то от растерянности и влетел в огромный сугроб: девушка на поверку оказалась парнем!

Сколько в мире нынче подобных недоразумений, досадовал капитан, барахтаясь в снегу. Вот и взаправду все сомнительное к нам с Запада идет. Да как же выбраться-то из этой жуйни? Какая, в жопель говененькая получается ситуация — проваливаюсь все глубже!

— Давай руку, друг! — крикнул парень, на котором капитан хотел было жениться. Отличное, открытое и милое лицо смотрело на капитанский конфуз. Не у каждой дивчины нынче найдешь такую благоприятную внешность. Да и рука, протянутая для помощи, оказалась не из худших. Она дернула, и Владимир вылетел из снежного плена, показавшись себе на

миновение пушистым коlobком, каким-то «Карлсоном, который живет на крыше»; во, чудеса! Не иначе, звезда мирового спорта!

— Прости, друг, — сказал Владимир, отряхиваясь, — за знакомого тебя принял. Ты каким видом спорта занимаешься?

— Многими, — улыбнулся молодой человек.

И какая же отличная улыбка у парня! Вот все же ворчим иной раз про комсомол, а какие он выращивает характеры из молодежи!

— Давайте, что ли, познакомимся. — Сканщин улыбнулся и ответ и назвал одно из своих оперативных имен: — Тимофей Валерий.

— Вадим Раскладушкин, — представился юноша. Вот и имя-то какое-то славное, молодое, советское. Они поехали рядом по узкой ледяной дорожке. Уже темнело, и на закатной стороне (не хочется говорить на «Западе»), над строем жилых корпусов, в серой жуемотине обозначились какие-то просветы, похожие на клочки апельсиновой кожуры.

— А чем же ты, Вадим, занимаешься, если не спортом? — мягко спросил Сканщин.

И не получил ответа, только улыбку.

— Я имею в виду место работы, — уточнил Сканщин.

И снова ничего, кроме улыбки.

Хм, Сканщин заглянул новому знакомому в лицо, хм, интересно получается.

— Простите, Валерий, — тут Вадим Раскладушкин взял фиктивного «Валерия» под руку, — в сложное время живем. Согласны? Увы, не могу назвать вам место работы, а кривить душой не хочется.

Сканщин радостно вспыхнул: из наших! Каждой клеткой своей руки молодой чекист ощутил каждую клетку его руки — из наших! Прав Вадим — время сложное, нельзя уточнять.

— Не обиделись, Валерий? — мягко спросил Раскладушкин. — Лично я никогда не спрашиваю новых знакомых о месте работы, чтобы избежать двусмысленных ситуаций. Надеюсь, это не помешает нам стать друзьями.

— Тогда уж зови меня, Вадим, по-настоящему, — сказал капитан. — Владимиром Сканщиным, Вовой.

Они посмотрели друг на друга и понимающе засмеялись. Может быть, скоро нас станет так много, что не надо будет таиться друг от друга, радостно подумал Сканщин.

Лед звенел под коньками молодых людей, когда они, взявшись под руки, раскатывали синхронный шаг в сторону раздевалки.

— Как-то не хочется расставаться, — сказал Сканщин. — Может, куда-нибудь закатимся, Вадим?

— А почему же нет? — Вадим Раскладушкин посмотрел на светящиеся часы. — Я вот еду в компанию одну, правда не знаю, может, тебе там скучно будет. Ты искусством, Вова, интересуешься?

— Очень! — выпалил Сканщин.

И снова они посмотрели друг на друга и понимающе улыбнулись, как будто знакомы были еще с тех прежних измайловских шалостей.

— Насчет горячего беспокоиться не приходится, — сказал Раскладушкин. — Проблема одна — где такси сейчас поймать?

— А «Жигули»-то мои на что? — с энтузиазмом откликнулся капитан.

II

И вот на сканщинских «Жигулях» двое молодых с неопределенным местом работы прибывают в Замоскворечье, во дворколодец дореволюционного дома, выложенного кафельной плиткой предкатастрофной эпохи. Снег все валит с темно-рыжих ночных небес, засыпает собравшиеся здесь во множестве автомашины — иномарки. Сквозь единственный узкий проем открывается убаюкивающий вид на купола церкви Всех Святых. Приходится, однако, быть начеку, если паркуешься между «Мерседесом» и «Вольво». Володя Сканщин со значением посмотрел на Вадима Раскладушкина. Тот печально прикрыл глаза — ничего, мол, не поделаешь.

Лифт был перегружен, пришлось пешком корячиться выше восьмого этажа на огромный чердак, залитый светом и полный народу. Да ведь и тут сплошные иностранцы, дога-

дился капитан. Вокруг него, буквально вплотную, разговаривали на иностранных языках. И оробел, оробел капитан...

Вот ведь как бывает — по долгу службы ведь немало бывает всякого иностранного: то клочок письма Огородникову от нью-йоркского агента Брюса Поллака, то запись разговора (Огородникова с Хироши Нагоя, то фотоснимок штиблет, приобретенных Максуд Петровичу синьорой Одолетти... кажись, можно было бы привыкнуть к Западу, а вот на практике расстрелялся капитан.

Какая-то, понимаете ли, фляда спрашивает на вполне понятном языке «донт ю хэв э лайтер», то есть прикурить, да и пальцами показывает вполне вразумительно, а Володя (Сканщин вместо того, чтобы извлечь коронный «ронсон», деревенеет.

А где же Вадим? Да вон он, гусек, у стола для поддачи активно пасется, а там всего наставлено о-о! Ну и ситуация!! Вот так и горят, видать, наши ребята в таких ситуациях! В этот как раз момент Раскладушкин повернулся к Сканщину, ободрил улыбкой — гребь, мол, сюда, выпивай-закусывай. Немного отлегло от души — все же легче, когда рядом товарищ!

Шаг за шагом капитан преодолел расстояние до стола, взялся за бутылку родной «Столицы». Одна дамочка глянула на него: преаппетитнейшая!

— Са ва? — спросила она.

— Где? — ахнул Володя.

Вокруг чудесно расхохотались. Остроумно! Браво, месье! Володя фуганул полный стакан, и язык у него тогда развязался. Ай эм сори — вполне к месту! Беседа немедленно потекла куда надо. Вокруг уже все на него смотрели, а дамочка даже положила голый локоток ему на плечо, спасибо за доверие.

— Милости просим, Жанин, ко мне на Северный Кавказ! Перед вами фактический хозяин региона! Любите высоту? Голова не кружится? Уелкам! Все турбазы, все охотничьи уголья — наши!

Впоследствии, в рассольный час, капитан мучительно спрашивал себя: откуда Кавказ-то взялся, где слышал такое раньше бахвальство, кому подражал?

Между тем среди гостей чердачного вернисажа — а это именно вернисаж вокруг кипел, и картины, не замеченные на-

шим чекистом, были развешаны вдоль стен — распространилось: присутствует крупнейший партиец «новой генерации», член ЦК, хозяин Северного Кавказа, и это безусловно свидетельствует о продвижении к верхам «свежих сил» и о возможной либерализации искусства.

— Одумаются, не могут не одуматься, — говорил хозяин чердака Михайло Каледин, живописец, график и чеканщик по металлу. Морщинистое его лицо выделялось из огромных усов, бакенбардов и полуседой шевелюры, сияло в сторону могущественного гостя. — Да, познакомь же меня, Вадим, наконец! — обратился он к Раскладушкину.

Володя Сканшин в этот момент сливал в фужере шотландское виски с английским джином. Он ухмыльнулся хозяину. Художник? Хочешь творить на леднике в цэковском эрмиtage? Уелкам! Монархист? Всем места хватит, добро пожаловать на Северный Кавказ! И вдруг чуть не уронил капитан фужер с хорошим напитком. Из-за плеча хозяина увидел нечто, отчего впал в мандраж. Макет фотоальбома «Скажи изюм!» собственной персоной! Нельзя было не узнать здоровенную плитку в цветастом переплете с завязочками из ботиночных шнурков, ведь только вчера на оперативке показывал генерал снимки «объекта», сделанные «своим человеком» внутри злокозненной группы фотографов. Человека этого генерал даже своим сотрудникам не открывал, сказал лишь, что приближается критический момент — перебежчик Огородников из-за океана охотится за альбомом. И вот он, альбомчик данный, стоит полубочком на полке, прислонившись к старинному самовару, изготовленному в Полтаве из шведской кирасы. Стоит среди подозрительной толпы, полуиностранной и частично еврейской, предмет забот их опергруппы, всего сектора, да чего там, всего, можно сказать, ГФИ Идеоконтра...

Володю пот прошиб, и все иностранные алкогольные влияния мигом испарились. Как позволил себе позорно дезориентироваться? Где нахожусь и не знакомые ли лица вокруг, мать моя родная, ленинская авиация? Да ведь как раз они мельтешат, «новофокусники» и «изюмовцы»! Вот и Охотникер с рыжей бородищей, вот и Пробкинович — шустрия крошку Жанин кадрит. В секторе принято было к русским фамилиям ненадежных фотографов присоединять еврейские оконча-

ния — ну, просто развлекаются ребята, чтобы от скуки не сдохнуть, на антисемитизм, конечно, это не похоже. Эге, держись, разведка, за пол, в углу-то разглагольствует не кто иной, как Андрюшечка Древесневич, ближайший кореш перебежчика (Огорода (этому «евича» не совали, поскольку папа в партийной истории), а вот Славка Германович (когда из больницы выписался?), а вот и сама бандитская рожа Шуз Жеребятникович... ну и дела! Слязгин, говна кусок, прохлопал такую «гет-гугезину», просто преступную проявил халатность наш товарищ Николай. А что, если вот здесь и передадут альбом иностранному агенту? Да вот хотя бы этому молодчику и передадут, ишь рука какая твердая, ишь как жмет...

— Филип, — представился Сканцину молодой незнакомец в сером костюме-тройке.

— Николай, — назвал одно из оперативных имен наш капитан, отвечая давлением на давление.

— Владимир или Николай? — спросил вышеупомнутый.

— Это почти одно и то же, — сказал Сканцин. — А вы здесь зачем?

— Я здесь для осмотра московских достопримечательностей, — четко ответил Филип.

Какая отличная чувствуется в товарище подготовочка! Вот это, без сомнения, опасный Филип. Из всех Филипов этот самый опасный. Ох, унесет наш альбомчик в чужие края! Вот, пожалуйста, наглядная — аж дрожь пробирает! — иллюстрация мудрых слов Леонида Ильича, которые на прошлом семинаре заучивали: «Вакуума в идеологической работе не бывает, и там, где мы позволяем себе прекраснодушествовать (вот такое слово!), немедленно (там или туда?) проникает враг!»

Всю оставшуюся часть чердачного шабаша Владимир Сканцин не спускал глаза с огромного альбома. Уже и Филип скрылся, и Жанин испарилась (на пару с Венькой, конечно), уже вся нечисть иностранная разлетелась с чердака, уже и своя идейная незрелость разбрелась, за исключением особо пьяных, а капитан все сидел в углу на медвежьей шкуре, отвергал и виски и джин, принимал только родную, стекленел все больше после каждого приема, пока окончательно не «отключился от сети».

III

Между тем «Вольво», возле которой рыцарь идеологической войны запарковал свою машину, принадлежала вовсе не иностранцу, а как раз наоборот — Андрею Евгеньевичу Древесному, потомственному российскому интеллигенту и до недавнего времени «одному из выдающихся мастеров четвертого поколения советского фото». Машина эта досталась ему лет пять назад стараниями, разумеется, Венечки Пробкина через какие-то пятые-десятые руки. Когда-то Андрей Евгеньевич весьма гордился скандинавским аппаратом, ему нравилось, как люди смотрят, когда он выходит из серебристой, как иной раз говорят за спиной: «Древесный ездит на «Вольво»!» Вообще когда-то, то есть пять лет всего назад, все было иначе — ярче, живее, непосредственней. Всерьез шли разговоры о выдвижении на Нобелевскую премию по фотографии. Женщины были желаннее на пять лет. Запахи и те были сильнее, красноречивее.

Странное дело: пять лет, ну, для «Вольво» какой-нибудь — немалый срок, но для человека-то, для артиста, по идее, пустячный, не так ли? Вот когда покупал эту штуку, на спидометре у нее было тридцать девять тысяч. Пустяк для «Вольво», говорил тогда Пробкин. У нее было столько тысяч тогда, сколько у меня лет за плечами. Хм, подумал я тогда. Идиотские поиски банальной символики. Сейчас мне сорок четыре, а у нее на спидометре — восемьдесят; значит, и мне восемьдесят лет, во всяком случае, что-то испытываю похожее на ее проблемы с зажиганием.

Андрей Евгеньевич был исключительно хорош собой, эдакий гармонический человек с хорошо очерченным и чистым лицом, с большими холодными глазами и густой шевелюрой. Седина на висках и запущенные как раз к покупке «Вольво» усики прелестей ему не убавили, а, напротив, привнесли в гармонию еще дополнительный какой-то («антисоветский», как иногда по пьянке говорили друзья) шарм.

Андрей Евгеньевич ушел с калединского вернисажа одним из последних и, спускаясь по пропахшей кошачьими ссаками лестнице, досадовал, почему не ушел одним из первых. Бессмысленный вечер в подозрительной толпе. Сколько раз давал себе зарок не приходить на подобные сборища, ну, а уж

если приходиться, то держать себя в соответствии с именем и положением в искусстве, поменьше болтать, ну, а уж если болтать, то не рассказывать «историй», когда тебя не особенно и слушают.

Удивительное какое-то стало замечаться в обществе пренебрежение к художнику с именем. Казалось бы, если только открываю рот, вы, падлы, должны сразу почтительно замолкнуть, но этого не случается. Неужели и со мной начинается то, что когда-то произошло с Игреком, Зетом, Омегой, теми звездами первой величины, когда их вдруг перестали *считать*?

Из официальной фотографии постепенно выталкивают — ни одного альбома за два года, главные снимки в столе — да еще и подпускают сплетню-подмогу, что Древесный кончился. Казалось бы, неофициальный мир должен поддерживать, поднять на знамя, а тут повсюду лишь кривые рты — Древесный, мол, любимчик Агитпропа... Вот и на Западе меняется ко мне отношение из-за этих внутренних мерзостей. Плкнуть бы на все и свалить за бугор, как Алька Конский, как Фима, как... Макс? Неужели и Макс? Да, теперь и он!

«Вольво» была, старая лошадь, засыпана снегом. Полез в веником в багажник, крышка скрипела, а мимо шли чердачные гости, какие-то немцы. Улыбнулись. Наверное, думают свои обычные пошлости — вот, мол, русской интеллигенции как хочется быть похожими на нас. Стал сметать снег и разозлился окончательно. Все-таки меня, меня назвал великий Барбизонье «выпуклым оком восходящего солнца», обо мне Спендер первый раз написал, меня первого заметили Нагоря и Громсон, а не Альку, не Славку, не Макса... Уйду в эмиграцию, но не так, как эти все стилиги, а в России спрячусь, в горы уйду, в завоеванные Кюхельбекером и Якубовичем горы... Никто лучше меня не снимал горные скаты! Макс у и не снилось, он поверхностен, модник, не чувствует космоса... Тут совсем уже дикая мысль посетила Андрея Евгеньевича. Соблазню его жену Настю и останусь с ней навсегда в горах. Он все равно ее не любит, а ведь лучше женщины сейчас, пожалуй, не найдешь.

Усевшись на жгущее холодом сквозь джинсы сиденье, он стал гонять стартер. Когда-то и четверти оборота не требовалось, чтобы все ожило в машине, чтобы так мягко все датчи-

ки засветились и музыка запела, соединяя с современным человечеством. Каков, однако, смысл в деструкции металла? В старении механизмов, может быть, даже больше так называемой «несправедливости», чем в развале плоти, а? Человек в своей суете из года в год становится все более утомительным, истеричным, надоедает природе и здравому смыслу. Пора на свалочку. Ничего не жалко — ни славы, ни внешнего вида... жалко вот, когда стареет хороший механизм...

Мотор наконец завелся, все, что полагается осветилось с намеком на прошлое, и Андрей Евгеньевич тогда подумал, что осталось еще нечто драгоценное, что соединяет его с жизнью и даже — при каждом нажатии на затвор камеры — с астралом, — фотография! Машина прогревалась, горячий воздух пошел на стекла. Ну, в общем, глупо как-то капитулировать. Завтра вот лягу с телефоном и обзвоню всех...

В этот момент в боковое стекло с пассажирской стороны кто-то заглянул и пропал. Кто-то обходил машину сзади. Он глянул в обратное зеркальце. Шла какая-то баба в меховой шубе. Через секунду он узнал ее: это была мать его детей Полина, бывшая Штейн, ныне мадам Клезмецова, могущественная мать-секретарша. Ее лицо было теперь близко к его лицу, за стеклом с оплывающими ошметками снега. Глаза все еще великолепные, сударыня! Он опустил стекло.

— Андрей, ты можешь выйти? Мне нужно с тобой поговорить!

Фантастика, вот именно эти две фразы, одну вопросительную и другую утвердительную, она и сказала ему тогда из телефона-автомата на улице Петра Халтурина. Кажется, точно таким же тоном.

— Лучше садись в машину, — сказал он.

Она приложила пуховую варежку ко рту и сказала почему-то через варежку:

— Нет, лучше ты выйди.

Он вылез в тесное пространство между «Вольво» и заснеженным «Жигуленком».

— Какими судьбами и чему обязан?

— Я тебя ждала тут битый час. Мне Эмма сказала, что ты здесь. Давай погуляем минут пять. Нет-нет, я не хочу в машину. Пойдем, по улице пройдемся.

Он увидел, что она чуть-чуть дрожит то ли от холода, то ли от волнения, и наконец сообразил, что все неспроста: и шуба накинута криво, и рот размазан. Уж не с ребятами ли что случилось? Нет, нет, ребята в порядке. Дело не в ребятах, дело в тебе, Андрей. Ого, сюрприз!

Они шли по замоскворечному переулку, пустынному в этот час. Он упирался в церковную ограду с огромными шапками снега на каменных столбах. Ни одного знака советской власти, отметил про себя Древесный. Почему-то все, что осталось в памяти Полинино, лишено советской власти начисто, как будто наш роман был в другом времени — офицер гвардии и студентка с Бестужевских курсов.

— Тебе нужно немедленно выйти из «Нового фокуса» и забрать свои работы из «Скажи изюм!».

— Мадам, мадам, — сказал он с мягкой улыбкой: куда, мол, лезет?

Полина, видно, не владела собой. Схватила его за руки, дернула. Смешно, но от этого рывка дубленка немного поехала по шву в подмышечном районе, а ведь какая была дубленка! Андрей, ты даже не представляешь, как это серьезно! Полина, почти искренне воскликнул он, я бы все-таки тебя попросил! Вещи хотя и дорогие, но немолодые! Что серьезно? Да как же ты не понимаешь — серьезная ситуация с вашей нелегальщиной! Скоро грянет гром! «Фишки» только вами сейчас и занимается. Ты погубишь себя, если немедленно не выйдешь из группы и не уедешь... ну, на Кавказ, скажем...

— Мы ничего незаконного не делаем, — пробормотал Древесный.

— Ну, перестань, перестань, перестань, — подняв лицо и почти закрыв глаза, забормотала она. Руки ее — и снова с несколько излишним порывом — вцепились в обшлага его дубленки. — Неужели ты не понимаешь, что наши времена прошли, что теперь идут чужие времена? Впрочем, может быть, ты тоже что-то... особое задумал, как Макс и Шуз?

— А это еще как прикажете понимать? — пробормотал он, мягко освобождаясь.

Теперь она самое себя ухватила за меха где-то в районе горла. Эх, какая была девка, как лихо, бывало, гуляла!

— Андрей, пойми, я просто не могу тебе сказать всего, что знаю, да я даже и поверить еще всему не могу, но... но Макс и Шуз, безусловно, понимаешь, безусловно, хотят огромного скандала, огромной рекламы, огромных денег... там, там, а не здесь... они вас и втягивают, и тебя, и Славу, и Эмму, всех... вами хотят прикрыться, а «фишка» только этому рада... будет вздуто страшное дело... я никому ничего... и никогда... я просто многодетная старая баба... уходи, Андрей, пока не поздно...

Шуба Полины Львовны распахнулась. Изнутри дохнуло знакомым теплом. Андрей Евгеньевич отступил на шаг.

— Какой позор, Полинка, — сказал он весьма отчетливо. — От тебя Фотиком несет. Настоящая клезмецовщина.

Ступив в сугроб и набрав в сапог снегу, он обогнул бывшую супругу и направился к калединскому двору, где ждала «Вольво». Метров через двадцать обернулся. Полина, не двигаясь, смотрела ему вслед.

— Дети здоровы? — спросил он.

Она кивнула.

— Иди в машину, — сказал он и подумал: раньше бы она сразу же пошла, а теперь будет колебаться не менее полминуты. Ну что ж, продумал он дальше свою обязательную в адрес этой женщины мысль, сама виновата. Она сама во всем виновата. Такая уж баба, виновата во всем сама.

IV

Капитан Сканщин проснулся под тихое славянское пение. Домашние женщины Михайлы Каледина сидели вокруг артельного стола, пили сбитень, рассол и пели задушевное «Брала русская бригада Галицийские поля».

Со стен поплыли на Вову ужасающие раздутые ряшки, будто заседание городского актива, не сразу и сообразил, что сюрреалистические картины вокруг висят, давят на похмельную голову. Только потом вспомнился «предмет», секретное сокровище, ради которого вчера приносил себя в жертву. Ох, напрасная, видать, жертва, унесли, паразиты! Небось уже к Копенгагену подлетает мускулистый Филип.

С трудом поворачивая голову, Володя Сканщин пропа-
норамировал чердак и увидел фолиантище на прежнем мес-
те — солнечный зайчик попрыгивал на цветастой, с фазана-
ми, корке.

— Дёвицы! — завопил тут Михайла Каледин. — Глянь-
те-ка, добрый молодец оклемался? Величальную ему, добры
лсвицы!

*Ах, дражайший наш Владимир,
Подымайся, умывайся,
Чаем с булкой угощайся!*

Сканщин приподнялся на локте. Спасибо за внимание.
По-кавказски говоря, алаверды. А между прочим, товарищ
Каледин, что это у вас там за архиллюбопытная книженция
стоит? Пальчиком, как бы невзначай, капитан тыкал в сторо-
ну «Изюма», лицо же отворачивал к поющим дамам.

— Это фотоальбом «Скажи изюм!», — охотно пояснил
Михайла. — Кто-то вчера принес и забыл по пьяни.

V

Между тем еще за несколько часов до пробуждения бойца не-
видимого фронта в квартире трех женщин на площади Гага-
рина зазвонил телефон. Прогорклый какой-то голос попро-
сил Анастасию. Не иначе развратник какой-то звонит, ахну-
ла, догадавшись, мамаша. А все же, кто Настеньку в такой
час конкретно?

— А это, мадам, пусть вас не гребет, — прохрипел раз-
вратник. — Мужчина звонит. Мужчина-друг.

Мамаша так спросонья растерялась, что беспрекословно
тут же отнесла телефон дочке в теплую постель. Настенька,
просыпайся! Мужчина звонит! Тут уж и тетка высунулась из
своей комнатушки. Что случилось? Кто звонит? Мужчина-
друг, растерянно пояснила мамаша.

Стоял рассветный час, и бледная луна еще не торопилась
раствориться в синюшных небесах, подушечным пером еще
висела косо над бывшею Калужскою заставой, над чудищем

ракето-космонавта и над пудовой мудростью российской «народ и партия — воистину — едины!».

— Друг в такой час не позвонит, — прорычала Настя. — Это сволочь какая-то звонит.

Она только что во сне общалась с законным супругом, однако вовсе не в том направлении, какое после долгой паузы напрашивалось. Длинной своей дурацкой пижонской тростью, которая ее всегда раздражала, занудливый профессор как бы поучал ее, нерадивую ученицу.

— Ты что, Настя, с перепоя или с перегреба? — услышала гляциолог знакомый ужасный голос. — Ну-ка, надень на жопу теплые штаны, чтобы придатки не застудить, и вались вниз. Не бзди — фаловать не буду!

Нет-нет, это не из Академии наук, подумала она. Ей-ей, никто так не хрипит в Академии наук. Это, наверное, кто-нибудь из фотографов. Кажется, это Шуз звонит, кто же еще может пригласить с такой элегантностью...

Жеребятников Шуз Артемьевич в идеологических верхах, надзирающих за фотографией, почитался одним из главнейших злодеев. Впрочем, у этого мерзавца, в отличие от Огородникова, хотя бы есть причины нас ненавидеть, говаривал иногда генерал Планшин.

— Какие, фля, такие причины? — удивился бы Шуз, если бы услышал эту сентенцию.

Он был уже немолод. Полсотни лет назад он зачат был в системе партийного просвещения и после рождения наречен акронимом от святых слов Школа, Университет, Завод. В 1956 году, познакомившись со своим отцом, Шуз сказал, любовно обняв партийца за плечи:

— За такое имя, папаша, я бы на месте Гуталина не пятиалтынный, а весь четвертак бы тебе припаял.

К этому времени Шуз, выполнивший, да и то не полностью, только букву «Ш» из predetermined жизненного пути, крутил баранку московского такси и слыл, что называется, «бывалым парнем», то есть потерял уже счет «архиерейским насморкам» и выбитым зубешникам.

Родители горевали — их маленький Шуз (мужик под центнер весом) не сохранил верности идеалам ленинизма.

Шузовская фотография началась, собственно говоря, с порнографии. На «хате» в Черкизове собиралась тогда сексуально активная молодежь, «ходоки» и «барухи». Шуз однажды приехал «на хату» с «Зенитом», электровспышкой и новым словечком, выуженным из философского словаря, — эстетика. Может быть, для вас это сплошная гребля с пляской, мальчики и девочки, а для меня — эротическая эстетика. Внимание! Изюм! Вылетает птичка!

Вслед за птичкой налетел уголовный розыск. Все «барухи» и «ходоки» отмотались, один фотограф огреб пятерик. Шуз хохотал — до свидания, родители, теперь моя очередь давать стране угля, мелкого, но много.

Лагерь Жеребятникову пошел на пользу. Там он познакомился с немалым (несмотря на хрущевскую оттепель) числом антисоветских фотографов, набрался от них и профессионального мастерства, и философской терминологии. Вернувшись в начале Шестидесятых в Москву, Шуз круто ушел в подполье, то есть в алкогольный столичный «мужской клуб» с филиалами в Сандуновских банях, в ресторане «Росфото», на многочисленных богемных чердаках и в подвалах. Пакеты с его снимками ходили по рукам. Вдруг кто-то (то ли Макс Огородников, то ли Древесный, то ли Герман, словом, кто-то из «китов») сказал что-то вроде: «Да ведь это же Чехов, переписанный на новой фене!»

— Вот он, новый «певец сумерек общественного сознания»! Косоротый, пьяный и бессмысленный Советский Союз... алкашники-портвеюшники... рубероидные пивные киоски... совокупления в грязных подворотнях... утренний развод в медицинских вытрезвителях... ухмыляющаяся рябая ряшка Гуталина, просвечивающая повсюду сквозь небо отчизны...

Что же, братцы, так и будем своего западного героя искать, борца за будущую российскую демократию, а сенильного онаниста, запустившего руку в кавалерийские штаны и развесившего все свои ордена, не заметим? Шуз Жеребятников — вот новый пароль современной советской фотографии!

Этой компании только на язык попади, вздуют славу за считанные недели. Имя Жеребятникова и его снимки начали мелькать в европейских и американских фотоизданиях. Заинтересовались и в Бразилии. Никогда не состоявший в Союзе

советских фотографов Шуз стал главным идеологическим злым. Его клеймили на партсобраниях за мелкобуржуазный натурализм и намеренное очернение советской действительности. Шуз хохотал: какого фера эти шандалошки ко мне цепляются, пусть к своей сраной действительности цепляются, я человек простой, гребаться нанос, недетерминированный, что вижу, то снимаю, я же вам не писатель, в клоаку, не Джембул какой-нибудь, воображение отсутствует, шанды коммиссионные!..

От него именно и пошел ернический аргумент братьев-фотографов: «Мы вам не писатели, к писателям своим цепляйтесь!»

Шуз ждал Анастасию, прогуливаясь по пустынному двору, подбрасывая льдышку носком великолепного шведского сапога, массивный и важный в тяжелом кожаном пальто с меховым воротником. По московским понятиям он выглядел настоящим богачом. Он хмуро чмокнул ее в щеку, явно показывая нахмуренностью, что сексуальных претензий не имеет. Ну, что случилось, Шуз? Тогда он вытащил из-за пазухи длинный западный конверт.

Сколько раз за последнее время она давала себе зарок «не психовать» из-за неверного «левака», паршивого сластолюбца! Неинтересный, в конце концов, тип, мелкий «центропуп» с единственным положительным качеством — преданностью этой его занюханной, задавленной властями фотографии. Вот ведь как в жизни бывает — не будь этого маленького положительного качества, он бы для нее просто не существовал, и, уж во всяком случае, руки бы не дрожали при вытаскивании из конверта плотной бумаги с какими-то водяными знаками.

Дорогой Шуз, читала она, человек, который передаст тебе это письмо, очень сочувствует нашему искусству. Можешь ему доверять, как мне, жмс. Здесь многие друзья жаждут изюма. Филип вызвался привезти. Продумай и реши, целиком на тебя, жмс, полагаюсь. Твой Ого.

Ну, разумеется, о жене ни слова, все посвящено «единственному положительному качеству».

— Что такое «жмс»? — спросила она.

Шуз в этот момент потягивал зубровку из плоской бутылочки.

— Ага, даже ты не знаешь. ЖМС— это «жуй малосольный». Лет сто назад мы с твоим фраером импровизировали на эту тему. Употребляется здесь, как я это секу, для подтверждения личности этого Филипа. Сечешь?

— Нет, не секу, — сказала она.

— Соси! — Он протянул ей плоскую бутылку. — Не хочешь? От валютной зубровки отказываешься? Ну, ты даешь, девка!

Он отхлебнул за себя и за Настю и вздохнул не без печали.

— Вот такая, фля, получается конспирация. Такая флядская навязывается нам игра этой шиздобротией. Охранка рышет, мировая пресса свищет, тренированные курьеры курсируют. Короче говоря, сегодня вечером надо передать этому парижскому феру штуку «Изюма», и это сделаешь ты, дитя мое внебрачное, жертва аборта!

— Ну, знаете ли! — воскликнула тут Анастасия с неожиданной для нее самой интонацией академического возмущения, как бы отгораживая этой интонацией себя, советского научного работника, от подозрительной шараги. Воскликнув, однако, тут же смутилась, устыдилась, забормотала невнятное: — А я-то тут при чем, мне-то какое дело...

— А вот тут ты хезанула не в масть, дитя мое. — Шуз мягко взял ее под руку.

— Послушай, Шуз, выбирай все-таки выражения! — рязлилась она. — Все-таки с женщиной разговариваешь!

— А че я такого сказал, че такого сказал? — зачастил он, прикладывая руки к груди. Престраннейший вид — солидный пожилой дядька и мальчишески хулиганская мимика. — Кажется, веду себя культурно, не фалую. Я только что хочу сказать — ведь ты же Максова баба, поэтому я к тебе и пришел.

Попал в точку. Заалели нежные ланиты. Хоть и противно быть «его бабой», а все-таки приятно, когда это признается окружающими.

— Я бы тебя не попросил, если бы за мной не ходили, — продолжал Шуз уже серьезно. — Вчера оперативник Сканцин даже на вернисаж к Мише Каледину притащился. Счет пошел на миги, дитя мое, как в песне поется. «Фишка», ка-

жись, прикрыть хочет всю нашу капеллу. Огород твой их обгреб, вот они и озверели, как осенние мухи. Хорошего ждать не приходится, хотя и остановить уже невозможно, потому что, как сказал поэт, «позорно и гибельно в рабстве таком, голову выбелив, спать стариком», и это офуительно верно.

В общем, Анастасия Батьковна, диспозиция такая. Сейчас я тебе дам одну «штуку», и ты ее спрячешь до вечера. Лады? В восемь вечера я везу тебя на коктейль к сенегальскому дипломату. Там будет Филип. Он начнет тебя кадрить, и ты кадрись, изображай из себя проблядь. С приема вы сваливаете, как будто на пистон. Не вздрагивай, жопа, я же сказал «как будто». Впрочем, ради благородного дела можешь и пухнуть. Авансом выдаю индульгенцию, и Максуха тебя поймет. Короче говоря, в течение ночи ты должна отдать Филипу нашу штуку. На этом твоя миссия завершается. Ох-ох, опять зааляли целочки, фригидочки... Эх, Настена, попалась бы ты мне лет двадцать назад!

Через несколько минут она уже волокла из шузовского багажника к лифту здоровенную, будто бетонную, плиту альбома «Скажи изюм!».

VI

— Валерьян Кузьмич!

Капитан Вова Сканшин, трепеща, полыхая, комсомольским задорчиком, скрывая гнусное похмелье, прибежал на квартиру батеньки генерала в толстостенном доме с капителями, построенном для чекистов в сороковые годы.

День был праздничный — 5 декабря, годовщина незаслуженно забытой Великой Сталинской Конституции. В генеральской столовой сервирован был графинчик с закусочками. Планшин, облаченный в подарок болгарских коллег, меховушку без рукавов, потчевал соседа-отставника N, с именем которого связано укрепление социалистической законности в западных областях Украины и Белоруссии.

— Садись, Володя, — строго, но по-отечески одернул генерал порыв молодежи. — Налей себе, — зоркий взгляд левым глазом. — Вижу, не помешает. — После этого продолжил пре-

рванный рассказ, замилил к старшему товарищу людскую лаской: — ...Так вот, Ефрем Семенович, форели мы ловили на тех ручьях, не считая. Весь улов отдавали Ибрагиму — каналья, конечно, скрывал, что балкарец, выдавал себя за кабарду, одишко я, грешен, принимал его, уж больно повар был хорош, — и вот начинался пир под соснами Баксанского ущелья! Тут и пашлыки, и форель, и сыры, и все — подчеркиваю — свежайшее! Таков Северный Кавказ, Ефрем Семенович!

Вот оно откуда приплыло, кавказское-то вранье, с тоской прояснился Вова Сканщин. Чувствовал он себя — диссиденту не пожелаешь! Полез в карман за платком, визитные карточки дипломатов стали вываливаться. От генерала, конечно, не ускользнуло.

Ефрем Семенович, шамкая отжившим ртом, с лукавым вопросиком то и дело доставал из наркоматской пижамы дорожные шахматы — сразимся, дескать? В столовую иногда заглядывала генеральша, как две капли воды похожая на Георгия Максимилиановича Маленкова, молча интересовалась — суп подавать?

— Расставь этюдик, Ефрем Семенович, а мы на минуту посекретничаем с молодежью, — сказал генерал.

В кабинете он почему-то приложил руки к груди, движением почти женским. Ну, что? Нахулиганничали где-нибудь? В милицию попали?

— Объект вчера видел, — проникновенно заговорил Сканщин. — Проник вчера, Валерьян Кузьмич, в самую гущу. У монархиста Михайлы Каледина объект стоит на полке. Подробности в докладной, товарищ генерал, сейчас — ЧП! Готовится передача объекта за границу!

— Так... — Генерал мигом профессионально затвердел. — А вы-то сами, товарищ капитан, в каком качестве у Михайлы Каледина выступали?

Неужели уже в курсе, с тоской подумал Вова. Во-первых, по чину называет, плохо дело. Да ведь не могло же без стука-то пройти такое — вернисаж. Горю, как швед. Эх, сейчас бы в сауну, а после бы к дорогой бы под одеяло, к Виктории Гурьевне...

— В качестве партийного работника, — уныло повинился он. — Как бы хозяин Северного Кавказа...

Генерал неожиданно расплылся. Все-таки приятно влиять на новое поколение. Эка, ловчага, партработником с Кавказа прикинулся! Далеко, далеко шагнет Володенька! Мягкое движение ладонью вверх через залысины и клочковатости своей недюжинной головы, стратегическая задумчивость. Ну, ваше поведение, Сканщин, будет предметом особого разговора. Пока что хвалю за инициативу. Действуйте, собирайте оперативную группу, берите Слязгина с его людьми, купите ящик коньяку раз уж вы... хм... хозяин Северного Кавказа... возьмите... хм... ну, что ж для такого дела... возьмите Эллу и дайте ей то, что она любит... Отправляйтесь к Михайле Каледину и продолжайте валять дурака. Со Слязгиным держите постоянную связь. Если увидите, что альбом уходит, действуйте решительно, но постарайтесь уменьшить резонанс. Понимаете? Заглушить резонанс!

— Понимаю, понимаю, — закивал Володя. — Заглушить резонанс — это понятно. Разрешите идти?

Сканщин отбыл, а Планщин быстро переоделся в служебный серый костюм. Вернувшись в столовую, он лукаво погрозил многолетнему партнеру:

— Я вижу, вы, Ефрем Семенович, корчновскую ловушечку мне подстраиваете? Не выйдет, батенька, этот вариант у нас да-а-вненько отработан!

Заглянув очередной раз насчет супа, супруга увидела его с пальто на сгибе руки, стоящим над доской и делающим быстрые ходы. В такие вот минуты «подвига разведчика» она его любила снова, и для таких минут всегда были на кухне готовы термос и бутерброды.

VII

Проклятый Огородников, это на него похоже — подведет меня под монастырь, а сам будет отсиживаться в Париже со своими девками, так думала Анастасия, раскуривая сигарету под внимательными взглядами двух своих «лошадей».

Сволочь я, думала она далее, гордиться должна, что помогаю ему в борьбе со Степанидой Властьевной. Ведь не для себя же он затеял все это дело, во имя же идеалов свобо-

ды и справедливости, и я, сопутствуя ему в его самоотверженной...

Как обычно, чем глубже она уходила в «положительные» мысли, тем банальнее они у нее оформлялись. На «современный лад» удавалось думать только в «отрицательном» направлении.

— А что это ты, дочка, принесла такое тяжелое, можно полюбопытствовать? — спросила мамаша, а у тетиши только подбородок вытянулся.

Нет, нельзя! Она подумала, что «штуку», конечно, нельзя оставлять дома: «лошади» сразу начнут вынюхивать, а вынюхав, еще неизвестно, как себя поведут. Можно вспомнить, например, их стукачество пятнадцатилетней давности, когда у семиклассницы Насти собрались подруги на дискуссию «Твой сексуальный символ». Тетяша по наущению мамы гут же побежала в педсовет. Настоящие советские гомункулюсы, как выражается Макс. Так ведь нас всех, буквально всех учили — если не стучишь, значит, мужества не хватает! Побороть такое воспитание — это ли не подвиг, к которому призывает нас наше благородное... тьфу! В этот момент она вспомнила о диссидентствующем инвалиде, то есть о собственном папаше, схватила «штуку» и помчалась прочь.

Из автомата она позвонила отцу и сразу сморозила дикую бестактность, спросив: «Ты уже на ногах?» Старик ответил с неплохим смешком: «Фигурально говоря, да. А кто это иронит?» — «Дай адрес, я сейчас приеду!» — вскричала она. «Настя!» — Он так был потрясен, с трудом вспомнил собственный адрес.

...Когда она подъехала на такси, отец на костылях ждал у ворот. Он жил в настоящем деревенском доме посреди безликой многоэтажной Москвы: крошечная слободка чудом сохранилась впритык к Коломенскому монастырю. Увидев красавицу в дубленочке, он просиял — ну и дочка!

Настя с любопытством рассматривала дом незнакомого отца — пирамиды книг, подшивки старых газет, несколько радиоприемников, начиная с трофейного «Телефункена», кончая новеньким «Сони», токарный станок и плотницкие инструменты, портреты Сахарова и Солженицына, большущий глобус.

Когда она рассказала, в чем дело, он только и воскликнул: «Ну, Настя!» Похоже, что это был счастливейший день в его жизни. Пришла дочь, которую — он полагал — вырастили во вражде к нему, и пришла как друг, и не просто как друг — как соучастник в борьбе за гражданские права, а что может быть прекраснее — отец и дочь вместе в борьбе за гражданские права?! Он мигом все понял и все быстро рассчитал. Время встречи — полночь, место — Ленинские горы, обзорная площадка, обычный туристский объект, все туда ездят любоваться панорамой Москвы.

Напоследок он, не без робости, попросил разрешения посмотреть альбом «Скажи изюм!» — ведь создается же все-таки в основном не для кого другого, как для мыслящей России, верно?

Какой все-таки симпатяга оказывается, этот Бортковский, подумала Настя, причисляет себя к мыслящей России. Просто ребенок какой-то. Они все, эти диссиденты, немного дети, а против них хмурые дядьки с хворостиной и числом тысяча на одного.

...Весь день она маялась, рычала на «лошадей», делала вид, что просматривает старые ледниковые таблицы, отшвыривала их прочь, гнала от себя мысли о Максе, в противовес заставляла себя вспоминать старого друга Эдуардаса Пятраускаса, спасателя из эльбрусского «Приюта одиннадцати».

Вот ведь есть же, в самом деле, такой уникальный литовец, живущий на высоте четырех тысяч метров, думала она. Не в пример кое-кому рыцарь без страха и упрека, а на лыжах как катается по седловине Эльбруса — **ВООБЩЕ!** А внешние данные — **ВООБЩЕ!**

А вот что касается Максима Петровича, то можно вспомнить, что трусит заплывать далеко на морских купаньях, что в Ленинграде однажды спасался бегством всего от *двух* хулиганов, постыдно запихивал даму, т. е. Анастасию, в такси и отбивался ногами.

Да вспомнить хотя бы внешность товарища О. — сложение, сплошное вычитание, косоватые плечи, впалая грудь, портрет непривлекательный — глаза с оловянным — да-да — оттенком, тухловатые волосы...

Перед нами два противоположных мира — эдуардовский мир ослепительного снега, бездонного неба и молодых рыцарей, относящихся к женщине в лучших традициях Фрэнка Синатры, и максовский, прокуренный, проспиртованный, ухмыляющийся, — сравнение не в пользу последнего.

Ну, а уж если говорить о любви, то разве можно поставить рядом гнусный гедонизм товарища О. (говорят, что есть похабный фильм под названием «История О») с той исключительной преданностью, которая так и лучится, да, да, так и лучится в каждом взгляде глубоких и полных душевного содержания, тьфу, глаз Эдуардаса, устремленных на предмет его трогательной, как сама жизнь, безнадежной любви, тьфу, тьфу, тьфу, тьфу!

...В шесть часов прибежала тетка с квадратными глазами. Настюша, какой-то ужасный человек тебя спрашивает. Квартира заполнилась ароматами Центрального рынка. Болтали, что Шуз иногда, наклеив усы, торгует там аджикой. Во всяком случае, во всех пищебазах столицы были у Шуза кореша, в этом мире он был свой человек.

А вот и подарочек твоим мамкам, Настя. Из кармана кожанки извлечен был просаленный сверток. Вот именно, мамочки, копченая скумбрия. Это просто так, на бегу. Если чего надо из шамовки, заказы принимаются.

Какой вы, оказывается, милый мужчина. Приятно, Настенька, что у тебя такие симпатичные знакомые теперь, такие простые, без всякой зауми... — пауза с поджатыми губами: Огородников в уме — ... без фокусов...

Мерси, мадам. Жеребятников огромными лапами обнял сразу обеих женщин, а тетушке даже слегка помял задок, чем иверг девушку в полное и длительное замешательство.

— А ты куда же, Настя, надрачились-то с голыми плечами? — обратился он к младшему поколению. — Смотри, заделают тебя в таком платье!

«Лошади» ахнули, увидев декольтированную красавицу. Товарищ Жеребятников прав, указывая на излишнюю фривольность туалета, это может поставить тебя в двусмысленное положение в любой компании.

— Может быть, я тебя неправильно поняла относительно сегодняшнего вечера? — надменно спросила Настя Шуза,

а мамаше с теткой отпустила торжествующую, студенческую еще — фигу! — и потребовала шубу.

По дороге в дип-гетто, остановившись у светофора, Шуз показал большим пальцем за спину. Вон они, псы, сзади поднюхивают. Анастасия, как бы случайно — Мата Хари! — обернулась с сигаретой и увидела сразу за ними серую «Волгу» и в ней две ондатровых шапки. Сейчас я тебя малость пофалую, предупредил Шуз, как будто ты обыкновенная флюха. Откинув ей голову, он полез с аджичным поцелуем. Отвечая ему, она вдруг почувствовала, что ей дико хочется мужчины. Вот чудо — любого! Так хочется вывернуться под мужчиной! Проклятый Ого! Ишь ты — в Париже! Потом она вспомнила, что сегодня она — агент мирового империализма, и вульгарно захохотала. Получается, одобрил Шуз, держу себя за конец! Зеленый, оказывается, уже давно горел. Сыщики сзади деликатно библикнули.

Общество, собравшееся у сенегальского атташе Клода Мари Пиянка (кстати говоря, довольно бледнокожего господина), было заинтриговано появлением незнакомой красавицы. Все здесь, в принципе, или знали друг друга, или примелькались друг другу, для Насти же это был первый в жизни выход из зоны марксизма-ленинизма, и она, еще не выпив ни глотка, была как бы «под газом» и неотразима.

Ее поразило, что Жеребятников вполне свободно, во всяком случае, без смущения объясняется по-французски. Насте он сказал на языке Тургенева:

— Хавай! Знакомиться будешь постепенно. Пока что бей по рубцу! Глухо! Сенегал — страна богатая!

Гости и сам месье Пиянка с супругой стояли вокруг стола с закусками, мирно ели и перебрасывались мирными фразами о последней премьере Театра им. Ленинских Профсоюзов, где во втором акте посредством световых эффектов и трепещущих ладоней дерзко был сделан намек на возможность полового акта между женщиной и мужчиной. Спектакль был тут же запрещен. В настоящий момент либеральная общественность Москвы с подключением мировой прессы боролась за его возобновление.

Анастасия вдруг обалдела, увидев, кто дринки подает, — мамочки мои, настоящий бармен в белой куртке с крученым

погоном на левом плече! Такое настоящее буржуазное событие! Еще больше она обалдела, когда услышала самое себя как бы со стороны и сообразила, что говорит и хохочет по-английски! **ВООБЩЕ!** А кто же собеседник? Тоже униформа, но уже явно не барменская. Седые виски, шрам на щеке, орлы и петлицах, an American military attache, ну и ну, собралась компашка...

— I am a scientist, — сказала она. — I study the mountains.

Полковник охотно захохотал.

— Извини, друг, — сказал Шуз, чуть-чуть полковника подвигая. — Настя, закусывай! Джин с тоником — коварная, фля, штука! *Que desirez vous manger*, малышка?

Анастасия, вспомнив свою роль, расхохоталась вульгарно. Американец шарахнулся, ибо каждую минуту ощущал у себя между лопатками любящий взгляд супруги.

К Жеребятникову с другой стороны приблизилась дама с острыми протокольными глазами, сотрудник Министерства культуры по связям с франкоязычными странами.

— Это что же, Шуз Артемьевич, ваша новая невеста?

— Невеста! — гоготнул он. — Да я с ней только вчера на ночь глядя познакомился.

— И сразу же на дипломатический прием? Недурно, недурно! — Дама даже чуть-чуть постонала от каких-то неведомых ощущений.

— А чего же? По рубцу! Глухо! — гаркнул Шуз.

Возле Анастасии уже стоял великолепный молодой человек, похожий на манекен мужской одежды в хорошем магазине.

— Я познакомился в Москве со многими достопримечательностями, — говорил он, — но я еще не удовлетворил своего любопытства и продолжаю знакомство со все новыми и новыми достопримечательностями.

— Знакомься, — прорычал из-за плеча Шуз. — Это Филип.

— Ха-ха-ха! Хелло, Филип! — очень убедительно сыграла Настя и для пушей убедительности прикоснулась к нему бедром.

Вот так вечер — дипломаты, шпионы, бармены, такое не сравнишь даже с высокогорной эйфорией!

Анастасия, конечно, не представляла, какое она сама внесла возбуждение на этот рутинный сенегальский прием. Присутствие среди протокольных гостей пьяноватой и абсолютно доступной красавицы волновало мужчин и злило дам.

VIII

Михайла Каледин, как обычно после «большого шумства», пребывал в ужаснейшем состоянии. Разогнав всех своих «молoduшек», лежал на чердаке один, бородой в потолок. Со стен наплывали дикие хари собственного производства. Здоровенный фонарь херачил с соседней стройки, освещая неуместным светом ошизденевшие предметы быта. В одном из окон торчал хвост не замеченного ранее омерзительного слова, да еще с гнуснейшей дубиной восклицательного знака. Дико шпарили батареи парового отопления. Ненавистная борода увлажнялась невыносимым потом. Встать, прикрыть шторой фонарь, открыть форточку, пустить с воли морозцу не было сил.

Ну почему я не эмигрировал, думал Михайла Каледин. Сил уже нет русского ваньку валять в советском царстве. Сил нет ни на что и на бессилье сил не хватает, спаси меня, Господи, дурака...

Художник-монархист даже не подозревал, что в этот момент он становится эпицентром настоящего театра военных действий.

А между тем несколько часов назад коллегия ГФИ дала генералу Планщину «добро» на проведение операции и закодировала ее двумя заглавными буквами МК, то есть инициалами терзаемого депрессухой художника.

Руководил операцией сам В. К. Планшин из своего оперативного кабинета с видом на рубиновые звезды Кремля. По рации генерал держал связь с несколькими оперативными машинами, в том числе с группой капитана Слязгина, который прикрывал высадку капитана Сканщина. Всего в этом деле было занято восемь машин и сорок человек.

Михайла в астральной тоске ждал чего-то уже знакомого, чего-то подобного эффекту левитации, когда казалось,

что тяжелое тело отрывается от лежанки. В этот момент, бывало, звучал беззвучный хорал, и «депрессуха» малость отпускала.

Вместо хорала в ту ночь он услышал перезвон в дверях коровьих колокольчиков, затрубили пастушьи рожки, то есть сработала входная система. Какая сволочь тащится, подумал Михайла, ведь всех уже отучил являться на следующий день. Вот сволочь, стучит, трубит, звонит — ни за что не открою.

Тут полы заскрипели, бухнуло что-то возле трапезного стола, как будто ящик с коньяком поставили, зацокали какие-то бабские каблучки, потом мужской голос проперхнулся:

— Миша, чего же ты дверь-то не закрываешь, когда спишь?

— Не принимаю, господа, катитесь в шерупу, — слабо отозвался Каледин.

Кто-то чиркнул зажигалкой. Огонек прошел вдоль попок, как бы инспектируя всю наставленную там дрянь — самовары, ступки, паровые утюги, граммофон, фотоальманах «Скажи изюм!»... Руки не доходят очистить полки, засасывает утиль...

Послышался металлический женский голос:

— А где здесь тепленький лежит? Хочу тепленького!

В трапезной, за выступом стены, зажглась лампочка. Теперь можно было увидеть плечистую фигуру в дубленке, облизывающую полки. Фарцовщик какой-нибудь, прикидывает стоимость «антиквариата» на валюту.

— Тепленького мужчиночку жалаю. — Из-за выступа появилась девка в пятнистой шубе искусственного меха и в здоровенных сапогах. Среднего роста девка с круглым лицом и выпученными, как солдатские пуговицы, глазами. Ярко-красная блямба рта.

— Смотри, Элка, влюбишься! — предупредил, не оборачиваясь, незнакомец. — Михайла — мужчина видный. Влюбишься по гроб жизни. — Он был как будто заморожен чем-то на полках.

— Кто вы такие, что вам угодно? — простонал художник. — А ну-ка убирайтесь! Стрелять буду!

Стрелять ему было решительно нечем, в отличие от незванного гостя, который при слове «стрелять» немедленно сунул руку в карман.

— Вот он! — Девка прыгнула, будто рысь, склонилась над Михайлой Калединым немые патлы. — Ах ты, моя лапочка бородатая! — Сбросив пошлейшую шубейку с пятнами грязной жизни и оказавшись в преотвратнейшем мини, она хапнула Михайлу за промежность. — Хуишко есть?

К удивлению распростертого художника, затребованный орган дал о себе знать с полной убедительностью.

— Ох, клевый кадр! — восхитилась девка.

— Я, кажется, тут лишний? — Посетитель мужского пола повернулся наконец своим гладко выбритым лицом с отчетливо русским выражением. — Третий лишний, да, ребята? О'кей, я в трапезной пока посижу, альбомчик вот полистаю, а вы пока позанимайтесь сексуальной революцией, а потом и на коньячок наляжем.

Сказано все это было с русской наивной задушевностью.

— Назовись, человеке! — завопил тогда Михайла Каледин, пытаясь пробудить свою знаменитую сибирскую мощь. Рука его между тем вела рекогносцировку в слегка подвинувшем, но почему-то дико желанном ущелье незнакомки.

— Кончай, Миша! — устыдил его незванный гость. — Вот когда ты ко мне на Северный Кавказ приедешь, я тебя узнаю.

— А, это ты, товарищ, — вспомнил наконец Каледин.

— А за Элку, Миша, не сомневайся. Она из нашего Карачаево-Черкесского актива, проверенный кадр.

— Ну, линияй, кавказец, линияй. — Михайла Каледин взял в ладони Элкино лицо, мягкое, как булка. — Эхма, лада моя, лесавка, ведьмушечка окаянная...

— Уррх, — прорычала активистка перед тем, как погрузиться в деятельное молчание.

IX

Жеребятников, словно огромная хоккейная шайба, вылетел из-под арки дипломатического дома. Такой же огромный, как и он, дежурный милиционер с некоторым опозданием вывалился вслед за ним из сторожевой будки, где едва помещался

в своем тулупе и валенках с галошами. Бздык, ахнул мент, значит, правильно предупреждали, что этот элемент — самый подозрительный из гостей. Зря бензин органы не жгут. Ишь летит, будто шизданул что-то у сенегальца!

Шуз подскочил к своим «Жигулям». Что и требовалось доказать — замок замерз, ключ не лезет! Вытащил из кармана прихваченную на приеме бутылку джина «Палата лордов», плеснул на замок немалую толику, ключ влез! Ударим по рубцу! Глухо!

«Фишки», дежурившие неподалеку в своей «Волге», уж никак не ожидали внеурочного бегства объекта с капиталистического выпивона-закусона, и вот, пожалуйста, пролетает мимо, горячий, нажратый... чужой человек! И бутерброд падает маслом вниз, и «Волга», сучка, хоть и с финским движком, а заводится не сразу — пересосала!

Только уж на набережной, разогнавшись на шипованных по наледи и догнав беглеца, вспомнили мусорá: а баба-то где? Что же он бабу-то нарядную из «Тысячи мелочей» сенегальцам оставил? Вот «ходок» наглый какой живет в нашей столице! Наверно, все ж таки еврей этот Жеребец, да и не из наших, видать, жидов, а из древних.

— Голубь, Голубь! — сказал «фишка» в рацию. — Седой внезапно вышел. В настоящий момент едем за ним по Бородинскому мосту.

— В Замоскворечье едет, — сказал «Голубь», то есть сам генерал Планцин. — Смотрите, Ласточки, не потеряйте! У вас все?

— Там женщина осталась, Голубь, — не без заминки сказал оперативник.

— Какая женщина, Ласточки? Почему раньше о женщине не сообщали?

— Он нам голову заморочил со своими бабами, Голубь. Четвертая за день.

— Как выглядит баба, Ласточки? — рявкнул генерал.

— Какая? — спросил агент.

— Вы там не заснули за рулем?

— Мы у светофора стоим.

— Как выглядит баба, которую Седой оставил у Черного?

— Такая типичная, типичная... — забормотал недавний выпускник спецшколы.

— Типичная кто? — заорал генерал в ярости: с какими кадрами приходится работать, решать сложнейшие вопросы! — Типичная блядь, что ли?

— Вот именно, как вы сказали, Голубь! — обрадовался агент.

— Так называйте вещи своими именами! Не в детский сад играем!

Х

— Среди представителей западной молодежи, я уж хочу вас заверить в нижеследующем, весьма сексуальные взаимоотношения осуществляются без предрассудков на повестке дня, — так говорил международный человек Филип закутанной в канадское дубло хмельной и хохочущей Анастасии. Они прогуливались вдоль эспланады на Ленинских, бывших Воробьевых, горах над огнями Москвы, которая и раньше так называлась.

Включаем художественную литературу. Мороз крепчал. Он же щипал, вернее, пощипывал. В глубине экспозиции всякий бывавший здесь найдет ностальгически посвечивающего циферблатами часов истукана МГУ. Стрелки показывали полночь своего любимого 1952 года. До очередного снижения цен оставалось три с половиной месяца.

— Что же вы этим хотите сказать? — спросила Анастасия.

Филип, румяный и серьезный, серое пальто с большим плечами в обтяжку на узкой заднице, вышагивал рядом с ней, руки в карманах.

— Я подчеркиваю, что среди многих московских памятных мест вы, Анастасия, что же прятать грехов, будете для меня выдающимся памятным подарком, хотя бы и бабушка надвое сказала.

— Ну и чешете вы, Филип! — восхитилась она. — Где вы учились русскому? Как мне стать вашим памятным подарком, Филип?

— Особа женского рода, Анастасия, это есть равный партнер в сексуальном мероприятии. Вот так уж, собствен-

но говоря, поучают многие ученые у нас на Западе. Для вас это ново?

На смотровой площадке в этот час, как ни странно, было много народу, стояло несколько туристских автобусов.

— Для вас это ново? — повторил Филип свой вопрос.

— Что? — спросила Анастасия. Серьезность молодого посланца Запада ее несколько удивляла.

— Этот вопрос о равном партнерстве?

— А где? — спросила она.

— Простите? — Филип оказался в минутном замешательстве.

— Где вы предлагаете равное партнерство? — спросила она.

В это время подъехал папа Бортковский. Он пилотировал то, что с уважительной серьезностью именовал «легковой автомашиной», иначе говоря, бастарда, собранного им самим из останков «Москвича», «Волги», газика и чешской «Шкоды». От удивления Филип даже произнес одно нерусское слово. *Ce est un voiture*, сказал он, сэ вуатюр. В принципе, он был готов ко всему, но только не к таким экипажам и потому, когда оказался на заднем сиденье рядом со здоровенной плитой альбома, подумал, что это предусмотренная русской конструкцией перегородка для перевозки разнополых пассажиров.

— Вот, забирайте! — Настя хлопнула варежкой по перегородке. — Привет главному редактору! Где вы его увидите? В Париже? В Рио-де-Жанейро?

— В Нью-Йорке. — Филип приподнял предмет, как бы пробуя на вес, будто только лишь вес и был основной проблемой транспортировки предмета в Нью-Йорк. Затем он переместил предмет к ногам и повернулся к Насте. — Я был бы взят чрезвычайной удовлетворительностью, получив вашу ладонь, дорогая Анастасия.

Получив желаемое, он начал пускать в русского партнера свои биотоки. Если наполнить женщину до нужного уровня своими биотоками, она с большей готовностью раскроется вам навстречу.

— Вы чувствуете мою вибрацию, мадам?

— Нет, пока не чувствую.

— Тогда я продолжу. Ученые с большим именем поучают, что, почувствовав вибрацию, вы уже частично находите

себя вместе с партнером и уже не озабочены больше местом предстоящего сово-короче-купления, не то это сад, не то уединенный двор...

— Вот теперь чувствую вашу вибрацию, — сказала Анастасия. — Кстати, познакомьтесь — за рулем мой папа.

— Скажите, — тут же включился в разговор Бортковский, — вы знакомы с новыми течениями в европейских профсоюзах?

— Да, — сказал Филип. — Я могу быть промежуточным звеном между новыми советскими профсоюзами и европейскими профсоюзами.

— Не разбрасываетесь, Филип? — обеспокоилась Анастасия.

— Нет, — успокоил ее молодой человек. — Все будет сделано в нужное время и в нужное место. Вы можете на меня абсолютно возлагаться.

Оригинальный самоход бойко катил по набережной Москвы-реки. Филип, ведя нужный диалог, успевал еще наблюдать зыбко обозначенные в ночи купола Новодевичьего монастыря, этой примечательной московской достопримечательности. Они приблизились к Бородинскому мосту, по которому всего лишь час назад проскакал Шуз Жеребятников со своей свитой. Постовой мент, перекрыв движение, приблизился к гибриду, дабы проверить данные техосмотра и, при случае, сшибить на бутылку, однако, разглядев за стеклом значительное лицо ветерана, а также боевые награды, нацепленные прямо на пальто, только ухмыльнулся и козырнул.

XI

— Воровка! Воровка! — кричали петухи.

— Держи воровку! — подвывали плакучие ивы.

Михайла Каледин босиком неся по лужам еврейского города Витебска, заклиная воровку, слетевшую с собственного полотна (домонархического периода), вернуться и вернуть то, что взяла, ненарисованное, натуральное, без чего невозможно современная живопись ни дома, ни за границей. Михайла Каледин проснулся, когда его тряхнули за плечо и сказали в ухо советским голосом:

— Вставайте, товарищ! В ваш дом пробрались воры!

Полы ходуном ходили под казенными сапогами. Непомерные тени искажали действительность. Пучки света пронизывали композицию. Что-то было во всем революционное, присутствующим не хватало только пулеметных лент через плечо для полного сходства. В центре тяжелой монотонной группы фигур дерзко билась, как огромная бабочка, ужасающая дева в розовой драной комбинации. Грудь ее билась как бы сама по себе, а на одной из них (на левой) татуированный напильлон бился, словно женщина.

— Влобменявстволменявглазменявподмышку! — вопила девица.

— Гражданин Каледин, вы узнаете эту гражданку? — спросил старшой легионер.

Девица внезапно затихла и обвисла на руках стражи. Бессмысленная улыбка и выпуклые пуговицы глаз освещали ее лицо.

— Узнаю, — сказал Михайла Каледин. — Это моя последняя любовь. Младая дочь Тавриды.

— На нее объявлен всесоюзный розыск, — сказал сыскалой. — На вашу дочь Тавриды. Между прочим, разрешите представиться — майор милиции Бушбашин. Хотелось бы иметь вас встанши для заполнения протокола.

— Она невинна, — сказал Михайла и встал с удивительной легкостью.

— Ваша фамилия Дымшиц будет по паспорту? — спросил его майор Бушбашин. — Мы предполагаем, что у вас украдено немало ценных вещей. Гляньте, гражданин Дымшиц, на сообщника воровки. Знаком он вам?

Расступилась стража, и Михайла Каледин, он же по батюшке Миша Дымшиц, увидел своего кореша Шуза Жеребятникова, сидящего в презрительной позе у стола и курящего сигарету Benson & Hedges правой своею рукою.

— А Вовку-то Сканщина куда запрятали? — высокомерно спросил Жеребятников того рыцаря революции, что назвался майором. — Я ведь видал, как он с ящиком коньяку вниз корячился. А ты, потрох, — обратился он затем к жилистому волчище с низкоопущенными руками, — ты еще вспомнишь свой болевой приемчик. Ударим по рубцу! Глухо!

Волчище тут же сделал движение к Жеребятникову, но был остановлен патрицианским жестом майора:

— Спокойно, Николай! Субъект сам себя губит!

— Освободите невинных людей! — кротко воззвал тут владелец места действия, вернее, арендатор места действия, ибо оно, как и все вокруг, принадлежало государству рабочих и крестьян. — Освободите дружка моего, исковерканного культом личности, освободите и деву сию, жертву худшей половины рода человеческого!

Тут снова дернулось висящее на черных рукавах розовое тело, и девка загудела, словно нечистый дух:

*Ни в березках, ни в осинах
Счастья нет!
На тебе сошелся клином
Белый свет!*

ХII

Вышеописанных событий никто из основного населения в Москве, разумеется, не заметил, и столица начала свой следующий хмурый день, даже не подозревая, что в окружающем декабрьском пространстве имеются с утра две персоны, испытывающие полное удовлетворение содеянным, то есть наслаждающиеся состоянием, близким к так называемому счастью.

Первой такой персоной, безусловно, являлся генерал Валерьян Кузьмич Планшин, сидящий в чертогах не существующего в природе ГФИ Идеокра, внедривший лупу в глазницу и при помощи оной наслаждающийся захваченной вчера столь блистательным маневром фотографической крамолой.

Второй такой персоной, конечно, был иностранный представитель Филип, улетающий первым классом «Сабены» в свои туманные края. В руке он имел свое шампанское (так это звучит в прямом переводе с его родного языка), а в багаже рядом с экспортными образцами «Союзикрасеврюгатажпром» зашитую в брезент плиту фотоальбома «Скажи изюм!», или, как он уже переводил на язык Северо-Атлантической Оборонительной Организации, «Say cheese».

МОХНАТЫЙ

I

А вот и Четверкин! Здравствуй, Фима! Как ты, однако, вырос, пока мы не виделись. Идем гулять.

Грязи за последние четыре года на Мохнатом прибавилось. Куда же ей деваться? Мостовые и проезжую часть раздолбали еще больше. Поездка на автобусе вдоль Мэдисон-авеню напоминает путешествие в рязанской затоваренной бочкотаре. Из этих ухабов и колдобин продолжают, впрочем, вырастать гиганты рефлектирующего стекла на ногах из нержавеющей стали, вроде вот этого нового «Хайат-отеля». А помнишь, Фима, как в юности-то мы об этом острове мечтали? Наша юность непристойно затянулась, аденоидные недоросли до сорока лет... А помнишь, как пели-то? Обратите внимание на эту грязюку, сударь. Ее уже не отмоешь, нужно скоблить, но никто не скоблит. Грязь на Пятой-авеню напоминает мне грязь в детстве в Куйбышеве, во время эвакуации, только там не было этого запаха гнили, потому что половину нью-йоркского «гарбиджа» там с аппетитом бы сожрали. А помнишь, как пели-то: «Забрались мы на сто второй этаж, там буги-вуги лабает джаз»? Нью-Йорк напоминает человека, который делает себе шикарный хэарду... прости, что? ну, прическу, но задницу никогда не вытирает, срака грязная, это понятно? Город разрушается подонками Третьего мира. Для тебя, может быть, это ново, Макс, но наши эмигранты здесь в темпе становятся расистами. Океан чучмеков захлестывает наш город.



Ваш, Фима? А чей же? Наш еврейско-славянско-англо-саксонский-в-прошлом-город загрязняют, оскверняют. Вон, посмотри, какой-то дикарь выгащил свое хозяйство и отливает в двух шагах от «Тиффани». Мы в России всегда считали, что западная цивилизация приносит декаданс. Это вздор, она — единственная фортеция здравого смысла. Коммунистический мир — это сюрреализм в чистом виде, а Третий, так называемый, гонит на нас цунами блудливых, сластолюбивых дрочил. Чем темнее народ, тем развратнее.

А все-таки вершины Мохнатого все еще сияют, как будто что-то обещают человечеству. На 57-й улице навстречу попалась команда двухметровых девок, очевидно, манекенщицы. Маша! — крикнул им вслед Огородников. Одна обернулась: я — Оля! Команда стала грузиться в автобус с темными стеклами. Из угловой забегаловки пахнуло лежалыми гамбургерами, франкфуртами и бременами. Ди фаане хох! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! В двух шагах, впрочем, между прочим, находился шикарный подъезд одного из лучших — The Russian Vodka Room, оттуда несло дорогими сигарами. Длинное облако, словно освежающая тряпка, прошло вдоль 57-й от Ист-Ривер до Гудзона.

Огородников и Ефим Четверкинд вошли в «Русскую водочную». Когда-то Фима был такой типичный москвич, а теперь, после долгих шатаний по Америке, стал типичным нью-йоркером, более того — именно обитателем Мохнатого, как он запанибрата называет остров Манхэттен. Кажется, нигде больше жить не могу, признается он, и потому меня так многое здесь возмущает. Возьми, например, рент, ну, то есть квартплату. За паршивенькую двухбедренную, ну, то есть с двумя спальнями, квартиру на 34-й Вест я плачу восемьсот баксов, а лэндлорд, проклятый сириец, собирается поднимать плату на восемь процентов. Это ли не бандитизм?

Четверкинд в Нью-Йорке занимался традиционным бизнесом русских эмигрантов — водил такси. Две недели кручу баранку, две недели творчеством дrouchь, то есть хожу по рекламным агентствам, предлагаюсь.

Здесь, Макс, совсем не так понимают фотографию, как в России, где она еще со времен Екатерины идеологическое дело. Здесь она в лучшем случае — улада для глаз, а в худшем —

жничка. Я вот явился в юнион со своим гениальным, bravo, говорят, гениально, вот она мазер-Раша! Три выставки подрид, рецензии в больших журналах и — баста, ни денег, ни мказов. Свальяли тут с нашими фоторями коллективку «Со-меты — скрытой камерой», ну, думаем, будет сенсация! Была сенсация, рецензия, ти-ви шоу, и далее — ни денег, ни заказов. Может, это хорошо в двадцать пять лет, а ведь мне, Макс, сорок. Римку надо кормить, ребят учить. В общем, я решил с «гениальным русским творчеством» покончить и идти в ад-мертайзинг. Пока еще не пробился, но похоже, пробьюсь. Буду девочек с голыми попками снимать, рекламировать кремы...

Они сидели на полукруглом кожаном диванчике, ели то, что в меню именовалось русским словом «закуски». На стенах знаменитого ресторана неплохо были намалеваны символы их далекой родины — жар-птицы и птицы-тройки, змеи-горынычи. Негр-официант в русской косоворотке принес повторной порции коктейля «Черный русский». Огородников посмотрел на часы. Конский опаздывал уже на двадцать минут. Он посмотрел на Четверкинда. Кажется, человек совсем не изменился за эти годы, тот же быковатый наклон головы, мимика зубной боли, вроде даже старый шарфик на шее, любопытно, однако, то, что Фима ни разу не спросил о Москве, ни о ком из ребят, ни о чем...

— Скажи, Фима, ты вообще-то в порядке? — Он положил руку на плечо старому товарищу. Не буду развивать тему, не спрошу больше ни о чем, пусть скажет то, что хочет.

— Если ты имеешь в виду алкоголь, то с этим теперь нет проблем. Но ты, наверное, все же имеешь в виду творчество, Макс, правда? Знаешь, я должен тебе сказать одну неприятную вещь. В Нью-Йорке русским творчеством всерьез заниматься трудно, если ты не лижешь жопу Альке Конскому.

— Позволь, о чем ты говоришь? Алька диктует моду? — удивился Огородников.

— Не то слово. Все в его руках. Всеми признанный гений и главный авторитет по русскому фото. Разве вы в Москве не знали этого? Вообрази, пустил по нью-йоркскому фото снобистскую идею — русское фото нуждается в переводе на западные языки. Теперь в больших издательствах наши пленки обрабатывают идиотским переводческим раствором, смесь по-

таша с соусом «чили», и весь процесс идет в присутствии либо главного эксперта, то есть Альки Конского, либо его «группис», по-нашему «шестерок». Если же ты где-нибудь говоришь, что это бред сивой кобылы, тебя тут же зачисляют в восточные варвары, отсылают во второй эшелон...

Четверкинд, видимо, наступил на свою любимую мозоль. Он горячился. Лицо искажалось гримасами. В это время в ресторан как раз и вошел Алик Конский. Этот ланч втроем, собственно говоря, придумал Огородников. Краем уха он слышал о ссоре двух старых корешей и думал все уладить на правах «представителя центра». Конский отдал пальто метрдотелю, но не успел и двух шагов сделать, как тут же его кто-то окликнул, и он остановился возле бара, почесывая бороду и рассеянно отвечая на вопросы веселой компании молодых американцев.

— Алька тут гребет лопатой, — продолжал Четверкинд. — Ты бы посмотрел его студию — двадцать первый век! Ты его не узнаешь, Макс! Это другой человек. Терпеть его не могу. Все прошлое забыто.

Огородников смотрел на Конского. Тот продвинулся внутрь зала еще шагов на десять. Теперь его остановила толстая дама в пенсне. Он был представлен спутникам дамы, без сомнения «людям искусства». Знакомясь с ним, все слегка вылупляли глаза и приоткрывали рты — как, мол, неужели тот самый? Конский разговаривал с ними стоя, слегка скособочившись, засунув руку в пиджак — почесывал под мышкой.

Тут наконец и Четверкинд его заметил, запнулся и посмотрел на Макса:

— Ну, спасибо, Ого, удружил!

— Откуда я знал о ваших отношениях? — пожал плечами Огородников.

Фима стал выбираться из-за стола. Отросший в Нью-Йорке живот тащил за собою скатерть с петухами.

— Прости, лишаю себя пожарских котлет!

Он бросил на стол двадцатку и, сильно набычившись, пошел прочь. Конский, перестав отвечать на вопросы «людей искусства», следил за ним немигающими голубыми глазами. Затем продолжил путь.

— Представляю, что он наплел тебе про меня, — сказал он Огородникову и допил недопитый Фимин «Хайникен».

Они не виделись больше пяти лет, и вроде бы полагалось обняться, но это почему-то было как-то не с руки Огородникову, даже и без Фиминых откровений. Впрочем, Конскому, видимо, это тоже было не с руки, и он подсел бочком к столу, как будто пришел на самый обычный ланч с другом из соседнего квартала. Тут как раз и пожарские котлеты подоспели.

Алика Конского даже через шесть лет после его эмиграции вспоминали в Москве со вздохом — такого гения страна потеряла! Его снимки сравнивали с античными фризами: такое совершенство линий, такая Эллада! Вечно без денег, вечно под присмотром органов, под угрозой выселения на 101-й километр, а то и подальше, он дорожил своей полуподпольностью, полузапретной славой и полусвободой. В середине шестидесятых годов Герман, Древесный и Фотик Клезмцов «пробили» подборку его снимков в «Фотогазете». Будь она напечатана, Конский вошел бы сразу и шумно в «четвертое поколение», стал бы участником советского «Ренессанса», принят был бы в союз, словом, стал бы советским нонконформистом. В последний момент Конский снял подборку, видимо, решил остаться в своем «имэдже» одинокого, загнанного, не советского, а *настоящего* гения. В принципе, правильное было, толковое решение, рассуждали потом друзья. Слишком толковое для гения, добавлял какой-нибудь скептик.

Подборки стали выходить за границу, потом появились и альбомы. Любой мало-мальски интеллигентный иностранец спрашивал теперь в Москве о Конском. Всяким там огородниковым, древесным, германам приходилось делиться славой с неподкупным гением чистой формы, а то и допускать его приоритеты. Впрочем, они делали это охотно, потому что и сами любили «античную фотографию» Конского и его самого с его пустыми голубыми глазами — вот настоящий фотограф, ничего, кроме снимка, не видит! — и если «фишка» начинала очередную возню вокруг Алика, все общепризнанные гении тут же подымали шум на весь мир — не дадим в обиду национальное сокровище! Впрочем, с течением брежневизма общественное признание уходило, и в конце концов и они сами докатились до известной Канальной выставки, где

были вместе с Конским избиты народной дружиной за милую душу.

Вскоре после этого Алик «начал уезжать». Сначала испробован был матримониальный способ. Невест нашлось достаточно и в Европе, и в Америке. Даже Бразилия откликнулась. Однако личный «куратор» Конского майор Крость заявил без обиняков: мы вас, Конский, с иностранкой не распишем. А почему? Такое принято решение, вот почему. Уезжайте как еврей. Вдруг выяснилось, что Алик Конский — не еврей. Оказалось, что не только в паспорте, но и по всем бумагам выходит — грек! Вот откуда античные-то мотивы пошли! Для нас, сказал майор Крость, всякий, кто вразрез с линией партии идет, получается... ну... в общем, не наш человек, не интернационалист. Так или иначе, выездная виза выписана была в Израиль, и после месячных проводов в Москве, Ленинграде и Тбилиси «фотографический Мандельштам», как его иногда называли, отбыл в закатные дали.

Теперь, спустя шесть лет, они встретились с Огородниковым, как будто и недели не прошло. Интересно то, думал Огородников, что и Алька ничего не спрашивает о Москве. Отсутствует даже формальное любопытство — ну, а как там XYZ? Будто бы не было ничего *Там*, только клубы какого-то пара.

Тут как раз Алик Конский вяло спросил: «Ну, а как там вообще?» — и помахал рукой проходящей из кабинета девушки в оранжевых утеплителях поверх штанов. Огородников решил на вопрос не отвечать: взяла его обида за Москву. Мы только о них, «отъехавших», и разговариваем, а для них, оказывается, московские друзья вроде деревенских родственников!

Ответ, оказывается, не особенно был и нужен. Извинившись, Алик встал из-за стола — на минутку. Поссать? Девчонку догнать? Нет, оказывается, за соседним столом тоже знакомые сидят, коллекция очков долларов на тыщу. Максим слушал, как дружок (слово «бывший» старательно отгонялось) чешет по-английски. Вот наблатыкался, а ведь не знал ни слова! Речь шла о каком-то Ричарде, который должен был прийти, но не пришел к некой Сюзан. Пиджак на Конском был — хуже не придумаешь, как будто из ящиков Армии Спасенья вытащил, таков его стиль в этом городе.

— Ну, как тебе мой английский? — спросил Конский вернувшись.

— Ты путаешься с этой херовиной I can't help but, — сказал Огородников.

Конский побледнел.

— Не может быть!

Огородников попросил счет и выложил карточку «Американский экспресс».

— Хм, — сказал Конский.

— Ну, а ты-то как вообще? — спросил Огородников.

— Вообще-то клево! — сказал Конский и как бы загорелся от старого жаргонного словечка. — Я, знаешь, сейчас все-таки беру что-то из голографии. Некоторые компьютерные новинки, Макс, раскрывают...

— Да я не об этом, — отмахнулся Огородников. — Не женился?

Вот ответил на равнодушие к Москве равнодушием к творчеству. Конский, кажется, понял, усмехнулся. Нет, не женился. зачем? А ты? А я, конечно, женился. Да? А вот я до сих пор не женился. Ну, а я женился в седьмой раз. Можно позаниматься. Нет, я так и не женился. А ты ощущаешь, Макс, сжатие пространства? В такой же степени, как его расширение, что ли? И в том, и в другом направлении, б-р-р, не очень уютно, а? Давно ли возникало чувство по имени «радость»? Уходит вместе с некоторыми элементами того, что именуется попросту «свинством», не так ли? Хорошо еще, что нам не надо называть предметы «своими именами», верно? За это благо я отдам последние штаны...

Такой довольно быстрый и не вполне вразумительный диалог как бы возвращал в прежние времена, когда где-нибудь на Арбате под джазовую пластинку и под хорошую «банку» общались, так сказать, «на межклеточном уровне». Оба были довольны, что так вот, без нажима, расшевелили прошлое. Ты, наверное, крестился? — спросил один другого. Не без этого. Извлечен был из-под ворота рубашки нательный крест. И я этого не избежал, хотя, признаюсь, иногда кажусь себе... Не продолжай, здесь то же самое...

Со вздохом облегчения «межклеточное общение» было завершено.

— Скажи-ка, Алик, — сказал тогда Максим, — что это за вздор тут Фима нес о переводе русской фотографии на западные языки? Он по-прежнему слишком много киряет?

— Он просто мудака и ремесленник, но ты... разве ты не слышал... об этом процессе?... — Конский зачастил, как будто давно уже ждал этого вопроса. — Уж кто-кто, но ты, Макс, должен понять... ведь это же только ремесленнику покажется вздором... после стольких лет большевизма автоматический переход в западную фотографию невозможен. Поэтому и возникла идея так называемого «перевода». Не все русские вещи, увы, поддаются этой обработке, однако...

— Алик? Ты в порядке? — спросил Огородников. — Я думал, Фима шутит, а ты, кажется, и в самом деле серьезным стал мальчиком. Я вижу, вы тут все очень серьезными стали. Переведи мои «Щепки» на язык канадских чукчей.

— При чем тут «Щепки»? — с неожиданной жесткостью спросил Конский.

— Что-нибудь еще желаете, джентльмены? — спросил черный Ваня, давая понять, что засиделись.

Они вышли на Пятьдесят Седьмую. Косая туча на бреющем полете шла вдоль улицы, таща за собой запахи нью-йоркской этнической гастрономии. У Конского под зажеванным рукавом часы были отменные — «Роллекс».

— Бемс, я в диком цейтноте! — сказал он.

— Я тоже, — сказал Огородников. — Напомни мне, как быстрее к «Фараону» прошлепать.

— К «Фараону»? Зачем тебе туда? — В голосе Конского снова прозвучало какое-то непонятное напряжение. Потом он взял Огородникова под руку. — Давай еще пяток минут прогуляемся вместе? Хрен с ними, пусть ждут. Слушай, ты знаешь, что о тебе сказали те люди в ресторане? У вашего товарища, говорят, вид типичного неудачника. Воображаешь? Физиономисты! Когда я им сказал, что ты — самый знаменитый советский фотограф, чуваки отпали. Слушай, Макс, честно говоря, я не совсем уверен, что ты принял правильное решение.

— Какое решение? — Огородников скосил глаз вниз на ведущего его под руку сквозь толпу Конского. Седоватая греческая шевелюра мастера красиво развевалась над молодым лицом.

— Ну, это решение, вносчихпых, ха-ха, такое русское вы-
шение вспомнилось, ну, словом, твое решение остаться на
випаде.

— Не было такого решения.

Конский отпал от огородниковского локтя.

— Позволь, но как же тогда понимать твое интервью?
Ишь не собираешься же ты после такого — назад?

— Какое, впахменячихпых, Алик, интервью, я тебя не со-
сем понимаю.

— Да, вот же, случайно, у меня в кармане... — Конский
вытащил не очень свежий номер эмигрантской газеты «Рус-
ская стрела».

«Бунт новой волны», — прочел Макс заголовок. Далее
мельче: «Интервью со знаменитым советским фотографом
(Огородниковым)». Еще мельче: «Вопрос. Скажи, Макс, какие
сейчас тенденции превалируют в советском фотоискусстве?»
Ответ. Видишь ли, Амбруаз, удушливая атмосфера социалис-
тического реализма...»

— Май гуднесс, — сказал Конский, — я и в самом деле
опазываю. Где издательство «Фараон»? Честно говоря, не
вполне помню, кажется, отсюда блоков десять на юг... «Фа-
рион», хм, эта богадельня...

Он отстал и тут же был поглощен толпой. Огородников
«поднял трость, подзывая такси», левой рукой держа перед
глазами газету. «Вопрос. Скажи, Макс, возможен ли новый
ренессанс в советском фотоискусстве? Ответ. Видишь ли, Ам-
бруаз, партийные бюрократы подавляют сейчас малейшие
проявления творческой свободы... Вопрос. Скажи, Макс, со-
вместимо ли творчество с коммунистической диктатурой?»
Ответ. Видишь ли, Амбруаз, сдается мне, что творчество и
коммунистическая диктатура несовместимы...»

Алик Конский обернулся на перекрестке и увидел, что
длинный Ого садится в такси. Алик сильно провел рукой
перед носом, как бы стирая изображение. Такси и в самом
деле исчезло, вернее, влилось в желтое горбатое стадо дру-
гих такси. Однако то, от чего хотелось взвыть, не исчез-
ло — смрад пошлости. Чем дальше уходишь, тем чаще воз-
никают эти смрад и грязь. Когда смотришь на все эти встре-
чи, ланчи, диалоги, прогулки как бы со стороны, все вроде

бы нормально, но чуть окажешься наедине с самим собой, тут же все покрывается невыносимым смрадом. Это все из-за слов. Ненавижу слова, как английские, так и русские. То, что не экспонируется, слова, невидимая гарь пошлости... Всегда с тобой...

...Среди всех прочих нередко вспоминается тот вечер в «Семи самураях», то есть то, что было тогда сказано, прошлой весной тем, с усиками, и тому, с усиками. Если экспонировать, получится вполне естественная сцена — жанр: затемненное и пустое японское кафе, два европейца с сигаретами, за ними — ящик видеоигр... Если же прокрутить тэйп — а кто поручится, что она не существует? — возникнет угарная зона пошлости. И самое противное, что все крутится вокруг Макса, дамит, впрочем, не самое противное, а просто противное, не более противное, чем все остальное.

Почему-то, едва лишь тот с усиками и в тренч-коуте, эдакий траченный молью вариант Роберта Тейлора из «Мости Ватерлоо», переступил порог японского ресторана, где Конский нередко ужинал, едва лишь они встретились взглядами, как стало ясно — отсюда!

Господин Конский? Простите, узнал, не мог удержаться от соблазна... ваш старый поклонник... конечно, я официальный представитель, но у вас, надеюсь... я рад, что нет предубеждений... и там, поверьте у многих нет предубеждений... о, многое изменится, и в недалеком будущем... мощь нашего культурного потенциала... вы как истинный внеполитический артист... Россия, помните, Россия, Лета, Лорелея... кстати, о Максиме Огородникове: с ним, увы, не все так просто... Он вам никогда обо мне не рассказывал? Мы — полубратья...

Перед Конским сидел обаятельный международного склада мужик, похожий на писателя хемингуэевского направления, и разговор при всей его мерзости во время исполнения напоминал небрежное, но мастерское брэнчание на пианино, и только когда он ушел, «Семь самураев» наполнились вонючим смрадом, из которого долго потом пришлось бежать, долго и безуспешно отмываться.

Огородников, пока ехал в такси и поднимался в лифте на двадцать четвертый этаж, все время был вздрючен донельзя. Из всего *непростого*, сказанного Конским, главным образом

погнулась в него «типичная внешность неудачника». Внимательно разглядывал себя во всех попадающихся на пути зеркалах и отражающих поверхностях. Неужели эта банда правы? Всегда ведь считалось наоборот. Может быть, в последнее время все опускается вниз? Выше подбородок! Всегда была внешность нападающего в волейболе. Здесь не играют в волейбол, хм, может быть, то, что *там* считается внешностью удачника, *здесь* считается внешностью неудачника?

II

Президент издательства «Фараон» Даглас Семигорски знаком был Огородникову еще с 1972-го, а в его последний визит в Америку они даже играли в теннис, то есть с полным основанием могли друг друга называть короткими смашами: Даг, Макс, даг-даг; макс-макс...

— Скажите, Даг, в самом деле у меня внешность неудачника?

Мистер Семигорски, облаченный в потертую кордаройную тройку, сидел нога на ногу, с мягкой улыбкой в стиле «кордарой», то есть вельвет.

— Мы сейчас спросим у Марджи, — сказал он.

Вошла его секретарша, великолепная теннисная американочка Марджи Янг.

— Марджи фактически ведет все дела в лавке, — сказал Семигорски. — Кроме того, она талантливый начинающий фотограф. Марджи, ну а вы, конечно, знаете, кто такой Макс Огородников?

— Еще бы! — сверкнула первоклассная улыбка.

— Как вы считаете, Марджи, — у Макса внешность неудачника?

— Шутите, Даг? От мистера Огородникова за милую несет знаменитостью.

— Слышите, Макс? Немного полегче?

— Спасибо, мисс Янг! Спасибо, если не шутите.

Девушка двигалась по кабинету президента «Фараона» с подкупающей неформальностью. Очевидно, отношения у нее с боссом были — лучше не пожелаешь. Она положила перед

Семигорски папку с делами Огородникова и скрылась, еще раз улыбнувшись, на этот раз через плечо.

— Я понимаю, почему у вас возникла эта смешная идея, — продолжал мягко стелить Семигорски. — Однако вы не должны неудачу со «Щепками» распространять на все свое творчество, Макс. Вот, посмотрите. — Он открыл «файл». — Рой-алтис за все ваши три предыдущих альбома продолжают поступать, а на «Дрейфующую сушу» пришел запрос из Бразилии. Из Бразилии, Макс!

— Вы сказали, неудача со «Щепками», Даг? — переспросил Огородников. Он понял, что вот сейчас и откроется дверь, которую он долго старался как бы не замечать, прошагивать мимо, хотя давно уже надо было ее открыть.

— Увы, Макс, в Нью-Йорке приходится считаться с мнением такого человека, как Алик Конский. Макс, что с вами? Не говорите мне, пожалуйста, что вы не знаете о том, как Алик Конский торпедировал ваши «Щепки».

Огородников вообще ничего не мог выговорить. Он, видимо, так изменился, что Семигорски вызвал Марджи и попросил принести виски.

— Будьте любезны, Даг, — наконец сказал Максим, — расскажите мне эту милую историю.

Неразведенный «Чивас Ригал» придавал какие-то странно естественные очертания этой нью-йоркской ситуации и рассказу о предательстве.

— Я получил ваш альбом от Брюса Поллака еще года два назад, — рассказывал Семигорски. — Нашим ребятам здесь он понравился, у меня у самого, признаюсь, руки не дошли, но так или иначе, мы сделали Брюсу хороший «офер», кажется, двадцать пять «грэндов», если не ошибаюсь. Ну, в общем, Макс, сейчас все русские снимки, выходящие в больших издательствах, так или иначе попадают на рецензию к Алику Конскому. Альбом без цитаты из Конского просто не имеет шансов на успех. К тому же эта новая, разработанная им «переводческая техника»... Словом, ему послали и «Щепки», но в отношении вас, Макс, это, конечно, было чистой формальностью. Во-первых, у вас и у самого имя на Западе порядочное, а во-вторых, ну, все же знали, что вы друзья, я сам помню, как мы встретились в

Москве в 1972 году, какое время было хорошее, меня тогда просто поразило, как вы все друг за друга держитесь.

Теперь, пожалуйста, вообразите мое изумление, Макс, когда однажды Алик звонит мне в офис и говорит, что «Щепки» — это говно. Я переспрашиваю — говно в каком-нибудь особом смысле, сэр? Я думал, он что-нибудь понесет метафизическое, но он сказал: нет, просто говно, говно во всех смыслах, а piece of shit, больше я ничего не хочу сказать. Ну, и понимаете ли, Макс, это ведь было не только мне сказано, многим другим в городе, и вскоре, я бы сказал, что в течение недели, возникла совершенно другая атмосфера. Даже те люди в «Фараоне», которые одобрили ваш альбом, стали смотреть на него... гм... в лучшем случае скептически...

— Что же? Сами не могут отличить говна от конфетки? — с блестящей холодностью спросил Огородников. Вот так придется, видимо, разговаривать в этом Нью-Йорке — с блестящей холодностью. Горячностью эту мафию не прошибешь, Алька Конский их взял своим подмышечным чесанием, при таком независимости.

Семигорски, клево демонстрируя стиль «кордарой», присел на краешек стола. Хороших снимков нынче так много, Макс, что обществу приходится вырабатывать авторитеты для того, чтобы выработать мнение. Каман, фрэнд, у вас у самого есть теперь шанс стать авторитетом в этом городе. Холодный взгляд будущего авторитета переходит с собеседника на городской пейзаж.

Из офиса президента фотоиздательства «Фараон» открывался классический вид на нижнюю часть Манхэттена. Две глыбы Торгового центра с неопределенной прямоугольной значительностью возносили свое стоэтажное над сборищем глыб поменьше. Декабрьский ранний закат за ними слегка поднимался, и тучи старинный фрегат над ними слегка наклонялся. А ведь и в самом деле, как мечталось в юности об этих берегах! Американцы и не подозревали, сколько у них союзников в сталинской России. Нынче меньше. Нынче просто меньше союзников чего бы то ни было. Слишком много всего. На что же уповать человечеству? На кулинару. Выживут страны с развитой гастрономией. Рос-

сии и Америке — крышка! А где это я опять насосался? Ах да, секретарша семигорская наливала.

— Я понимаю, Макс, что вас гнетет, — продолжал президент-друг, — но, согласитесь, к этому шло уже несколько лет. Признаюсь, эгоистически я рад: их потеря, наша удача. Я рад, что вы будете среди нас, и, поверьте, вы не останетесь здесь одиноки. Это земля беглецов.

— Вы читали мое интервью, Даг? Где же? — спросил Огородников с блестящей холодностью.

— Оно вчера прошло по телетайпам Ажанс Франс Пресс и перепечатано во многих газетах. Кто этот Амбруаз?

— Обыкновенный предатель.

Между прочим, знаменательный декабрьский денек — обнаружилось сразу два предателя. Вообще-то не так уж много для человека моего возраста. «Чивас Ригал» двенадцатилетней выдержки, хм... Странная идея, сопоставить хронологически...

— А когда это было, Даг? Ну, вот этот звоночек насчет говна?

— В самом конце мая, Макс, да-да, уже после Дня Памяти, это точно... О, Макс, не надо унывать, — в стиле «кордарой» мягко сострадал Даг Семигорски. — Ведь кроме плохих новостей у меня для вас есть и хорошие. Не возражаете?

— Принимаем, — сказал Огородников. — Выкладывайте.

— Давайте отправимся вместе в Сохо, о'кей? Наш общий друг Брюс Поллак открывает там сегодня новую галерею. Он ждет нас с вами и припас хорошие новости. А после чуть-чуть встряхнемся, вспомним Москву семьдесят второго года. Принято? Сплendid! Марджи, будьте любезны, соединитесь с Фоксхилл и оставьте мессидж для миссис Семигорски, что мы с мистером Огородниковым едем в галерею Поллака и были бы рады, если бы она к нам присоединилась. А кстати, Марджи, может быть, и вы к нам присоединитесь? Украсите общество?

Марджи Янг включила улыбку на полный накал.

— Великолепная идея, Даг! С удовольствием!

Вот это по-товарищески, подумал Огородников. В честь Москвы семьдесят второго года. Я ему меховую шапку подарил, а он мне отвечает секретаршей.

III

Нынче веселей местечка в Нью-Йорке, пожалуй, не найдешь, чем Сохо, — написал автор и подумал в этом месте о щедрости и толерантности русского языка. Возьмите словечко «пожалуй» и ставьте по собственному желанию перед любым словом вышеприведенной фразы или после любого. Пожалуй, нынче... Нынче, пожалуй... А извивы нашего сослагательно-го наклонения! В мире вряд ли найдется птица, которая долетит до середины! Поистине, к знаменитому своему акрониму ВМПС (великий, могучий, правдивый, свободный) русский может в скобках прибавить ЩТ, то есть щедрый и толерантный. Диву даешься, как может этот веселый, расхлябанный, бродячий (ВРБ) язык сочетаться со свирепой властью, которая даже фотографию гнет на свой манер, не дает даже выпустить независимый от нее фотоальбомчик, превращая таким образом наше повествование из камерной повести в подобие шпионского романа.

Итак, в Сохо! Мрачнейшие улицы, почерневшие от бесчисленных пожаров фасады домов. Железные лестницы на этих фасадах, призванные спасать обитателей от огня, явно никого никогда не спасали, но зато создали отличное ощущение ловушки. Они соседствуют с облупившимися колоннами стиля «пришей кобыле хвост», вкус скоробогачей Восьмидесятых годов прошлого века. Добавьте к этой картине переполненные мусорные баки, разрытые улицы, вонь.

Теперь осветим, как говорят в СССР, «все это хозяйство» блудливой улыбкой богемы, переселяющейся сюда, в эти самые бывшие складские «лофты», быстро вздуем цены на эти еще вчера бросовые пещеры, откроем там новые галереи и кафе, нашарашим полдюжины статей в «Вилледж войс», и тогда можно будет здесь по вечерам увидеть качающиеся на ухабах «Роллс-Ройсы», и телефонированные лимузины, и бледных девушек с ярчайшими ртами и мелкими кудряшками а-ля «Серебряный век», и далее everybody who's somebody, то есть непростую публику.

Пока искали нужный дом, несколько раз спрашивали дорогу у прохожих и всякий раз получали ответ с сильнейшим русским акцентом. Огородникову однажды даже показалось,

что один ленинградец знакомый ответил. Выглянул с заднего сиденья лимузина, где полный холодного достоинства беседовал с мисс Янг, — и впрямь: Сашка Панков со своей большой глупой собакой, с которой он, казалось, еще вчера прогуливался по Литейному.

Вот наконец увидели электрическую вывеску из лампочек на старинный манер: BRUCE POLLACK ART GALLERY, NEW YORK, PARIS, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Разбитое стекло парадной двери было частично прикрыто фанерой с надписями на трех языках «добро пожаловать!». Какая-то густая жижа вытекала из торчащего хвостика канализационной трубы на так называемый тротуар, которому не хватало, пожалуй, только пары миргородских свиней.

Внутри гостей встречало порто-риканское чучело в белом парике, чулках и перчатках. Оно хрипело watch your step, что звучало, как напутствие «ночью в степь».

Дом, недавно купленный конторой Поллака для осуществления каких-то наполеоновских художественных идей и, в частности, для монополизации русского искусства, был огромен и уродлив. Не все еще «лофты» были пущены в ход, но из поднимающегося в открытой шахте дребезжащего асансора на трех, по крайней мере, этажах можно было видеть вполне непринужденную художественную жизнь: бледные личики все с теми же кудряшками и красными губками, разномастные и разнокалиберные бороды, подсвеченные картины и скульптуры, цыганка с гитарой, кружок денди в белых галстуках и проходящего мимо голого человека с полугаллоном дешевой водки в руке; из-под волосатого брюха торчала пиписка.

Между тем кабинет Поллака был уже завершенным шедевром делового стиля, уютным, полным хороших запахов кофе и сигар и украшенным к тому же огромным старинным глобусом доколумбовской эпохи, на котором Америка еще не значилась.

Ну, вот и хорошие новости. У Брюса их ждал молодой международный Филип.

— Удачно съездили? — спросил Огородников.

— До исключительности удачно, — ответил Филип и улыбнулся.

Что-то человеческое в улыбке появилось, оживает манекен. Рыжий Брюс Поллак жарко потер ладони. Шампанского, господи! За нашу удачу! В углу на круглом столе под сильной нацеленной лампой лежала плита альбома «Скажи изюм!». Террифик! — воскликнула Марджори Янг. Ремаркабл, ремаркибл! — подработал Даглас Семигорски. Три восклицания пропущали, как фраза из джазового трио. Все повернулись к Огородникову — теперь было его соло. Он вытянул вперед обе руки и исполнил то, что всеми ожидалось. Горю желанием увидеть свое детище! Так и сказал — чайльдище! Все заплодировали. У него есть чувство юмора. Далеко не всем русским оно присуще, но Макс Огородников — счастливое исключение. Насчет юмора, может быть, они и правы, подумал Огородников, но вот все остальное в явном упадке. «Изюм» в Нью-Йорке, в безопасности, на грани роскошного издания — казалось бы, прыгать надо до потолка, а меня это как будто «не колышет», как будто все в порядке вещей. Утрачиваю естественность, в говенном снобизме суждено, видимо, влачить остаток дней. И все-таки мы выпустим наш альбом в Москве, потребуем у «фишки» обратно права на наши души! Мы тебе, Целковский, покажем «второе по важности искусство»! Нашлись тоже! Разложили искусство, как рыбу на базаре, по важности для *них*, не для всех, а для своей только гоп-компании.

— Большое дело вы сделали, Филип. Спасибо от всех русских фотографов! — воскликнул Огородников.

— Я рад оказать русскому искусству эту... — чуть запнулся, чтобы не сказать «медвежью», — эту большую услугу! — воскликнул Филип. Продемонстрировано было, что ни Запад, ни Восток не чужды патетике. Все стояли с шампанским в руках.

— «Фараон» может хоть завтра начать рекламную кампанию, — сказал Семигорски. Брюс снова сильно потер ладони. — Джентльмены, нет лучшего места, чтобы представить этот уникальный фотоальбом публике, чем галерея «Москва — Париж — Санкт-Петербург»! Давайте наметим дату вернисажа.

— Боюсь, что с этим придется подождать, — сказал тут Огородников. — Джентльмены, вам еще придется подождать нашего сигнала.

— Вашего сигнала, Макс? — осторожно переспросил Поллак. — Откуда?

— Естественно, из Москвы. Мы еще *там* попробуем проврататься через ленинские штаны.

Все присутствующие переглянулись.

— Не говорите мне, пожалуйста, что собираетесь вернуться в Москву, — сказал Семигорски.

— Скажу. Именно это я и собираюсь сделать.

Возникла пауза. За дверью нарастал шум толпы: там уже вовсю шел прием «с вином и сыром», как говорят в Америке, то есть по дешевке.

— Дело в том, Макс, — очень задушевно сказал Филип, — что по имеющимся сведениям вас в Москве не ждет ничего хорошего.

— Откуда эти сведения? — спросил Огородников.

Все улыбнулись, и Филип откланялся.

С его уходом какая-то воцарилась неуклюжесть, неловкость, как будто говорить больше было не о чем. Брюс Поллак снова сильно потер ладони. Огородников дернулся. Вы не могли бы, Брюс, воздержаться от этих движений, а то уже пахнет женой кожей. Поллак обиженно поднял подбородок. А вот это бестактность, сэр. Боюсь, что пахивает тут русской бесцеремонностью. Приоткрылась дверь, и какой-то служащий сказал, что в соседней комнате ждут журналисты. Осталось только обескураженно развести руками. Что ж, придется идти к журналистам с обескураженными руками. Итак, договорились, господа, сказал Огородников, об альбоме пока ни слова.

— Do nothing till you hear from me... — с полностью неуместной игривостью пропел он строчку известного блюза и попросил Поллака на минуту задержаться. — Скажите, Брюс, что это за игры разыгрываются вокруг меня? Я к вам сейчас обращаюсь как к своему адвокату.

Рыжий и кудрявый при этом вопросе быстро, наподобие Ленина в Смольном, пробежался по своему кабинету и, конечно, не удержался опять от растирания ладоней.

— Мне не все еще ясно, Макс. Амбруаз Жигалевич, как вы, конечно, поняли, не имеет никакого отношения к «Фотоодиссее», но он работает фрилансом в AFP и UPI. Ясно, что

кто-то хотел вас подтолкнуть к принятию решения. Надеюсь, вы понимаете, что не я. Дорогой Макс, я профессионал, и для меня интересы моих клиентов превыше всего. Профессиональный адвокат никогда ничего не решает за своего клиента. Помимо этого, чисто по-человечески я считаю это полным свинством. Всякая попытка со стороны изменить судьбу индивидуума — это свинство. Кроме того, позвольте добавить, дорогой Макс, что за годы нашего сотрудничества у меня появились к вам дружеские чувства, а это, может быть, самое важное.

Я сразу понял, что это фальшивка, когда прочел интервью. Не ваш лексикон, совершенно не свойственная вам определенность. На кого же работал Жигалевич? В современном мире в таких случаях чаще всего приходится разводить руками...

Купился, дешевка, сказал себе Огородников. Нашел у кого спрашивать, нашел где искать ответа. Никто ничего не знает точно и не может знать. Пустынный холодок опять заструился вдоль позвоночника. Он взял из поллаковского бара бутылку коньяку и налил себе полный стакан.

— Между прочим, Макс, вот так стаканами пить коньяк — это все-таки варварство.

Бухнула вниз и мгновенно омыла нижние «чакры» волна виноградной бузы.

— Вот что, Брюс. Мне кажется, мы устроим в Москве какой-нибудь шумный вернисаж, что-то вроде бала оставшихся либералов... звучит недурно, а?.. какой-нибудь «завтрак с шампанским»... Это и будет сигналом для вас и для Дага, вот тогда вы устроите вернисаж в этом борделе. Лады?

Поллак на минуту задумался, потом на конопатом лице полохнула улыбка, рыжие спиральки волос как бы на глазах заряжались электричеством, ладони терлись друг о дружку все сильнее.

— Бьютифульная айдийка, Макс, ей-ей, красиво! Нет-нет, вы умеете играть! Рискованно, но красиво!

Благодарю за такую оценку. Ого поклонился и нахлобучил широкополую шляпу. Плащ с поднятым воротником. Шарф. Так никто не узнает. Подумают — в Нью-Йорке снова Диккенс! На прощание мне хочется вас спросить, господин адвокат: почему же вы ничего мне не сообщили о подлянке

Конского? Вы хотите знать почему, Макс? Вообразите, у меня нет ответа. Просто трудно вмешиваться в отношения между двумя друзьями, к тому же если оба они твои клиенты. Благодарю. Ответ прост и любопытен, как с правовой, так и с нравственной точек зрения. Вы не так уж прост, как рыж, мой друг, прошу не принять это за политическую бестактность. Обняв большого друга, большого профессионала и антисвинью, непознанный маэстро и дерзновенный игрок вышел в первый зал экибиции. Попал, куда надо! Это был зал Алика Конского. Обуялый восторгом народ плотной толпой созерцал античные мотивы мастера: из-за колонн и промеж олив мелькали то мордочка Урании, то пяточка Эвтерпы; увы, и то и другое напоминало черты лица пилота сталинской поры Марины Гризодубовой.

Ого выпростал из-за пазухи камеру и несколько раз прицелился на прощание в свою любимую нью-йоркскую толпу с ее струйками дыма над бугристой поверхностью. Что будет, если окончательно запретят курение? Угаснут прежде всего вернисажи, только потом табачные компании. Прошел нализовавшийся и злой Ефим Четверкинд. Скажи, Ого, это правда, что мою двухкомнатную занял Фотик? Правда, Фима, правда. Больше тебя ничего не интересует? Нет, больше решительно ничего. В коридоре, на переходе от Конского к Раушенбергу, Ого буквально наткнулся на девушку Кашу, с которой спал лет десять назад в палатке археологов на кургане Тепсень в Крыму. Она как раз взасос целовалась с немолодым негром. Повернула к Ого дико расширенный глаз, но не узнала. Зато узнал славный патриарх Александр Спендер, окруженный счастливыми учениками. Сюда, сюда, талантливый русский! В жопу, в жопу, летом, летом! Горькая грусть охватила его. Хожу, как в бане, сквозь пар прошлого. В основном никто не узнает. В основном все думают: снова Диккенс приехал. Он все прикладывался к видеоискателю, но так ни разу и не нажал затвор.

IV

Из окна номера в отеле «Билтмор», угол 42-й и Мэдисон-авеню, небо представляло только лишь в виде продолговатой гео-

метрической фигуры, похожей на государство Израиль. Эта фигура всякий раз появлялась у Огородникова в глазах, когда он отваливался от мисс Янг после очередной неудачной попытки. Он бесился: такого уже давно не случалось! В свои «прекрасные сорок два» он действовал безотказно и в любом режиме, иные дамы даже жаловались на усталость в его присутствии. Впрочем, он всегда полагал эти жалобы сущим притворством. Не понимаю, что со мной сегодня... бормотал он, покрываясь потом, поскрипывая зубами от безнадёги, и переводил свое недоумение на язык партнерши — *what's the matter with me?*

— *Oh, poor thing,* — шептала Марджори, глядя его по мокрому затылку. — *Come on, hold on and try again...*

Темные углы небоскребов. Восхитительной темнейшей синевы фигура Израиля с отторгнутым Синаем. На Марджи бочку уж никак не покатишь. Девочка испробовала все известные в интеллектуальных кругах вспомогательные мероприятия. Сейчас она лежала тихо, подложив руку под затылок, вытянувшись своим длинным и гладким телом, изнывающим от этой маеты. Вот так русские, думала она, какая странная неожиданность, вот так коммунизм, вот так ракеты среднего радиуса действия...

Надо сказать, что в наше время весьма редкие, но все-таки имеющие место половые сношения между представителями двух супердержав не обходятся без полусознательных или подсознательных военно-политических сопоставлений. У Огородникова тоже какая-то фиговина прокручивалась сквозь тошнотворную дрему: бросаю тень на тысячелетнюю историю... семь десятилетий рабства... Опять на ни в чем не повинный коммунизм катилась бочка.

Однако, что же, думала мисс Янг, не уходить же среди ночи. Заснуть невозможно, он все время лезет. Может быть, попросить его рукой или чем-нибудь, что у него в порядке?

В это время у нее возле уха деликатно прокурлыкал телефон. Гады какие, даже ночью не дают покоя, проворчал Огородников и поймал себя на лукавстве. Спишу, мол, неудачу на ночные звонки. Только-де, настроился, а тут — гады звонят! Не дают с девочкой позаниматься, одна политика у всех в голове! Гады, вообще-то, такие! Он повернулся на бок и протянул руку через Марджи. Грудь и живот стали снова ощу-

шать тепло сопостельницы. Показалось даже, что дурачок шевельнулся. Включил лампочку, снял трубку.

— Мистер Огородников?

По тому, как правильно была произнесена фамилия, можно было понять, что спрашивает русский.

— Кто звонит в такой час? — прорычал Ого. Происходило нечто чудесное. Спящий богатырь вдруг воспрял, как в лучших своих походах. В изумленных глазах Марджори как будто колокола раскачивались.

— Макс, это ты? — спросил немолодой хрипловатый голос.

— Да, это я! — Он встал на колени меж ее поднятых ног и вступил со своим любовным тараном, имея телефонную трубку прижатой щекой к плечу.

— Чем ты там занимаешься? Уж не гребешься ли? — Кто-то коротко, деревянно хохотнул и вроде бы отхлебнул что-то, скорее всего скоч-он-зи-рокс, самое подходящее пойло посреди ночи. Не исключено, впрочем, что и утренний кофе отхлебывал звонящий. Расстояние, очевидно, было огромным, в трубке слышался резонанс, типичный для разговоров через космический спутник. Вдруг — дошло! Да ведь это же самый что ни есть родной его полубрат звонит, Октябрь Огородников, обозреватель газеты «Честное слово», лауреат Ленинской премии по журналистике, большевистский боевик в идеологической войне.

— Октябрь?!

— Декабрь!

Эта немудрящая шуточка была у них долгие годы вроде пароля.

— Откуда?

— От верблюда! Слушай, Максуха, я звоню тебе сейчас, потому что только вчера еще был там.

— Где? — не без простительной тупости спросил Ого.

— Дома! — рявкнул Октябрь.

— Понятно, — сказал Ого, хотя не сразу и сообразил, что под словом «дом» братишка имеет в виду СССР. Не сообразил он в тот момент и того, что Октябрь никогда не стал бы ему звонить за границей, не случись чего-то экстраординарного. Более всего озадачила Максима ситуация, при которой

происходил этот телефонный разговор. Вот так получается ситуация. Он глядел сверху на блуждающую улыбку Марджи и ее разбросанные по подушке волосы. Ну и ситуация, в самом деле, так была развита мысль о ситуации. Ну и ситуация, вот так ситуация, какая, однако, получается ситуация, ситу-ишн... Диковатое слово «ситуэйшн» вызвало еще какое-то дополнительное, отчасти даже и излишнее движение полка. Мисс Янг закусила губку.

— Какие у тебя планы? — спросил Октябрь.

Простите, любезный братец, что за неуместные вопросы. Ах да, вы, наверное, тоже прослышали о «невозвращенстве»? Рилэкс, как сказала бы моя любимая Марджори, у нас есть дела поважнее. Марджори в этот момент сделала то, чего он страстно возжелал, — положила ему руки на бедра, на торчащие подвздошья и слегка сжала. О, грасиас, сеньорита!

— Завтра, — сказал он, — домой, — сказал он, — лечу, — сказал он.

— А зачем? — странновато прозвучал голос полубрата.

— Как зачем? Дел много накопилось. — Он нежно погладил ее грудки. — Скоро выставка будет...

— Там у тебя ничего больше не будет, — сказал Октябрь Петрович. — Понял меня? Ничего!

— О, грасиа, грасиа, грасиа, сеньор, — вдруг забормотали совсем не похожая на испанку золотистая мисс Янг.

Откуда, позвольте, выплыла эта испанщина, ведь я же не испанец благодарил, ведь про себя же...

— Что ты молчишь? — спросил Октябрь грозно.

— Слушаю тебя, — просипел он, почти уже на пределе.

— Я все сказал! — рявкнул Октябрь. — Теперь я тебя слушаю!

— Не знаю, что сказать. — Ого стал склоняться и трогать губами ее губы.

— Я вижу, ты там все-таки гребешься, — прорычал Октябрь. — Позвонить тебе завтра?

— Завтра... поздно... в Москву... Москву... — Ого бросил трубку на пол, обхватил плечи Марджори обеими руками и стал втираться в нее. С полу донесся далекий крик полубрата:

— Ты не должен возвращаться в Москву!

V

...Прошло не менее получаса, прежде, чем Марджори Янг удалось освободиться. Такого она прежде и во сне не видала. Он извергался раз за разом, не менее семи раз, причем количество всякий раз, поражая ее, переходило в качество. Такова Россия, такова диалектика. Девушка дрожала. Ах, почему у меня нет с собой фотокамеры, запечатлеть *вот это!* Даже освободив ее, Ого, вернее, его тело продолжало функционировать. Каждые четыре-пять минут все вздымалось и выбрасывало то, что уже, видимо, не в силах было сдержать. Хозяин тела, полностью прекратив сопротивление, лежал на спине, закрыв руками глаза, видимо, чтобы не видеть происходящего вокруг позора — залитых и уже засыхающих простыней, испохабленного ковра, изумленно отскакивающую и пытающуюся спасти свою одежду и обувь девушку, и далее — по всем траекториям, вплоть до телевизора, где дырка для забрасывания двадцатипятицентовых монет была уже забита прямым попаданием. Позор немыслимого опустошения нарастал до того, пока не лопнул, уступив место глуповатой, но, кажется, спасительной иронии. Попробуйте вызвать «скорую помощь», дарлинг! Как им объяснить? Ну, скажите просто, что у человека бунт сливочного аппарата или еще проще — кризис диалектики...



АТЛАНТИКА

I

Атлантику иной раз называют Биг Дринк, то есть Большая Выпивка, и это для нас, быть может, хороший повод сделать паузу в повествовании. В кресле четырехсотместного самолета подвесим над Атлантикой одного из наших героев...

По началу, по замыслу, между прочим, отнюдь не главного, ибо главным героем полагали мы лишь благородную неопознанную музу Фотографии, но постепенно вылезшего, можно сказать, пропершего в главные герои в силу то ли долговязого роста, то ли нахальства, то ли благородного большевистского происхождения, а может быть, и просто в силу того, что выпало на его долю.

...Итак, наденем ему на голову наушники для прослушивания звукового трака кинофильма «Загадка» и шести музыкальных программ, идущих из подлокотника, оставим его микроскопически ползущим против вращения Земли, т.е. в восточную сторону, и немного порезонерствуем.

Месье Дагер, изобретая свою пластинку, и сэр Тальбот, соединяя йодин с желатиной для закрепления полученных отражений, вряд ли предполагали, что через каких-нибудь полтора-два года эти странные образы бытия, извлекаемые из потока времени, которые, вероятно, казались им столь же прекрасными, сколь и необъяснимыми, распространятся в таких масштабах среди цивилизации, что и саму их возлюбленную цивилизацию, надежду просвещен-



ного XIX столетия, сделают немислимой без своего присутствия.

Царь, Его Императорское Величество Александр III, позируя во главе своего собственного конвоя, олицетворяя незыблемость Российской империи, думал ли о том, что пластина, извлеченная из деревянного ящика на трех ногах, и изображение, напечатанное с этой пластины, окажутся тверже самой империи и надежнее молодцов конвоя в деле сохранения для потомства образа могучего отца незыблемой империи во главе преданного гвардейского конвоя.

Петр Максимилианович Огородников, уклонившийся от отзовизма и примкнувший, как всегда, к большевизму, думал ли, укрепляя меж колен шашку, подарок Восьмой партконференции в Брно, и уставившись в зрачок подлежащей экспроприации машины мелкого буржуа на бульваре только что отбитого Ростова-на-Дону, думал ли, что диалектический материализм находится под угрозой и собственные, еще не зачатые дети отринут то, что в тот момент запечатлевалось, — выпученность глаз, непримиримый изгиб губ, историческую детерминированность с самого начала почти уже загнивавших конечностей.

Родченко Александр с друзьями Татлиным и Эль Лисицким, ниспровергая «старую фотографию» с ее снимками от брюха, карабкаясь вверх и вниз, снимая снизу вверх и сверху вниз, внедряя двойные экспозиции и коллажи «новой фотографии», думали ли, что приближается не к алюминиевому простору футуризма, а к мистическому прошлому в стиле «крем-брюле»?

Маршалы РККА, воображали ли, что ваши доблестные лица, иные даже с подкрученными усиками, что ваши ромбы и бранденбуры будут вымыты из негативов цензорами ГФИ ОГПУ для придания исторически ценным снимкам истинной подлинности и таким образом крохотные якорьки, еще связывавшие вас с возлюбленной красной республикой, растворятся в потоке, именуемом Летой, и вы отлетите еще дальше от Земли в ваших трансцендентальных парениях?

Почтенный доктор Криштоф Адольф Болдуин, пытавшийся уловить в своих тиглях хвостик Вселенского Духа и заметивший на дне реторты светящийся осадок, думал ли он,

что это, может быть, и есть искомое, столь страстно желанное, ниспосланное за тяжкие труды и бессонные ночи, призванное обратиться далее в огромную отражающую поверхность человечества, дабы не теряли память и не зверели, но прибавляли бы в благородстве и благоразумии?

Летчики-космонавты СССР вкупе с Хрущевым Никитой Сергеевичем, взлетая с засекреченных баз и зачитывая секретные доклады, а стало быть, отражаясь во множестве копий на бессмертной эмульсии, полагали ли отражения эти делом более серьезным, чем слава вашей родной Коммунистической партии?

Пятилетний пацан в детдомовской буденовке, не желавший попусту произносить ни изюма, ни сыра, но одураченный все-таки обещанием птички, думал ли, что через множество лет на обратном пути с ненайденной ярмарки станет писать роман о чудаках, одержимых одной лишь целью — сохранением и поддержанием фотографического достоинства?

...Устав от риторики и вопросительных знаков, вспомним теперь об одном из наших героев и удивимся, не обнаружив его там, где оставили, т. е. над Атлантикой в кресле джамбо-джета компании TWA. Что же, в самом деле, вышел, что ли?

А ведь, и в самом деле, *вышел* Максим Петрович Огородников, только не наружу, конечно, вышел из аэро, а просто как бы из нашей книги вышел туда, куда царь пешком ходит, если такое выражение уместно на современных авиалиниях.

О, горе, о, позор, думал Максим Петрович, сидя на толчке в идеально скроенном чуланчике и глядя на свое, удивленно удлинняющееся при каждом профузном низвержении лицо. Конус под ним в который уже раз с мрачным ревом наполнялся испражнениями. Хватит ли в самолете этой элегантной голубой смывки? Не пронюхают ли стюардессы? Мелькала даже дикая мысль — не загрязнится ли Атлантический океан? Нет, мы все-таки не представляем масштабов стихии. Океан безболезненно поглощает испражнения китов и моржей, растворяет даже сливы гигантских танкеров.

Мое, пусть и чудовищное, *раблезианское* (вот хорошее слово найдено!), в масштабах океана не значительнее помета — кого? чего? — да буревестника же, господя!

И снова, и снова прямая кишка подавала сигналы наверх в бурлящие лабиринты, и снова, и снова каскады фекалия и слизи низвергались в конус, бурно его заполняя и угрожая сложенными ланитам. Только бы у самолета хватило голубой элегантной смывки! Экая мерзкая незаслуженная гадость заперла меня здесь на толчке, а ведь всегда на эти самолетные чуланчики смотрел не без романтизма, столько раз воображал себя внутри с красавицей Эммануэль! И снова, и снова глупейшее удлинение лица, мрачный рев внизу, резкие запахи человеческого подполья, откуда же столько берется, в дверь постучали, приближается разоблачение, наверное, проведут по всем салонам и в Копенгагене передадут санитарным властям, впрочем, если *это* когда-нибудь прекратится, если же нет...

Вдруг — прекратилось, и все успокоилось в течение минуты. Мда, подумал Максим Петрович и встал как ни в чем не бывало. Он причесался и протер себе шею и уши одеколоном «Поло». Нужно немного подождать, пока запах уйдет в темносиние просторы. Перед ним в три четверти роста стояло его отражение. Измождение привнесло в черты лица что-то все-таки готическое. Что происходит со мной, что означают все эти раблезианские (вот именно) извержения и профузии? Берлин, Париж, Нью-Йорк, Атлантика... Откуда и что может еще выделяться? Кожа выделяет своими порами пот. В Москве меня прошибет пот, нет никакого сомнения. Струи, ручьи будут лить с меня по мере приближения к Кремлю. Они, конечно, тут же замерзнут, и я превращусь в ледяную статую наподобие генерала Карбышева. Воображаю ликование народа и «фишки»! Как это все прикажете понимать? Ослабли, может быть, жилы, соединяющие тело с душой? Ну, кажется, запах уже ушел в темносиние просторы. Он открыл дверцу чуланчика. Маленькая очередь космополитов в панике отшатнулась. Ничего-ничего, господа, сами виноваты, пеняйте на себя!

II

Все салоны летящего зрительного зала были погружены в темноту. На четырех экранах майор КГБ Васильков под видом грязных советских дел совершал благородные антисоветские.

Пассажиры из «третьего мира» проявляли к сюжету позорное равнодушие, т. е. спали. Впереди огородниковского кресла посапывала большущая, платье в горошек, мама Мексика. Она основательно выпирала из оплаченного пространства. Не очень-то засунешь под нее длинные обезвоженные н. к. Хотел было уже забросить ножищи вбок на два пустых, как вдруг увидел в крайнем кресле незнакомого пассажира молодых лет. До чрезвычайности приятный негр, имея над собой включенным личный источник света (прошу прощения за безобразный англицизм, но как иначе скажешь об этом), почитывал какой-то журналчик, вернее, даже не журналчик, а пачку плотной коричневой бумаги. Как-то весьма гармонично во всем его облике доминировали разные оттенки коричневого. Прежде всего кожа цвета благородного дореволюционного шоколада, потом, конечно, костюм и галстук. Смешно называть, в самом деле, такого человека негром, если у него нет никаких признаков черного. Давайте уж, господа, называть наконец-то вещи своими именами, пусть черное будет черным, а коричневое коричневым.

— Добрый вечер или утро, или уж не знаю, как сказать, — сказал сосед.

Какая, в самом деле, приятная человеческая улыбка — ноль наглости!

— Хау ду ю ду, — сказал Огородников и почему-то представился: — Максим Огородников, русский фотограф.

Пожатие длинной и прохладной коричневой руки взволновало русского фотографа, он даже немного устыдился — уж не гомосексуальное ли чувство?

— Чокомэн, — назвался сосед и улыбнулся, как бы даже вспыхнул чудной улыбкой. — Это, конечно, от шоколада, Максим!

— Хорошее, ей-ей, имя! — с нарастающим чувством приятности и тепла сказал Огородников. — А вы?.. Тоже фотограф?

— Начинаящий, — сказал Чокомэн. — А ваше имя мне хорошо знакомо из международных источников.

— Неужели?! — воскликнул Огородников.

— Неудивительно, — сказал Чокомэн. — Вы большой мастер. Даже не думал, что когда-нибудь вот так, запросто с вами...

— Да что вы!— взмахнул руками Огородников. — Это для меня большая!.. Что вы читаете, Чоко?

— Тут кое-что из истории фотографии, — сказал начинающий артист. — Есть любопытное. Хотите посмотреть? — И он протянул Максиму один из своих листков, плотный и мягкий, с бахромчатыми краями.

Содержание увлекло нашего героя, и он, сказать по чести, забыл все проблемы и болячки и не заметил, как над Атлантикой заиграла перстами лазурная Эос, а вскоре и Аполлон выкатил огненную колесницу. Оно гласило:

.....во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии и дошел до Авгаря. Не видя спасителя, Авгарь уверовал в него как в сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он стал на высоком камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось. Спаситель Сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать Своего ученика для исцеления от проказы и наставления ко спасению. Потом Господь попросил принести воду и убрus, т. е. холст, полотенце. Он умыл лицо и приложил к нему убрus, и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик.

Убрus и письмо Спасителя Анания принес в Едессу. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление. Лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от 70-ти святой Фаддей, который проповедовал Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Едессы. Написав на Нерукотворном Образе слова «Христе Боже, всякий, упова на тебя, не постыдится», Авгарь украсил его и установил в нише над городскими воротами. Много лет жители хранили благочестивый обычай поклоняться

Нерукотворному Образу, когда проходили через ворота. Но один из правнуков Авгаря, правивший Едессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять образ с городской стены. Господь повелел в видении Едесскому епископу скрыть Его изображение. Епископ, придя ночью со своим клиром, зажег перед ним лампаду и заложил глиняной доской и кирпичами. Прошло много лет, и жители забыли о святыне. Но вот, когда в 545 году персидский царь Хозрей I осадил Едессу и положение города казалось безнадежным, епископу Евлалию явилась Пресвятая Богородица и повелела достать из замурованной ниши Образ, который спасет город от неприятеля. Разобрав нишу, епископ обрел Нерукотворный Образ: перед ним горела лампада, а на глиняной доске, закрывшей нишу, было подобное же изображение...

После совершения крестного хода с Нерукотворным Образом по стенам города персидское войско отступило. В 630 году Едессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению Нерукотворному Образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. В 944 году император Константин Багрянородный пожелал перенести Образ в тогдашнюю столицу Православия и выкупил его у эмира — правителя города. С великими почестями Нерукотворный Образ Спасителя и то письмо, которое он написал Авгарю, были перенесены духовенством в Константинополь. 16 августа Образ Спасителя был поставлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы.

О последующей судьбе Нерукотворного Образа существует несколько преданий. По одному — его похитили крестоносцы, но корабль, на который была взята святыня, потонул в Мраморном море. По другим преданиям — Нерукотворный Образ был передан около 1362 года в Геную, где и хранится в монастыре апостола Варфоломея.

Известно, что Нерукотворный Образ неоднократно давал с себя точные отпечатки. Один из них, так называемый «на керамике», отпечатался, когда Анания прятал образ у стены на пути в Едессу. Другой, отпечатавшись на плаще, попал в Грузию. Возможно, что разность преданий о первоначальном Нерукотворном Образе основывается на существовании нескольких точных отпечатков...

Огородников оторвался от своего текста, когда самолет уже катился по аэродрому в Копенгагене. Здесь у него была пересадка на Москву. Мистер Чокомэн! Приятного шоколадного спутника поблизости не было. Мама Мексика и прочий «третий мир» с сумками и пакетами «дьюти фри» плотно стояли в проходах. Продвигаясь в толпе, Огородников начал потеть. Оказалось, что в организме еще достаточно влаги для того, чтобы и самому вымокнуть до нитки, и окружающих запятнать до всеобщего возмущения и презрения. Хорошо еще, что произошло это в Дании, а не за «железным занавесом», где стоял в ту пору стеклянный тридцатиградусный мороз. Он несколько раз еще воскликнул: «Мистер Чокомэн!», но тот пропал без следа. Раньше вышел, что ли? Шутка не прошла. Волочась в отяжелевших мокрых одеждах к стойке регистрации на Москву, Огородников с тоской смотрел на проплывающие за стеклянной стеной эфемериды Запада. Увидимся ли еще? Второй раз их не обманешь. Он вспомнил, что все еще несет в руке коричневатый папирус, на чтение которого ушло по крайней мере часа три. Пошевелил пальцами и ничего не обнаружил. Смыло.



I

В годы перехода от незрелого социализма к перезрелому, т.е. в восхитительный период зрелости, к массивному и довольно уродливому купеческому замку на Миусской площади было подстроено современное крыло с намеком на полет воображения — стеклянная плоскость, бетонный козырек; получилась полнейшая гадость.

Здесь, в штабе советского фотоискусства, проходил пленум правления Союза фотографов СССР. На повестке дня были «Новые задачи, стоящие перед советскими фотографами в свете исторических решений XXX съезда КПСС». Всю первую половину пленума занял отчетный доклад Генерального Секретаря СФ СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, четырежды лауреата Государственной (б. Сталинской) премии, депутата Верховного Совета, члена ЦК КПСС девяностолетнего Фатьяна Касьяновича Блужжаежжина, того самого, который во время оно личным примером стимулировал появление гениального изречения «Желудки у людей бывают разные».

Хороша все-таки, сильна наша старая гвардия! Не без определенной даже грации стоял генсек на трибуне и хорошо читал свой доклад о дальнейших в свете исторических нашей родной. Позволял себе даже иной раз отвлечься от текста, бросить в зал нечто простое, артистическое, ну, вроде «можем, можем мы, друзья, гордиться нашей молодежью, нашими»... Вот тут, правда, случился с



Блуждающим маленьким конфуз — потерялось окончание фразы, вдруг вылетело гордое слово «комсомольцами». Смысл и идейное содержание слова, конечно, присутствовали в бывалой башке генсека, но вот форма как-то затуманилась, и потому Блуждающий, жадно желая выбраться из затянувшейся паузы, прожевывал что-то вроде: «Нашими красными интернационалистами...» и глубже еще погружался в жижу, в мякину невнятицы — «нашими членами лиги молодого Октября»... «нашими юнгштурмовцами»... — не теряя, между прочим, падежа «кого-чего»! — «нашими участниками марша молодых марксистов»... и даже «нашими грозными сталинскими соколятами»...

В другое время кто-нибудь непременно бы захохотал, но в тот период такое сильное в стране произошло восстановление «ленинских норм», что никто и не пикнул. В президиуме собрания сидел один из главных выразителей воли партии в искусстве, некто Саурый, прямой такой товарищ с истуканистым лицом сельского баяниста, а рядом находился его заместитель как раз по фотографии, который знал толк как в снимках анфас, так и в профиль, некто Феляев, известный в Москве под кличкой Булыжник Оружие Пролетариата, или БОП. Оба не шелохнулись, пока Фатян Касьянович топтал говно, а только лишь слегка косили глаза на соседа по президиуму Фотия Фекловича Клезмцова: как реагирует змей подколотый? Товарищи догадывались о далеко идущих планах карьериста.

Фотий Феклович ничем себя не выдал, сидел с каменным, в нынешнем стиле, выражением лица, иногда лишь оглаживая свое сокровище, бородку, наследие революционных демократов. Думал тем временем, конечно же, нехорошее: сколько же можно живые мощи вытягивать на трибуну? Увы, даже и в штабе партии — определенный застой. Товарища Саурого пора менять, теоретически слаб. Ну, бывшему урке Феляичу и вообще не место в столице. Ну, посмотрим, как пойдет в недалеком будущем. Денек-то сегодня «судьбоносный», мать-моя-третий-сон-Веры-Павловны!

Во второй половине пленума в «прениях» должны были выступить руководители союзов всех братских республик, и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык, каждый

должен был разжевать свою собственную жуемотину — «вдохновленные мудрыми идеями XXX съезда родной Коммунистической партии, фотографии советской Киргизии (Якутии, Литвы...) продолжают расширять свои связи с массами, глубже проникать в сердцевину народной жизни, ярче воплощать образ нашего героического современника, человека труда, в своем творчестве».

Перед эстонцем и после армянина слово дадут гордому внуку славян Фотию Фекловичу Клезмецову. Начнет он свой доклад заурядными заклинаниями в адрес партии и статистической похвальбой — какие широкие массы охвачены шефством, сколько издано альбомов, сколько развернуто экспозиций на заводах, сколько в колхозах и совхозах, сколько проведено совещаний и семинаров, творческих дискуссий с коллегам из зоны Нечерноземья и Черноземья, угольного бассейна... и прочая ахинея.

Затем он перейдет к более серьезному делу, к борьбе на международной арене. В целом, скажет он, фотографии Москвы и Московской области с честью противостоят миру реакции, насилия и бесправия... Затем, сделав многозначительную паузу и отхлебнув из официального стакана чего-то, чего туда наливают, Фотий Феклович произнесет весомое «однако». Последует еще одна пауза, чтобы до олухов в зале дошло, что это не обычное «однако» из передовиц «Честного слова» периода «оттепели», что это другое, суровое, непреклонное «однако», сродни всей нынешней советской державе, ведомой ее смурными старцами в новый поход. Куда поход, за какими заафганскими кормами — не важно! Сейчас нам не цель нужна, а сплоченность рядов!

Что же последует за этим весомым «однако»? А вот что: однако не все члены нашей организации ясно видят свои задачи в обстановке нарастающей и непримиримой борьбы двух миров. Больше того, товарищи, есть среди нас эдакие прекраснотушные, идейно незрелые люди, пытающиеся построить башню из несуществующей (в этом месте саркастический нажим) слоновой кости, есть люди, ставшие жертвами их собственной идейной неразборчивости, которая активно используется спецслужбами Запада. Особое внимание, товарищи, я хотел бы обратить на то, что именно в Москов-

ской фотографической организации появился настоящий враг!

Еще одна пауза, еще один глоток того, что подносится как питьевая вода, и далее — вскрытие личности врага, прошедшего упомянутые уже ступени падения — прекраснодушие, идейная незрелость, неразборчивость — и наконец ставшего настоящим агентом ЦРУ, пролезшим даже в руководящие органы нашего союза. Я имею в виду, товарищи, Огородникова, нынче ставшего невозвращенцем и предателем родины.

Тут будет взрыв, такой огромный и всеобщий «ах» и затем — зона ошеломленного молчания. В этой зоне прозвучит его уверенный и даже слегка иронический голос человека, который знает даже больше, чем говорит. Он поведает собравшимся о падении Огородникова, о том, как, выполняя задание «спецслужб», пытался тот взорвать изнутри единство советских фотографов, этих верных объективов Партии, о его потугах под видом борьбы с цензурой основать претенциозный альбом под шутовским названием «Скажи изюм!»... Увы, товарищи, нашлись в нашей среде люди, клюнувшие на огородниковскую приманку дешевой западной популярности, и сегодня мы должны со всей серьезностью указать товарищам (подчеркнул голосом дорогое слово) Древесному, Герману, Лионель, Пироговой, Казан-заде, Чавчавадзе, Охотникову, Пробкину, Шапиро, Марксятникову, Фишеру, Цукеру, Кострову, Трубецкому, Шароварченко, Хризантемову, Штурмину, а также Розе Александровне Барселон на незрелость, безответственность, которые привели их на грань (подчеркнуть!) настоящего падения в болото антисоветчины. Затем последует важнейший момент выступления, то, за что пришлось столько биться, сражаться, скажем прямо, без страха и упрека, дважды выходить даже на Фихаила Мардеевича! — то, что сразу определит его будущую позицию и отметет всяческие разговоры о предательстве. Нет, товарищи, мы не доставим удовольствия идеологическим провокаторам Запада и предателю Огородникову, мы не отсечем наших заблудившихся коллег, мы будем за них сражаться со всей страстью, к которой нас призывает ленинский гуманизм! Вот тут-то и будут аплодисменты!

Фотий Феклович знал, что Планшин к его докладу относится довольно кисло: такая постановка вопроса существенно снижает масштаб операции, задуманной «железами». Ничего, против Фихаила Мардеевича не пойдут, пусть знают, «фишки», что не я на них, а они на меня работают, на политика большого размаха. Знал он, что и БОП и даже сам товарищ Саурый долго мямлили, прежде чем дать добро на доклад. Понимают, что после такого доклада придется потесниться.

Объявили перерыв. Клезмцов обедать сразу не пошел, но дал себя окружить формально равным себе секретарям союзных республик, а на деле, как он это определил в уме, «ничего не подозревающим чучмекам». Он стоял в фойе, озирал проходящих мимо фотографов, кто с кем идет, кто как здоровается, шутил, предвкушая вторую часть заседания, как вдруг... Вот «лучший-талантливейший» когда-то написал «полюк на нас пошел снижаться вороном», вот приблизительно такое тут произошло с Фотием Фекловичем, да и пол себя повел не лучше — пошел на нас вздыматься бурым медведем. Через головы отдыхавших участников, сквозь табачный дымок Клезмцов увидел проходящего в стеклянные двери Огородникова!

Матерый лазутчик вошел с мороза, снял волчий треух, шлепнул его о колено, распахнул дубленочку, посыпался снег, весело огляделся, наглый прозрачный глаз. Махнул кому-то в толпе и был тотчас же окружен прекраснодушными и идейно незрелыми, как будто люди не слушают «Голос Америки», как будто не знают, какую антисоветчину на днях передавали от его имени! Что же происходит, это какой же информацией снабжают нас «железы» идеологической безопасности? Что же теперь — вся речь коту под хвост? Кто кого лаурчит, товарищи?

Как раз в этот момент мимо Клезмцова проходила парочка «кураторов», капитаны Сканшин и Слязгин. Их, конечно, большинство присутствующего руководства знало в лицо, но все-таки подразумевалось, что их никто не знает, поэтому капитаны проходили с исключительной скромностью, держа под мышками стопочки книг, только что приобретенных в киоске президиума, то есть дефицит. Собственно

говоря, из двух кураторов по крайней мере один и в самом деле был большим книголюбом и фотолюбом. Речь идет, конечно, о Владимире Сканщине. За время идейно-творческой работы и, конечно, под влиянием его дорогой Виктории Гурьевны Казаченковой он капитально, конечно, поднялся над собой, у него и в самом деле появился зудок в отношении как печатного слова, так и фоторепродукций. Ни одного пленума или совещания Владимир не пропускал, чтобы не обогатить свою личную библиотеку чем-нибудь дефицитным, хотя, учитывая допуск к *особым* книгам и альбомам, которым он обладал на службе, можно объяснить несколько критическое отношение офицера даже к самым лучшим образцам отечественной печатной продукции. Книжки, конечно, отличные, думал он, но чего-то все ш так не хватает. Дерзости какой-то явно недостает...

Итак, офицеры в скромной манере проходили по кулуарам пленума, но и достоинства своего не теряли. Ведь сказал когда-то любимец партии тов. Зиновьев: «Каждый советский человек — в душе чекист!» И вдруг прямо посреди творческой толпы к кураторам взволнованно обращается руководящий объемистый товарищ, такой по инструкции вроде бы недосягаемый, как бы совсем вне черновой гэфэушной работы, как бы на теоретическом уровне, вроде бы вовсе не Кочерга. В порыве исключительного волнения, схватив себя левой рукой за бородку, правой не-Кочерга сигналил: Володя! Сканщин! На минутку!

Нас просят, мы делаем. На минутку! Пожалста!

— Ну-ка, Сканщин, посмотрите-ка вот сюда! — шипел Клезмцов.

Ну и минутка, называется, пригласили, спасибочки! За такую минутку можно запросто обосраться, если соответствующая мускулатура не в порядке. Перед Владимиром Батьковичем стоял во всей красе совсем уже было утраченный объект — Максим Петрович Огородников! Да не обман ли зрения? Ведь давно уже представлялся бывший подопечный в белом блейзере на борту океанской яхты, в блестящем окружении офицеров ЦРУ и звезд Голливуда.

— Вы знали? — шипел на ухо Клезмцов. — Почему же не предупредили?

«Да ничего мы не знали!» — хотел было выпалить Сканщин, но вовремя хапнул себя за язык. Могла ведь слететь с грешного самая большая государственная тайна.

— Если вас не предупредили, товарищ Клезмцов, значит, этого не требовалось, — очень хорошо ответил он.

— Вы мне доклад сорвали!

— Перебьетесь, Фотий Феклович!

На будущее отмечаем, какое может быть неприятное лицо у почтенной Кочерги. Похож стал отчасти на гиену. Вот именно на гиену, товарищ генерал, смахивал Клезмцов в момент произнесения недружественной реплики в адрес идейного контроля. Как прозвенел звонок и как удалился Фотий Феклович в зал заседаний, капитан Сканщин даже не заметил. Все смотрел на милягу Максима Петровича. Все-таки услышал, лапа (выражение «дорогой»), зов Родины, все-таки русский же человек же, наш же талантище! Последить бы надо за собой образцовому чекисту, такому, как Слязгин Николай, не к лицу такое волчье, тухлое, понимаете ли, выражение при взгляде на вернувшегося из заграникомандировки фотоартиста. Ты, Слязгин, как был дуrolом в ДОСААФовском тире, так и остался, а Огорода, может быть, из врагов опять в идейно-нерельные переведут... Тут уж, не выдержав, устремился Володя с протянутой рукой. С приездом, Максим Петрович! Возвращенец широко улыбнулся. Здравствуй, Русь моя, родина кроткая! Обеспечиваете работу пленума? Сканщин радостно хохотнул. А что делать? Сами видите, Максим Петрович, понаехала деревня...

II

Оставалась неделя до Нового года, то есть шел второй день европейского Рождества, когда на даче Фрица Марксятникова в дачном кооперативе «Советский объектив», что в тридцати восьми километрах от Москвы, в поселке Проявилкино над застывшей о ту пору речкой Дризиной, собрано было бурное шумство по случаю дня рождения любимой жены Елены. Общество образовалось, что называется, «сборная солянка»: с одной стороны — родственники Марксятниковых, техни-

ческая интеллигенция, с другой стороны — жулье из объединения «Союзреклама», главного источника марксистниковского благополучия, а с третьей стороны и в преобладающем количестве — «новофокусники» с женами, девушками и иностранными друзьями.

Съезжались главным образом на «Жигулях», богатые подвозили бедных. Самый бедный, то есть Венечка Пробкин, прикатил на своем печально известном в столице «Мерседесе-300 турбодизель», о котором хозяин, теперь в стесненных обстоятельствах, даже и говорить не хотел, а просто махал рукой, как в сторону прожорливой собаки.

Воздух был мягок, сквозь сосны подбирался необычный вечер с запахом моря, и мужчины очень долго валандались на дворе среди своих машин, обсуждая проблему запчастей, дальнейший упадок национальной нравственности и зловещий гемморрой главы правительства. Макс Огородников хвалился газовым пистолетом, купленным в ночном магазине «Ле драгстор», что на Елисейских Полях. Умещается на ладони, а выбрасывает мощный патрон с нейропаралитическим газом. Вот, к примеру, вы идете, а на вас из-за угла «фишка» выскакивает... Кто выскакивает, спрашивал кто-нибудь из родственников. Ну, это мы так «железы» госфотоинспекции называем, господа. Ну, это просто я крайний взял пример, господа. «Господа» неуютно поеживались, будучи истинными «товарищами». Фотографы хохотали. Ну, предположим, просто какой-нибудь бандит на вас выскакивает, ну, не будете же вы, как в проклятой памяти год моего рождения 1937-й, покорно ждать своей участи, правда? Вот для таких случаев, господа, незаменимая штука этот маленький алармган!

— А патроны-то есть? — деловито осведомился Шуз Жеребятников.

— Две сотни! — с готовностью ответилOGO. По колено в снегу, они стали изображать сцену из гангстерского фильма.

Именинница Елена, устав от кухонных хлопот, задержалась на минуту у застекленной стены веранды и посмотрела на дурашливого верзилу в джинсах и оранжевой «дутой» куртке. Вздохнула постаревшая до времени Елена: когда-то ведь, совсем недавно, десяток лет назад, Коктебель... и потом Рижское взморье...

— Посмотри, Вера, — сказала она младшей сестре. — Макс Огородников не стареет, то же самое Герман Слава и Андрейша Древесный, какое странное поколение...

— Ты находишь? — надменно сказала младшая сестра. — А с моей точки зрения, он стар... да и все вокруг... ни одной юной рожи не видно... на свалочку вам всем пора, а вы дрыгаетесь.

Но Огородников в этот вечер на свалочку вовсе не соби-
рался. Как будто и не было у него тех страшноватеньких «уте-
чек» и «выбросов», он радовался возвращению в Москву, дру-
жьям и всей атмосфере начинающегося «большого шухера»,
да, вероятно, и атмосфера сама по себе, то есть химический
состав воздуха над деревней Проявилкино, подогревала его
кровь. Химия родины.

— Как твоя задрыга? — спросил вдруг Жеребятников.

— Какая еще задрыга? Настя? Ох, я действительно сво-
почь. Она права, я — нравственно неполноценен. Вообрази,
Шуз, ни разу за всю поездку о ней не вспомнил. Пардон, ра-
юк в Париже, кажется, по пьянке что-то смутное промельк-
нуло. А ведь я ее считаю единственной близкой женской лич-
ностью в мире...

— Олух жуев! — мягко пожурил Жеребятников.

Они выбрались из снега и пошли к крыльцу дачи, на ко-
тором группа «изюмовцев» уже распивала бутылку водки,
имея в центре группы трехлитровую банку с солеными огур-
цами, куда запихивалась пятерня.

На утепленной террасе и далее, в комнатах, были накры-
ты столы с обильной закуской, пирогами и выпивкой, в со-
ставе которой царил полнейший разброд: каждый гость при-
нюлок, что смог достать, и потому мрачнейший напиток зре-
лого социализма под названием «Солнцедар» соседствовал с
доброкачественными «Бристольскими сливками». Стулья от-
сутствовали, во-первых, потому, что такую ораву сразу все
равно не усадишь, а во-вторых, потому, что в моду вошли тол-
кучки на манер американских «парти», однако с непременно-
ми российскими завершениями — битьем посуды и морд, угар-
ными разговорами, рыганьем.

До завершений, впрочем, было еще далеко, и все по-
шло просто чудно. Вначале делали «коллективку», то есть

огромный снимок всех присутствующих, расположенных и четыре этажа, включая лежащих на полу. Поручено это было молодому Васюше Штурмину, который в данный момент своего творчества как раз увлекался массовой и широкоугольными объективами. Васюша в цилиндре на голове, носясь большими скачками вокруг своей камеры, расставлял рефлектирующие зонтики и экраны, устраивал из своих съемок что-то вроде «хеппенинга», или новомодного «перформанса», делал вариант «изюм», вариант «cheese», вариант «птичка»...

После фотографирования толпа окружила Ого. Эх, все-таки здорово, что ты, Ого, вернулся! Надо сказать, что, когда в Москве прошел «достовернейший» слух о том, что Огородников «подорвал за бугор», идея независимого фотособрания стала основательно засыхать. Ничего вроде бы не изменилось, никто из «изюмовцев» не верил, по-прежнему собирались в «охотниковщине» и под Олехины подгорелые блины воспаряли в цензуроборческих и метафизических идеях, и все же что-то было «не то», или, как Жеребятников однажды в сердцах выразился, «попахивать стало бодягой». Потом какие-то доброхоты подбросили соображение, что Огородников, конечно, для того и утек, чтобы за границей в безопасности выпустить альбом и захватить и славу, и миллионы.

К этой сплетне быстро подстегнута была и другая — будто бы «фокусники» в расколе, будто бы кто-то из «китов» — то ли Древесный, то ли Герман — где-то сказал, что не исключает такого финта со стороны Ого, потому что очень хорошо его знает, и якобы получил за это от кого-то стулом по голове, а потом будто бы началась всеобщая драка, в которой погибло немало ценных вещей, и тэдэ и тэпэ. Потом якобы опять собрались гении, чтобы опровергнуть злокозненную ложь и выяснить отношения, и опять будто произошла драка, а Шуза Жеребятникова — по рубцу! глухо! — арестовала уголовка в гнезде валютчиков и наркоманов. Теперь же, когда Ого вернулся и сейчас, стоя в толпе друзей с пирогом в одной руке и с водкой в другой, рассказывал о Париже и Нью-Йорке, вся эта бредовина в обратном порядке начинала испаряться и восстанавливалось первоначальное — веселое и дерзостное — братство неофициальной фотографии.

Макс громогласно, стараясь, чтобы побольше народу слышало, рассказывал о таинственном появлении в Нью-Йорке одного из экземпляров «Скажи изюм!». Чудеса, да и только — узнаю из третьих рук, что два фотографических левиафана, издательства «Фараон» и «Фонтан», уже дерутся за право первого издания. Еду в «Фонтан», выбегают навстречу с распростертыми! В совете директоров на столе, величиной с подводную лодку, лежит наша скромная коллекция, раскрытая как раз на Венечкиных сортирных снимках. Позвольте, говорю, джентльмены, откуда, при каких обстоятельствах? Господин Огородников, отвечают капиталисты, неужели вы думаете, что в наше время возможно удержание выдающегося произведения искусства в национальных границах? И вот могучий «Фонтан» делает нам предложение: массовое издание на десяти языках, включая португальский. Вы понимаете, господа, что означает последнее? Бразилия, господа, страна XXI столетия, в числе покупателей!

— Бразилия! — вскричали «новофокусники» в удивительном возбуждении. Конечности сами по себе заходили в ритме самбы. Начавшись на веранде, самба быстро распространилась по всей даче. Гости стучали каблуками и дергали задками, и, хотя у некоторых самба смахивала на фрейлахс, в целом получалось зажигательно. Даже снисходительно улыбавшийся Шуз Жеребятников зашевелил лакированными штиблетами, ну, а потом уж, по-блатному подняв неподвижное лицо, дунул во всю богатырскую мощь — эх, Бразилия!

— Ну, а русское наше, первое издание мы у себя в Белокаменной выпустим! Правильно, господа? — прокричал в вихре самбы Огородников.

— А как? А как? — отстукивали самбисты.

— А очень просто! Стукачей здесь нет?

— По рубцу! Глухо! — отщелкивал Шуз. — Откуда здесь стукачам взяться?! Одичал ты на Западе, Макс! — Сам-то он прекрасно понимал, что именно для стукачей и разыгрывается сейчас вся эта самба.

— Вот вы, конечно, не стукач, сударь? — спросил Огородников у танцующего рядом молодого человека в норвежском свитере с оленями.

— Да это же Вадим Раскладушкин, наш новый друг, молодой фотограф! — крикнул подскочивший сбоку Олежа Охот-

ников. С некоторым смущением он пошевеливал рыжею бородою, слегка ухал и выкидывал презанятнейшие коленца.

Самбообразная толпа стала приобретать внутренний единый ритм. Масса ритмично смещалась от стены к стене и обратно в движениях, похожих на смесь сиртаки и камаринского, но все-таки с отчетливым адресом к огромной португалоязычной тропической державе.

— Мне очень жаль, что раньше с вами не удалось познакомиться, — почему-то сказал Макс Огородников Вадиму Ракладушкину.

— А я очень рад, что это наконец случилось! — с чудной улыбкой ответил начинающий артист-фотограф.

Несколько человек по ходу танца ухватили со столов бутылки шампанского и теперь держали их над головами. Господа изюмовцы, устроим для прессы завтрак с шампанским и объявим самоделку первым русским изданием! Ура, отличная идея! Завтрак с шампанским и калачами! Венечка Пробкин отчебучивал возле хозяйкиной сестренки, уже и руку ей положил на талию. Какое лицо у девушки надменное, значит, хочет. А потом издательству «Софот» предложим — издавайте, пожалуйста! Пожалуйста, издавайте, все открыто, пьяных нет! Ого, Ого! Браво, браво! А цензуре — позорный конец! Конец ей! Позор! Достаточно над фотографами издевались! Мы вам не писатели! Хлопнуло сразу несколько пробок. Да здравствует дача Марксытниковых! Да здравствует богатство! На свете нет бразилистей советских калачей! Такое изобилие шпиков и стукачей! И все ж живет фамилия, плюет на стукачей, морозная бразилия, источник калачей!

Как вдруг музыка смолкла. А была ли музыка? Во всяком случае, открылась дверь и наступила пауза. На пороге, развернув за плечами ночное подмосковное небо с соснами, звездой и пролетающим самолетом, стояла красавица Анастасия.

III

Да как же вы умудрились так похорошеть, сударыня? Ах, я вовсе не к вам приехала, Огородников, просто Шуз позвонил, что на даче собралась компашка. А я как раз вас и ждал, сударыня,

и свой приезд не открыл вам просто для сюрприза. Ах, кабы знала, не явилась бы я, в полной была уверенности, что вы, Огородников, за границей, вот и ехала сюда в расчете на очередное приключение. На приключение, сударыня? Да, Огородников, на очередное. А я для вас, сударыня, не приключение? Увы, Огородников, вы просто мой формальный супруг, а никакое не приключение. Сударыня! Ах, с некоторых пор, Огородников, я живу в сфере мирового приключения, в меня влюблен заоблачный литовец, есть друзья и за границей, да я уже и приобрела путевку в Болгарию на июль. Пардон, сударыня, в Болгарии и не пахнет приключением. Вы просто не в курсе современной приключенческой ситуации: ведь Болгария — безнизовая курортная держава, там встречаются представители разных миров. А ваше приключение, сударыня, относится ко второму или третьему миру? К первому, к первому миру, бедняга Огородников. Держу пари, сударыня, что знаю его имя. Ха-ха-ха, Огородников, назовите и ошибетесь!

— Ох, как я по тебе соскучился, Настя, — сказал он, простирая руки вдоль подушек, приглашая ее занять любимое положение — щекой на плечо.

— Да все вы врете, — счастливо смеялась она, все еще ползая по нему пальцами и губами. — Наверное, ни разу меня и не вспомнили?

— Ни разу, дорогая, — вздохнул он.

— Немало, наверное, потешились за границей? — с некоторым замиранием — хоть бы соврал! — спросила она и получила естественный ответ:

— Грешен, было дело.

— С дурными женщинами?

— Хорошая женщина только ты, — вздохнул он.

— Зачем же вернулись, если ни разу не вспомнили?

— Как зачем? — удивился он. — Альбом надо издать! —

Потом, заметив ее огорчение и мгновенное уныние, добавил: — Конечно, не только это. Знаешь, меня тянуло к главной своей модели, то есть, прости меня, к России. Если эта территория принадлежит не только «фишкам», «лишкам» и «гэпэушкам», то ее кто-то должен населять, не так ли? Кроме того, еще что-то меня сюда тянуло, нечто совсем забытое, такая тяга была по утрам вот здесь и здесь... и вот здесь еще...

— А здесь-то почему? — спросила она.

— Шут его знает, но тянуло сильно.

Она высвободилась, откатилась к краю просторного ложа, села там и попала в свет уличного фонаря, проникающий в студию из Хлебного переуллка. Хе-хе, подумал он, у нее вдруг обнаружился контур негритянской танцовщицы.

— Мне кажется, — сказала она, — что эта игра с альбомом может переломать всю нашу жизнь.

— А мне кажется, что «фишку» гораздо больше бесит моя собственная работа «Щепки» — помнишь, я тебе показывал? Видишь ли, когда я снимал сюжеты для «Щепок», произошла странная история — на некоторых снимках стали проступать черты какого-то сталинского ублюдка. Какой-то чекистский шишка с больной совестью узнал себя сквозь весь этот срачный сюрреализм и взбесился. Они меня еще в мае предупреждали против «Щепок» и сейчас не жалеют усилий... Может быть, и всю нашу «коллективку» они использовать хотят для того, чтобы припереть меня к стенке...

Контур негритянской танцовщицы протянул руку, взял сигарету и зажег огонек. Настя курить стала! В самом деле началась международная авантюра.

— Мне кажется, ты себя переоцениваешь, а их недооцениваешь, — проговорила она.

— Ты думаешь? Возможно. Или наоборот, а? Впрочем, я даже думать об этом не хочу. Ты понимаешь? Я вернулся, чтобы быть свободным человеком в своей стране. Ты понимаешь?

Он вылез из постели и пошлепал на кухню за бутылкой «Байкала». По дороге чуть отодвинул штору и посмотрел на улицу. Разгоралась оттепель, по всему переулку стояли черные лужи. На углу дежурила «Волга» с антенной радиотелефона. Два амбалистых мужика курили рядом с машиной и посматривали на его окна.

IV

Фотий Феклович Клезмцов неожиданно и весьма настоятельно был приглашен на совещание в ГФИ, в оперативную группу генерала Планшина. Держался он здесь отчужденно, слов-

но эксперт со стороны, подчеркивал дистанцию. У Сканщина Владимира эта поза Кочерги восторга не вызывала. Вот говно, всех бывших товарищей готов заложить, а сидит, как Салтыков-Щедрин. Да я тебя, Кочерга, так расколю, что Полинка даже с говноискателем не соберет. Все твои анонимки на Бульжника и на товарища Саурого у меня в сейфе.

На поверхности, ясное дело, капитан Сканщин хранил значительное молчание и вместе с товарищами потягивал кофе. С недавнего времени генерал завел обыкновение на оперативках сервировать кофе, как это делают «коллеги» в ЦРУ. В последние недели после возвращения Огородникова генерал будто помолодел, глаза сверкали, голос гремел, сапожки поскрипывали. Ему нравилось работать по проекту «Измум». Впервые на его памяти творческие работники, такие, в общем-то, трусы и засранцы, оказались способны на нечто серьезное, на антигосударственную конспирацию. Есть хотя бы где приложить сорокалетний опыт и тактическое чутье.

— Вот еще новость из оперативных сводок, весьма любопытная. Огородников вооружен.

— Вооружен и очень опасен! — Слязгин Николай тут же выхохотнул название популярного фильма,

— Смех не очень-то уместен, Николай Ильич, — сухо заметил генерал.

Экая чушь, подумал Клезмцов, Макс — вооружен. Какой чепухой этот Планшин занимается. Виду, однако, «теоретик» не подал, только пальцы переплел на животе. Капитан Сканщин оказался менее выдержанным. Что-то не верится, заерзал он. У меня вопрос, Валерьян Кузьмич. Сводки-то надежные? Генерал вместо ответа передал Владимиру пачку снимков. «Умный и хитрый враг» с пистолетом в руке, улыбается.

— Может, газовый? — спросил Сканщин и подумал: «Какая улыбка у Максима Петровича в целом заразительная!»

— Боевой, — сказал бывший «голубой берет» капитан Гемберджи, и все сотрудники подтвердили — Люшаев, Крость, Чирдяев, Плюбышев, Бешбашин, Слязгин Николай.

— У меня есть вопрос, — вдруг заговорил Клезмцов. — Почему здесь один товарищ, вот этот, крайний слева, с каким-то вполне очевидным сомнением относится к информации Валерьяна Кузьмича?

— Какой я вам «крайний слева», — вскинулся Сканщин. — Имени моего не знаете?

Генерал тонко улыбнулся.

— У нас так заведено, Фотий Феклович. На оперативках мы задаем друг другу противоречивые вопросы. Эта методика себя оправдала.

— Вы нас всех должны знать по имени и отчеству! — продолжал горячиться Вова Сканщин. — У нас все вас знают как Кочергу!

— Ну зачем же такая формальность? — мягко урезонил любимца генерал, а сам подумал: молодец Вовка, хорошо стружку снимает с этого гуся. — Нам надо локоть друг друга чувствовать в борьбе с сильным и хитрым врагом. Верно, Фотик?

Ехидина, подумал Клезмцов, дает понять, что все помнит. Ведь «Фотиком»-то меня как раз враг и называл... Он натянуто улыбнулся. Да-да, конечно, локоть нужно чувствовать.

Генерал отошел к окну. Временами это нужно — сделать паузу и отойти к окну, окинуть взглядом то, защите чего посвящена жизнь: бронзовую фигуру, одним лишь своим присутствием доказывающую, что не все поляки бездельники и предатели, и рядом по праву возвышающийся дворец детского счастья с огромной елкой у фасада. Где такие еще ели произрастают, кроме матушки-России? Просветляется лицо. Теперь назад — к делу!

Еще одно важное сообщение, товарищи. Огородников, Жеребятников, Герман, Древесный, Пробкин и Охотников решили официально объявить о выходе альбома на так называемом «завтраке с шампанским». Конечно, будет приглашена буржуазная пресса, а также в порядке издевательства ТАСС, «Новости», «Фогаз» и «Честное слово».

— А эти-то сведения откуда, Валерьян Кузьмич? — хмуровато осведомился Сканщин. — Я вчера «сардины» расшифровывал из-под машин и ничего такого не нашел.

Тут уже несколько человек переглянулись — что-то дурит Вова, но генерал и на этот раз улыбнулся воспитаннику отеческой улыбкой. Хороший вопрос, Володя, а теперь опустите, пожалуйста, синие шторы, ну, а капитана Люшаева попросим заняться киноаппаратурой.

На экране появился знакомый каждому кабак «Росфото». Сотрудники сдержанно заулыбались: немало здесь было «столичных» радостей под фирменную селяночку «Зяблик», а вот и Маргарита очаровательная шествует с подносом, вот и очаровательная Нинеточка пролетает с «финальным» графинчиком. Хотя и прибавляет в весе комсомольский актив, а все-таки еще глядится отлично. Ну, вот и вражья гоп-компания собирается в излюбленном углу, где с докатастрофных еще, как они выражаются, времен, то есть еще со времен капиталистического рабства, стоит величественный Потапыч с кольцом в носу. Как всегда, мало кушает, бледный, с двухъярусными подглазиями Святослав Герман, рядом с ним главная контра Огород салат-провансаль рубает, приближается гордый красавец Андрюшка Древесникер, подгребают, один с недогреба, другой с перегреба, Олеха и Венька, а вот и Жеребец, обхватив Маргариту за кругленькую талью, делает заказ: литр водяры тащи, птичка! Эх, живут же люди!

Включилась фонограмма. Собравшиеся, никого не стесняясь, обсуждали подрывной проект «завтрака с шампанским» в пельменной «Континент» на Соколе. Что ж, победнее заведения не нашли? Да это тоже в порядке провокации, и потом переключка с общеизвестной сволочью из Парижа. Бешбашин, позаботься, дорогой, о дальнейшем переименовании пельменной.

В целом обедали негодяи с аппетитом, послали, конечно, и третьей бутылкой. И мы бы так сделали. Жеребец между делом тиснул антисоветский анекдот. Брежнев умер, но тело его живет. Это как понимать, товарищ генерал? — спросил Ваня Гемберджи. Генерал пожал плечами. Я потом объясню, пообещал Вова Сканцин.

Огород предложил прикинуть список приглашенных. Начали называть имена. Офицеры переглядывались. Все сливки артистической и научной Москвы ожидали в пельменной, даже и лауреаты, даже и члены нашей родной кп. Вот, значит, сколько потенциального ревизионизма скопилось! Тут вдруг генерал хлопнул ладонью по столу. А теперь внимание! Зашептелились губы Андрея Евгеньевича Древесного, с отставанием пошел его глуховатый голос. А зачем это тебе все надо, (Ого? Здесь мы сделали небольшой монтаж, сказал генерал.

Стоп-кадр. Лицо Деревесного, чуть-чуть искривившиеся губы под белогвардейскими усиками. А зачем это тебе все надо, Ого?

Затем последовала вспышка мата. Нецензурными выражениями увлекаются, а еще популярные фотографии. Наконец снова прорвался Андрей Деревесный. Вы меня неправильно поняли, чуваки! Я не против идеи! Я на идее торчу не меньше других! Просто я подумал — не слишком ли, не дадут ли нам за этот «завтрак» основательно по жопе, не разбудим ли бегемота? Тянется через стол с рюмкой к Огородникову. Макс, нам ли с тобой?.. Снова все кричат разом. Последняя фраза Жеребятникова. Ударим по рубцу! Глухо! А что это означает? — спрашивает любознательный Ваня Гемберджи. Я тебе позже объясню, обещает Вова Сканшин. Приказ генерала — зажечь свет!

Фотий Феклович прикидывал, откуда сделана съемка. Могли из парткома через *ту* дырку в дверях, а может быть, и из туалета. На днях там как раз висела табличка «ремонт».

— А у меня вот назрел еще один вопрос, — проговорил Сканшин. — Почему эти друзья ничего не скрывают?

Планшин прищурился через очки. Вопрос интересный. Давайте обсудим. Прошу высказываться. Майор Крость тут сказал, что, по его мнению, «фокусники» все же основательно темнят. До сих пор, например, непонятно, как альбом ушел на Запад. Коля Слязгин в этом месте гмыкнул. Да сам Огород и вывез, пока Вова наш... гм... театрами и уик-эндами увлекался. Присутствующие дружелюбно посмеялись, Валера Люшаев хлопнул «театрала» по широкой спине. Кончайте, парни, напареули-по-гудям, отмахивался Володя, я лично у Зафалонцева в Берлине интересовался. С одной только сумкой кожаной Максим прилетел, туда альбом не влезет. А слайды разве не влезут? — спросил Плюбышев. Поправка по ходу заседания, вмешался Крость. По последним сведениям, у Поллака в сейфе — оригинал.

Этот Вовка Сканшин явно попал под обаяние Макса, думал тем временем Фотий Феклович. Надо сигнализировать, но, уж конечно, не Планшину...

— Ну что ж, друзья, плодотворная у нас сегодня разгорелась дискуссия, — стал подводить итоги генерал. — Я лично считаю, что под прикрытием открытости против нас ведется

сложная и хитрая работа. Ближайшие дни многое прояснят. Теперь, как в опере поется, — итак, мы начинаем. Вступительная партия за вами, дорогой Фотий Феклович!

— За мной?! — вздрогнул персек и от неожиданности выплюнул оговорку. — За что?! То есть я хотел сказать почему?

Генерал Планцин улыбнулся, совсем уже довольный итогами совещания. Оговорка многое проясняла.

— Как это *за что*, Фотик? За то, мой друг, что вы являетесь вождем московских фотографов. Не тайной же полиции начинать кампанию за идейную чистоту творческого союза! Ведь формально-то эти друзья ничего не нарушили.

— Позвольте, как это не нарушили? За границу забросили альбом! — возвысил голос растерянный Клезмцов.

— А формально ведь и это не возбраняется, — улыбнулся генерал. — Свобода творчества, Фотий Феклович, помните, дорогой?

Все вокруг смотрят теперь на Кочергу, циничные, все-сильные. Что ж, персек поднялся. Принимаю удар. Для меня, Валерьян Кузьмич, интересы нашей революции превыше всего. От сложных задач нашей идеологической борьбы я никогда не отказывался. Засим, в упор, в глаза генералу, пусть знает, что там, где для них цинизм, там — наша священная вера. Партия, Валерьян Кузьмич, как всегда, направляет все наши усилия, а поэтому ваши предложения, товарищ генерал-майор, — легчайший нажим на последнем слове, — я рассматриваю как исходную точку для консультаций с партией, не так ли?

— Согласовано, мой дорогой, — небрежно сказал генерал.

— Даже и на уровне Фихаила Мардеевича? — поинтересовался Клезмцов и сразу понял, что попал в точку: Планцин не ожидал, что он «выходит» на Фихаила Мардеевича. Еще посмотрим, «фишка» жуева, кто будет на коне в этой кампании! Небось уже вторую звезду примеряешь на плечо? Посмотрим!

Ах ты, шаландавошка позорная, сумбурно подумал в ответ генерал-майор, все как-то оказалось подгажено упоминанием Фихаила Мардеевича, и в этом гадковатом внутреннем сумбуре он закрыл совещание, попросив Володю задержаться.

Володя подозревал, что генерал сейчас заговорит с ним о самом отвратном аспекте всей этой «тригонометрии». Так и случилось. Как там наши «щепочки», поинтересовался Планшин, как на этом фронте? На этом фронте без перемен, выжал из себя Володя, то есть, в общем и целом, все в порядке. Генерал заглянул капитану в лицо. Я вижу, тебе тут как-то жмет? Честно говоря, есть малость, признался Володя. Все ш таки, Валерьян Кузьмич, «Изюм»-то — чистая групповщина, тут меры нужны, понятное дело, а «Шепки»-то все ш таки индивидуально самовыражение... Генерал обнял ученика правой рукою и с удовольствием помял мускулистое плечо. Гони такие мысли, Владимир, по-солдатски гони их прочь. Свобода творчества — не самое главное для человечества. Лес рубят — щепки, в самом деле, летят. Вова хмякнул. Остроумно, конечно. Не сильно остроумно, но все же кое-как смешно...

V

Огородниковская квартира в кооперативе пустовала уже больше двух месяцев, однако первое, что он услышал, переступив порог, был шум льющейся на кухне воды. Неужели не завернул краны два месяца назад? Мысль эта почему-то его ужаснула. Два месяца вода ровно вытекает из крана и ровно уходит в канализацию — что за бессмысленный поток! Все уничтожено! Глухо бухнуло сердце, свалилось в ноги, будто лошадь, рванулось встать и снова бухнулось. Пронзительный свинцовый вкус во рту. Некий мощный насос накачивает внутрь ошеломляющую пустоту. Не пошевелить ни рукой, ни ногой. Кажется, умираю, подумал Ого. Глупо и ужасно то, что вода ни на минуту не остановится, ей-то что! Боже мой, да неужели же и впрямь умираю? В зеркале перед ним было отражение, но ни разглядеть, ни оценить его он не мог, потому что не узнавал себя, хотя и понимал последними усилиями, что не узнает самого себя. Боже, шептала бедная душа последний и неведомый адрес, Боже, Боже...

— Что случилось? — Из кухни словно на горных лыжах вынеслась Анастасия. — Мою посуду, ничего не слышу, вдруг что-то грохается! Ах, это вы, милейший! Пьяный, что ли?

Он сидел на полу, прислонившись спиной к зеркалу, и смотрел на нее. Мощный насос теперь с прежней деловитостью вытягивал пустоту. Тело возвращалось. Свинец растворялся. Дружелюбно бурлил водопад по соседству. Я бы, Настя, умер тут без тебя. Только тогда глаза ее стали в страхе расширяться. Что вы бормочете? Я не слышу ничего! Придуриваетесь или вам в самом деле плохо?

Он попытался встать, но сразу не смог. Презабавнейшее дрожание мышц. Хелло, чувиха, уж не Паркинсонова ли болезнь у твоего партнера по танцам? Макс, милый, у тебя губы шевелятся, а я не слышу ни слова! Вызываю «неотложку»! Пожалуйста, Максик, не умирай! Не нужно «неотложки», дорогая. Мое астральное тело в настоящий момент бодро воссоединяется со своей физической формой. Вот так мы, наконец, перешли на «ты», дура Настя... Ой, я, кажется, тебя теперь слышу. Ты сказал «формой» или «дурой»?.. Тут он встал и ухватился за зеркало. Именно «формой», «дура»! Творительным падежом благородного слова, гребись оно в нос! Она подсунула ему свое плечо под мышку и помогла добраться до тахты.

Весь вечер они сидели на тахте, обнявшись, как дети. Света не зажигали. Мерцал лишь экран телевизора с талантливым актером в мерзейшей революционной роли. Пили чай, с трудом пережевывая окаменевший мармелад. Полыхали друг ко другу нежностью, но не расстегивали штанов, не притрагивались к сексу. Как дети и заснули — в обнимку.

Утром их разбудил звонок Клезмцова.

— Мне бы Максима Петровича, — в партийном стиле сказал персек.

— Он ваш, — спросонья пробормотал Огородников.

— Это как понимать? — несколько опешил вождь.

— Фотик, что ли? — узнал голос Максим.

— Ну, если угодно Фотик, но лучше все-таки Фотий, — сухо сказал персек.

— А я сначала подумал, что опять из «желез» ранние птички, — зевнул Ого.

— Все шутишь, а дело серьезное. — В самом деле из трубки пошли весьма серьезные модуляции. — Покалякать надоть, Максим Петрович. — Отлично в таких разговорах действует

стиль «деревенской фотографии». — Общественность тут у нас взбудоражена. Слухи какие-то пошли, какой-то «Урюк»... Подпольщиной, что ли, занялись, мужчины?

— Хороша подпольщина, — хмыкнул Ого. — Любой фотарь в Москве знает.

Клезмцов усмехнулся в чистом стиле НКВД-37.

— Хорошо бы и секретариату в таком случае что-нибудь узнать. Машину за тобой послать?

— Ой, что вы, что вы! — как бы ужаснулся Максим. — Я лучше пешком дойду.

— Итак, в два часа в мой офис.

— Майофис? — продолжал ерничать Ого с одной лишь целью — преодолеть омерзительную слабость, наползающую снизу. — У вас Майофис появился? Вот так новость!

Несколько секунд после отбоя он еще держал в руке трубку и думал. Можно было бы их просто послать подальше. Ведь и так все ясно — после «Щепок» и после Берлина мои игры с ними кончились. Эх, был бы один, послал бы сразу Фотика, задиссидентствовал бы вкрутую... Однако за «колхоз» решать не могу... Он положил трубку и повернулся к Анастасии. Вообрази, Майофис в секретариате! Началась либерализация!

Она внимательно на него смотрела. Как ты себя чувствуешь, Макс?

— Как яйцо!

— То есть хорошо?

Ей-ей, не хуже яйца! Он спрыгнул с тахты. В глазах поплыли светящиеся мушки. Вытащил старые вельветовые штаны: надо попохабнее облачиться для визита в секретариат.

Едва они сели завтракать, как начались тревожные звонки. Охотникова, Пробкина, Древесного, Германа, Чавчавадзе уже вызвали тоже. Ну что ж, кажется, началось, с притворным спокойствием произнес Древесный. Предполагаю, что будут спрашивать, как ушло за бугор. Огородников поразилась. Кто ушло за бугор? Из нас никто не ушло, не ушло за бугор! Настя вздохнула. Лопнула моя экспедиция на Памир. Это почему же? Я тебя одного сейчас не оставлю.

— Есть женщины в русских селеньях! — завопил он.

I

В Госфотопре в тот день, как раз в понедельник, была получка, и двое молодых-неженатых, Слязгин и Сканщин, позволили себе в обеденный перерыв отдохнуть на Пушечной, в Центральном доме работников искусств, в буфете. Взяли сразу по двести, потом еще по сотке, потом тормознули — боевая хорошая доза. Галина Ивановна с понимающей улыбкой принесла офицерам по порции заливной пототении — нельзя пренебрегать закуской.

Капитаны поначалу заговорили, конечно, о хоккее. Наша ледовая дружина вчера вломила канадцам за милую душу, только попердывали сраные суперзвезды! Знай русский характер! Рассчитались, можно сказать, за Лейк-Плесид, где непростительно была уронена честь русского флага.

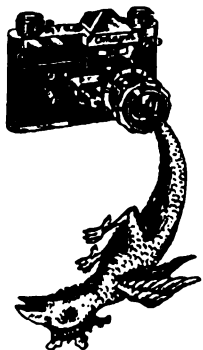
— А в частности, еще хорошо, что не бежал никто из наших, — заметил Владимир Сканщин.

Слязгин Николай тут даже рот раскрыл.

— А ты думаешь, могут?

— А почему бы нет? — Володя задумчиво поправил причесочку. — Я так, для себя, Жлуктова вычислил, этот может подорвать — генеральский сынок.

Простодушный Слязгин даже и не подозревал, что Сканщин Владимир в этот момент ставит на нем тонкий психологический тест. Интересно, интересно, Вова, ты про Жлуктова мыслишь! Ну, что ты, Коля, это ж просто интуиция. Слязгин кофию хлебнул и с раздражением отодвинул чашку. Дурацкий напиток, и стоит почти как водка. Волчья морда капи-



тана стала в этот момент напоминать что-то доисторическое. Какая же поганая харя, подумал в очередной раз Вова Сканщин. Ну как можно в «железы» отбирать такие внешности.

— Вот есть у меня идея, Вова, — сказал Слязгин, — хочу с ей на генерала выттить...

Сканщин поморщился от неправильной речи. Не работают люди над собой, вот что страшно. Ну, какая еще там у тебя идея, Николай?

— Да вот, думаю... может, физику к Огороду твоему применить?

Он очень внимательно смотрел на Сканщина, и тому показалось, что, может быть, как раз на нем сейчас проводится сложный психологический тест. Тогда прищурился Владимир. Физику, говоришь? Хоть и казалась ему сама идея физического насилия над выдающимся художником чудовищной, а все-таки решил от теста не уклоняться, не такой характер.

— Ну, в общем, придавить слегка, — засмеялся Слязгин. — Если генерал даст добро, я его, поверь, расколю в два счета. Вот тебе, Вова, кратенько, стратегия. Огород меня нигде не видал, кроме Берлина, да и там мельком...

— Мельком, — поправил товарища Сканщин.

— Спасибо, Вова за поправку. Запомню. Ну, в общем, усики наклею, надену темные очки...

— Побереги себя, Николай, — мягко сказал тут Сканщин. — Неужели тебе пули захотелось?

Слязгин даже рот открыл. Да как же?.. Вова!.. Неужто на «железы» руку поднимет?.. Все ж в СССР же родился ж, а?.. Вова, ты думаешь, шмальнет Огород?

— Не сомневаюсь. — Сканщин положил руку товарищу на плечо. — Как твою рожу в очках увидит, Слязгин, так и шмальнет!

Два фотоведа в штатском допивали свой кофе, глядя друг другу в глаза нехорошими взглядами.

II

В вестибюле «Росфото» столкнулись двое «О» — Огородников и Охотников.

Последний только что выскочил из секретариата, где его обрабатывали трое «К» — Клезмцов, Куненко и Кобяев. Требовали, конечно, сведений, как «Изюм» на Запад ушел. Угрожали — пойдешь на вернисаж в пельменную «Континент», из Союза фотографов вылетишь! Удивлялись — как это поморский сын в еврейской лавочке оказался. Сулили — приноси Куненке свое ненапечатанное, напечатаем. Олеха тогда поинтересовался: а какое отношение товарищ Куненко имеет к фотографии? Ну, идите, Охотников, сказали ему тогда. Кажется, мы вас недооценивали.

Поднимаясь в лифте, Огородников еще раз проверил в зеркале свой туалет. Все паршивое, старое и затертое, и только лишь длиннейший трехцветнейший, как докатастрофный русский флаг, шарф окружает небритую шею и ниспадает двумя концами в область промежности.

Все три секретарши, Ниночка, Симочка и Алевтина Макаровна, бросили стучать на машинках, когда он вошел в приемную. Ой, Макс, ну как же ты одет, ужаснулась Ниночка. Одет гармонично, как в Европе, возразила Симочка. Алевтина Макаровна с шиком закурила и предложила присесть. Дамы помнили еще либеральные времена, сочувствовали тем, кого все еще по старой привычке называли «молодыми», и, конечно, презирали всех этих куненко и кобяевых как людей «стопроцентно нетворческих».

Ровно в два часа от Клезмцова выскочил Куненко и, не глядя на Огородникова, но покрываясь красными пятнами, прошел к дверям своего кабинета.

— Куненко, — сказал ему вслед Огородников. — Не надо путать вернисаж с вермишелью.

Ответсек застыл в дверях. Услышал, вот и прекрасно. Пусть знают ублюдки, как мы презираем их, пожравших нашу родину, засравших уже и соседние родины, забрасывающих уже свое говно и в отдаленные родины!

— От Мешмурашина приносили экспликацию? — спросил Куненко, не оборачиваясь.

— Куненко путает экспликацию с канализацией, — свистящим шепотом произнес Огородников.

Ниночка и Симочка прыснули, Алевтина Макаровна опоместила начальство, что от Мешмурашина еще не приходили, дверь закрылась.

Недавно назначенный в союз Куненко являл собой законченный портрет «охотнорядца»: наглый и сумрачный, красно-рожий жулик. Не исключено, что и происходил-то от мясных рядов, этот нынешний кандидат общественных наук, недавно защитивший диссертацию на тему «Партийное руководство театральным процессом». Хорошо работалось Куненке с театрами в Краснопресненском районе столицы, да вот случился «прокол». Отоварился он в театре имени Менжинского лесоматериалом за счет реквизита, а там на премьере «Кремлевских курантов» рухнуло... ну... то самое, что не должно никогда... Тогда перебросили Куненку к фотоаппаратам. Сначала скучал театровед, а потом, как открылись перед ним щедрые глубины Фотофонда, повеселел. Стала созревать в башке тема докторской диссертации. Вот и жизнь, как всегда, материальчик подбирает, боевая началась партийная работа по разгрому провокационной группировки «Скажи изюм!».

Едва Куненко исчез, как открылась дверь главного кабинета и появился слегка усталый от государственных-дел-поважнее Фотий Феклович Клезмцов. Пригласил мирно: заходи, Максим.

Никого, кроме них, в кабинете не было, если не считать портретов Брежнева и Андропова. Как живешь, вообще-то, Макс? — рутинным тоном поинтересовался Клезмцов, усаживаясь за свой стол. Усевшись, странно как-то сполз правым плечом вниз, будто в штанах наводил порядок. Говорят, ты недавно из поездки вернулся? Между прочим, Абракадин этот, посол в ГДР, прямо взбесился, на самый высокий уровень полез по твоей душе. Правая рука пересека все еще возилась под столом. Ох, ретрограды! Нелегко нам с ними... Что-то все-таки не получалось под столом, и Клезмцов по неопытности постыдно все это обнаруживал.

Не стучась, вошел Куненко, красных пятен на морде еще прибавилось. Устремился к столу. Извини, Фотий Феклович, с утра тут без тебя работал, одну штуку забыл... Не уточняя, запустил руку под стол.

— Пистолет, наверное, забыли, Куненко? — любезно спросил Огородников.

Начальники захохотали, выставив рожи вперед, правые руки под столом. Остроумно про пистолет, очень ост-

роумно! Убьют не задумываясь, подумал Огородников. Нелимитированная жестокость. Лицо бывшего товарища ничем не отличается от уголовной ряшки. Раздвоение вражеского лица.

Наконец возня закончилась, Куненко ушел, и Клезмцов развернулся в кресле, чтобы начать беседу. Тон теперь уже пошел совсем другой, протокольный.

— Расскажите-ка, Максим Петрович, что за подпольное издание вы затеяли?

— Ого! — сказал Ого. — Начинается свистопляска!

— Выбирайте выражения! — рявкнул вождь.

— Это я и делаю.

— Сколько экземпляров «Скажи изюм!» вы изготовили?

Огородников молча показал две пятерни. Клезмцов последовательно сощурился.

— А Охотников сказал, что двенадцать.

Огородников пожал плечами. Клезмцов склонился, странно как-то засвистел, будто самолет.

— А сколько?.. — Нарастающий реактивный свист. — Сколько за границу отправили?! — Бум, переход звукового порога.

Огородников сложил два пальца и показал ноль.

— Ну что это за детская игра? — хохотнул тут Фотий Феклович. — Ведь ты же хитер, силен, плетешь сложный рисунок... Зря дурачишься. Все, все, Максим Петрович, выяснится. Все тайное станет явным.

— Хорошо, что ты это понимаешь, — сказал Огородников.

Внутри у Фотия Фекловича тут что-то екнуло. Он так смотрит на меня, будто знает про Кочергу. Неужели? Неприятная эта мысль сбила с нужного тона. Пошло нечто другое, уже как бы не от «фишки», а от СФ, то есть вроде бы коллегияльное, хоть и с иронией.

— Ну и каковы же у гениев планы?

— План уже выполнен, — сказал Огородников. — Первый в истории нецензурированный фотоальбом издан.

— Ага-ага, — задумчиво покивал Клезмцов. — Значит, историей озабочены? Ну а массовое издание где пойдет — в «Фонтане» или в «Фараоне»?

— Лучше бы всего в издательстве «Советский фотограф», — сказал Максим. — Сними трубочку, позвони. Пусть издадут хоть малым тиражом, и делу конец. Конец идеологической диверсии.

— Неплохая идея, Макс. — Клезмцов был теперь осторожен, будто боялся спугнуть зайца. — Только о чем звонить-то? Я ведь еще ничего и не видел. Вот принесите альбом в секретариат, мы тут и разберемся, и обсудим, может, вы действительно шедевр создали... Ташите! У нас в секретариате сейчас ретроградов нет.

— Хорошо, — сказал Огородников. — Притащим.

Клезмцов от неожиданной покладистости злодея даже растерялся. Вот так и принесете? Огородников мирно покивал. А почему же нет, если вы даже того экземпляра не видели, что у Михайлы Каледина был выкран. Персек тут пехнул, бухнул пухлым по столу. Да как ты смеешь?! На что намекаешь?! Огородников привстал с повернутой к персеку ладонью. Фотик, не волнуйся! Принесем вам «Изюм»!

— Все экземпляры принесете?

Огородников отрицательно покачал головой.

— Сколько же?

Огородников молча показал один палец.

— Один, значит? Скажи, один?

Огородников кивнул. Думаю, что наши авторы согласятся предоставить секретариату для ознакомления... Снова был экспонирован один указательный. Клезмцов от злости зашелся. Ты что, сказать не можешь? Огородников снова приподнялся в кресле и приблизил свой грешный указательный к секретарю. Я же ясно показываю. Клезмцов опять бухнул пухлым.

— Ты показываешь один, но не говоришь! Один, что ли? Скажи, да или нет?

— Или да, или нет? — спросил Огородников.

— Да! — сказал Клезмцов.

— В каком смысле? — спросил Огородников.

— Как в каком смысле? — спросил Клезмцов.

— Ну, если да, то... — экспонируется указательный, — а если нет, то... — демонстрируется колечко. — Я правильно понял?

Клезмцов встал и отошел к окну, похрустел там всем десятком своих пальцев. Ионеско тут решили устроить? С огнем играете, Огородников. Не получается у нас с вами разговора. Огородников, как бы перебарывая тошноту, пошел к выходу. Выключай магнитофон, такова была последняя фраза аудиенции.

Ниночка и Симочка, которые, конечно же, подслушивали, молча качались, раздув щеки, боясь взорваться от хохота. Алевтина Макаровна подкрашивала губы.

III

К концу дня в «охотниковщине» собрались все злоумышленники плюс жены и подруги плюс мужья и друзья Эммы, Стеллы и Агриппины, сопровождавшие злокозненных фотографинь. Возникла атмосфера вагона метро в час пик. На огонек заглянул и Вадим Раскладушкин. Его не без труда, но тоже втиснули.

В секретариат в тот день вызывали не менее десятка «изюмовцев». Сейчас все вызванные наперебой рассказывали о том, какими они оказались молодцами, а также о том, какие те оказались подлецы. Царило сильное возбуждение. Организовать толпу было невозможно. Максим и Шуз махнули рукой и взялись пить. Один лишь Древесный Андрей неожиданно оказался на высоте, а именно на стол взобрался для подведения итогов. Пока все не надрались, давайте суммируем требования секретариата. Первое — предоставить альбом на рассмотрение правлению и парткому. Дадим? Дадим! Сколько экземпляров? Все присутствующие подняли по пальцу. Второе — отменить вернисаж в пельменной «Континент». Какие будут предложения? Все присутствующие дружно продемонстрировали комбинацию из трех пальцев, в русском народе метко именуемую «кукишем». Вечер завершился культпоходом в Останкинский парк, где друзья самого молодого «изюмовца» Васюши Штурмина, беззаботные концептуалисты, устраивали в полночь «действие» под глубокомысленным названием «Высиживаем яйца».

IV

Почему же, однако, все фотографии, и даже главные заговорщики Макс и Шуз, так легко согласились сволочь (перенос удара в данном случае дает нам возможность, не выходя за пределы русского языка, удалиться от слова «сволочь») один экземпляр альбома в стан врага?

А почему бы и нет? — может последовать вопросительный ответ. Для того и сделан альбом, чтоб его смотрели, чтоб влиял на одичавшие в десятой пятилетке души в сторону их облагораживания. К тому же...

Как-то по приезде Огородникова стали вспоминать, где блуждают экземпляры. Ну, один у Раевских, другой у Панавых, третий у князя Вяземского, один вот как выдающееся произведение искусства не удалось удержать в национальных границах... считали-считали, получалось одиннадцать... А где же двенадцатый? Шуз Жеребятников наконец вспомнил — на чердаке у Мишки Дымшица валяется! Помните, дизайн ему заказывали в стиле «Мир искусства», а потом забыли, помните? Взялся за телефон. Михайла, это я, да, Шуз, гребена плать!

Далее последовала блистательная конспирация. Скажи, тот пирог, который я тебе давал пожевать, а потом сказал «не жуй», он у тебя цел? Не понимаешь? Какая же ты жопа непонятливая! Ну, альбом-то наш «Скажи изюм!», он у тебя рядом с твоим вонючим самоваром... Раскрыв рот, Жеребятников слушал Михайлу Каледина, потом бросил трубку и разразился потоком того, что в академических кругах именуется «коллоквиальной речью». Товарищи увели, как раз в ту ночь! Как же я не догадался! В ту ночь, фля, полную огня! По рубцу! Глухо!

Максим тогда и в беседе с Клезмцовым сунул мини-ловушку, и секретарь попался, вспыхнул, раскрыв сразу две почти очевидные истины.

Ну что ж, при таких обстоятельствах, когда одна «штука» пересекла национальные границы, а другую «штуку» товарищи уволокли в свое логово, чего же целочку ломать, почему же не предоставить еще одну «штуку» своим фотографическим секретаришкам? К тому же... а вдруг... странным образом жива была еще наивная идея... а вдруг наверху, ну, где-

нибудь там, кто-нибудь вот такой, в два обхвата, выскажется в том духе, что — але, мол, мужики, чего это мы жуяримся на собственную шерупу и почему бы нам не жуякнуть эту жуевину маленьким тиражом... и невероятное свершится: первое советское неподцензурное фотоиздание!

V

Между тем по секциям Союза фотографов, по издательствам и меж колонн знаменитого ресторана сквознячками полетели шепотки: что-то в Московском союзе начинается *серьезное*...

В аллеях поселка Проявилкино под водительством «либерала» с круглым оком шла, толкаясь локтями, прогуливающаяся после обеда компания фототворцов. Товарищи, товарищи, в союзе явно что-то происходит... Мне звонили из парткома, просили срочно... Удар по Максу Огородникову, не так ли?.. Как, вы ничего не слышали?.. А в «программе для полуночников»... Осторожно, братцы-кролики, приближается Крешутин...

Два серьезных советских человека, почитавших друг друга «большими мастерами», отделившись от компании, застряли меж ложно-классических колонн дома творчества. Послушай, старик, приближается буря. Славка Герман, Андрей, Макс, этот Шуз Жеребятников, еще куча людей с ними, выпускают подпольный журнал. Вообрази, среди них Георгий Автандилович... Э, я не думаю, старик, что так все серьезно. Это игра. В искусстве, старый, нельзя без игры. Андрюша Древесный и меня ведь приглашал в этот, как ты говоришь, журнал. Тащи, говорит, свои катушки, старик! Я как-то никакого значения этому не придавал... И правильно сделал, старик. Там грязное дело. Журнал уходит на Запад. В парткоме говорят, «железы» подняли хай и требуют... «Железы»? Ну, знаешь, старик, нынче не сталинские времена... Опять охота на ведьмаки? Хватит!.. Знаешь, старик, ты, кажется, что-то проспал... Я проспал? Это ты не просыпаешься... Ладно, ты этого не говорил, я этого не слышал, о'кей?

Они разошлись, но потом обернулись и подумали одновременно: вот уж двадцать лет у нас так все идет — старик да-

старик, а ведь еще несколько годков, и всякий юмор из этого обращения, увы, улетучится.

В «Росфото», в зале комплексных обедов, только и разговоров было что о таинственной кампании, начатой Московским секретариатом.

Секретарша Ниночка, тараща базедовые глазки, быстро-быстренько неслась по новостям, от нее, будто от камешка в пруду, расходились «хорошо информированные круги».

...Приходят сегодня двое. Интересные молодые люди. Разрешите представиться, мы из редакции альбома «Скажи изюм!». И кладут на стол, вообразите, девочки, тяжеленнейшую штуку, ну, не совру, восемь килограммов. Куненко тут же выскочил, красный, как помидор, вот Симочка не даст со-врать, и тянет, тянет этот альбом к себе, даже не поздоровался с теми, кто принес. Тогда один, высокий такой, в пенсне, девочки, со шнурком, мне кажется, я его уже видела на Октябрьских, говорит Куненке: давай расписку! Тот чуть не лопнул: расписку, кричит, захотели, хулиганы, провокаторы?! Никаких манер, ему в водопроводчики впору; я, девочки, как кандидат в члены партии, прямо скажу: такие — позорят! Тогда второй молодой человек, тоже очень интересный, стильно так, на «ты», говорит мне: пиши расписку — получена для ознакомления одна копия фотоальманаха «Скажи изюм!». Ну, нас просят — мы делаем, я тут же и отшлепала на бланке союза, и подпись — ответственный секретарь Куненко. Ну, тогда он и подписал.

Вступала Симочка, показывала в лицах и очень похоже, как стали сбегаться в секретариат разные деятели, ну, и, конечно, из «желез» известные всем персонажи и все с загадочными такими улыбками, будто венерологи. Фотий, тот который уже день с «вертушки» не слезает. Альбом держат в кабинете Куненко, впускают туда по одному членов правления и запирают снаружи каждого на десять минут. Интересно, как можно за десять минут ознакомиться с таким левиафаном?

Последний вопросительный знак, увы, относится к Симочкиным пробелам: всю жизнь она путала «фолиант» с «левиафаном».

Значит, все решения Двадцатого съезда выброшены коту под хвост? — басом тут спрашивала секретарша Бюро пропаганды советского фотоискусства Роза Александровна Барселон, и длинный пепел с ее сигареты падал в тарелку заливного языка.

Три последующих сцены имели место в том же самом здании щедрого кабака «Росфото», только в различных его ингерьерях, начиная от каминной залы с картиной Левитана «Над вечным покоем» и макетом подшефного ракетноносца «Ким Веселый» и кончая примыкающим к бару туалетом, который по странному совпадению пьющие люди фотоискусства тоже называли «Кимом Веселым».

В каминной под-над вечным собралось несколько неряшливых голов, так называемые «руситы», авторы бездарнейшего и влиятельнейшего фотожурнала «Огоньки Москвы». Склонялась голова к голове, будто обсуждая будущую «Хрустальную ночь», а не очередной скандалчик с декадентским гимом говном.

Вот мне в парткоме Жора Шелешов списочек дал, полюбуйтесь, братцы мои, на эту компанию. Фишер, Марксятников, Цукер, Шапиро, Лионель... Чуете, чем пахнет? А вот и Герман Общеизвестный... Ну, Славка-то Герман — русак, просто фамилия такая... Русак, говоришь? А мамаша? А бабка, палестинская купчиха?... Чужой, чужой... Однако, робятки, заходили-то у них — не придиришься: Огородников, Древесный, Охотников... Ими прикрываются. Щит... жалко, людей теряем... урок нам на будущее... Глянь, и чучмеки туда же — Камин-заде, Чавчавадзе... ну, *эти* всегда к тем тянутся, русского духа бояться... Относительно Огорода, милостивые государи, я бы еще покумекал. Подозрителен. Нос, уши. Папаша этот из цюрихской, женовской бражки... Нда-с, стоит проверить...

В ту же каминную залу вошли два друга — международники, неугомонные борцы за мир Аркаша Мехаморчик и Гена Шуневич. Запросто, по-свойски помахали «Заставе богатырской», но приблизиться не решились. Сели в углу, небрежно обмениваясь репликами. Все-таки не понимаю, придуривался Мехаморчик. Все-таки всегда как-то Макса держал за советского парня. Ну, пижон, ну, модернист, но... Оставь, Аркадий, ухмылялся Шуневич. Я его в Париже как-то встре-

тил, привет-привет, запиши, говорю, телефончик. Открыл Огоша бумажник, ну, я туда краем глаза заглянул, а там — франки, фунты, гринбэксы... и можешь себе представить, карточка American Express! Вот тебе и советский человек! Я сразу понял, что его уже перетянули. Печально, если это так, покачал головой Мехаморчик. Теряем людей.

Некоторое время прошло в молчании, в задумчивом покачивании, пальцы с перстнями скользили вдоль меню. Рыбное ассорти? Ну что ж, как всегда, рыбное ассорти. Увы, с «американским экспрессом» сравнения не выдерживают. Вот и теряем людей, теряем...

А говорят, что посол Абракадин, тот просто-напросто требует уголовного расследования. Ну, Абракадину лучше молчать. Помнишь его дочку? Еще бы не помнить! Спал, что ли, с ней? Ну, зачем так грубо? Сбежала! Перестань! Сбежала в Лондон с поляком! Каков мир!

Как хочется быть каким-то вот таким, в хемингуэвском стиле: убегать с поляком, стрелять львов, расплачиваться за рыбное ассорти по реальному курсу один к четырем. Почему у нас нет кредитных карточек «Русский почтовый»?

В общем, сгорел Абракадин синим огнем. Туда и дорога. Сволочь, каких мало. Своих не щадил.

Не скажи, что сгорел, Аркаша, не те сейчас времена, за родственников нынче не бьют. Возьми Октября Огородникова...

— А что Октябрь?

— Знаешь не хуже меня.

Два штатных провокатора Чушаев и Шелесин тем временем усердствовали вдоль коктейльной стойки. Налей, Степановна, налей и запиши. Вынимай, вынимай «Палату лордов» из загашника. Старик, ты что, Чушаева не знаешь? Только что по «белому» ТАССу прошло: у Огородникова миллион в швейцарском банке, покупает акции Ротшильда. Древесный и Герман — гомики, десять лет уже живут друг с другом. Весь этот «Изюм», ребята, на средства бельгийских сионистов сделан. Мина замедленного действия. Вот так шарахнет и разнесет все наши дружеские международные связи, гольдштюкеры проклятые, эмигрировать хотят, паблисити ищут. Без паб-

лисйти на Западе под забором сдохнешь. Пойдем, Шелесин, поссым. Степановна, мы не уходим, табуретки за нами, мы только к «Киму Веселому», отлить и назад.

В туалете двух плюгавых парашников, которые из-за угрызений совести никогда не расставались, ждал, расставив ноги и уперев руки в боки, преогромнейший каратель с седыми патлами до плеч. Он долго их бил за клевету, швырял об кафедру, потом засунул два лица в соседние писсуары. По рубцу, приговаривал он, совершая свое жестокое дело. Ударим по рубцу! Глухо! И ушел, безнаказанный.

VI

Вот так началось то, что впоследствии западными журналистами было названо «траншейной войной в советском искусстве», дело альбома «Скажи изюм!» и фотогруппы «Новый фокус». Здесь, кажется, уместно будет снова приостановить прямое повествование и нырнуть в прошлое, в столь далекий 1967 год, ибо наша история — может быть, это покажется странным — началась именно тогда.

В 1967 году всем на удивление чуть-чуть разморозилась макушка китайгородского холма. Партия, как видно, перестраивалась: в тылах подтаскивали «свинью» для пролома пражской готической стенки, но в передовых порядках проводились ложные либеральные маневры — разрешались дерзковатые по форме и ущербноватые по содержанию спектакли, выпускались книжки замученных Сталиным писателей, приглашались из-за морей джазовые артисты, фотографические выставки шли одна за другой, словом, партия пустила слегка погулять творческую интеллигенцию.

Вот в эту неожиданную «малую оттепель» три молодых фотознаменитости Огородников, Древесный и Герман, полагавшие тогда свою мрачноватую столицу местом какой-то непрекращающейся фиесты, встретились с похмелья в Сандуновских банях. Под пиво и под первую четвертинку начала бродить идея нового «молодого» фотожурнала. Самое время дерзнуть! А почему бы и нет! Пошли! Куда? В ЦК пошли, к самому Деменному! Он меня знает, в Тбилиси поздравлял с

выставкой! А я с его помощником пил. Неплохой мужик. Давай, звони своему «неплохому мужику»! Прямо из бани, что ли? Алло, ЦК? Это из Сандуновских бань беспокоят...

Между прочим, иначе как через ЦК в то время наши друзья и не помышляли действовать. Даже вот такая братия, ироники и фрондеры, в «руководящей роли партии» тогда еще не усомнились. До августовской ночи шестьдесят проклятого оставалось еще полтора года.

Такие были времена, что не прошло и недели, как член Политбюро Деменный Фал Филыч принял троицу в своем огромнейшем кабинете с видом из окон на Спасскую башню Кремля, в которой, по слухам, как раз и содержится кашеево яйцо русского марксизма.

Товарищу Деменному не без пафоса была изложена идея нового «молодого» фотожурнала, экспериментальной площадки для тех незрелых талантов, которые как раз в силу своей незрелости и, не имея выхода для своего творчества, могут оказаться «по другую сторону баррикад». К чести визитеров следует все-таки сказать, что они догадывались, с кем имеют дело, и поэтому не чурались демагогии.

Встреча была отмечена некоторой странностью: двое из четырех ее участников были в темных очках. Сам товарищ Деменный, конечно, сэкономил зрение, подпорченное во время работы горновым на домне первой пятилетки, ну а знаменитый фотограф Слава Герман, разумеется, скрывал фингал, полученный прошлой ночью в гардеробной ресторана «Актер».

Интересная идея, поддержал своих гостей Деменный, плодотворная и многообещающая идея. Спасибо, товарищи, за инициативу. Изложите, пожалуйста, свой проект на двух страницах бумаги, и я выйду с ним на секретариат ЦК. Уверен, что он вызовет отклик. У нас все помнят ленинское определение фотографии. Трудно переоценить значение вашего искусства в наш век научно-технической революции...

...ушам своим не веря, внимала молодежь...

...Сложнейшее время, вздохнул Деменный. Без диалектики не обойдешься даже в решении сравнительно простых вопросов. Он шевельнул каким-то листком у себя на столе. А ведь столько противоречий... Вот вы, товарищи, зачем вы, признан-

ные мастера советского фото, пошли на эту провокационную демонстрацию «Против возрождения сталинизма»?

Фал Филич! — ахнули таланты: не ожидали, что события прошлого года сейчас аукнутся. Так ведь просто же опасения были, как бы та... чуть «таракан» не вырвался!.. как бы товарища Сталина обратно к Владимиру Ильичу, в Мавзолей... для возрождения...

Легкомыслие это было, друзья, мягко укорил Деменный. Нужно партии доверять. И во всем. Вы же видите, никакого возрождения сталинизма не предвидится. Доверие, вот что нам сейчас необходимо, как воздух. Впредь, товарищи, со всеми сложностями — ко мне. Может быть, с заграничными путешествиями какие-нибудь трудности?

Угадал проникновенный: Огородникова тогда не пускали в Италию, Древесного в Канаду, а Герману Славе даже в братскую Польшу семафор закрыли.

Ох, бюрократия! Деменный сделал у себя под локтем какую-то пометку. Впредь с этим вопросом, друзья, проблем не будет. Наши советские фотографии должны ездить и привозить из-за кордона художественные и идейные ценности.

Знаменательная встреча гармонично подошла к завершающей ноте. Деменный встал. Давайте по-комсомольски скажем. Журналу — быть! И периодическому!

Потрясенные гении выкатились из цэковского квартала и покатались вниз по Марксу, не сговариваясь руля к какому-нибудь ресторану. По дороге вздохнул, словно и не тридцатилетние мужики, а настоящие вьюноши, обсуждали, какие будут художественные школы процветать под крышей нового журнала, какой концептуализм, мать честная, постыднейшая, в общем-то, проявлялась инфантильность.

В бывшем «Савое», нынче «Берлине» (столице Германской Демократической, конечно, ведь не может же быть в Москве ресторан «Западный Берлин») какая-то в этот час происходила пересменка, а поэтому царил едва ли не «бывшая» обстановка: чистота, тишина, покой. Все это отражалось в зеркалах, а те в свою очередь отражались в аквариуме, где плавали зеркальные карпы, отражавшие все скопом. В углу гурманствовал почетный посетитель, старик в смокинге, с гвоздикой в петлице, не кто иной, как генеральный секретарь СФ

СССР товарищ Блужжаежжин. Шампанское в серебряном ведерке, икра в хрустальной вазе, карп на сковородке, ба, да это наша дерзновенная молодежь, милости прошу к нашему шалашу!

Уселись, пошли шампанское сажать бутылку за бутылкой, и все «Новосветское», к которому горячий калач очень хорошо идет, будучи смазан зернистой икрой. Под такой аккомпанемент решили ввести могущественного старика в курс событий: уж если сам Деменный дал добро, Блужжаежжин не нагадит. Вождь советского фотоискусства, однако, не очень активно реагировал — то ли пьян был, как бобер, то ли бредил наяву, во всяком случае, ему явно казалось, что он то ли в Париже, то ли в вокзальном ресторане Ростова-на-Дону во время противостояния двух разноцветных армий.

Вот, пжалста, говорил он, обводя длинным жестом с перстнями зеркально-золоченые стены, кому мешает? Почему опять не прийти сюда с Валентиной? О, мы еще вернемся, господа! Вот тогда и погуляет нагайка!

И вдруг — выныривал. Да, завоевали мы наше трудовое счастье! Демонстрировался калач с икрой. С саблями в руках, товарищи! Сколько жизней положили под нашей сильной и доброй властью ради светлого будущего! Вот придите ко мне в дом, комсомольцы мои дорогие... снова погружение в пучину времени... совдепией вашей в моем доме даже не пахнет!.. отчаянный рывок на поверхность... С тех пор, как я уверовал в торжество социализма!..

Слава Герман невинно спросил:

— А когда вы уверовали в торжество социализма, Касьян Фатьянович?

Внезапно остекленевший взгляд, отвалившаяся челюсть, леденящий шепот чревоушателя. В социализм я уверовал сразу после похищения генерала Кутепова.

Замечательный получился суарэ с корифеем соцреализма, и завершился он поучительной сценой в гардеробе, где, влезая в развернутую швейцаром енотовую шубу и извлекая из тайного «пистоньеро» коробочку с нюхательным табачком-с, перед самым выходом в советское пространство жизни Блужжаежжин все-таки высказался по поводу дерзкого журнального проекта, хотя и непонятно было, как зацепился сей

куршлюз в его кинзмареульной голове. А вот с журнальчиком этим вашим, товарищи, мы вас не поддержим, потому что это вы, понимаете ли, какого-то троянского коня протаскиваете за бастионы социалистического реализма. Не выйдет! Керзону дали по рукам, не испугались наглого ультиматума и от вас, дорогая моя молодежь, отобьемся! Ишь какие модные штучки — захотели и к члену политбюро! Да люди о таких авдиенциях годами мечтают! Не-е-т! Как наши предки-то говаривали? Хер вам, а не малина!

— И широкая грудь осетина — разумеется, — добавил тут кто-то из молодежи.

Время, однако, показало, что у маразматического Блужжаежжина были более веские аргументы. Сначала оно (т.е. время) просто молчало несколько месяцев, а потом позвонило и голосом «неплохого мужика», с которым Славка Герман «пил», сказала, что проект журнала не принят и что товарищ Деменный желает товарищам Древесному, Огородникову и Герману дальнейших творческих успехов. Тут как раз и братская помощь социализму с человеческим лицом подоспела. По всему лицу разросся мохнатобровый брежневизм. Все более-менее прояснилось.

Господин читатель, милостивый государь, здесь самое время подошло для глубокого исторического вздоха. Русская революция, вздохнем мы, какая ты с самого начала получилась старообразная, хоть и убогая, но и блудливая, жестокая тетка Степанида Властьевна с желчью, разлившейся по всем клеткам... родившись немолодой, ты ни разу и не помолодела, а голько лишь грузнела год от года, богатства не прибавила, но лишь скарба бессмысленного накопила и на фотку снялась всеми пятнадцатью своими неподвижными лицами во фронтальной позиции, сколько же веков тебе еще стареть вдали от Бога и в стороне от Человека?

VII

Повздыхав слегка по этому странному адресу, вернемся все же с быстрой экскурсией в те недавние времена, когда в лек-

сиконе российской интеллигенции доминировали два метафизических слова «еще» и «уже», то есть в Семидесятые Чугунные.

Еще трепали эзоповскими языками, еще и за границу иногда удавалось с возвратом, еще и «протаскивали» иногда кое-какие снимочки на страницы печати, еще и выставчонку какую-нибудь «пробивали», с усмешкой еще смотрели на отъезжающих в заокеанские и библейские дали товарищей, еще бодрили себя идеей упорного пребывания на родной территории Россия, еще и водку по-прежнему пили, но уже и вшивались кое-где под творческую кожу пресловутые «торпеды», уже климактерическая тоска растекалась по Москве, уже едва ли не треть друзей была «за бугром», фотографы, художники, писатели, уже места их с оживленным хрюканьем занимались новым выводком фотил, мазил и писак, уже и самый последний человеческий мусор пошел в ход, а творческие союзы уже становились простыми придатками «фишек» и «лишек», уже очевидно было, что не осталось никаких «еще», и все-таки в какой-то похмельной понедельник из очередного безнадёжного «еще», словно из вялого лимона в выдохшийся «боржом», выжата была идея свободного издания «Скажи изюм!» — попробуем все-таки еще раз!

Замечательно по этому поводу высказался старейший семидесятилетний участник альбома Георгий Автандилович Чавчавадзе, потомок грузинских царей и заслуженный деятель искусств десятка автономных республик и областей, включая враждебный Нагорный Карабах.

— Я думал, что *уже* все, — сказал он, — а оказалось, что *еще* ничего! — такая была выдана формулировка.

Георгий Автандилович, будучи «московского разлива», к Кавказу себя не очень-то причислял, хотя и сохранил перешедшее по наследству искусство тамады, то есть мог поддерживать застолье ночь напролет в самой разнузданной или самой занудной компании, велеречивыми псевдовосточными тостами утихомиривая страсти или рассеивая скуку, мог даже при надобности или при настроении, щелкая суставами, пройти в лезгинке.

Пиры такого рода как бы составляли его легенду кавказского князя, в реальной же действительности Георгий Автан-

дилович смиренно жил в кругу московской интеллигенции, хранил свой маленький холостяцкий комфорт, десятилетие за десятилетием по вечерам прогуливался вдоль Тверского бульвара, в зубах трубка, в руке самшитовая узловатая трость, грива седых волос, пушистые седые усы, берет с помпоном, благодаря которому окрестная пацанва называла его «дед-стиляга».

В Союзе фотографов у Чавчавадзе был огромный авторитет. Во-первых, один из старейших членов — билет за подписью самого Кима Веселого! Во-вторых, принадлежность к тем, кто «с лейкой-и-с-блокнотом-а-то-и-с-пулеметом», то есть к правящему поколению — всю войну в дивизионной газете, три ордена Красной Звезды! В-третьих, общесоюзная известность — считался специалистом по фотоосвещению культурной жизни братских советских народов с их бесконечными смотрами достижений, съездами и декадами разных дружб, за что и были ему пожалованы почетные звания упомянутого уже Карабаха, а также Калмыкии, Каракалпакии, Хакасии, Чечено-Ингушетии, Адыгеи, Ненецкого национального округа и прочая и прочая.

Между тем за пределами официальнойщины о Чавчавадзе шла молва как о Мастере, говорили, что в столах у него скопилась целая эпопея, что Збига Меркис его почитает седьмым в мировой десятке, а третий в мировой десятке чикагский старец Уолт Попофф поддерживает с ним почтительную неторопливую переписку, не по почте, конечно, а с оказиями из Чикаго и обратно.

Из «изюмовцев» лучше всех скрытую сторону Чавчавадзе знал Шуз Жеребятников: познакомились на бильярде, подружились при обмене холостяцким опытом. Надо призвать старика под знамена, сказал Шуз. Гадом буду, пойдет.

Георгий Автандилович и в самом деле не заставил себя ни ждать, ни упрашивать. Сразу же в ответ на приглашение приехал в «охотниковщину», раскрыл свою папку и тут же предстал перед гигантами как новоявленный гигант. Цикл «Гени»: на снегу, на траве, на песке, на воде, на бегущем в панике пешем войске тени «мессершмидтов», «фокке-вульфов», «яков», «мигов», «летающих крепостей»... Цикл «Столы»: банкеты многонациональной культурной политики,

юбилей, защиты диссертаций, лица, искаженные неопознанным и неназванным позором... Цикл «Моя последняя любовь», в котором перед восхищенной аудиторией предстала по крайней мере дюжина более или менее очаровательных девиц, как бы плывущих в складках необъятного ложа. Кто же из них последняя, Георгий Автандилович? — деликатно поинтересовались «изюмовцы». Постель, был ответ.

Ну что ж, господа... — сказал Макс Огородников. Как вы сказали? — встрепенулся Чавчавадзе. Я сказал — ну, что ж... Нет, вы, кажется, сказали «господа»? Вы называете друг друга «господа», господа? Разумеется, сударь! Мы, в общем-то, народ вежливый. Итак, господа, пока мы все жуевничали, Георгий Автандилович, вот этот дивный моложавый господин, запечатлел, гребена плать, для нашей родины Византийской Советской Социалистической Республики летящие образы времени с бликами «вселенского духа». Господа, волнуясь сказал Чавчавадзе, у меня нет ни жены, ни детей, и я с вами, господа! Хм, сказали присутствующие, вы так говорите, милостивый государь, будто во глубину сибирских руд с нами собрались. Почту за честь, господа! Ну, а в другую сторону, ваше сиятельство? Здесь я пас, господа. Не люблю Запад.

Между старейшим и юнейшим разница оказалась — сорок семь лет. Юнейшим был некто Васюша Штурмин, год назад демобилизованный из частей особого назначения ВДВ — «голубые береты». Свои воинские впечатления, зафиксированные на пленке, Васюша и принес в круг молодых московских концептуалистов, из которых его выудил Олежа Охотников. Их часть базировалась в белорусском городе Борисове, откуда при соответствующих обстоятельствах, имея соответствующие распоряжения, должна была десантироваться в город Лондон, что за проливом Ла-Манш, на реке Темзе, и там ждать дальнейших приказаний.

«В туманный Лондон прибыл я, но «битлов» нету тут», элегически пел под гитарку однополчанин Сережа Бурлюкин, главный герой Васюшиного цикла, представленного в «Изюме». Крутые подбородки и бритые затылки под пилотками типа «балахон», мощный разворот плеч и впечатляющие руки, готовые навести порядок в любой братской компартии. Утро в казарме, Сережа Бурлюкин, биток под два метра, задумался

у окна с соплей на носу. «Сережа, у тебя огромные запросы», поет полковая группа «Сигнал». На танцах в клубе «Водник» Сережа Бурлюкин встречает Варю Р. Сережа с Варей мучаются меж мусорных баков. Сережа Бурлюкин уединяется в сортирчике на автовокзале. Сережа пьет из-под крана. Сережа Бурлюкин несет почетную вахту у полкового знамени. Полк награждается орденом за участие в трехнедельных маневрах на территории братского Афганистана. Сережа Бурлюкин с гитарой, романтика дальних дорог. «Помнишь ли, товарищ, ты Афганистан? Зарево пожарищ, крики мусульман»... Сережа Бурлюкин, рубай компот, он жирный! У карты мира — готов к выполнению любого задания Родины. Варя Р. с двумя подругами предлагает мальчикам групповой секс. А ведь Сережа Бурлюкин собирался на ней после «дембеля» жениться...

Любопытно, что Васюша Штурмин приехал в Москву уже во всеоружии самых последних идей фотографического авангарда. Каким образом эти идеи проникли в район сектора Борисов, остается загадкой.

Однако главным в работах Штурмина были, по мнению «изюмовцев», не реалистические наблюдения и не знакомство с авангардистскими идеями, а нечто, отличавшее настоящего фотографа от «фотилы», который ведь тоже может и идей хвататься, и реализмом нажраться, благо его на родине социализма хоть отбавляй. Поди определи это «нечто», разводил руками Слава Герман, поди назови это словами. Для удобства будем считать это «проницающей иронией», о'кей, сказано много и ничего.

Герман, Древесный, Огородников, Трубецкой, Казан-заде и другие «шестидесятники» очень были вдохновлены появлением и кучкованием вокруг альбома «новой молодежи». Еще несколько лет назад им казалось, что тылы отрезаны, что за ними никто не идет, кроме нахрапистых молодых «фотил», участников всесоюзных и региональных совещаний «юных объективов партии», как вдруг оказалось, что пустынька социалистическая вновь проросла несъедобным для идеологического бегемота репейником, что по краям застарелого болота что-то опять запузырилось, грозя при первом же дожде обратиться «новой волною», что существует даже где-то в нищих жилищах молодежи дерзкое общество ФОГ, что рас-

шифровалось простенько — Фотографическое Общество Гениев. Несколько «фоговцев» стараниями Олехи и Ванечки были привлечены и вскоре появились в «охотниковщине» со своими черно-белыми, и даже скорее черными, изображениями, с легкой усмешечкой в адрес старших друзей, с вечной своей препохабнейшей водочкой, от которой «шестидесятники» уже начинали вздрагивать, и даже с напитком зрелого социализма, пресловутой «бормотухой», которой, в отличие от «китов», ничуть не чурались, ибо хорошо «бьет по шарам» и соединяет с просторами страны. Наполненные стаканы назывались в этом кругу «снарядами». Сдвигая, скажем, над столом три стакана, говорили: три снаряда по товарищам! Если же стаканов оказывалось семь, тост видоизменялся: семь стаканов по товарищам! Разъехавшись локтями в баклажанной икре, пели любимые песни — «Поручик Голицын» и «Коммунисты поймали мальчишку».

Вот так за несколько лет до начинающихся в следующей главе событий сложилась группа фотографических бунтарей, о которых лучше не скажешь, как словами автора нашего эпиграфа: «...узок круг их действий, страшно далеки они от народа»...



АХ, АРБАТ

I

Раз в неделю капитан Сканщин навещал свою дорогую подругу Викторию Гурьевну Казаченкову. Любопытно все-таки, почему раз в неделю, когда по гигиеническим соображениям таких дам следует посещать два раза в неделю? Эта идея иногда смущала Владимира. Конечно же, он получал от старшей подруги больше, чем давал. В принципе, хотелось бы расширения графика, однако сам поставить этот вопрос он не решался: инициатива всегда должна исходить от более опытных товарищей. Обидно было также, что и время свиданий часенько лимитировалось — хотелось больше охватить разных сложных вопросов, с которыми приходилось сталкиваться по долгу службы.

Почему так зачастую получается, дорогая, вздыхал Владимир, что большие мастера искусства утрачивают восхищение коммунизмом? Ведь, по сути дела, больше ничего от них и не требуется. Оцени коммунизм по достоинству, а дальше — твори, выдумывай, строй, что хочешь...

Хотите знать? Коммунизм устарел, вышел из моды, безапелляционно заявляла Виктория Гурьевна, вылезая из колготок и делая резкие разминочные движения тазом.

— Давайте, давайте, Владимир! У меня сегодня полный цейтнот — премьера в театре Станиславского. Ну-с, начинайте!

Неужели уж устарел, маялся после полового акта Сканщин. А все ш так овладевает ведь умами... «Дорогая» уже одевалась.



— Уходя, Володечка, не забудьте — для вас на буфете пакет — один кэгэ грецких орехов. Сто, сто пятьдесят граммов ежедневно!

— А вот скажите, дорогая, — вяло вспоминал капитан задание генерала, — скажите, пожалуйста, по вашим наблюдениям, у Максима Петровича гомосексуальных наклонностей не отмечалось?

— Эх вы, сыщик! — «Дорогая» уже с порога обливала презрением.

Володя долго еще маячил с голой жопой на широченной тахте, рассматривал на стенах портреты родственников Виктории Гурьевны, какая благородная интеллигенция, потом вытягивал с полки над головой что-нибудь запрещенное, Бердяев, там, или Лев Шестов, такие книги у «Дорогой» еще в давние времена, после раздела имущества с Огородниковым, завелись, читал, страницы ножичком слоновой кости разделял, кряхтел, охал: неужто уж коммунизм — враг культуры, как-то нелепо получается...

II

За несколько дней до заседания правления Московской фотографической организации, на котором предстояло общественное выпускание кишок из альбома «Скажи изюм!», Максим у себя в мастерской на Хлебном проявлял заграничные пленки. Умудрился даже забыть о правлении. Запад появлялся из мрака эмульсии, словно неведомая страна, где он никогда не бывал, будто бы кто-то другой снимал, будто бы некий вьюноша там бродил, а не собственной персоной сорокалетний беглец.

Вдруг начались звонки в дверь, и в мастерскую стали вваливаться «изюмовцы»: надо поговорить! За четверть часа явилось больше двадцати «рыл». Сговорились, что ли? Пришлось откладывать работу, вытаскивать все спиртное, что оказалось в доме. Позвонил Насте на Гагаринскую: привези растворимого кофе, тут такая кодла навалила к вождю! А чего они хотят от вождя? Не знаю, скорее всего, письмо Брежневу хотят написать. Шутишь? Шучу, конечно.

Оказалось — шутка в руку. Венечка Пробкин, облизывая ярко-красные губы и потирая траченные морозцем уши, высказался как бы за всех. Оказывается, с утра по телефончикам прошла вот такая идея — написать на высочайшее имя, объяснить чистые намерения фотографов, озабоченных одним лишь предметом — развитием советского фотоискусства, пожаловаться на союз и на гада Клезмецова, который, карьерист, применяет тактику запугивания, выкручивания рук. Ну, в общем, народ считает, что это ловкий ход, вообще-то, а, Макс? Партия думает, что мы враги, а мы у нее защиты просим: подайте, так сказать, ленинских принципов. Вот только народ не знает, как *ты* на это отреагируешь?

А я-то что? Огородников, находясь в середине свободного пространства, пожал плечами. Он старался не встретиться ни с кем глазами, но куда бы ни поворачивался, всюду натыкался на выжидательные напряженные взгляды друзей. Вроде бы предполагается, что у него отдельные «намерения», своя личная позиция. Как все, так и я. Брежневу так Брежневу. У Венечки и рот раскрылся, и патлы обвисли. Что-то все-таки есть в этом Венечке крестиническое. Впрочем, и обо мне, наверное, можно так сказать. Вон там, в дальнем зеркале, отражается сутулый и мрачный ублюдок. Взял гитаренцию, уселся с ногами в любимое кресло. О вернисаже в пельменной «Континент» никто и слова не сказал. Забздели! Письмо Брежневу! Неужто это Венькина идея? Журнал «Советский мяч» дает себя знать? Макс, да что ты надулся, подал голос с подоконника друг Андрюша. В самом деле, старый, вступил Слава, это ведь просто вопрос тактики. А я не против, ребята, совсем не против. Пощипал струнки, попел себе под нос: «Мать моя, давай рыдать, давай охать и стонать, куда, куда тебя пошлют?» Аудитория выжидающе молчала. Ого поднял глаза к потолку. «Ты течешь, как река, странное название»...

Собрались писать бровастому, ну и пишите. Охотно присоединюсь, заодно со всеми. Я, что ли, должен вам писать? Сочинять эту пакость? Почему? Почему не Славка, не Андрей, не Георгий Автандилович, в конце концов, как герой восьми республик? Кто это меня лидером здесь назначил, козлом отпущения? «У старушки колдуньи, крючконосой горбуньи, козлик жил светло-серый, молодой, как весна»... Пожалуйста,

начинайте, я охотно поддержу, но вот сам начинать ни за что не буду!

Запахло разбродом и упадком. Фотографы бессмысленно попивали водку, коньяк, вермут, то есть то, что дали. Потом всё выпили, а письма писать так и не начали. Собрали по пять рублей, послали на Новый Арбат Васюшу, Олеху и тартусского профессора Юри Ури, чтобы выдавал себя за иностранца. Тут как раз и настоящие иностранцы явились, молодые шакалы пера Люк и Франк. Видно, кто-то им сказал, что группа «Новый фокус» проводит совещание в мастерской своего лидера Огородникова. Вместо важного события, однако, они застали здесь какую-то дурацкую вечеринку с бренчанием на гитаре, с болтовней по углам. Оживление внес лишь мастер Цукер, пришедший вслед за иностранцами. Он снял богатое тяжелое пальто, построенное еще его отцом в период первых послевоенных пятилеток, и оказался без брюк. Пиджак и галстук присутствовали, левая рука была при часах, правая при массивном перстне с колумбийским рубином, а вот ноги мастера Цукера оказались обтянутыми шерстяными кальсонами. Смутившись поначалу, он затем начал всем объяснять, что в спешке забыл сменить на костюмные брюки вот эти «тренировочные штаны». Чтобы ни у кого сомнений на этот счет не оставалось, мастер Цукер сел в самом центре и небрежно завалил ногу за ногу. Вот видите, говорила его поза, мастер Цукер вовсе не смущен, а раз он не смущен, то, значит, он вовсе и не без брюк пришел на собрание, а просто в «тренировочных штанах».

Ситуация становилась все более дурацкой. Кое-где стали поблескивать линзы объективов. Тех, кто фотографирует друг друга, будем бить по рубцу, заявил Шуз Жеребятников. Он тоже не начинал писать Брежневу и иногда подмигивал Огоше — правильно, мол, действуешь!

Как вдруг все волшебным образом изменилось: приехала Анастасия. Оказалось, что она выстояла часовую очередь в кулинарном цеху «Праги», и не без результатов — купила полторы сотни! печеных! с печенкой! пирожков! Сейчас все это в духовку, и через десять минут — ужин! Вот, оказывается, какая незаменимая баба для диссидентской активности! Ну, чего это вы тут, мальчишки, раскисли? Мальчишки! А ведь совсем не-

плох тут оказался альпинистский задорчик. Письмо Брежневу сочинить не можете? Бери карандаш, Олеха, я продиктую. Дорогой Леонид Ильич... вот именно «дорогой», а не «уважаемый», там «уважаемых» нет. Пиши дальше: мы, группа советских фотографов, озабоченных положением дел в области нашего искусства, обращаемся к вам... Да, между прочим, утром звонил Семен. Какой Семен? Здрасьте, я ваша тетя — директор пельменной «Континент». У них все готово, можно нести экспозицию. Пиши дальше сам, Олеха, потом все вместе проверим. Пробег на кухню, к пирогам, тяжеленная косица отбрасывается за спину, эх, в самом деле, лучше в наши дни не найдешь бабы! Вот первая порция горяченьких, промывочный таз с краями, налетай — подешевело! Обстановка высокогорного бивуака. С набитыми ртами фотографии стали спорить, стоит ли игра свеч, нести или не нести экспозицию в «Континент»? А в чем проблема, удивилась Настя. Кто-нибудь струсил? Нестись или не нестись? Хохохо вокруг — вот ведь баба! Эдакая, понимаете ли, небрежная игра слов! Окаывается, никто не струсил, все хотят снести. Господа, господа, хлопотал вокруг Васюша Штурмин, давайте-ка сгруппируемся для «коллективки», давайте-ка классическую композицию «Письмо султану». Тут и хозяин мастерской Ого перестал звереть и спел для общего удовольствия определенную балладу.

**В честь Александра Родченко,
или
Баллада о брючной пуговице**

*Он не любил снимать «от пуговицы»,
Но есть любил
Вкрутую сваренную луковицу
С горшком белил.*

*Друг приходил.
Цилиндр и валенки.
Хрипя, как хряк,
На печке мазал пару голеньких
С цветком в кудрях.*

*Дыша духами и туманами
Орлами хезала Москва,
В социализм неугомонная
Мечта стремилась и молва.*

*Автомобиль, рыча, подваливал
И звал удрать,
Валила на диваны валики
Клоповья рать.*

*Угарной жизни разнокочие
Иль марш-парад?
Чему служить вы предназначили
Ваш аппарат?*

*Хрусталь и сталь в молве расстелены.
Избавясь от богемных патл,
Кружил перед глазами Сталина
Летальный татлинский летатл.*

*Бурлит на кухне чайник яростно,
Певец коммун.
Коммуна поднимает ярусы
К одной из лун!*

*Куда двойная экспозиция
Вас приведет?
Поймет ли ваши экспликации
Простой народ?*

*Пролетарьят в России вспученной
Освободился от оков.
Утратив пуговицу брючную,
Сидел Сережа Третьяков.*

III

Андрей Евгеньевич Древесный злился на снегопад. Встреча с Полиной была назначена на Яузе (совершенно непонятно, кстати, почему на Яузе, ах да, ведь это как бы *под предлогом* визита к подруге, а та проживает на Яузе), и в этом как раз месте Яуза, круто повернув, теряет свои безобразные московские строения и в припадке жеманства струится, понимаете ли, под горбатым псевдоленинградским мостиком, рядом с которым — чистая претензия на классический вариант — фонарь, аптека, ну, а под снегопадом, под крупными медленно слетающими с небес хлопьями получается просто нечто оперное, уж-полночь-близится-а-Германа-все-нет, только наоборот, извольте, опаздывает, как последний дундук стою под снегопадом.

Прошли три молодых парня, обратились: чувак! Хороши мерзавцы, я им в отцы гожусь, а они — чувак! Сам виноват, одеваюсь, как мальчик. Дай закурить, чувак! Чувиху ждешь?

Наконец появилась «героиня романа». Бежит. Издали можно подумать, что и в самом деле чувиха бежит на свидание. Вблизи, однако, совсем не тот коленкор. Интересно, что после жизни с Фотиком в лице Полины вдруг советчина какая-то отпечаталась, а ведь раньше даже и в самых безобразных ситуациях советчиной и не пахло. Прости, я опоздала! Андрей, времени нет совсем, поэтому сразу... Андрей, умоляю тебя — уезжай куда-нибудь!

Ну, я так и думал! Полина, знаешь ли, не надо так драматизировать, ведь мы не в опере. «Новый фокус» предпринял шаги, официальное представление альбома, письмо Брежневу, или кто там у них наверху, не надо, знаешь ли, этих ночных тревог, распахнутых глаз, снегопада, ведь мы уже пожилые люди.

Ах, Андрей! Письмо Брежневу! Да ведь наивно же! Неужели не понимаешь! Ведь машина же закрутилась!

Тебя, может быть, Фотий попросил на меня подействовать? Скажи, Полина, что тебя заставляет так паниковать, Фотий просит или кто-нибудь еще?

Никто не просит! Как ты можешь? Андрей! Так думать? Ведь не чужие же! Мы с тобой! Наши дети! Да и вообще! Пой-

ми, я не могу! Увидеть, как ты все свое творчество! Одним махом! Ведь ты талантливей их всех! Пойми, я всех ребят люблю! Ведь я же все-таки! Одна из вас! Но ты из всех! Самый *настоящий*! Прости, но Макс! Он в авантюру *свою* вас всех втягивает! Пойми! Нет сил!

Древесный тронут был ее порывом, потоком этих сбивчивых аргументов, к тому же что-то в этом потоке показалось ему «не лишенным чего-то», однако трудно было разобраться в этой оперной ситуации, что именно.

Они завернули за угол, там псевдо-Ленинград кончался, тянулись освещенные мертвенным светом окна какой-то фабрики, за заборами громоздился хлам безобразной индустрии. В конце безжизненной улицы вдруг появился зеленый огонек такси. Тачка, вскричала Полина, вот удача! Теперь я всюду успеваю и никто ничего не заметит! В последнее время в отношении главы семьи сурового Фотия Фекловича она стала употреблять вот такое, собирательное и безразличное: «все», «кто-нибудь», «никого»...

Я знаю, что поступаю безрассудно, говорил Андрей Евгеньевич, но не могу я всю жизнь и всю свою работу ощущать всегда под этим проклятым советским брюхом. В отличие от Ого мой протест стоит на личном фундаменте, и ты это прекрасно знаешь. Уничтожение бабушки, искалеченная жизнь отца, вечный страх матери... Хватит! Да, я далек от всяческих политических игр, однако, прости, я продолжаю род Древесных...

Уже садясь в такси, она крикнула: хотя бы не ходи на правление! На пленум правления не ходи ни в коем случае!

Он пошел обратно на набережную, где стояла «Вольво». Все-таки не обошлось без высокопарностей. Личный фундамент, продолжение рода... мразно... Сейчас надо избегать эмоций, ошеломлять всю эту деревенщину полным отсутствием эмоций, не давить на технику своим плюгавым «я», но стать ее частью в ее холодном мужестве... Он вынул из багажника машины камеру и широкоугольником сделал несколько снимков, имея на первом плане оперный сюжет со снегопадом, а в глубине — безжизненную с неоновыми огнями улицу.

Можно ехать. Проклятая шведская кляча не заводится. Даже и не думает заводится. Никаких признаков жизни при

повороте ключа. Трамблер, может, отошел? Он вылез и открыл капот, влез внутрь, стал щупать холодные и грязные резинки и железки, гадость, уныние устаревшего механизма, ноль эмоций, если не считать уныния, холодное мужество техники, будь она неладна.

У вас ротор пропал, Андрей Евгеньевич, сказал кто-то прямо над его головой. Он выпрямился. Вплотную стояли трое в дубленках. Из трех нехороших лиц одно свисало, как волчья пасть. Куда же мог ротор пропасть, пробормотал он, чувствуя, как по всему телу стремительно проходит разлитие свинца и как под тяжестью свинца рушатся внутри неподготовленные органы. Удивительное дело, думал, глядя на него, Планцин, вот так ведь встретишь на улице вот такого человека, никогда ведь не скажешь, как много в нем накопилось антисоветской гадости. А мы вам объясним, сказал он. Закройте капот и идите с нами, ваша шведская красавица никуда не денется. Николай, позаботься о том, чтоб Андрей Евгеньевич не поскользнулся. Волчья харя крепко взяла за локоть. Радужные приглашающие жесты двух других. Оказалось, у аптеки, под фонарем, их черная «Волга» стоит. Все-таки следует спросить: кто вы? Все-таки следует спросить документы. Как Солженицын-то учит — кричи, вопи, царапайся! Да мы вас недолго задержим, Андрей Евгеньевич, а тем временем, глядишь, и ротор найдется.

IV

Все эти дни перед пленумом правления Фотий Феклович Клезмцов был прямо-таки на грани бунта против «желез». Нет, какво? Выдвигают его как организатора большой идеологической кампании, а сами третируют, словно пешку, будто простого завалившего стукачишку. Ну, вот хотя бы сегодня с утра, да ведь наглость же, иначе не скажешь. Приходят от Планцина, назначают ночное свидание, как бляди, в гостинице «Белград». Что это за дурацкие конспирации — от кого скрываются? А чем оборачиваются все эти отельные встречи? Начинаешь как-то употреблять простую искусствоведческую аргументацию для выявления декаден-

тских мотивов в творчестве, скажем, Цукера или Чавчавадзе, а они смотрят на тебя с сальными улыбочками, будто вычислили на всю жизнь вперед и знают про все твои болячки, включая любимую с корочкой за ухом. Про декадентские мотивы позже, а вы нам лучше расскажите, Фотий Феклович, курит ли Цукер «план» и совращает ли Чавчавадзе мальчиков. Нет, с этим надо покончить. На пленуме будет присутствовать человек из секретариата Фихаила Мардеевича, или Цвестов, или даже Глясный. Придется в осторожной форме поставить вопрос о полномочиях, о бережном отношении к кадрам партии, об объективной оценке. Планщин и его люди — циники, хотят его руками делать черную работу, в карьеристских целях разгромить творческую организацию, а потом про него же и пустить — агент, дескать, предатель своих друзей, дешевка... Нет, товарищи, так просто у вас это не выйдет!

— Хотя бы ты-то понимаешь, что перед тобой крупный политик? — спрашивал он жену Полину.

— Естественно, Фотий, — отвечала она, проходя по гостиной с сигаретой, выпуская дымок и задерживаясь в той позе, что он полагал про себя «неотразимой», рука в бок, дымок над головой. — Ты политик, и не только в масштабах страны, но и европейского полета. Как ты держал себя третьего дня на встрече с венграми?! Дерзко. Умно. Не без блеска.

Хорошо, что рядом понимающий человек. Это большое счастье. Перед ней раскладывается стратегия борьбы. С Максимом Огородниковым — ясно, прости, не все могу сказать, но это настоящий враг. С ним разговор, вероятно, в основном будут вести *они*, но другие-то, олухи-то наши... Он замолкал, ожидая ее реакции, сорвется или нет, выдаст себя или нет, покажет ли чувства к Андрюшке, ведь знаю же, что не прошло, что до сих пор корябает... Нет, не показала ничем, отличная баба, с какой естественностью гасит сигарету, поправляет волосы, просто сцена из французской жизни. Я в тебя верю, Фотий! И знаю, что ты найдешь правильный путь...

Вот оно, большое счастье: верный и умный человек обеспечивает тыл крупного политика. Нет, мы не допус-

тим разгрома советского фотоискусства. Всему провокационному, экстремистскому будет дан решительный бой, все истинное, народное будет сохранено. Который час? Где мой шарф, Полина? Где темные очки с диоптриями? Все, оказывается, уже приготовлено. На всякий случай, ты где? Гостиница «Белград».

V

Официальные повестки на пленум правления получили из «изюмовцев» только те, что значились в списке составителей, — Герман, Древесный, Пробкин, Огородников, Охотников. Приглашен был также Георгий Автандилович Чавчавадзе, поскольку и сам являлся многолетним членом правления. Злоумышленники пришли в «Росфото» за час до начала и заняли в кафе столик рядом с дурацкой музыкальной машиной, которая на любой пятак откликалась жеманнейшими вальсами типа «С берез неслышен-невесом...». Ох, сейчас бы я выпил, сказал Олеха, прямо с ходу взял бы стакан с краями! Кстати, сказал Герман некстати, звонил Древесо, он не придет: разыгрался сплин, ненавидит человечество, говорит: «Могу только повредить». Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, вздохнул Чавчавадзе. Георгий Автандилович, спросил его шепотом Венечка, вы мне не одолжите двадцать пять рублей? Смотрите, сказал Огородников, только что получил «Фотоодиссею». Новые снимки Шаккала, Сюпре, Хладиадиса. Раствут мужики над собой.

Внезапно в кофейную вошел, едва ли не вбежал Андрей Древесный. Был бледен. Шнурок развязан. Запнулся и проследовал к друзьям в сопровождении сладкого пения: «...старинный вальс «Осенний сон» играет гармонист».

Какое нелепое появление, подумал Андрей Евгеньевич, в какой я роли, позор... Ребята, вскричал он, я прямо от Блужжаежжина! Старик волнуется, позвонил — пришлось пойти, несмотря на сплин. Ну, все же, помните его «Днепрогэс», ну, блядство, конечно, свинство, параша, но ведь мастер же, право, этого-то не отнимешь, а? Короче говоря, он сказал: нужно притушить страсти. Братцы, из разговора с ним я сделал важ-

нейший вывод. Там, толчок большим пальцем в потолок, нет единства по «Изюму». Сечете? Блужжаежжин обещал мне, что все будет тип-топ, его выражение, если мы не будем залупаться, мое-мое, на правлении. Надо держать себя в руках, и это, конечно, прежде всего тебя, Макс, касается!

В паузе они смотрели друг на друга. Черт побери, подумал Огородников, основательный все-таки ущерб нанесло время Андрюшкиной красоте. Слоновая кость начинает походить на оплывший стеарин. Потом эти неудачные мосты во рту. На его месте я бы следил, чтобы не отвисала челюсть.

Георгий Автандилович посмотрел на свои большие золотые часы. Пора, господа! Еды и белья с собой не брать. Старик одет был, как на праздник, — синий костюм, галстук-бабочка в горошек. Все в кофейной на них смотрели. Выглянуло несколько рыл и из бильярдной. Буфетчица «нижнего буфета» сделала отчужденное лицо. Из «кима-веселого» выскочил, задерживая ширинку, козлоногий стукачок. Привет, старички! На Голгофу? Счастливо! Обе буфетчицы «верхнего буфета», Муся и Аня, дружески отмахнули ручками: мол, и не такое видели эти подлые стены. Во всех залах ресторана шестерку провожали взглядами, все были «в курсе» того, что на антресолях, в «каминной», собран синклит «объективов партии» для неслыханного в истории этой организации дела, для подавления группового бунта. Дубовая лестница заскрипела под шагами шестерки. Древесный ухватил Огородникова за локоть. Еще раз прошу тебя, Макс, молчи! Что бы ни сказали, молчи! Да как же, Андрей, а вдруг гимн Советского Союза попросят спеть? Огородников заметил, что у Древесного зуб на зуб не попадает. Древесный подумал: сколько наглости, у него, должно быть, и в самом деле счет в швейцарском банке. Что с тобой? А с тобой что? Шел бы домой, ведь все знают, что у тебя сплин. Спасибо за заботу. Ты, кажется, первый раз в жизни подумал не о себе. Ты меня изумляешь, Андрей! А ты меня... Рыжебородый Огородников открыл дверь «каминной» и отчетливо спросил с порога: я извиняюсь, мы по адресу?

Правление ждало их в полном составе. Десятка три мужчин и полдесятка женщин расположились вокруг огромного овального стола, вполне пригодного и для других целей, например для подписания акта капитуляции какой-нибудь то-

талитарной державы. Во главе стола сидел Фотий Феклович Клезмцов. Сохраняя таинственную улыбчивость, обменивался короткими репликами с представителем ЦК товарищем Глясным. Хороша тут у вас скульптура, пробормотал товарищ Глясный, глядя на белоснежную стыдливую нимфу, вот уже более ста лет стоящую рядом с камином. Огородников в зеленом свитере, сказал в ответ на эстетическое замечание Клезмцов. Да я его знаю, улыбнулся товарищ Глясный и отвел набежавшую шальной волнишкой мысль, которую можно было бы выразить примерно так: как бы не порозовела сегодня от стыда эта красотка.

Шестерым вызванным предложили места вдоль стены, впрочем, иные из членов правления тоже сидели вдоль стен, не всем хватало кресел вокруг овального шедевра.

Огородников оглядывал собрание. Кто это рядом с Фотиком? «Фишка»? Глясный из секретариата Фуслова, шепнул Георгий Автандилович. В центре композиции оказался по праву букет классиков. Фрегаты идеологических трафальгаров лауреаты Журьев и Грабочей и две фотобонзы из журнала «Огоньки Москвы», главный редактор Фесаев и зам Фалесин. По периферии от них располагался люд помельче, знакомые все лица. Иные из них и в либеральных галошах вдоль «оттепели» прогуливались. Вот этому сукину сыну сам же я, дурак, рекомендацию давал в союз. А вон рядом сидит трешка любителей «народной правды», окающие, в междусобойчиках шепотом тосты за измученную Россию провозглашающие. Преобладают, впрочем, «фронтовики», экая живучесть все-таки, экая жадность, экий позор в глазах. Надеяться гут, в общем, не на кого, разве что на Джульетку, она все же посемьсот раненых с поля боя вынесла и гребаться всю жизнь очень даже любила, может, скажет что-нибудь человеческое.

Украшение стола Джульетта Фрунина, популярная вот уже несколько десятилетий «девушка в шинели», сидела с вечным своим выражением оскорбленного достоинства. Юность и траншее, тяжкие испытания девичьей чистоты, верность идеалу — кому прикажете предъявить счет за то, что недолюбили? Эти снимки большого эмоционального накала, летят журналы, ах, война, что ты сделала, подлая... Шестьдесят лет? Никогда!

Клезмцов открыл заседание традиционной шуткой Союза фотографов: товарищи, договариваемся, друг друга не снимать! Все с удовольствием посмеялись, хотя половина собрания забыла уже то время, когда держала в руках камеру.

Клезмцов надел большие очки, приблизил к линзам фототюльку бумаги. Добродушная улыбка сменилась дурным смешком. Вот по последним сведениям, товарищи. Огородников на нас жалуется в адрес Леонида Ильича Брежнева. Дескать, шантажируем его сподвижников, угрожаем, выкручиваем руки. А не лучше ли ему в другой адрес обратиться, к Рональду Рейгану? Этот же ближе ему будет, товарищи!

— Это ваше мнение или адресата? — спросил Огородников.

— Максим, мы же договаривались, — тихо сказал, глядя в пол, Древесный.

Товарищ Глясный почему-то пошел красными пятнами. Клезмцов хихикал в удивительно открытой манере завязтого подлеца. Мое, мое, лично мое мнение. Леонид Ильич, знаешь ли, пока вашей сногшибательной личностью еще не заинтересовался. В центре композиции произошло легкое движение, Матвей Грабочей потер свою бритую башку. В былые времена боевая его голова многим напоминала порядочный пенис, увы, с годами на верхушке появилась какая-то прозелень и вокруг порядком скукожилось: даже «снайперы партии», как неизменно называли Матвея, подвержены необаятельному увяданию.

— Удивляюсь я, товарищи, — устало и мягко, как взрослый с детьми, начал «снайпер», — удивляюсь сегодняшней повестке дня, — вздохнул, потер прозелень сильнее, она заголубела. — Вот весь день сегодня сидел с референтами, готовился к очередной Пагуошской конференции... невольно как-то взгляд шел по карте мира... ну, вообразите, сейчас ее перед собой... по всему фронту ведь идет... — голос Грабочея к этому моменту заметно окреп, — по всему фронту препятствуют маршу социализма! Ангола! Эфиопия! Сальвадор! — Голос его крепчал. — Везде против нас ведут бои, крестовый поход, понимаете ли, объявили, а тут, оказывается, еще в тылу тяжело сражающегося войска завелась какая-то... какая-то... — поиск подходящего слова сбил мощно наравставший поток де-

цибел, — какая-то пакость, понимаете ли... — Возникла зловещая пауза, во время которой голова «снайпера» медленно повернулась лицом к «пакости». — Независимости ищите, друзья? От кого? От народа? От государства? От партии? — И вдруг завопил во всю мощь того, что давало ему всю жизнь славу «пламенного трибуна», словом, завопил, как урка, раскочегаривший себя до истерики: — Не позволю! Как сталинградский комбат! Никогда! Пакость! Махровая пакость! В тыл ВКПб?!!

— Матвей! Матвей! — Старый товарищ по оружию Журьев положил ему руку на плечо.

Возникло впечатляющее молчание, в котором вдруг прозвучал вежливый голос Венечки Пробкина: КПСС. Что вы сказали? — изумился Журьев. Просто поправка, уточнил Венечка. Это при Сталине было ВКПб, а после Сталина уже ведь КПСС. Всю обойму разрядил бы в этого, подумал Грабочей, семь пуль в длинноволосого.

Недурного кола воткнули Матвею в жопу, подумал Журьев и сам заговорил в похожей на стартовую грабачеевскую снисходительной мягкой манере, давая понять, что ему, международнику, борцу за мир, члену ЦК, дело это кажется мыльным пузырем.

— Матвей, как известно, горячится. Что поделаешь — комсомольская, магнитогорская закваска. Однако он прав, конечно. Увы, товарищи, мы еще недостаточно сильны, чтобы позволить себе роскошь плюрализма. Возьмите вопрос космического челнока. Отстали? Да, отстали, товарищи! Сколько еще потребуется затрат, материальных и духовных! Во всем мире люди ждут нашей помощи, товарищи. Кто знает, сколько еще предстоит сражаться, прежде чем наш противник осознает бессмысленность своих усилий остановить ход истории. Вот тогда... — Журьев прикрыл глаза и раскрыл руки, как бы в предвкушении сладостного мига. Двойной подбородок его стал четверным. — Вот тогда, возможно, мы позволим себе роскошь вот таких, с позволения сказать, изданий. — Снисходительный кивок в сторону лежащей на столе глыбы «Скажи изюм!». — Пока что об этом и речи быть не может, и надо на это недвусмысленно указать этим товарищам. — Жест ладонью в сторону шестерки.

Два-три больших либерала при этих словах просияли. Отличное предложение! Указать! Не рубить башки, а просто со всей строгостью *указать*, и к тому же нашим же *товарищам*, а не врагам!

Журьев, заметив восторг, чуть сдвинул свое густое на неандертальских дугах.

— А кое-кому не мешает и по рукам! Словом, это нам всем сообща решать, товарищи! Как партия учит.

Прикрыв ладонью глаза, он бросил в щелочку взгляд на лошадиное лицо Макса Огородникова, на его обвисшие усы и глаза, в которых стояла одна лишь оловянная наглость и презрение. А ведь был отменный бутуз. Припомнилась шикарная пьянка в доме старика Огородникова на улице Грановского. Май 1939-го, первые шаги в партийном искусстве. Эх, мамка у него была хороша, такая зажигалочка!

Объект этого мимолетного наблюдения между тем скользнул взглядом по своему фронту. Слава Герман держал в зубах пустую трубку, слегка морщился, будто ботинки жали. Чавчавадзе, словно в театре, всему внимал оживленно, все отражал лицом, качая головой, беззвучно хохотал. Олежа Огородников пошевеливал рыжею бородою. Венечка, уронив патлы, строчил в блокнот выступления и реплики. Древесный по-прежнему не отрывал взгляда от пола. Любопытно, громким шепотом произнес Макс, верит ли Журьев хоть на сотую долю в то, что говорит? Рука Древесного сжала ему колено. Тише, Макс, ведь ты же обещал! Что я обещал? Макс, я тебя прошу, все идет нормально, только не обострай... Огородников дернулся, освободил стреноженное колено.

Обсуждение пошло дальше с претензией на некоторую спонтанность, но в то же время и с соблюдением неписаной таблицы о рангах. Третьим по значению в общегосударственном масштабе был здесь «поэт фотокамеры» Фесаев, он и вякнул третьим: ну, а чего там собрали-то? Антисоветчины небось? Он тоже был недоволен заседанием — отрывают от творчества, всякие проходимцы замедляют получение народом очередного шедевра, а ведь терпение-то народное — не бездонная чаша! Вятичи, куряне, смоляне, все русичи из земли своей родной всегда черпали силу, из народных ключей. Те, что мистику за уши тянут, сымают невидимое, это не наше семя, проблемы тут нету.

Проблема в другом, подхватил его сосед и соратник по «Огонькам Москвы» Фалесин. Вот читаю ихний манифест и глазам своим не верю. «Штука искусства редко подходит под какой-либо ранжир». Етто что ж, наше дело, святое, кровное «штукой» именуется? Он говорил тоном обиженной бабы, у которой тесто убежало, и сам был похож одновременно и на бабу, и на тесто. Выходит, я сымаю нашу советскую натуру, а мое произведение называют «штукой»? Великого художника вот этого творения, он показал на соседа Фесаева, тоже, значит, «штуками» назовете? Спасибо, спасибо, покивал Клезмецов, верные и современные замечания. Попытки снимать прошлое и будущее, безусловно, несут в себе зерна буржуазного декаданса. Советское фотоискусство привязано к сегодняшнему дню, к нашему сверкающему и вдохновляющему моменту. Однако позвольте, товарищи, несколько отвлечься от темы. Обратите внимание, товарищи, как тщательно здесь все конспектируется одним из приглашенных. Готовится, видно, большое рэвю для определенных органов печати.

Все устались на ревностного писаку Венечку Пробкина, но тот продолжал строчить, не поднимая головы, видимо отставая от оратора, и, только когда дошел до соответствующей сентенции, понял, что речь идет о нем. Тогда дернулся. А что, разве нельзя, что ж не предупредили?

Да нет, пожалуйста, записывайте, не расставаясь с улыбкой всесильного подлеца, проговорил Клезмецов. Я только хотел вот напомнить собравшимся. Один такой все записывал, а оказался... ре-зи-ден-том!

По комнате прошелестело с некоторым скрежетом: Солженицын, Солженицын, был такой у писателей Солженицын, это он все записывал...

Собрание в этом пункте отчего-то забуксовало, потеряло гладкую до сих пор спонтанность. Клезмецову не хотелось предоставлять слово по списку, обнажать драматургию, поэтому он был даже рад, когда Глясный предложил «все-таки послушать составителей, как они дошли до жизни такой», хотя это несколько нарушало его «канву». Ну что ж, вероятно, Максим Петрович пожелает высказаться?

Сухая лапка Древесного будто лягушка под током дернулась к огородниковскому колену. Вот о чем надо сказать

почтенному собранию, о том, как нормальный гордый человек, мастер мирового фото, певец поколения превратился в дергающуюся лягушку. Кто запугивает Андрея Древесного? Не только те, что по профессии, но вы все, бессмысленные свиньи социалистического реализма! Всякого, у кого не хрюшка, вы своим визгом глушите, пока не оглохнет, и вонюю своей оскверняете, пока не протухнет. Вставай, Андрей, давай, ребята, все отсюда сваливаем, о чем нам говорить с этим рядом сволочи?!

В принципе он мог бы именно так высказаться, не побоялся бы, если бы не было бы-бы-бы за плечами альбома и всех фотографов, которым вовсе не обязательно делить его судьбу, но парадокс заключался в том, что без альбома не было бы-бы-бы и нынешнего собрания. Если бы судили одного, если бы только за «Щепки»!..

Товарищи, не кажется ли вам, что дело непомерно раздуто? В глазах Глясного, показалось ему, мелькнул какой-то огонек. Может показаться, что существовал какой-то заговор, продолжал он, попытка подрыва, а ведь этого не было. Мы организовали наш альбом не с деструктивной, а с конструктивной целью. Андрей Древесный поднял голову, пока Максим правильно говорит. Мы просто окна хотели открыть, чтобы... ну... Древесный сжался, неужели скажет, «чтобы вони было поменьше»?.. ну, чтобы больше стало кислороду... Кислороду? Клезмцов вскинулся, очки сверкнули, как у социал-предателя иудушки Троцкого. Вы, Огородников, должно быть, кислородом называете антисоветчину? Огородников замолчал, повернулся к другу Андрюше и развел руками. Позвольте, товарищи, вдруг вылез некто Щавский, вечный «друг молодежи», через руки которого в свое время и Огородников прошел, а позже и Охотников, а сейчас уже и Штурмин, вечный председатель комиссии по работе с молодыми. Фотий Феклович, как бы нам с водой не выплеснуть и ребенка! Антисоветчина? Не слишком ли сильное слово? Декадентщина, нигилизм, порнография, этого в избытке... он брезгливо как бы отодвинул от себя злополучный «Изюм», хотя при всем желании не смог бы до него через стол дотянуться. Но «антисоветчина»!

Щавский, друг ты мой, вдруг по-коровьи замычал Клезмцов, да взгляни-ка ты на художества Жеребятникова! Над

Выставкой Достижений Народного Хозяйства глумится уголовник! Он махнул рукой Кобенке, тот тут же показал на маленьком экране два слайда, сделанных по подборке Шуза. Вот, пожалуйста, снабжен заголовком «Инопланетное становище». Снятый снизу, дыбился чудовищный чугунный бык с мошонкой, как бы заполненной пушечными ядрами, символ могущества советского животноводства. Изящные колонны и золоченые статуи народов СССР располагались по периферии. Отчетливо был виден в глубине герб какой-то союзной республики. Если это не антисоветчина, то, значит, и Рональд Рейган... — дался ему Рональд Рейган, поморщился Глясный и снова почувствовал, как по щекам прошла волнишка красной краски... — значит, и Александр Хейг — голуби мира! Ну, а теперь, товарищи, взгляните на это, на осквернение дорогого советским людям символа. На экране два могучих человеческих организма, женский и мужской, в диком порыве вздымающие свои принадлежности «серп и молот», иными словами, знаменитая скульптура Мухиной «Рабочий и колхозница». Снято это было Шузом Жеребятниковым по-простецки, на этот раз без всяких трюков, и очень по-простецки выглядела стремянка, ведущая под юбку женской металлической особи, и на стремянке неопохмелившийся работяга со шваброй на длинной палке. Подпись под фотографией скромно гласила: «Ежемесячная чистка».

— Ну, знаете, — сказал в собрании женский голос.

— Хулиганство, хулиганство, — зашумели мужские голоса. — Любопытно теперь, что скажет Щавский?!

— Товарищи, — вскочил на ножки коротышка Щавский, — конечно же, это хулиганство, мерзкая интеллектуальная распушенность и объективно выглядит оскорблением наших патриотических чувств, но субъективно, товарищи, может быть, я не прав, здесь все-таки нет антисоветского умысла, а?

— Да, вы не правы, Наум Григорьевич! — поднялся румяный и пухлый, похожий на булочника из чистого немецкого городка партийный фотограф Кресельщиков. — Хулиганство, декаденщина, нигилизм, порнография, все это противоречит ленинской эстетике, а то, что противоречит ленинской эстетике, то как раз и является чистейшей антисоветчиной. Не так ли?

Щавский прижал руки к груди, закрутил повинной головою: сразил, сразил, Кресельщиков, аргументы убийственные! Ну, вот и хорошо, Наум Григорьевич, кивали ему иные из присутствующих, вот и видно, что не лишены вы диалектического подхода к действительности. Клезмецов подмигнул Щавскому. Макс Огородников сел на свое место. Что-то не то, пробормотал Андрей Древесный, как-то не так... А ты, Андрюша, раньше не знал, как такие пленумы дирижируются, спросил Огородников, эта драматургия тебе не знакома? Величественно подняла пальчик Джульетта Фрунина, и все утихли: дама! Я — солдат, сказала дама чеканно. И я женщина, добавила она мягче. И как солдат, и как женщина я ненавижу порнографию как тела, так и души! Все, что здесь кроется, гневный жест в сторону альбома, это издевательство над нашим скромным и милым народом, но наш народ умеет дать отпор насильникам и растлителям! Она заводилась с каждым словом на зависть Грабочею и даже, может быть, из-за плохо сделанной подтяжки, обнаруживала некоторое с ним сходство. Когда-то о ней говорили, что она неплохо танцует старинный танец менуэт, грустно подумал Слава Герман. Где вы, красотки прежних лет?

Огородников вдруг поймал на себе и на Древесном внимательнейший взгляд Клезмецова, тот как бы изучал ситуацию, возникшую между двумя друзьями. Заметив, что пойман, Фотий Феклович не отвернулся, а, напротив, как бы обнажил свой замысел. Я вижу, что даже не всем участникам группы по душе этот дурно пахнувший «Изюм», сказал он, как бы приглашая обратить внимание на пришибленного Андрея. Немудрено, настоящий большой мастер не может не чувствовать фальши, спекуляции, нечистого сговора! Он может сам в силу ложно понятого чувства товарищества оказаться в дурной компании, однако совесть художника подскажет ему, в чей огород — пауза, подчеркивающая корневое слово, — в чей огород летят камешки...

Ну, вот сейчас Андрюха и взорвется, решил Максим. Сейчас все его увещевания полетят к черту, разыграет дворянская кровь. Сейчас он их пошлет, как когда-то в 68-м посылал! Андрей Древесный катастрофически молчал.

Вместо него возгорелся рыжим огнем мастер из русского города Ангелов. Чего ж это вы, товарищи, тут на Жеребятни-

кова нашего навешиваете?! Может, это он сам быка с мощной вам вылепил, сам этой железной даме лестницу под юбку замастырил? Обсуждение на таком уровне проходит, что думаешь, понимают ли данные товарищи фотографию, снимали ли когда-нибудь сами?

А вот этого на виселицу, подумал «снайпер партии» и выразительно посмотрел на товарища Глясного. Понятно, подумал последний. Грабочей предлагает взять этого мальчика на заметку. Опять я краснею, что со мной, опять я безобразно рдею, елки-палки. Слава Герман из своей замкнутой трубочной позиции вдруг опознал высокопоставленного товарища. Да ведь мы пили как-то с этим Глясным. Руставелиевский банкет в ущелье Вардзиа. Он жрал стаканами.

...фотография, товарищи, искусство, возможно, еще более таинственное, чем живопись. Не задавали ли вы себе вопрос, может быть, в ней содержится огонь Вселенной? Пока переглядывались и не заметили, что уже с минуту говорит еще один «изюмовец», самый маститый, кому Родина и орденов не пожалела, мерзавцу. Чавчавадзе стоял петушком, поправлял свой «кис-кис» и унисонный платок, распустившийся из нагрудного кармана наподобие орхидеи. Мгновение летит неудержимо, сказал поэт, так продолжал московский Автандил. Ты простираешь руки, но опять оно летит, оно проходит мимо! Господа, мы ловим мгновения в нашу загадочную «камеру обскура». Фотограф — это маленький воин с прашой, стоящий перед гигантом Хроносом. Господа, простите, товарищи, художник всегда недоволен современным ему миром, ибо он думает о мире идеала, даже если живет при королевском дворе. Вспомните Франсиско Гойю! Господа, словом, товарищи, Пантагрюэль мочился на Париж и залил французские святыни, однако Рабле не подвергли остракизму! Неужели мы отстали от Франции на пятьсот лет? Я призываю вас вспомнить о потоке времени и об огне Вселенной! Журьев и Грабочей с некоторым изумлением переглянулись. В свое время можно было дотянуть до Всемирного Совета Мира, подумал Журьев, сейчас на свалку. Гранатой, подумал Грабочей. С потрохами.

Автандил ты наш Георгиевич, дорогой ты мой человек, снова вдруг замычал коровой ласковой Клезмецов. Да неуже-

ли ты думаешь, мы тебя не понимаем? Неужели ты думаешь, нам вечные темы чужды? Здесь твои друзья, дорогой наш Автандил, а там... жест в предположительном западном направлении... там лишь расчет, холодное коварство, туда тебя тянет опытный враг!

Огородникова вдруг передернула крупная лошадиная дрожь. Едва ли не в отчаянии он подумал, что в организме его сейчас идет борьба адреналина с яростью и что любой результат этой схватки будет не в его пользу. Фотик! — тихо воскликнул он. Что ты нам шьешь?

Клезмцов выпятился на него всем своим бесстыдным лицом. Почему «мы»? — спросил он. Почему ты прячешься за «мы», Максим Петрович? Далеко не все там у вас такие, как ты, *опытные*. Ты бы лучше за себя отвечал, Огородников, а вот с тобой, обещаю... «ща» в этом слове обернулось вдруг истинно змеиным шипением, участники пленума даже малость окаменели, товарищ Глясный нашупал в кармане пиджака таблетку валиума... с тобой, Огородников, всееее будееет хорошшшоо... шипел Фотик.

Выдает себя, подумал Грабочей, у этого говнюка Фотика все-таки нервы не в большом порядке. Надо закругляться. Сейчас я его направляю.

— Сколько экземпляров заготовили? — спросил он Огородникова в лучших традициях следователя 37-го года: вот этого ломать, пока не покается.

Станным образом вопрос Грабочей пропал втуне: Огородников пропустил его мимо ушей. Он переводил взгляд с искаженного лица Фотика, которое в этот момент как бы выпирало из привычных измерений, на бледный профиль Андриюши, представлявший из себя удивительную вмятину. А ведь когда мы начинали, все было наоборот: вмятиной был Фотик, Древесный демонстрировал рельеф.

Двенадцать экземпляров, ответил за Огородникова Охотников. И все они здесь? — Грабочей продолжал спрашивать у Огородникова, который на него не обращал внимания. Как любое затянувшееся собрание, пленум правления Союза фотографов начал впадать в маразм. Здесь вроде один, сказал Олеха и сделал какой-то странный любовный жест в адрес невозмутимой глыбы, лежавшей у локтя председателя. Все в Со-

ветском Союзе? «Сталинградский комбат» (ходили слухи, что он командовал заградбатальоном, то есть попросту уничтожал своих) начинал терять терпение.

Матвей Николаич, урезонил его Клезмцов, нет нужды спрашивать. Один экземпляр переправили в Нью-Йорк. Тут наконец Огородников, пребывавший как бы в беззвучном пространстве, встрепенулся. А тебе откуда это известно, спросил он почти грубо, где черпаешь сведения? Может быть, ты и про ограбление мастерской Михайлы Каледина знаешь? Может быть, те бандюги отправили альбом в Нью-Йорк?

Товарищи, товарищи, вмешался усталый Журьев. Какой-то детектив получается. Следствие ведут знатоки, хохотнул легкомысленный Пробкин. Безобразие, безобразие, зашумели правленцы, ведут себя вызывающе!

Клезмцовская «выпуклость» под взглядом Огородникова странным образом стала опадать. Почему я этого боюсь, подумал он, почему я до сих пор боюсь, что опознают как Кочергу? Ты хочешь сказать, Максим Петрович, что никто из иностранцев не видел альбома?

Иностранцы, усмехнулся Огородников. Почему вы так боитесь иностранцев, товарищи фотографии? Клезмцов, ты знаешь, сколько иностранцев ежедневно находится в Москве? Говорят, до ста тысяч. Сто тысяч?! Эка хватил. Цифра явно произвела впечатление на пленум. Столько подозрительных! Масса иностранцев видела «Изюм», мы их не считали. Мы иностранцев не боимся, наоборот — приветствуем, а вот вы тут все время о космической эре талдычите, о научно-технической революции, а сами всего иностранного боитесь, как в докукуевской Москве дьячки сыскного приказа.

Нехорошо пахнут ваши шуточки, любезный Максим Петрович, взметнулся петушком либерал Щавский. Пересечение взглядов: Грабочей — Журьев, Глясный — Клезмцов, Красильщиков — Фрунина, Фесаев — Фалесин, неназванные — в хаотическом скольжении.

Ну а теперь расскажите нам о вернисаже, простенько так произнес Клезмцов, расскажите товарищам о провокационном сборище, которое вы готовите в центре Москвы. Венечка Пробкин, который все строчил, невзирая на опасное сравнение с «резидентом», в этом месте запнулся. Да это не в центре

будет, а на Соколе! Огородников же, почувствовав клезмцовскую слабую пятку, воткнул в нее еще одну мстительную иглу. А откуда вам про вернисаж-то известно, Фотий Феклович? Хороша творческая организация, ничего не скажешь! Ты все погубил, еле слышно шепнул Андрей Древесный.

Огородников отказывает нам в творческом статусе, усмехнулся Клезмцов, что ж, и нам, и ему придется сделать соответствующие выводы. Вот есть проект резолюции. Пленум правления Московской фотографической организации Союза фотографов СССР, заслушав сообщения первого секретаря Клезмцова Ф.Ф., осудил затеянный членом союза Огородниковым М.П. фотоальбом «Скажи изюм!» как чуждое традициям отечественной фотографии, идейно ущербное и художественно некомпетентное собрание, основной целью которого является раскол советского фотоискусства. Пленум выразил возмущение провокационной деятельностью Огородникова, льющего воду на мельницу нашего политического и идеологического врага, и призвал членов союза, по причинам идейной незрелости примкнувших к фотоальбому «Скажи изюм!», немедленно выйти из его состава. Кто за эту резолюцию, товарищи?

Такая убеждающая стройность была в этом документе, и вдруг опять все смешалось. Встал Слава Герман, который до этого обнадеживающе молчал, стал махать своей трубочкой, пытаясь высказаться, заика. Эх, старый товарищ, неужели и ты клюнул на долларовую приманку, страстно бередил в этот момент самого себя Фотик Клезмцов, будто и думать забыл, что был бит этим «старым товарищем» за стукачество. Свинство, таково было первое слово бывшего гения, которого, несмотря на все его бесконечные провалы, проколы, пьяные безобразия и «выпадение в осадок», все в этом так называемом союзе, включая даже «завистливых руситов», считали «истинным фотографом». П-п-почему же т-тут од-дин Ого-ого-родников указан?! А мы что же, овцы? Требую, чтобы и меня пристегнули к провокационной деятельности! Я работал не меньше Ого! Заслужил ваше возмущение, товарищи! Я зрелый, идейно зрелый!

В наступившем вслед за этим прискорбным заявлением всеобщем перепугом к требованию Германа присоединились

Чавчавадзе, Пробкин и Охотников, причем последний даже брякнул дерзостное «рыжих нет!»).

Опупение усилилось. Трещал проект резолюции. Секретариат не знал, как себя вести в тех случаях, когда не смягчения просит объект, а требует к себе ужесточения. Выход как бы подсказал Андрей Древесный, он просто вышел, не сказав ни единого слова. Секретариат больше никого не задерживает, быстро сказал подручный Клезмцова Куненко. Не уйдем, куда нас в свою бумагу не вставите, заявил Охотников. Sic! — восхитительно подтвердил Чавчавадзе. Венечка писал в своем блокноте «пауза, пауза, пауза».

В периоды опупения на помощь всегда приходит партия, потому-то взгляды секретарей и членов правления невольно повернулись к представителю Центра товарищу Глясному, у которого от этого внимания дистонические толчки пошли еще сильнее и выразились пятнами на лбу и носу. Приходится соответствовать. Нужно откашляться. Эх, Слава, Слава, как молодцы мы были, как гуляли в рамках декады культуры... Товарищи, видимо, не вполне понимают серьезности своего положения, сказал он, однако мы не можем не принять их слова во внимание. Мне кажется, секретариат должен доработать проект резолюции, а голосование провести в рабочем порядке.

— Мудро, — пискнул Щавский.

Не наш человек, подумал о Глясном Грабочей. Жопа, подумал Журьев, не дожимает. Говно какое, говно, было общее затаенное мнение. Кажется, что-то не то я предложил, подумал Глясный, укладывая в портфель копию стенограммы. Кажется, Фихаил Мардеевич на что-то другое намекал. Впрочем, домой, домой! А завтра в отпуск, в Кисловодск и там — ни капли!

Клезмцов с косою рожей закрыл собрание и сказал «изюмовцам», что резолюцию они получают по почте. Если же буржуазная пресса узнает о сегодняшней дискуссии или же если состоится провокационный вернисаж, пеняйте на себя.

— А что будет? — оживленно спросил Пробкин.

— Увидите!

Пробкин и Охотников тут же забрали руки за спину. Где стража? Какая еще стража? Так ведь вы же, Фотий Феклович, дали приказ: уведите! Шуты гороховые, дошутитесь! Толпой

участники пленума правления и «изюмовцы» прошли по антресолям и стали спускаться в ресторанный зал. Мразь, громко сказал Огородников. Это в чей же адрес? — проокал Фесаев, хоть и одна-единственная округлость присутствовала во фразе. Вы угадали, был ответ.

VI

Станным образом зловещий пленум сразу выветрился из головы. Пробкин подбросил Огородникова до Смоленской, и теперь он топал в одиночестве вниз по Арбату к своему переулку. Стояла классическая московская ночь, ради одной которой стоило возвращаться из-за морей. Масса снега вокруг, чуть-чуть подвьюживает, десять градусов мороза, мелькание очаровательных женских лиц, Арбат ими богат, вдруг перемещается что-то в небе, и луч луны освещает недурной сталактит, свисающий с карниза Вахтанговского театра. Будь у нас нормальная жизнь, Арбат превратился бы в то, что в американских больших городах называется «вилэдж», были бы стильные бутики, джазовые клубы, диско, открытые всю ночь книжные лавки и галереи, кафе. Всю ночь бы тут колобродил народ, невзирая на перепады температуры и не вспоминая о большевизме... На углу Староконюшенного переулка посреди выметенного ветром асфальта стоял сугроб и из него торчала телефонная будка. Кое-как он пролез внутрь и позвонил на Хлебный. Где же вы, любезнейший, вскричала Настя. Я вам уже передачу собираю в подземную тюрьму, а вы... Она все еще нередко сбивалась на свое шутовское «вы». А я прогуливаюсь, сказал он. В городе сегодня безвластье, пользуюсь паузой. Вас гость ждет. Кто таков? Господин Древесный подождет. Он вылез из сугроба, вся гадость ночи вернулась, вся прелесть испарилась. Пленума этого, собрания этих монстров, оказывается, еще мало, предстоит объяснение со струсившим товарищем.

Древесный ждал его на улице, прогуливался меж сугробов, заложив руки за спину, словно в галерее. Вон твои попечители проехали, сказал он, кивая в конец переулка, где медленно, будто по волнам, проплыла по снежным колдобинам

одинокая «Волга». Да это просто такси, Андрей. Ну, пусть будет так. Скажи, противно разговаривать с предателем? Кончай, кончай, старик! Да ведь ты же меня небось в предатели уже зачислил. Никуда я тебя не зачислил.

Ты смотрел на меня там, как на предателя, крикнул Деревесный, а потом обессиленно махнул рукой. Ну что ж, похоже теперь в предателях. Хохма в том, что мне теперь придется его полночи утешать, подумал Максим. Да ладно тебе, Андрюха, никто тебя предателем не считает, ну, сплин, ну, нервы... Предателем ты бы был, если бы их задание выполнял, когда сдерживал нас, но ведь ты же *сам* хотел спустить на тормозах, сам как бы, ну, вроде бы спраздновал труса, верно?

Верно, Макс! Деревесный снял свою некогда богатую, а сейчас изрядно облысевшую пыжиковую шапку, подставил голову под ветер. Макс, прости, у меня все горит в башке, в груди, в жопе. Я там твоей Насте наговорил черт знает чего, все зачеркни, ближе тебя ведь никого у меня нет; сестра — равнодушная кукла, дети — чужие, Полина — смешна! Макс, меня Блужжаежкин обманул, старая гнида. Он сказал, что есть решение спустить это дело на тормозах.

Нашел кому верить — Блужжаежжину! Он тебе, часом, стаканчик «Киндзмареули» не предложил?

Макс, я поверил ему, потому что струсил! Вовсе не потому, что он мне поездку в Америку сулил! Ничего мне не нужно, кроме спокойствия! Деревесный вдруг бухнулся коленями в снег, широко перекрестился. Пойми, не могу больше. У тебя, Ого, нервы покрепче... Ха-ха, сказал Ого. Ну, все-таки не такие говенные, как у меня. Знаешь, я уже чувствую старость, измученные гены, они ведь нас били в Гражданскую и в 37-м половину семьи перестреляли — деда, дядю Шуру, всех родственников в Иркутске, искалечили жизнь отцу, запугали мать, у меня самого из-за них в детстве дикий комплекс неполноценности развился. Тебе легче, Ого, ты...

Не говори мне об этом, сказал Огородников, сам знаю. Все знали в Москве, что злодеяния 37-го года — большая молюль Макса, хотя никто у него в семье не был посажен или убит и палачей — явных, во всяком случае, — не определялось. Все знали, как Макс заводится на год своего рождения, и даже как бы старались при нем избегать этой темы. Нет уж,

прости, скажу, упорствовал Древесный. Ты, Ого, из победителей, из их лагеря, хоть и взбунтовался. Ты в детстве родителями гордился, а я дрожал, когда об отце спрашивали. Ты красных презираешь, а я их ненавижу и боюсь. Вот чего тебе в твоём фото всегда не хватало, Ого, — моего страха, моей комплексухи! Когда пришел успех, я думал, что преодолел свое детство, что торчу теперь наравне с тобой, «новая волна», фавориты Европы, а вот теперь страх опять пришел, все валится из рук, только спрятаться хочется, не могу, не тяну...

— Когда они у тебя были? — спросил Огородников.

— Кто? — вздрогнул Древесный.

— Ну, «фишки». Один такой хмырь за шестьдесят и второй молодой, Володя такой, генерал и капитан. Меня они еще в мае пужали. Они?

— Ко мне не приходили, — буркнул Древесный, постоял немного в некотором оцепенении, потом снова воспламенился.

Приходили, не приходили, в этом ли дело, Ого?! Эта сила тем страшна, что не персонифицируется, во всяком случае для меня. Я замерз, сказал Огородников, пошли в студию. У меня в кармане «Плиски» бутылка: Муся и Аня из «Росфото» дали и знак поддержки. Нет, я не пойду, я там Насе наговорил сто бочек арестантов. Ты мне лучше дай глотнуть, Огоша! Отвинтили пробку. Экая мразь, совсем исхалтурились болгары.

Распитие бутылки посреди ночи под хмурым фонарем, то есть «дуэт горнистов», как бы вернуло прежние времена и устранило нынешнее, постыдное. Слушай, Огошка, слушай, Андрюшка, давай все ж друг за дружку... Знаешь, мне кажется, власть задумала по нашу душу настоящее злодейство. Перестань, не дрони себя, не преувеличивай, в худшем случае они на мне отыграются, выгонят из союза, а мне там немоготу, я-то уже решил — задиссидентствую вкрутую. Однако за тобой ведь люди стоят, мы стоим, мы же тебя бросать не можем, будет предательство, нужно хитрить, и ты должен хитрить вместе с нами. Что я и делаю, иначе б! Давай откажемся от этого вернисажа, Ого! На хрена нам эта показуха? Это игра, понимаешь, Андрей, надоело все только их игры играть, хоть рич сыграть бы в своем вкусе, как будто их нет, ведь не против же них, а просто без них, а ты можешь и не приходиться. Да как же

это мне не прийти, не могу я не прийти, Огоша, потому и прошу отменить...

— Ну вот, — сказал Огородников. — На этот раз *они* появились, ночная стража Хлебного переулка.

Из-за угла деловито выворачивала опермашина, все четыре шипованных колеса. Обычно она занимала позицию как раз под тем фонарем, под которым сейчас стояли друзья. Осветив их дальними фарами, машина как бы запнулась, потом стала подавать задом, чтобы на противоположной стороне втереться между сугробами.

Древесный торопливо допил остатки «Плиски». Интересный сюжет, сказал Огородников, тебе не кажется? Машина в снегах, как «Челюскин» во льдах... У тебя камера с собой, бэби? Древесный показал на ладони крохотную «Минолту». Сойдет! Сделай отсюда несколько снимков, а я подойду поближе. Они стали снимать двумя аппаратами заваленный снегом переулок, фонарь, друг друга, машину с антенной и четыремя широкими «будками» внутри. Оперативники, за неимением других инструкций, раскрыли перед носами четыре газеты «Честное слово». Что мне делать с собой, в отчаянии подумал Андрей Древесный.





ВЕРНИСАЖ

I

Перед нами теперь простирается огромная московская площадь Сокол. Под ней пролегал автомобильный туннель, в котором кажется иногда, что едешь за пределами Советского Союза. Ну а за пределами туннеля в северных и южных частях площади есть два подземных перехода для пеших граждан, и в них названное выше предательское чувство не появляется никогда.

Теперь на поверхность, товарищи, в шипучую гушу дней. Давайте вспоминать из эмигрантского далека диспозицию недвижимой социалистической собственности: ведь немало кружили в свое время по этой странной и даже отчасти безобразной территории, даже и на любовные свидания отсюда заворачивали на улицу Алабяна, не удосужившись, увы, узнать, кто таков человеке. Да и по сей день, надо признаться, в невежестве пребываем.

Итак, войдя на площадь Сокол с южного конца, увидели мы по правую руку магазин «Минеральные воды», а по левую архитектурную крошку-шедевр, кафе того же названия, то есть «Сокол». Построено кафе было в теплое время, в начале 60-х годов, и архитектор, замышляя бетонный вздымающийся козырек, воображал, конечно, дальнейшие чудеса демократизации. Козырек, однако, через десять лет обвалился, архитектор эмигрировал, а кафе превратилось в пит-пункт зрелого, по выражению Фотия Фекловича, социализма. По левую руку далее мы увидим последствия культа личности, впол-

не незыблемые, здоровенные четырнадцатизэтажные глыбы так называемых «генеральских» домов. Вывески над первыми этажами гласят «Кино», «Столовая», «Ремонт», «Гастроном», то есть не оставляют гражданам никаких надежд. И все-таки диву даешься иной раз на Москву.

Все, казалось бы, большевиками продумано, чтобы народ не вертухался, вот и города строят по типу тех, что изображены с функциональной целью в букварях, и все-таки с московским людом до конца так и не могут управиться. Вот и церковка позванивает меж «генеральскими» домами, вот и театральный подъезд, похожий на вход в котельную, там, в так называемом театре, какая-то лихая компания показала авангардистский «Нос» на музыку Шостаковича. А вот и далее пучится сталинский домина а-ля крем-брюле, а в нем между тем кафетерий-пельменная «Континент». Континент, континент, хоть имя дико, но мне ласкает слух оно. Хорошо еще, что «Архипелагом» пишепункт не назвали.

Словом, от первоначального сталинизма площадь Сокол ушла довольно далеко, тем более что в роли Сталина давно уже выступает не-Сталин. С бесстрастием неудачливого, но жестокого отца смотрит на семью народов гигантское плоское лицо с фасада антисталинского небоскреба «Гидропроект». Там, где партия, там успех, там победа, гласит лицо пудовыми буквами из дюралюминия. После реставрации капитализма в этом доме разместится концерт «Мерседес-Бенц», усмехается хитрый народ, буквы пойдут на рекламу полезных продуктов, ну а портреты — на портянки, как в поэме Александра Блока. Да что это, воскликнет в этом месте читатель, неужто так народ распоясался на площади Сокол? Вот именно так и распоясался, подтвердим мы, именно таков и есть этот народ или, во всяком случае, вот этот его представитель, здоровенный дядька с седыми кудрями до плеч, в кожанке и меховых унтах, выпускающий клубы табачного дыма и морозного пара.

Шуз Жеребятников влез в огородниковскую «Волгу» и сразу все окна запотели. Привет, Ого! Здорово, девка! Порядок в танковых войсках? Первая новость, которую он сообщил, была не особенно вдохновляющей. Академики — забздели! Позвольте, позвольте, воскликнула возмущенно пред-

ставитель академических кругов Анастасия Огородникова-Бортковская, два слова не сочтается, сударь! Первое исключает второе! Но не наоборот, возразил ее супруг, злокозненный Огородников. Детали хочешь, жопа, сказал Шуз. Деталь как-то ближе к... к тому, что вы употребили вслед, сударь. Итак, детали. Вчера на именинах певицы Таракановой были все наши академики, и все забздели. Отец советской фугасной бомбы горшкового типа академик Понтекорпулос пустил слезу и сказал, что, если придет в «Континент», больше никогда не увидит свою Грецию, родину современной цивилизации. Академик Иннокентий Миндаль сказал, что придет обязательно, в том смысле, что пришел бы непременно, если бы как раз в этот день и час ему не нужно было быть в городе Челябинск-два, где сломался собранный из японских магнитофонов компьютер, управляющий советскими искусственными спутниками Земли, а от этого зависит судьба мира во всем мире. Академик Блевантович, Рубро и... Ов втихаря слиняли, пока я душу вытрясал из Миндаля и Понтекорпулоса.

Нэкст. Чаво? — спросил Огородников. По-английски тебе говорю, дурак, следующее. Режиссеры тоже не придут. Главного с «Солянки» вызывали к Деменному, накрутили кишки на кулак. В театре «Соучастник» тоже паника. И Бебку, и Бубку, и Сеньку, и Феньку, да и Фадея-Гребанного-Олеговича запужали вконец, предупредили, что не получают к Первому мая звания Заслуженных артистов Федерации.

С писателями лучше, продолжал Жеребятников. «Метропольцы» все подгребут, этой шараге терять нечего. Ну хорошо, сказал Огородников, а Московский-то полк выйдет, а Морской экипаж не колеблется? Итак, все собираемся в каре вокруг пельменной, стреляем в воздух и кричим: Константина! Константина!

Ну а Семен, директор кафетерия? Этот торчит, как штык, заверил Шуз. Он просто крезанулся на фото, этот Сенька. Прыгает до потолка, что в его гадюшнике такие знаменитости собираются. То есть он ничего не знает? — спросила Анастасия. А чего ему знать? Огородников положил руку на необъятное кожаное плечо. Слушай, Школа-Университет-Завод Артемович, по всей вероятности, против нас на полном серьезе разворачивают что-то очень хреновое. Может быть,

сыграем «марш-марш в кусты»? Зачем невинных людей, вроде этого Семена, втягивать? Да ты очумел, Ого? — рявкнул Шуз. Отменять такую шикарную кайфуху? Праздновать труса у всех на виду? Никогда! По рубцу! Глухо! А Сеньке любой втык только на пользу пойдет: быстрее отсюда свалит в Бруклин, там у него брат лавку держит.

Они вылезли из машины. Максим тщательно проверил замки, посмотрел сквозь стекло на желтую кнопку «секретки» — утоплена. При попытке пробраться внутрь машина взвывает, как взбесившийся осел. Они стояли теперь втроем на краю северного берега площади, возле магазина «Минеральные воды», сквозь замерзшие окна которого можно было различить садящегося орла, символ Ижевского источника. Ну-с, господа, что мы имеем на поле битвы? Поле битвы было невероятно широким и бесконечно пересекалось чуть ли не всеми видами московского транспорта, «Континент» на противоположном берегу еле различался за хаотичным скоплением троллейбусных удилищ. Поздравляю, три милицейских фургона в непосредственной близости, да там и «воронок» на всякий случай подготовлен, а вот и «бойцы невидимого фронта»... Смотрите, братцы, они все по «уоки-токи» переговариваются, готовы к бою. Глаза отказываются верить этому позору, пробормотал Огородников. Здорово, Жеребятников весело хлопнул рукавицами, расшевелили гадюшник! Анастасия молчала, прижавшись щекой к огородниковской оранжевой куртке.

Стояла морозная неподвижная голубизна. Подъехал и запарковался рядом белый «Мерседес» с инкоровским номерным знаком. Из него вышел не кто иной, как Харрисон Росборн, корреспондент газеты New York Ways.

— Макс, — радостно воскликнул он, — я только что вернулся и сразу к событию, да и тут прямо на вас натолкнулся! Удача! Где этот «Континент» и нет ли тут намек на парижский журнал? Ха-ха, — продолжал он, — я вижу, здесь не только я из империалистической прессы!

Появление возбужденного американца привнесло в советскую «напряженку» элемент какого-то незамысловатого шухера: событие, the event, ну и давай, полегче и порезче, действуйте в своем амплуа, возмутителей спокойствия, ведь мировая пресса за вами, господа, это амплуа уже закрепила.

Мировая пресса и впрямь не дремала. Кроме росборновского «Мерседеса» на другой стороне площади был виден желтый «Фольксваген» итальянца Экко, «Вольво» вездесущих датчан и даже «Испаносюиза» ленивых могущественных бразильцев. Наиболее опытные, хоть и молодые, шакалы пера и городские партизаны Фрэнк, Люк и Давид предпочли прибыть к месту события без машин и сейчас бодро вышагивали от станции метро к подземному переходу. А вот и Эн-би-си, ухмыльнулся Росборн. Микроавтобус макротелекомпании не принужденно втирался между двумя милицейскими машинами на стоянке прямо напротив кафетерия-пельменной.

С удовольствием никуда бы не пошел, шепнул Максим Насте. Нет уж, надо идти, вздохнула она. Росборн на ходу обернулся румяной щекой из-за твидового воротника. В Нью-Йорке масса людей передавали вам привет, Макс. Я даже запутался. Марджори Янг, знаете такую? Что-то не помню, пробормотал Огородников. Она звонила по поручению Дага Семигорски, передавала какую-то странную фразу, дайте взгляну на свою шифровку. Из записной книжки была извлечена странная фраза «Splinters are doing well». Не знаю, что это означает. Спасибо, Харрисон, хотя я тоже ничего не понимаю. Только этого не хватает, шепнул он Насте, «Щепки» выходят.

На дверях «Континента» висело объявление «Закрыто на санобработку». За мутным стеклом видны были два ухмыляющихся «шкафа» в белых халатах. Между ними иногда мелькало бледное лицо фотофанатика Семена. У него был такой вид, будто он держит во рту драгоценность и боится ее проглотить. Фрэнк, Люк и Давид вежливо постукивали в стекло. Только один вопрос! Из троллейбуса, прямо к кафе, выпростались Олеха Охотников, Миша Шапиро и Венечка Пробкин, в руках у каждого было по экземпляру альбома. Подгрёб приглашенный саксофонист. Приблизились две юных красавицы, гости отсутствующего Андрея, остановилось несколько зевак. Группа Огородникова закончила пересечение площади.

А ну-ка, граждане, освободите тротуар, сказал подошедший старшина милиции. А что тут происходит, — спросил зевака. У нас там обед торжественный назначен, объяснил Олеха, а они, глянь, санобработку объявили. Безобразия, с чувством сказал зевака. Аванс взяли, а жулят! — шухарно

крикнул Венечка и, присев на корточки, снизу: открывай двери!

Подходило все больше «изюмовцев», их гостей и зевак. Васюша Штурмин в своем высоком цилиндре возглавлял группу концептуалистов. Георгий Автандилович в проеме распахнутой шубы с шалевым воротником демонстрировал свисающие ордена немалого калибра. У вас что, ребята, банкет по случаю диссертации? — спросил зевака. Тяни выше, сказал Шуз, государственную премию хотели отметить. Совсем взбесились, высказалась тетушка. Кто взбесился, мамаша? Да все. Несколько характерных молодчиков с повязками «дружинников» стали раздвигать толпу. А ну-ка разойдитесь, граждане, сейчас здесь дезинфекция начнется. Какая еще дезинфекция, Шуз начал давить плечом, пробираться к дверям. Час назад я звонил, никакой дезинфекции не было! Два «дружинника» стали осторожно отодвигать его в сторону. Тебе что, больше всех надо, дядя? Один из «дружинников» увещевал зевака. Расходитесь, граждане, разве не видите, что здесь происходит, иностранные корреспонденты собрались! Публика при этих неприятных словах начинала быстро линять, однако новые подходили. Максим поймал на себе очень внимательный взгляд одного из «дружинников». Тот перешептывался с милиционером. Мимо медленно проехала оперативная машина с синим фонарем на крыше. Окна у нее были открыты, несколько рыл щупали глазами толпу у «Континента». Одно из рыл бормотало что-то в бормочущий «уоки-токи». Со всех сторон щелкали затворы фотоаппаратов, но кто снимал, понять было трудно — то ли «фишка», то ли коры, то ли сами фотографы.

Приятная атмосфера, сказал Харрисон Росборн. Напоминает Бульдозерную выставку. Я уже думал, что ничего подобного не может в Москве повториться. Из всех иностранных журналистов этот калифорниец был первым знатоком московского артистического «андерграунда», сидел в Москве третий срок и по-русски говорил почти без акцента.

Бульдозеров поблизости все-таки не было, но вместо них на тротуаре появились два газика с железными щетками. Понадобилось срочно выскоблить асфальт перед пельменной «Континент»: ничего не поделаешь, Москва — образцовый коммунистический город. Братцы, надо Шуза выручать, по-

казал Герман. Два «дружинника» и мент придавили богатыря к фонарному столбу: ты что, позорник, под дезинфекцию хочешь попасть? Субъекты в черных пальто с каракулевыми воротниками подошли к телевизионщикам. Снимать не разрешается.

Ну, Макс, надо это кончать, сказала Настя. А я-то тут при чем? — пожал он плечами. Макс, не прикидывайся, все наши ждут твоего слова, ты — главный! Подскочили Фрэнк и Люк. Вернисаж отменяется? Огородников опять пожал плечами. Да поехали всей кодлой на Хлебный ко мне, там и провернисажуем, что ли, — все как бы нехотя, как бы между прочим, как бы все это дело гроша ломаного не стоит. Позднее казнили — зачем прикидываюсь, зачем сам себя обманываю, почему не могу, как Оскар Рабин, взять на себя все дело? Если бы трусость просто, но это не трусость, а если не трусость, что тогда?

Так или иначе, после приглашения на Хлебный эпизод стал раскручиваться. Не ломать же двери, «гориллы» только этого и ждут, обратят и в Бутырки на пятнадцать суток, а то и из Москвы вон за «злостное хулиганство». В Хлебный, однако, ехать не с руки, в «охотниковщину» тоже глупо — записываться на «фишкины» пленки. А вот Цукер к себе приглашает. Айда, свалим все к Цукеру на Плющиху! Не поеду, вдруг заявил Шуз Жеребятников, не поеду, пока не отдадут, за что заплочено. Вот по списку: шампанского «Массандра» шесть ящиков, икры зернистой два кило, хлебобулочных изделий, то есть калачей, двенадцать кило, коньяк... После дезинфекции получите, вечером, сказал вдруг молчавший до этого посторонний наблюдатель, неопознанный майор Крость. Хер вам, возразил Шуз, после вашей вонии продуктам на помойке место. Да я скорей сяду, чем не получу «за что уплочено». Сесть, Жеребятников, успеете, пообещал неопознанный майор Крость и распорядился вынести из кафетерия заказанные продукты по *списку*. Двери открыли, пробежал с выпученными глазами Семен, резанул пальцем по горлу. Вали сразу на Колпачный, Сенька! — крикнул ему Шуз.

Решено было ехать кто как может на Плющиху, а возле «Континента» оставить Охотникова и Штурмина, чтобы предупреждать тех, кто будет еще подгрести для участия в

изящном шаловливом вернисаже первого независимого московского фотоальбома «Скажи изюм!».

С ящиками на плечах и с пакетами в руках группа Огородникова пересекла непомерно широкую площадь в обратном направлении. «Волга» и «Мерседес» стояли на прежнем месте, только что-то было странное и общее в позициях этих двух не очень-то близких по духу машин — присели обе на заднее левое! Ах, как неприятно, хлопнул себя по бокам Росборн, товарищи в своем прежнем репертуаре! Что такое? — ахнула Настя. Да шины прокололи ублюдки! — завопил Огородников. Посмотрите, посмотрите, люди добрые, идеологическая охранка шины прокалывает! Он вдруг взорвался и орал, как будто именно перспектива менять колесо на морозе оказалась последней взрывной каплей. Публика молча проходила мимо, никто слов-то таких не знал — «идеологическая охранка». Между тем по всему пространству площади иностранные корреспонденты и «изюмовцы» уже вытаскивали домкраты: у всех машины присели на заднюю левую, как будто передняя правая сделала черное дело.

II

Кое-как переставили колеса, погрузились и прибыли на Плющиху. Цукеровская квартира гостей не вместила, но оказалось, что соседи по лестничной клетке очень свободомыслящие, «отказники», бывшие математики, а ныне циклевальщики полов фирмы «Заря». Итак, пошла гулять вся лестничная площадка да еще два марша лестницы. К альбому, выставленному в цукеровской мастерской, установилась очередь, как в Мавзолей. Явился подосланный «фишкой» участковый капитан Прохорчук. Ему поднесли с ходу стакан и в карман дали бутылку джину. Народ все подваливал с Сокола. Все друг друга поздравляли. Поздравляем, поздравляем! Да с чем? С праздником, господа, с выходом свободного русского фотоальбома! Вдруг суматошный звонок. Охотникова и Штурмина на Соколе все-таки схватили и приволокли в 12-е отделение милиции. С ними еще двух «изюмовцев» и одного поэта. Теперь допрашивают, шьют попытку ограбления сберкассы.

Шуэ тут же связался с 12-м отделением. Здравствуйте, сказал он эдаким военно-морским баском, вас из фотогруппы «Новый фокус» беспокоят. Ответственный секретарь Жеребятников. А с кем имею честь?.. Майор Сетаных? Очень приятно, майор. Вы там наших людей незаконно задерживаете. Давайте, давайте, не повышайте голос! Ограбление сберкасы? Отлично. В таком случае поговорите, пожалуйста, с корреспондентом газеты «Нью-Йорк уэйз» господином Росборном. Он как раз собирает материал для статьи о борьбе с преступностью в Москве. Мистер Росборн, майор милиции Сетаных на проводе!

Добро пожаловать, сказал в трубку Харрисон, он знал, как разговаривать в таких случаях. В конечном счете вы без возражений в сторону маленький интервью? Майор Сетаных после этого в панике бросил трубку. Через час прискакали на такси «грабители»: их отпустили, взяв подписку о невыезде.

Между тем сосед Цукера Боб Вайнер оказался вообще золотым человеком. Он взялся вулканизировать проколотые камеры жертвам идеологической борьбы двух миров. Иностранцы из новичков удивлялись: зачем «вулканизировать» эту ерунду, не проще ли выбросить? Те, кто поопытней, и среди них Харрисон Росборн, советовали: слушайтесь умного человека, все автомобильное дело здесь — «дефицит»! У Боба Вайнера, конечно, во дворе сарайчик, и там все под рукой, работа шла споро, пока до огородниковской камеры дело не дошло. Внутри у нее что-то бренчало и прощупывалось. Боб потащил камеру наверх, на «междусобойчик», как он без всякого недоумения стал называть вернисаж запрещенного фотоальбома. У тебя, чувак, там что-то бренчит и прощупывается. Боюсь, не нож ли? Вытащили в присутствии мировой прессы остро заточенное лезвие ножа длиной пятнадцать сантиметров, обломанное, очевидно, по рукоятку. Никто, кроме Огородникова, такого комплимента не удостоился.

III

Утром следующего дня Настя вытащила из почтового ящика ворох писем. Конверты были праздничные, с рисунками: День

Артиллерии, День Танкиста, День Войск ПВО, День Военно-Воздушных Сил, День Советской милиции, День Пограничника... Ну, вот Огоша, а ты все жалуешься, что почту перехватывают. Смотри, сколько поздравлений!

Открыли первое письмо. На листке из ученической тетрадки в косую клетку округлыми ученическими буквами оно гласило:

«Борцу за права человека М. П. Огородникову. Три года назад в районе пролива Лаперуза я был арестован при попытке перехода государственной границы СССР с целью передачи спецслужбам США государственного секрета несправедливого СССР. Результатом было помещение в психиатрическую больницу города Благовещенска, откуда я, Владимиров К. Н. 1950 года рождения, бежал в город Астрахань, где проживаю без всяких средств у супруги по адресу: улица Калинина, дом номер 5, квартира 3. Зная вас по передачам иностранного радио, помогите связаться с центрами борьбы за свержение КПСС для получения соответствующей материальной помощи».

Вот как славно! Огородников почесал башку.

*...А я швыряю камушки с крутого бережка
Далекого пролива Лаперуза...*

Открыли еще один конверт. Огородников, срочно пришлите нам 1500 рублей из ваших фондов. Мы, рабочие Подмосковья, вдохновленные передачами иностранного радио, взяли на себя обязательство вести непреклонную борьбу против советских поджигателей войны...

— А вот это тебе, Настя, видишь, и тебя не забыли.

Без особых хитростей, все той же рукой: «Проститутка Настя, всем известно, что ты спала и спишь с Андреем Древесным, а твой в кавычках законный супруг — постоянный посетитель венерологии. Не позорьте счастливую советскую семью, а лучше убирайтесь в Израиль к другим предателям родины...»

Прочитано было три, а оставалось еще не менее дюжины. Обратите внимание на почтовые штампы, сударыня. Стоит только штамп нашего почтового отделения. Откуда отправ-

лено — не известно, тайна «холодной войны». Сейчас вот пойду на почту и потребую ответа, пусть не думают, падлы, что молчать будем. Перестань, Макс, не связывайся!

На почте он разложил веером все письма перед заведующей. Бедная женщина смотрела на него со священным ужасом. Странная история получается, сказал Огородников, над вами цитата Владимира Ильича «Социализм без почт, телеграфа, машин — пустейшая фраза», а в почтовых ящиках люди находят полуфабрикат. Выходит, почтовое ведомство фактически выходит из социализма, так получается? Я прошу вас, товарищ заведующая, проследить, чтобы в дальнейшем такие отправки не повторялись, иначе я обращусь в Международный почтовый союз, и о вас заговорят по радио.

Радио в этот раз было упомянуто к месту. Вернувшись с почты, он увидел Настю с транзистором. Растянувшись на ковре, она крутила ручки коварного аппарата. Рядом стоял телефон, дымящаяся кружка с кофе и набросано было журналов. Симпатичное зрелище, подумал он с порога. Сейчас джинсики стянуть и... Сейчас будет интервью Брюса Поллака! — крикнула она, и фривольная мыслишка мигом оставила борца за соблюдение международных почтовых соглашений.

Оказалось, что едва он ушел на почту, начались звонки по всему «Изюму», а потом даже Олеха Огородников прибежал впопыхах, сунул в дверь бородеху и сообщил: «Голос» объявил, что будет репортаж из нью-йоркского Сохо. Верни-саж московского независимого фотоальбома «Скажи изюм!» в галерее «Нью-Йорк—Париж—Санкт-Петербург». Интервью с владельцем галереи Брюсом Поллаком, а также с выдающимся русским фотографом Аликом Конским. Настраивайтесь, а я побегу других предупредить. Похоже, Настька, что теперь нас всех за жопу... пока!

Много лет уже хохмили по Москве, что огородниковское гнездо находится в «непростреливаемой» зоне. Повсюду были глушилки, везде приходилось чуть ли не под потолок лазать, чтобы почерпнуть информацию, а у Макса все «рупора» звучали так чисто, будто запускались с Шаболовки. Для тебя, сучонок, придется индивидуальную глушилку строить, грозился Шуз Жеребятников. На идеологии мы не экономим.

Похоже, что построили. Настя и Макс ушам своим не верили — по всему диапазону сплошной осатаневший вой. Да ведь раньше-то на кухне слушали, а теперь ты в кабинет притащила, догадался он. Пошли с транзистором на кухню, и там вдруг чудодейственно возобновилась благодать, будто и нет в мире мерзопакостной глушилки. «Голос Америки» пустил свою запись из Сохо. Максим услышал гул голосов и будто воочию увидел то, с чем не больше месяца назад расстался, нью-йоркскую художественную толпу с ее струйками дыма над бугристой поверхностью. Мы присутствуем на уникальном событии в Сохо, сказал женский голос, по интонации можно было узнать недавнего эмигранта. Фотографы и любители литературы собрались в галерее «Нью-Йорк—Париж—Санкт-Петербург», чтобы отметить состоявшийся уже в Москве выход фотоальбома «Скажи изюм!», осуществленный независимой от официального Союза фотографов группой «Новый фокус». К удивлению всех присутствующих — а собрался, можно сказать, весь фотографический Нью-Йорк, — владелец галереи, известный коллекционер и адвокат Брюс Поллак, представил на обозрение одну из немногочисленных копий оригинального издания. Мистер Поллак был также столь любезен, что согласился в этой праздничной суете ответить на несколько наших вопросов. Скажите, Брюс, можете ли вы объяснить, как это чудо — альбом почти одновременно представлен в Москве и в Нью-Йорке? Послышался голос Брюса, он зарокотал в своем лучшем стиле. Ферст ов ол... грэйт привэлэдж... лэт ми экспрэс май адмирэйшн... наконец выкристаллизовался ответ на вопрос корреспондентки: выдающееся произведение искусства нельзя удержать в национальных границах. Огородникову почудилось, что Брюс в этот момент с яростной радостью потер ладони.

Однажды он поинтересовался: сколько вам лет, Брюс? Я еще молод, ответил агент, мне пятьдесят девять. Хохма в том, что американцы типа Брюса, а таких миллионы, абсолютно уверены, что шесть десятков — не возраст.

Корреспондентка в этот момент как бы спохватилась. Какая удача! К нам приближается президент крупнейшего фотоиздательства «Фараон» Даглас Семигорски! Мистер Семигорски, «Голос Америки» освещает сегодняшнее событие для

радиослушателей в Советском Союзе. Не будете ли вы столь любезны?.. Буду, буду, вельветовый Даг. Интересно, подумал Огородников, эта секретарша, молодой талант, опять забыл ее имя, нехорошо. Сколько раз говорил себе — запоминай имена секретарш, интересно, она — как всегда под боком? Дипли, дипли импрэсд, мягко гудел Семигорски. Нет сомнения, любители фотографии в Соединенных Штатах будут очень «дипли» (глубоко) впечатлены («импрэсд») этой уникальной коллекцией как демонстрацией творческого потенциала России. Да, безусловно, наше издательство намерено выпустить «Скажи изюм!» большим тиражом. В американском варианте он будет, конечно, называться «Сэй чиис», с вашего позволения. Взрыв отличного смеха!

Вслед за этим интервью корреспондентка, тарыхтя, как пишущая машина, быстро передала свои собственные впечатления. Мелькали имена основной обоймы авторов — Огородников, Герман, Древесный, Лионель, они, видимо, были ей известны по прежней жизни на просторах родины чудесной. На мой взгляд, открытием альбома являются работы молодого автора Жеребятникова, протарахтела далее она, но, впрочем, у меня было слишком мало времени, чтобы сосредоточиться на других работах молодежи, и, безусловно, молодые фотографы Чавчавадзе, Штурмин, Пробкин, Охотников, Цукер, Марксятников и другие, всего в составе альбома тридцать три автора, теперь войдут в элиту мировой фотографии. Настя хмыкнула: поздравляю, Георгий Автандилович, пора в комсомол!

Снова возник шумовой фон вернисажа, из которого вдруг выделился русский бас, отчетливо сказавший фразу: «Елки-палки, это ты!» Потом корреспондентка опять затарахтела. Только что пришел телетайп агентства ЮПИ из Москвы. Оказывается, вернисаж альбома «Скажи изюм!» был разогнан милицией и агентами «госфотоинспекции» в штатском, кафе «Континент» закрыто на дезинфекцию. Кажется, повторяется история знаменитой Бульдозерной выставки 1974 года... Между тем вернисаж в Сохо продолжается. Дискуссии, встречи, интервью... Здесь работает команда телевизионного канала «Метромидиа». Как раз в этот момент они интервьюируют знаменитого фотографа Алика Конского, которого здесь

называют «крупнейшим из ныне живущих». Мне удалось со своим магнитофоном пробраться поближе. Постараюсь познакомить вас с мнением Конского. Прошу прощения за качество записи и спонтанность перевода.

...Ай кэнт хелп бат сарпрайз, устало и, конечно, почесывая под мышкой, произнес Конский. Разрабатывает сложный оборотец, вспомнил Огородников. Не могу не удивляться, чем вызвано появление этой коллекции, говорил Конский. Ее составители — баловни советского фотоискусства, официальная, так сказать, оппозиция при дворе, кх-кх, икскьюз ми, ее величества партии. У них в СССР было все — слава, деньги, чего им еще не хватало?.. Скорее всего, этими людьми двигала жажда международной известности, других объяснений у меня нет...

По харе, по харе, вцепившись в Настино плечо, бормотал Огородников, в следующий раз — просто по харе!

Однако, продолжал Конский, рядом с московскими звездами в альбоме, кх-кх, икскьюз ми, кстати, почему изюм, почему не арбуз, в общем, здесь много и новых имен, есть свежий воздух... нужно детально рассмотреть... после соответствующей обработки новой переводческой техникой... не исключен определенный интерес...

Мастера, пояснила тут репортерша, как показалось слушателям в Москве, не без некоторого смущения, очень требовательны друг к другу, но еще более они требовательны сами к себе. Мы передавали репортаж из нью-йоркского Сохо о вернисаже в связи с выходом в Москве независимого фотоальбома «Скажи изюм!». Вела репортаж Семирамида Наталкина.

Едва лишь затих заокеанский гул, в квартиру с открытыми ртами, всклоченные, клооча диким возбуждением, стали врываться «изюмовцы». Через полчаса полы уже ходили ходуном. Собирались по одному, по двое, неслись как бы в трагическом порыве сказать товарищам последнее прости, но, оказавшись все вместе, конечно, раздухарились, и теперь в разных углах квартиры вспыхивал вроде бы не подходящий к ситуации хохот, а на кухне распечатывались бутылки и опускался холодильник. Дело плохо, ребята, говорили друг другу. Хуже не придумаешь. Горим, как шведы. Хуже-хуже. По-

ложение хуже губернаторского. Много хуже, много! Эх, сейчас бы в это сраное Сохо, пахать меня в ухо! Раньше надо было думать, Моисей! Из Союза попрут, это точно! Из какого Союза? Если из основного... молчу! В «Фараоне», ребята, издадимся, да за это и на союз можно положить... А бабки какие-нибудь нам светят? Светят, держи! У меня вот джинсы светятся, хоть бы джинсы прислали...

Ты видишь, Макс, все к нам примчались, вздохнула Настя. Неумолимый ход событий, пробормотал Огородников с каким-то тоже вполне неестественным легкомыслием. Он тоже был возбужден и тоже хохотал на слово «плохо» — ох, плохо-хо-хо... и думал со злостью: Конского надо разоблачить! Рассказать, как «Щепки» топил!

В очередной раз зазвонил телефон. В трубке молчали. Это, наверное, Сканшин, сказал Огородников и крикнул: чего сопишь, Вова? Отбой. Ну, теперь начнется, лицо Огородникова опустилось, сразу постарело на десять лет, никуда от них теперь не уйдешь. Настя повисла у него на плече. Я знаю одно место, Огоша. Снова зазвонил телефон. Говорил Андрей Деревесный:

— Ну, теперь ты доволен? Запустил свою аферу на полный ход, а мы должны выкручиваться?

— Ты что, Андрюха? Ты что?

Пораженный какой-то неудержимой враждебностью старого товарища, Максим еще некоторое время бормотал бессвязные «да ты охерел», «что ты несешь», хотя в трубке слышались гудки отбоя.

За окном пронесся мгновенный снежный вихрь. Сильный фонарь с близкой стройки освещал тяжело раскачивающиеся ветки клена. На одной из них висела замерзшая, окостеневшая в какой-то омерзительной форме тряпка. Взгляни, Настя, пробормотал он, кивая на тряпку и пальцем тыкая в нее. Экая кикимора! Да просто простынка сорвалась с верхних балконов, успокаивала она его. Сорвалась и застряла, вздор, чушь, никаких символов.

ПОЛУБРАТ

I

Утром проклятая тряпка оказалась прямо перед глазами, потому что спать свалились прямо в кабинете посреди пустых бутылок и пепельниц с окурками. Засыпанная снегом, она еще больше скукожилась и стала походить на изрядного шакала. Солнце желтком стояло над стройкой, по верху которой двигалась пара ленивых фигур. По свежей кладке уже протянута была какая-то красная гадость.

Бычков навалом, сказала под боком Настя довольно хриплым, чуть ли не проституточным голосом. Начав недавно курить, она этим делом чрезвычайно увлеклась и по ночам и по утрам собирала окурки, «на всякий пожарный», а то вдруг без курева останешься, как тогда жить?

Огородникова это почему-то раздражало, он и сейчас заорал: выброси все немедленно к этой, к той, всю эту, ту, иначе — по жопе!

Зазвонил телефон. Одновременно дернулись четыре ноги. Нет, это невозможно. Поедем в церковь, Настя, простонал Максим, мне очень в церковь хочется. Поедем, конечно, сказала она, давай поедем в Коломенское. Дрыхнешь еще, спросил в трубке ленивый, под стать похмельному утру баритончик. Октябрь?! Январь! Кажись, не «лонг дистанс», прикинул Огородников, автоматику Москва давно обрезала, если бы звонил из-за границы, прежде вошла бы телефонистка. С приездом, Октябрь! Поздравь с отъездом, усмехнулся голос полубрата. Как прикажешь понимать? Объясню при встрече.



Договорились встретиться вечером у «мамульки». Максима неприятно резануло забытое слово. С юношеских лет он называл свою родительницу Капитолину Тимофеевну только лишь «мамой», без всяких «очек», а то и просто «матерью», в то время как развязный и шикарный Октябрь величал всегда мачеху «мамулкой», и той это определенно нравилось. Станным образом Капитолина Тимофеевна всегда старалась держаться с родным сыном в рамках, как она сама это определила, «корректных отношений», а вот с пасынком, что был всего лишь на десять лет ее моложе, была запанибрата и называла его Рюшей, то есть производным от невероятного Октябрюши.

— Максим, я не одобряю твоих планов на каникулы!

— Ну, знаешь ли, мама, я уже взрослый человек!

— Рюша, ну объясни же ему! Ну, Рюша!

— Шатапчик, мамулька, у мужчин свои дела.

— Ну, может быть, ты и прав, Рюшка такой!..

Итак, у мамульки в шесть, сказал Октябрь. Да почему именно... там, кисло спросил Максим, хотя и согласился уже. Ну, ты даешь, хмыкнул Октябрь. Совсем, выходит, забыл «Вишневый Огород»?

Так они когда-то, в счастливые сталинские времена, когда никакими диссидентскими страданиями в семье и не пахло, называли свою огромную шестикомнатную квартиру в серой домине на площади Моссовета, поблизости от теоретической твердыни Всесоюзного института марксизма-ленинизма, где их общий папаша способствовал поступательному ходу истории. Многие помнила историческая площадь, в том числе и прозрачную ночь 1949 года, когда в разгаре борьбы против космополитизма у коня основателя Москвы князя Юрия Долгорукого отпиливали чугунные яйца, чтобы не стала лошадь тридцать лет спустя легкой добычей фотографа-формалиста.

II

К назначенному часу Максим и Настя приехали на площадь и запарковали машину возле ресторана «Арагви». Любопыт-

но, что мать не видела в глаза ни одной из моих жен, припомнил он, кроме Виктории Гурьевны, а с этой уникальной особой они, кажется, дружат и по сей день. Пересекая пешком заснеженную площадь, они увидели, разумеется, и «фишку». Все те же дурацкие приемы — сидят в своей тачке, закрывшись газетами.

В подъезде Огородникову показалось, что он участвует в каком-то старом фильме. Как будто старый фильм, почему-то шепотком сказала Настя. Вот здесь, между колонн, просится портрет Сталина. Почему тут сидит милиционер? Тут всегда сидел милиционер, громко пояснил Огородников, охраняя самых равных среди равных. Сейчас тут самых равных нет, но парочка занюханных министров осталась. Ему показалось, что и милиционер не изменился, все тот же вроде «Михалыч», вот сейчас скажет: неужто Максим?

— Вы к кому, товарищи? — спросил милиционер.

Конечно, «Михалыч» давно уж на пенсии. Мы к Огородниковым, к Капитолине Тимофеевне. Одну минуточку. Мильтон снял трубку, не отрывая от них взгляда, проникнутого доброжелательным гебизмом. Октябрь Петрович, тут к вам двое молодых интересных. Есть! Пожалуйста, товарищи, четвертый этаж.

Октябрь встретил их в дверях. Я вас из окна углядел. С кем это, думаю, наш чувачок хилает? Мда, не перевелись еще женщины в русских селеньях. Это моя жена Настя. Прекрасно, значит, я могу ее поцеловать? Приятный пожилой господин иностранец, подумала Настя. Он провел их в гостиную и сразу отошел к буфету. Что будете пить? Есть мексиканская текилья с червяком.

На первый взгляд Октябрь Огородников выглядел как американский профессор политических наук с либеральным уклоном. Твидовый пиджак в «селедочную косточку», рубашка «батонсдаун», английские башмаки с дырочным узором, все поношенное, дорогое, удобное и, очевидно, любимое. Затем можно было заметить то, что отличало его от академической среды, — намек на пижонство, плебейство: выстриженные усики, аккуратный пробор, разделяющий седоватые, как бы молью траченные волосы, перстень с черным камнем, часы из черного металла. В принципе, он так и остался, как

был, стилигой 50-х годов, несмотря на столь активную роль в борьбе за торжество «мира и социализма».

Максим, глядя на него, вдруг почувствовал нечто прежнее, сильное теплое чувство безопасности, прочной защиты. Вдруг весь «напряг» и вся «трясучка» улетучились с приездом старшего брата, как будто вернулись те времена, сопровождаемые мелодией «Гольфстрим». Он подошел к брату и обхватил твидовое плечо. В буфете было большое зеркало, они оба в нем отражались. Максим был выше Октября на полголовы. В глубине гостиной видна была тоненькая Настя, она разглядывала фотографии на стене. Зря ты чувиху приволок сегодня, вздохнул Октябрь. Да это жена моя, улыбнулся Максим. В твоих женах уже запутались разведки обеих сверхдержав, сказал Октябрь. Седьмая или восьмая? Он глянул в глубину зеркала. Станочек неплохой. На большой серебряный поднос он поставил бутылку экзотической гадости, вполне реальный червяк на дне, но рядом все же оказались скоч «Чивас Ригал» и шампанское «Мумм». Очередь за орехами, крекерами, льдом. Все в западном стиле, другого и не знаем. Жаль, придется отложить серьезный разговор. «Гольфстрим» улетучился. Максим понял, что встреча с братом идет в ряду не «тех», а «этих» событий. Нечего откладывать, ближе Насти у меня нет никого. Муж и жена — одна сатана.

Настя тем временем стояла у стены, покрытой фотографиями в рамках красного дерева. Их было множество, и все они касались «этапов большого пути» исторического папаша. Одна ее заворожала. Компания большевиков в хорошей европейской одежде вразброд пересекала трамвайные пути в каком-то немецком городе. Снимок был отличного качества и профессионального мастерства. Чувствовался воздух того дня, складки платья подчеркивали энергичность послеобеденного движения. Один был Ленин, а второй — ...а второй был Макс, ее собственный Огоша, молодой сподвижник злокозненного Ульянова. На других снимках историческая личность такого сходства с сыном не обнаруживала, напротив, углубляя историзм, с каждым годом обнаруживала противоположные черты, но в тот момент пересечения трамвайных рельс эмигрантским веселым шагом вся большевистская дружина напоминала «изю-

мовцев» — может, шнапсу хватанули? — и даже Ильич со-
щурился котиком, будто на дворе не апрельские тезисы, а
просто апрель.

Подошли Октябрь с подносом и Максим со стаканами. Все
уселись вокруг низкого столика. Настя чувствовала некоторую
зябкость под взглядом шурина. Вы надолго в Москву? —
спросила она. Мда, сказал он. Что? — спросила она. Вообще-
то, сказал он и взялся откупоривать «Мумм». Так что же? —
спросила она. В каком смысле? — удивился он. Вопрос до-
вольно простой, сказала она. Макс, тебе не кажется, что я за-
дала Октябрю Петровичу довольно простой вопрос? Не очень-
то простой, сказал Октябрь. Вообще-то я на родине социа-
лизма дольше месяца не выдерживал, так уж сложилось, ка-
кая-то странная развилась аллергия, но сейчас, боюсь, при-
дется мне с этой аллергией бороться. Похоже, киса, что из-за
вашего красавца вся моя карьера жуякнулась. Как вы сказа-
ли? — Настя даже глаза вылупила. Карьера, говорю... Нет, не
про карьеру... жуякнулась, говорю, карьера... нет, вы меня как-
то странно... В чем дело, киса? Вот-вот, какое-то странное
обращение. Странное, говоришь? Макс, ты находишь, что
«киса» — это странное обращение?

— Ничего странного, — сказал Максим. — Я и сам ее те-
перь так буду звать. Киса. Ну, за встречу! У-у-п! А теперь, Окт,
давай расшифровку.

Далее началось для Насти нечто невообразимое. Вот уж
не думала, когда «левака» на Кузнецком ловила, что в такие
угожу дебри. Оказалось, что Октября отозвали из его, как он
выразился, родного Вашингтона, где он, оказывается, даже и
Макс этого не знал, проживает уж который год в качестве
представителя агентства печати «Социализм». Шифровкой
приказали лететь в Москву первым же самолетом. Конечно,
он сразу понял, что это связано с художествами младшего по-
лубрата и что карьера его теперь «жуякнулась». Настроение
было отвратительное. Даже мелькнула мысль, мы здесь все
свои, забрать семью — оказывается, и семья есть, жена Аля,
талантливая пианистка, и сын Андрюша лет четырнадцати с
небольшим, — валить в Государственный департамент — вы-
сечиваться, просить шалаша...

— Не понимаю этого жаргона, — сказала Настя.

Не понимаете, потому что не знаете, что перед вами генерал советской разведки КГБ, то есть не знали до вот этого момента. А вот американцы это прекрасно знали, и, что хуже, наши тоже знали, что американцы знали, и потому я... Ну, словом... Ну, в общем, детали здесь ни к чему. Важно, что мой отзыв связан с Максом, тут замешаны какие-то еще неясные мне большие силы, и, в общем, если Макс не выпадет из игры, мои карты биты, а он не выпадет, и правильно сделает, потому что надоело всю жизнь позориться. Давайте выпьем!

В этот момент появилась Капитолина Тимофеевна, затянутая в темно-серые шелка. Ну и баба!

— Как прикажешь это понимать, Максим?

Позволь, мама, да о чем ты? Ну и ну, выгаращила «альпинистка», да ведь эта баба вся драгоценностями увешана! Три нитки жемчуга, на четырех пальцах камни, серьгам цены нет!

— Что ты такое творишь, Максим? Твое имя не сходит с уст этих грязных антисоветских радиостанций! Так позорить память отца!

Она иной раз, при некоторых поворотах, выглядит просто молодой бабой, подумал Максим. Да что ты, мама, все так преувеличиваешь? Октябрь подошел к Капитолине Тимофеевне с бокальчиком. Шатапчик, мамулька! Прими коньячку и познакомься с Настей.

Кто это? Капитолина Тимофеевна, сидя в очень прямой позиции на стуле с прямой спиной, как бы только что заметила Настю, которая пребывала в низком мягком кресле, то есть в униженной, неаристократической ситуации. Не успев получить ответа, мамаша отвернула гордый подбородок. Очевидная попытка сдержать внезапно нахлынувшие слезы. Тут подкатил коньячный сосуд в крепкой мужской руке. Мамулька, мамулька! Ах, Рюша! Коньяк — прошел! Получается Хрюша! — ласково смеялся Октябрь. Очевидно, старая испытанная шутка, подумал Максим, и верно — Капитолина Тимофеевна ответила Октябрю улыбкой. Ах, Рюша, все-таки обидно — единственный сын!

Вдруг Максима пронзило: да ведь они же любовники! Во всяком случае, были любовниками под боком у дряхлеющего отца! Вдруг пронеслись какие-то вспышки из прошлого. Нужно было быть полнейшим поцом, то есть надменным и

самопоглощенным юнцом, чтобы не заметить особых отношений между матерью и полубратом, то есть между мачехой и пасынком. Ну конечно, это началось у них, когда Октябрь вернулся из своей таинственной школы. Тогда и объявились — «мамулька» и «Рюша». Мне было восемнадцать, ему двадцать восемь, а ей всего тридцать восемь, и она была тогда просто неотразимой бабой. Снимки, снимки, снимки, дача, катер, машина, курорт, их взгляды, тяга друг к другу... Странно, вроде бы не обращал на это внимания, а многое запомнилось. Значит — обращал внимание...

— Ах, мальчики, как я все-таки рада, что вы оба здесь! — неожиданно сказала Капитолина Тимофеевна и все-таки прослезилась, но без надрыва, а по-светски, легко, словом, как подобает. — Ну, и вам, конечно, рада, милая... да... милая Настя... ну, давайте, давайте-ка все к столу! Ксюша наша сегодня тряхнула стариной! Знаменитые пироги с капустой.

Далее покатился ужин и последующие перемещения то в гостиную опять, кофе и чай, то в «святая святых», в кабинет Петра Севастьяновича, где опять же «этапы большого пути» и портреты людей, осчастлививших наше отечество и даровавших оные портреты с личными подписями товарищу по борьбе, Коба, Старик, Абсолют, даже и «любимец партии» Бухарин извлечен был в соответствующий момент из-под спуда; Петр Севастьяныч, Настенька, отличался широтой теоретических взглядов, он только врагов нашей партии не любил; а это, милочка, авто «Паккард», на этой почве мы и познакомились с отцом вашего мужа, не правда ли, роскошен: ну а затем, тет-а-тет, то есть по-дамски, новой невестке была продемонстрирована небольшая коллекция меховых шуб: норка, песец, лиса рыжая, лиса чернобурая, каракуль, просто для разнообразия, котик, покажется странным, но это мой любимец, а вот этот мех называется «колински», у всех свои слабости, девочка, у меня — меха, это французское, это канадское, ну а это просто подарок меховщиков Казани к одному из юбилеев Петра Севастьяновича, соболь; Рюша считает, что бьет мировые стандарты...

Настя совершенно обалдела, и не столько от мехов, сколько от разговоров, которыми сопровождался ужин и дальнейшие перемещения. «Рюша», изрядно поднабравшийся, нес та-

кое, что волосы, как хорошее выражение гласит, на голове шевелились. Ты думаешь, киса, я стыжусь, что кагэбэшник? Ничуть не стыжусь! А почему? Потому что есть КГБ и КГБ! Бег ёр пардон, прямой перевод с английского. Вы тут бегаете по Москве и думаете, что КГБ — это все ваши «фишки», «лишки» и прочее, а у нас их, между прочим, терпеть не могут, самые подонческие отделы...

Настя обменивалась взглядами с Максимом. Тот пожимал плечами. Для него этот вечер тоже казался какой-то немыслимой дикостью, но не только от громогласных откровений Октября, но и от своего открытия, от «Рюши-мамульки», от нового смысла всех прошедших лет.

Ну, скажите, попы с ручками, нужна государству разведка? Разведка и контрразведка? Любому государству нужна, даже этому! Нет, я не стыжусь принадлежности к разведке КГБ! Не горжусь, но и не стыжусь! Я просто работаю по этой части, понимаете, мамулька, Максуха, ты, киса? Я просто профессионал высшей квалификации, ясно? Американские коллеги очень меня уважают, между прочим. Я все могу по шпионскому делу! Могу даже воровать, отличный карманник к вашим услугам. Хотите проверить? Ну, Настя, хочешь, я с тебя трусики стяну так, что даже и не заметишь?

Он стал приставать к Насте, чтобы она просто вот так от стены до стены прогуливалась, а он с ней заговорит как прохожий и незаметно трусики с нее стащит. Настя посылала его к черту, смеялась, в самом деле было смешно видеть в зеркале пожилого господина, пристающего к прогуливающейся красавице. Вдруг он протянул ей ее собственные часы. Извольте, генерал-майор КГБ Октябрь Огородников, карманник первого класса! Рюшка, ты невозможен, изнемогала Капитолина Тимофеевна.

Увы, это в прошлом, продолжал фиглярничать Октябрь. Сейчас у меня полсотни агентов под рукой. Какой-нибудь шишка на самом деле просто мой холуй! Впрочем, и это все в прошлом, тут он как бы сразу отрезвел и вздохнул. Все рушится. Ну что ж, в моем возрасте и при моей профессии к этому нужно привыкнуть. Эх, Макс, даже если бы ты в «невозврат» ушел, было бы лучше. Ей-ей, лучше и мне, и тебе. Я ведь тебя предупреждал. Помнишь?

Шаг за шагом разговор становился все серьезней. Тебе не нужно было возвращаться, Макс. У «фишки» на тебя колоссальный зуб. Огромное ожесточение против тебя, братишка. «Изум» они тебе не простят, а еще более того «Щепки». Тут вдруг Настя даже подпрыгнула. Выходит, вы полностью в курсе дела, Октябрь Петрович?

Октябрь снисходительно ей улыбнулся. Ну а как ты думаешь? Он теперь прохаживался по гостиной, сбросил пиджак, засучил рукава рубашки, раскурил здоровенную сигару. Только ради этого стоит держать в руках Гавану! Капитолина Тимофеевна, объявив, что у нее «час телефонов», удалилась в опочивальню. Если бы ты сейчас, предположим, отказался от «Щепок», продолжал Октябрь, ситуация еще была бы не безнадежной, но ты не откажешься, и правильно сделаешь: хватит! Одного я только не понимаю: почему такая «оуэрэакшн», кто тут проводит на самом деле эту Сталинградскую операцию? И неужели только за ордена и звездочки стараются?

— Такой размах? — спросил Максим. Он уже давно старался преодолеть пробирающуюся по косточкам пустоту.

— Масштаб операции, Макс, просто непомерный. «Фишка» давит на ЦК, а там от любого идеологического уклона просто башки теряют, иногда диву даешься. Иной раз кажется, Макс, что для них какой-нибудь поэтишко с гитарой страшнее американских «маринз». Может, и в самом деле страшнее?

Максим заставил себя рассмеяться. Конечно, страшнее. Поэты знают, где их «кащеево яйцо» зарыто.

— Максим, не говори глупостей! — крикнула проходящая по коридору с трубкой под хорошеньким ушком Капитолина Тимофеевна. За ней волочился бесконечный шнур. Октябрь следил за его волочением ослотившим вдруг взглядом. Палец в потолок. Они вас слушают, будь здоров. Буквально каждое слово записывается. Фирма не жалеет затрат. Даже ритм ваших с кисой копуляций, если позволите.

— Отчего же вы, Октябрь, так откровенны? — вдруг спросила Настя. — Не боитесь записи?

Кажется, он ей все-таки не нравится, подумал Максим. Октябрь бросил на Настю боковой взглядик. Хороший воп-

рос, киса, однако позволь мне на него не ответить. Могу только сказать, что вашему «Изюму» — крышка!

В каком смысле «крышка»? Максим теперь тоже вышаживал по гостинной вровень с братом. Чего они хотят от нас? Октябрь пожал плечами. Этого, прости, не знаю. Покаяний? Унижений? Предательства? Эмиграции? Чего они хотят... ну хорошо.... вдруг у него вырвалось с несколько неадекватной звонкостью: чего они хотят от меня?

В этот момент они оказались в разных углах большой комнаты. Остановились и смотрели друг на друга. Октябрь на вопрос Максима не ответил, пожал плечами.

— Посадят, что ли? — тоном ниже спросил Максим.

После нескольких секунд молчания Октябрь, отчетливо ставя ударение на каждом слове, произнес:

— Есть люди, которые этого не хотят.

III

Вечер завершился весьма странными эскападами Капитолины Тимофеевны. Вначале вбежала фурией, в вытянутых руках большая овальная коробка, в каких прежде дамы хранили шляпы. В спальне! Случайно! Включила радио! Опять ты, Максим! Какая антисоветчина! Антисоветчина! Максим, трясясь от злости, приложился к бутылке «Чивас Ригал». Любопытное слово, господи, не правда ли? Приставка «анти» придает ему мерзость, так? Однако уберите «анти», и вместо прелести у вас в руках окажется одна «советчина». Экая гадость!

Октябрь и Настя расхохотались. Капитолина Тимофеевна бухнула коробку на стол, сняла крышку, там оказался великолепнейший торт с цукатами. Из *нашего* магазина, торжественно сказала она. Чай, чай, товарищи! Ксюша, принеси самовар! Чай из самовара: в нашем национальном стиле!

Мне нравится, что Настя на сто процентов русская, сказала она за чаем, быстро-быстро заморгала, скривила рот, борясь с рыданиями, не выдержала — разрыдалась. Мамульки, мамулька! Ах, Рюша, оставь!

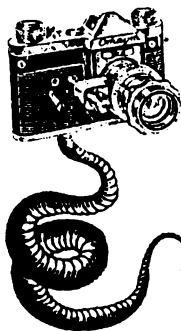
Провожая гостей, Капитолина Тимофеевна на сына не смотрела, но с Настей подчеркнуто разговаривала, демонст-

рировала неизвестно откуда взявшийся интим, а в конце всех уже просто-напросто огорошила — подарила невестке одну из трех своих лисьих шуб.

Ну и ну, сказала Настя на улице, ну и ну. Октябрь вышел их проводить, и сейчас под медленно парящим снегом трое родственников да князь Долгорукий на коне были одни на исторической площади, если не считать деликатно пыхтящего под аркой патруля «фишки», да компании пьяных грузин возле своего московского посольства, то бишь ресторана «Арагви», ну да и еще десятка случайно пробежавших и недостойных описания ночных прохожих.

Завтра иду к министру, сказал Октябрь. Ничего хорошего не жду. А мне что посоветуешь? — спросил Максим. Ничего не посоветую. Они в последний раз посмотрели друг другу в глаза. Когда-то я тебя любил, сказал Максим. Пойдем-пойдем, потянула его Настя. Спасибо за чудный вечер, Октябрь, затараторила она в совершенно неуместном светском стиле. Теперь мы вас у себя ждем. Ему к нам нельзя, пьяновато пояснил Максим. Не залупайся, пьяновато посоветовал Октябрь. Главное, не залупайся. И остерегайся стукачей. Среди моих друзей стукачей нет! Пятьдесят процентов! — пьяновато крикнул Октябрь, вдруг помчался к остановившемуся такси, уговорил шофера и уехал в неизвестном направлении.

Ну и ну, задумчиво промычала Настя, ну и шубка. Я и не мечтала о такой. Нам тоже надо найти такси, ты пьян. Вот, Настюха, какая вокруг нас советчина, бормотал он, с удивлением оглядывая площадь своего детства, вот какая простирается советчина... Октябрь тебя запугивал, вдруг сказала она. Ты заметил? Он выполнял задание. Тебе не кажется? Какая же ты хитрая, оказывается, Настя, какая ты опытная диссидентка, откуда у тебя эта лисья шубка? Мамулька в этой шубке была когда-то, знаешь ли, неотразима...



ЗАВЬЮЖИЛО

I

В Москве принято было думать, что Георгий Автандилович Чавчавадзе непомерно богат. На самом деле у него на сберкнижке лежало восемь сотен, не более того. Таков уж был человек, частенько вместо слова «жить» употреблял слово «кутить». По инерции иной раз и завтрак с яйцом и кефиром именовал «кутежом». Впрочем, ужин на тридцать персон, в котором немедленно прокучивалось многомесячное фотографическое вознаграждение, называл порой «легкой закуской».

В связи с этими обстоятельствами Георгий Автандилович, получив из издательства первый отказ, сразу стал прикидывать, что продать — золотые часы, стереосистему, коллекцию жуков (но как ее продашь, если ей цены нет?), стал также соображать, как и через кого достать «левую работу», то есть вполне хладнокровно стал готовиться к осаде. Отказ был необоснованный и сформулирован с обидной официальной тупостью: «К сожалению, мы не можем принять вашу последнюю серию, поскольку она страдает очевидными идейно-художественными провалами». Еще неделю назад какая редакция могла бы такую чушь адресовать Георгию Чавчавадзе? Сомнений не было: из секретариата, а стало быть, и из ЦК спущены директивы и «черные списки». Заслуженный деятель искусств восьми автономных социалистических республик ныне под запретом в своем отечестве! Что ж, вызов принят, милостивые государи, и капитуляции от меня вы не дожждетесь — *хватит!*

В любой редакции у Георгия Автандиловича сидели симпатизирующие дамы, секретарши и младшие редактрисы; к Восьмому марта всегда шоколад и цветы от «самого элегантного фотографа Москвы». Такая дама примчалась и из издательства-обидчика. У нас все в панике, не понимают, что случилось, «главный» плакал, подписывая письмо, Георгий Автандилович, дорогой, повсюду разосланы *списки*, ой, я вам этого не говорила, вы этого не слышали, просто ужас!

Чавчавадзе успокоил даму, открыл бутылку коньяку, завел цыганскую музыку в исполнении эмигрантских певцов, оставил даму ночевать. Утром, когда завтракали, позвонил кавказский друг Кулан Кайматов. Что делаешь, Жора-дорогой? Да вот, понимаешь, кутим с прелестной Нинелью. Как всегда в таких обстоятельствах Чавчавадзе усиливал кавказский акцент. Мы к тебе едем, Жора-дорогой! Да с кем ты, Кулан? С Кугулом, был ответ. Кулан Кайматов и Кугул Шалиев считались в советской фотографии как бы близнецами, хотя и происходили из разных республик, один из равнинной, другой из высокогорной. Предки одного поклонялись Магомету, другого — некоему солончаковому варианту Будды. Одни, конечно, кочевали с диким посвистом, другие, разумеется, висели оседло над пропастями. Всех уравнила советская власть. Она же побратала Кулана и Кугула. Пятилетка сменяла пятилетку, и все уже привыкли, что, если на трибуне появляется Кулан, неизбежно объявится и Кугул. Объясниться ли нужно в любви родной Коммунистической партии, приветствовать ли зарубежных друзей нашей фотографии, гневный ли поднять голос протеста против ядерных ковбоев Вашингтона или израильской военщины — во всех таких случаях Кулан и Кугул были незаменимы, высокопарные, как придворные стихотворцы бухарского эмира, неутомимые в питье, а главное — национальные, живая иллюстрация огромных успехов ленинской национальной политики.

Иногда, правда, случались сбои в работе тандема. Напиваясь на банкетах, то один, то другой, а однажды и оба сразу, начинали посылать проклятия тому (или тем?), кто изгнал после войны с родных земель их малые народы. Вспоминали телячьи вагоны, в которых аксакалы древних племен отдавали Богу душу, вспоминали Азию, которую почему-то называют

Средней, а надо бы Крайней-Жуткой-Последней, вспоминали избиение своего партактива местным, то есть среднеазиатским, партактивом... ну а иной раз даже выкрикивали коньячные глотки чуждый в общем-то их национальному самосознанию вопрос: «Кто виноват?»

И вот что значит «ленинские нормы партийной жизни»: партия не взыскивала со своих верных солдат-объективов за такие частные срывы. Гораздо важнее для партии была общественная позиция Кулана и Кугула, а также их творчество, в котором никогда не проглядывалось никаких подозрительных теней, а всегда чувствовались «глубокие и чистые» родники народной жизни» (Ф. Ф. Клезмцов), большая любовь к родным краям, вот эти всякие прелестные «аргамаки», вот эти премудрые опять же «аксакалы» (в окружении смеющейся детворы), а также и зарубежные впечатления, полные интернациональной солидарности.

В этой связи уместно напомнить читателю и о поворотном моменте в жизни вождя советского фотоискусства, только что упомянутого Ф. Ф. Клезмцова. Ведь и сотой части проклятий в адрес партии, исторгнутых этим организмом, было бы достаточно для расстрела в прежние времена. Дело в том, что в прежние времена еще не проявилась в достаточной степени метафизическая суть партии. Она тогда все еще понималась как «авангард трудящихся», или там еще что-то материалистическое. Нынче партия в метафизической своей сути снисходительна к таким организмам, как Фотий Феклович или Кулан и Кугул, и они платят ей в ответ большой любовью.

А между тем «все мы люди, все мы человеки»: Кулан и Кугул пришли к Георгию Автандиловичу не с пустыми руками. Принесли прежде всего с веселым намеком первоклассного изюму «шашнадцать кило». Вот тебе, Жора, привет из наших долин! Тебя там все так любят — и простые труженики и творческая интеллигенция! Вот тебе и коллекция вин с озера Азо, вот тебе и от твоего постоянного персонажа сказителя Ильдара бурка и кинжал. Вот тебе и устное приглашение самого Темрюкова в гости на какой хочешь срок. Примем, как царя! Слух был, Жора-дорогой, что испытываешь низкие материальные трудности. Это непорядок. Художник твоего масштаба должен кутить свою жизнь без низких материальных

забот. Хочешь, поставим в Фотофонде вопрос о безвозвратной ссуде? Будет максимум — пять тысяч рублей! Квартира у тебя все ж таки тесновата для классика, товарищ Чавчавадзе. Надо новую получать в Атеистическом переулке. Лады? Надо здоровье беречь, дорогой, надо заявление на дачу подавать, вопрос будет решен положительно.

— Вы от кого пришли, друзья? — поинтересовался Георгий Автандилович.

Не волнуйся, кунак, с самого верху пришли, простодушно заважничали Кулан и Кугул. Там в тебя верят. Мы нашими кадрами не разбрасываемся. Мало ли что бывает с человеком, бывает очень плохое настроение, с каждым может случиться. В общем, Жора-дорогой, забирай свои спорные, понимаешь ли, но, подчеркиваем, талантливые работы из этой сионистской провокации и возвращайся к своим старым друзьям. Давайте выпьем за вечную дружбу всех советских народов! Горы и степи предков наших диктуют нам вечную спайку. Как мой дед говорил: «Там, где одна коза поскользнется, там сто козлов легко пройдут!» Спасибо тебе, Кулан, прошептал Кугул и вспомнил изречение своего деда: «Над одним охотником и лиса смеется, сто охотников и медведя возьмут!» Большое спасибо тебе, Кугул! Давайте за мудрость! За мудрость ледников! За пространство!

— Хороший тост! — сказал Георгий Автандилович. — За пространство! Спасибо тебе, Кулан, спасибо тебе, Кугул! Давайте за пространство! А об остальном забудьте, предложения неприемлемые. В роду Чавчавадзе предателей еще не было. Если я ваши дары приму, если ваши посулы приму, я не только своих молодых друзей предам, я фотокамеру свою предам, и Кавказ мне этого не простит!

Кулан и Кугул, опутив лысые башки, свесив усы в свой вечный коньяк, запели унылую песню собственного сочинения, в которой степное и горное сплелось и размазалось в луже непроходящего похмелья. Эх, сказал потом один, а ведь твои работы, Жора-дорогой, классикой стали во всех автономных республиках, краях и областях. Жалко такую классику выбрасывать, сказал другой, на помойку истории. Такой кусок нашей истории на помойку истории! Все будет запрещено по шкону классовой борьбы. А друзьям твоим новым совсем не

поздоровится, особенно, увы, Максимке Огородникову. Исключать будем его из Союза фотографов.

— Если Максима исключать будете, я сам выйду из союза. Закон гор! — сказал Чавчавадзе с очень сильным грузинским акцентом, который в этот момент образовался в его горле каким-то странно естественным путем.

Понятно, сказали Кулан и Кугул. Закон гор и Польской Народной Республики. Называется «солидарность». Это в ЦРУ изобрели «солидарность», чтобы подорвать пролетарскую солидарность. Прощай, Георгий Автандилович.

Он смотрел в окно, как они тяжело шли с сумками к черной «Волге». У обоих были ноги всадников. Так или иначе, но от них все же веяло Кавказом, Востоком, и, несмотря ни на что, это был огромный земной коридор, его невозможно навечно перегородить, по нему всю жизнь проходили бродячие народы, там всегда существовал, да и сейчас, кажется, витает намек на выход к простым человеческим истинам.

Всю жизнь считаясь кавказцем, Чавчавадзе им не был. Кавказ был для него литературным, более всего лермонтовским миром, дичь социализма как бы не пристала к нему, и даже эти несчастные пропитые пропагандисты не подходили под разряд общей унылой сволочи.

С одной стороны, жаль, что я не кавказец, что я не пасу, скажем, ягнят в Алазанской долине, не сижу на камне, ноги теплых чулок и галошах, не собираюсь прожить таким образом еще семьдесят лет, а с другой стороны, если бы я не был москвичом, у меня не было бы такого чудного ощущения Кавказа. Так подумал старый ребенок. «Волга» отъехала. Выхлопной газ заворачивался кольцами. Мороз скривил физиономию Москвы в дурной и жестокой усмешке.

II

— Вот, значит, вы какая! На этот раз Максу не изменил вкус.

— Полина Львовна, не хотите ли эклеров?

— Разве я уж так стара, что обязательно по отчеству?

— Ничуть! Вы чудесно выглядите. Скажите, вы тоже спали когда-то с Максом?

— Ах, Настя!

— Нет-нет, не поймите превратно. Это просто праздный вопрос. Итак?

— Ничего особенного не было.

— Нет, я уже не об этом. Цель вашего визита?

Настя была одна в мастерской на Хлебном, когда вдруг позвонила «первая дама» Союза фотографов и представилась: Полина Штейн-Клезмцова. Мне очень нужно с вами поговорить наедине. Приезжайте, сказала Настя, я как раз сейчас наедине. Как? Прямо туда? В голосе Полины послышалось нечто вроде изумления, будто в бардак пригласили, однако не прошло и двадцати минут, как примчалась, «вошла с мороза», взволнованная, несколько растрепанная, в распахнутых мехах. Как жаль, что я не надела перед ее приходом свою рыжую лису, подумала Настя. Сейчас бы шла ей навстречу, взволнованная, несколько растрепанная, в распахнутых мехах. Говорят, в Шестидесятые годы ее называли «Брэт Эшли обожженного поколения», поддавала, говорят, по-страшному и давала всякому, кому не лень. Наверное, хочет предупредить об опасности. Услышала о каких-то злодейских планах? или тоже... в духе Октября Петровича?

— Ну хорошо, — сказала Полина, — давайте сразу. Я пришла к вам поговорить об Андрее.

Настя почему-то не сразу сообразила, о каком Андрее идет речь.

— Об Андрее Евгеньевиче Древесном, — пояснила Полина. — Дело в том, что из-за всей этой возмутительной истории он оказался в двусмысленном положении.

Январское солнце из застекленного люка на крыше столбом опускалось на мохнатый македонский ковер. У дам, сидящих рядом со столбом, золотились отдельные пряди. Между ними дымились две чашки кофе. Не обошлось и без сигарет, они тоже дымились. О какой возмутительной истории идет речь, поинтересовалась Настя. Ну, об этом альбоме, ну, кому это было нужно, кроме... Полина споткнулась. Понятно, понятно, кивнула Настя. Черт возьми, Полина ткнула сигарету в пепельницу, я как-то дико волнуюсь, у меня внутри все дрожит. Поймите, Андрей — исключительная натура. Он оказался меж двух огней. Подозрение сверху и подозрение снизу...

— Впечатляюще, — прошептала Настя.

Полина сарказма в ее голосе не заметила, продолжала вываливать то, что так ее трясло последние дни, будто неопытный лыжник разогнался и не может ни повернуть, ни остановиться. Андрей идет на такой колоссальный риск, а его товарищи за спиной у него пускают слухи, что он трусил, что он трус, чуть ли не предатель. Это такой человек... он не способен на предательство. Вы говорите, все рискуют? Я этого не говорила. Ну, имели в виду. Да, все рискуют, но Андрей ведь это не все. Немыслимо ранимый, самоед, сплошное сомнение, рефлексивность, ну, словом, все, что полагается у настоящего художника... Надо что-то сделать, Настя, надо его спасти! Подозрительность со стороны друзей — для него это ужасно, это может толкнуть его на безрассудный шаг, именно потому что он не трус... и вы...

Да, я, так что же, позвольте, сказала Настя, при чем же тут я?

От этого вопроса Полина как бы затормозилась, взглянула на Настю, глаза ее расширились, ну и глаза, действительно океаны, взяла новую сигарету, ибо курение для нее всю жизнь означало, как и для многих других женщин, вовсе не вдыхание дыма, а изменение позы, череду поз, что позднее перешло в сигаретный образ жизни. Говорят, что у вас, Настя, сейчас (подчеркнуто модуляцией голоса) большое влияние не только на Макса, но и на всю *нашу* (подчеркнуто паузой)... братию. Я ведь многих знаю, особенно «старую гвардию»... Она усмехнулась, махнула на собеседницу красивой рукой. Перестаньте, перестаньте, у вас уже сразу все эти слухи на уме. Слухи о моем распутстве очень преувеличены. Словом, я знаю, как женщины может повернуть настроение в фотографической среде. Нужно... вытащить Андрея... и снова дыхание сбивается, сигарета втыкается, пряди падают... волосы у нее, увы, секутся, кожа, к сожалению, не в лучшем состоянии... ну, как женщина к женщине, поймите, я мать его детей, я и сейчас его, увы, вы понимаете, хоть что-то надо сделать...

Простите, Полина, чего же вы все-таки хотите? — спросила Настя. Чтобы Андрей вышел из «Нового фокуса»? Так ведь никто не держит.

Нет, вскричала Полина. Если он выйдет, Москва объявит его трусом, предателем, а он себе этого никогда не простит!

Так, стало быть, вместе со всеми держаться? Простите, но вынуждена задавать наводящие вопросы. Вместе, что ли, до конца? Может, вам коньяку налить?

Нет, нет, мне нельзя, давно уже нельзя. И ему нельзя вместе со всеми. Ведь вы же понимаете, его просто растопчут, он не способен на борьбу, ведь это же не Макс...

— Продолжайте, — сказала Настя.

Я хотела сказать, что в нем нет огородниковской силы, решительности, одержимости, если хотите. У него нет огородниковских международных связей. Вы, я вижу, тоже сильный человек, и вы вместе, а Древесный одинок. Вы с Максом уедете, конечно, будете вести красивую жизнь, какие-нибудь там Балеарские острова, а ведь русской фотографии придется жить в тех же условиях, или еще хуже после всего этого...

— Продолжайте, продолжайте, — сказала Настя.

Да что же продолжать-то! Полина вдруг резко отвела рукой чашку, пепельницу, зажигалку. Столик задрожал под ее локтем, и все на нем задребезжало с нарастающей яростью. Андрей спускался в жерло вулкана! Нырля с аквалангом к «Черному принцу»! Высаживался на Северном полюсе! Хоть изредка подумайте не о своих делишках, а о русской фотографии! Единственного-то своего гения, Пушкина-то русской фотографии, должны мы ценить или нет?

Вы, кажется, очень торопитесь, Полина Львовна, очень вежливо сказала Настя. Подала меха, помогла собрать в сумочку разбросанное на столике хозяйство. Ступайте, ступайте, простите за жестокость, но вроде не по адресу.

Полина резко протопала к выходу, в дверях один высокий каблук подкосился, она обернулась к Насте в жалкой и скособоченной позиции, будто побирушка. Хотя бы не говорите ребятам о нашей встрече. Вот это баба, подумала Настя, прикрыв за ней дверь. Сплошная драма. Увы, мне такой никогда не стать.

III

Занявшись перипетиями нашей художественно-полицейской истории, мы, увы, грешим порой некоторой забывчивостью по отношению к иным персонажам. Читатель вправе нас, скажем, упрекнуть: куда подевали симпатичного молодого Вадима Раскладушкина? Появившись в «охотниковщине» со своим портфелем, скрывающим умеренные количества вкусного содержимого, прокатив на легкомысленных колесах по замерзшим лужам Атеистического переулка, проскользив затем по ледяным аллеям Измайловского парка и даже пленив своим стройным задком офицера соответствующих спецслужб Востока Владимира Гавриловича Сканщина, потолкавшись в подозрительном иностранном окружении на чердаке у русского молодца Михайлы Каледина и отчебучив самбу на даче Марксятниковых, этот блондин, всегда одетый в удобную красивую и мягкую одежду, как бы канул. Читатель вправе спросить: что же происходит с начинающим фотографом в огромной Москве, удалось ли ему завязать связи в артистических кругах, сделал ли успехи в профессиональной области, ну, словом, пора бы уже еще раз «мелькнуть» по законам развития композиции.

И вот завьюжило сильно в уютных переулках старой Москвы, когда Вадим Раскладушкин вновь появился в поле зрения. Дубленочка в три четверти, шерстяной кепи с наушниками, румяное лицо, как бы не отягощенное ни экономическими трудностями, ни идеологическим засильем всесильного марксизма. В принципе такая фигура должна была бы вызывать у встречающих отрицательные чувства или хотя бы легкий скрежет зубовный, дескать, спекулянты прохлаждаются, пока мы работаем, однако при взгляде на Вадима светлели угрюмые взгляды, как будто он то ли память какую-то хорошую оживлял, о детстве ли, о юности ли, о том ли, чего вообще никогда не было в жизни какого-нибудь прохожего, то ли даже подавал своим видом какую-то немыслимую надежду — и почему бы, дескать, мне самому когда-нибудь не прогуляться вот таким образом в метель; дубленочка, кепочка, румяный мордальончик?

Вадим Раскладушкин на улице Герцена был в этот сумеречный вьюжный клонящийся к вечеру денек не один. Рядом с ним спотыкалась персона, гораздо ближе подходящая под категорию типичного москвича, ибо и штаны на концах были зажеваны, и пуговиц недоставало на пальто, и перчатка, утратив приписанную ей природой парность, пребывала в единственном числе. Словом, если уж мы взялись в этой подглавке подтягивать композиционные нити, почему бы нам рядом с Вадимом Раскладушкиным не разместить бывшего консультанта по делам Германии, Австрии и германоязычной Швейцарии Никиту Буренина, изгнанного из хорошего правительственного учреждения по дружбе с загранстранами за «отсутствие бдительности и халатность».

Раскладушкин и Буренин встретились впервые в жизни всего лишь час назад в пивном баре Дома журналистов на Суворовском бульваре. Вадим угощался кружкой свежего бокового пива, ибо при всех своих положительных качествах чувствовал к этому напитку некоторую слабость, что, впрочем, не является чем-то негативным, если не выходит за лимиты. Приблизился с четырьмя кружками, нацепленными на пальцы вытянутых рук, длинный и согбенный под тяжестью пива человек с застывшей улыбкой на темном измученном лице. Разрешите? Пожалуйста, пожалуйста, присаживайтесь за компанию, сказал Вадим таким тоном, в котором заключена была, по его мнению, хорошая московская традиция. Через несколько минут Буренин, приблизив свое лицо, от которого слегка пахло недопереваренной пищей, к Раскладушкину, шепотом выворачивал перед ним душу. В мммоем пппрошлом, ссстаричок, есть нечто постыдное, есть такая гадость, что иногда противно смотреть на себя в зеркало.

В Вадиме Раскладушкине Никита Буренин нашел благодарного слушателя. Целый час он рассказывал ему свою постыдную историю, вышел вслед за ним из теплого «гадюшника» и сопровождал в пешей прогулке по Суворовскому бульвару и далее по Герцену в сторону Консерватории, чтобы свернуть на бывший Брюсовский переулок, ныне улицу Надеждиной. Никита Буренин, который «по правилам московского жаргона» после увольнения из дружелюбного департамента со стремительностью невероятной стал «выпадать в осадок»,

не верил в этот час ни ушам своим, ни глазам, только лишь языку своему доверял. Приятный молодой господин, который походил бы на помещного дворянина, приехавшего в столицу в поисках должного места для применения своих благих намерений и недюжинных талантов, если бы не современная ловкая, легкая и теплая одежда, внимал каждому его слову, вникал в суть «постыдной истории» и проникался исключительным сочувствием.

«Постыдная история» вкратце. В 1957 году Никита Буренин был в зените жизненного успеха, блестящий аспирант МГУ по германской филологии, член Всемирного Совета Мира от советской молодежи, активный деятель Международного союза студентов и Всемирного фестиваля молодежи и студентов, словом, восходящая звезда новой элиты советских «международников».

В Германии своей любезной он к тому времени еще не побывал, поскольку там тогда правили «хитрая лисица Аденауэр», как его тов. Хрушев назвал, и «реваншисты», но зато в составе самой первой послесталинской группы аспирантов был отправлен на два месяца в Сорбонну в рамках межправительственного обмена студентами. Вот там-то, увы, в прекрасном Париже, и началась «постыдная история», и началась она так чудесно, словно в ней воплотились все хемингуэзовско-ремарковские мечты Никитино поколения.

Конечно же, Колет, мадам Фрамбуаз, была его на десять лет старше, «прекрасная дама» парижского журналистского мира. Конечно же, они не спали, в том смысле, что объятиям Морфея предпочитали объятия друг друга, конечно же — и луковый суп под утро в «Чреве Парижа», и ночные перегоны в рычащем «Феррари» в Довиль и Онфлер, к пенным берегам Атлантики, и эти встречи на Монпарнасе, о, эти встречи на Монпарнасе... Одним словом, Никита возвратился в Москву, заряженный любовью к тридцатипятилетней парижской львице, заряженный невероятной энергией и невероятно новыми идеями сближения культур, новой фазы социализма внутри европейской цивилизации. Зарядили там пацана, ухмылялись соответствующие товарищи, наблюдая стремительные движения новоявленного парижанина на улицах Москвы. Вряд ли на пользу ему пошла пресловутая Сорбонна.

Теперь была очередь Колетки, как он ее называл, посетить Москву, и она не заставила себя ждать. В то время западноевропейская интеллигенция с восторгом открыла для себя новое поле деятельности на Востоке. Ив Монтан, и Жан Вилар, и Шарль Азнавур сменяли друг друга на подмостках Москвы и Ленинграда, а за ними следовали политики, журналисты, писатели, дельцы, спортсмены... Страшная багровая пустыня России на деле оказалась гостеприимным и плодородным полем.

Итак, Колет приехала в норковой шубке и с удивительным миниатюрным магнитофоном. Восторг и упоение! Пошла московская часть Никитиной фиесты, которая враз оборвалась, когда их такси столкнулось ночью возле гостиницы «Гранд-Отель» с фургоном «Живая рыба».

Ничего особенного не произошло, разбита фара, фонарь под глазом, но все целы, и непонятно, почему так сразу, мгновенно, на месте оказалось несколько патрульных машин, милиция и люди в штатском. Непонятно, с какой целью их транспортировали в разных машинах в какое-то дикое помещение с кафельным полом и зарешеченными окнами. Далее Никиту вталкивают в какой-то жуткий каземат, раздевают догола, бьют с оттяжкой по ягодицам, дергают за органы любви, фотографируют со вспышкой. Из-за стены доносится крик Колетки: *Je suis francais! Il n'y a pas droit...* В ответ — комендантский хохот.

Утром Никите отдали одежду и препроводили в пристойного вида кабинетик, где Ленин на стенке читал свою утреннюю «Правду», вызывая у созерцающего жгучее желание хорошего французского кофе. В кабинетике ждали блестящего аспиранта два соответствующих товарища, по выражению их лиц (улыбочка) он сразу догадался, кто такие.

Как же это вы, товарищ Буренин, с вашей подружкой, гражданкой Франции Колет Фрамбуаз, дошли до жизни такой? Может быть, в Сорбонне вас научили так злоупотреблять спиртными напитками? Спокойно, спокойно, сейчас мы говорим, а вы слушаете. Вам, конечно, известно, Буренин, что ваша сожительница Фрамбуаз является агентом соответствующих спецслужб Запада? Вот сейчас *мы* вас слушаем, а *вы* отвечайте! Едва только начал отвечать, начал отстаивать свою

любовь, жуяк — соответствующий товарищ кулаком по столу: дрянь паршивая! государство на тебя столько средств затратило! с первой же блядью, которую тебе подсунули! с алкоголичкой! со шпионкой! родину-мать предал!

Учти, Вадим, наследие тех времен. Всего лишь четыре года прошло со смерти Тараканищи, страх сидел у каждого в костях, и я не оказался исключением. Понимаю, кивнул Вадим Раскладушкин, я хоть и далек от наследия тех времен, но прекрасно тебя понимаю, Никита.

Беседа в кабинете под утренним портретом закончилась подписанием определенного текста, а на следующий день в «Вечерке» появилась статья «Любопытство мадам Фрамбуаз». В ней говорилось о том, что советские люди всегда были и сейчас заинтересованы в развитии дружеских связей с людьми доброй воли всех зарубежных стран. Двери нашей страны широко распахнуты для тех, кто приходит к нам с открытым сердцем и чистыми руками. Журналистку Колет Фрамбуаз тоже приняли у нас в стране по законам русского гостеприимства, но она ответила на это черной неблагодарностью. Иначе и быть не могло. Прогрессивная общественность Франции давно знает мадам Фрамбуаз как матерого агента соответствующих спецслужб Запада, оголтелую антисоветчицу, распутницу и алкоголичку.

Статья сопровождается была снимком. Колет с вытаращенными глазами прикрывает обнаженную грудь в одном из «специализированных медицинских учреждений столицы». Рядом присутствовал и снимок «вещественных доказательств», до которых читатель «Вечерки» столь охоч: сфотографирована была сумочка Колет, ее часы, авторучка, мини-атюрный магнитофон, а также страничка записной книжки, «полная злобной клеветы на советских людей и советский образ жизни»: из всего размазанного можно было различить только одно слово «legume». Завершалась статья подписью «аспирант МГУ Н. Буренин».

Все забылось, Вадим, дорогой, очень быстро. Никто никогда не припомнил мне этой статьи, как будто ее и не было, и о Колет с тех пор я ничего не слышал. «Выдворили», уехала, кажется, в тот же день, не уверен даже, что и узнала об этой статье и моем позоре. Кто там, во Франции, когда-нибудь эту

сраную «Вечерку» видит? А я сломался, Вадим. С той ночи я был уж другим человеком, понял, что тот, как Платонов сказал, «прекрасный и яростный мир», куда я хотел войти, нереален, во всяком случае для меня. Диссертацию не защитил, аспирантуру бросил и издевательское назначение в Дом дружбы (те хмыри, конечно, за этим стояли) принял безропотно. Сейчас и оттуда поперли, но это уже другая история...

Вот в очень сжатой форме то, что поведал Никита Буренин Вадиму Раскладушкину, на деле же это выглядело не очень-то сжато, скорее, весьма расхлябанно, мочалисто, занудно, с заиканием и длинными паузами, связанными с бессмысленной фиксацией взора, предположим, на полусъеденной вобле, с последующими встряхиваниями всего немытого обвисшего организма, с влезанием пятерни в свалявшиеся патлы, с отлетанием в стороны каких-то вонючих крошек.

Даже и после выхода из Дома журналистов, то есть во время прогулки по сумеречной метельной Москве, монолог Буренина продолжался, а Раскладушкин лишь вставлял в неизбежные паузы свои деликатные реплики. Например, он однажды сказал:

— Вы, Никита, принадлежите к числу людей, которым не следует пить. Простите, но мне кажется, алкоголь испаряет вашу волю.

Гребена плать, как это правильно, бормотал Никита, цепляясь за водосточную трубу. Мальчик, дитя, а говорит как старший брат, которого мне так всегда не хватало. Из многочисленных собутыльников, кто хоть раз выслушал до конца мою историю? Даже Макс Огородников, из-за которого я так отчаянно пострадал, и тот всегда — лады, старичок, в следующий раз, о'кей?

На скрещении трех улиц поземка устроила сухую карусель. Изумляло отсутствие советской власти. Ни единого лозунга в поле зрения, ни единого политрыла, а напротив — в глубине квартала светился огонек над иконкой, там был вход в маленькую церковь, старушечьи фигурки проскальзывали в дверь, за которой явно присутствовала нормальная церковная жизнь.

Вадим Раскладушкин остановился. Здесь, простите, нам придется расстаться, мне вот туда, он махнул рукой в неопре-

деленном направлении. Никита Буренин сразу сник. Надеюсь, еще пересечемся, старичок, пробормотал. Непременно пересечемся, заверил его Раскладушкин. Вот вам мой телефон, и запишите мне ваш. Среди прочего меня очень беспокоит состояние вашей обуви. Идут морозы. Мне кажется, я смогу поделиться с вами некоторым количеством сертификатов в «Березку» для покупки сапог на меху. Лады, старичок? — спросил в Никитином стиле, улыбнулся на редкость освежающей улыбкой, бодряще пожал руку и пошел через улицу. На углу он задержал шаги возле серой «Волги», внутри которой сидел какой-то читающий народ, глянул с юмористическим четверть-поклоном, как, дескать, умудряются в потемках вникать в содержание газет, после чего удалился.

Никита Буренин отправился в церковь обогреться. Вот, в самом деле, животворная идея — обогреться во храме, пойдя, не выгонят же, в самом деле. Могу и перекреститься, извольте, хоть и воспитан на марксистской гадости, а Бога люблю и не удивлюсь на самого себя, если впаду в христианство. К тому же здесь тепло. Попахивает старушечьим тряпьем, но глубже внутрь, больше свечками, деревом, разогретыми иконами.

До вечерней службы было еще далеко, но храм не пустовал. Слева и справа от входа кучковались постоянные прихожанки, то есть старушки, жевали что-то, попивали чаек из термоса, погукивали. Возле икон стояли сосредоточенные фигуры молящихся в одиночку людей. В левом притворе обращала на себя внимание фигура высокого человека, стоящего на коленях. Оранжевая модная куртка. Висящий ус Макса Огородникова. Никита Буренин встал на колени рядом с Максом. Задал глупый вопрос: что ты здесь делаешь, Ого-сс-таричок? Николаю-Чудотворцу поклоны кладу, ответил Макс. Господу нашему Иисусу Христу возношу молитвы. Прошу простить меня за грехи вольные и невольные. Я слышал в баре, смущенно пробормотал Никита, тебя из Союзфото будут гнать. Огородников положил ему руку на плечо. Я хочу, чтобы ты наконец рассказал мне до конца свою «гнусную историю». Сначала ты меня молиться научи, Макс, если не возражаешь. Я и сам только одну молитву знаю, сказал Ого. Хочешь, повторяй за мной. Отче наш, сущий на Небесах...

IV

Москва той зимой основательно сузилась, так, во всяком случае, казалось «изюмовцам», и особенно Максу Огородникову. Все официальные присутствия для него закрылись. По ресторанам тоже перестал шататься: противно таскать за собой «фишку» и пугать почтенную публику. Остались только дома друзей да иностранные посольства. Что касается последних, то они, как сговорившись (может, и в самом деле слегка сговорились?), приглашали напропалую. Не надеясь почему-то на московскую почту, дипломаты сами завозили приглашения Огородникову «с супругой» или на квартиру, или в мастерскую. Настя очень быстро освоилась с этой международной жизнью, даже вроде бы вошла во вкус, и частенько напоминала Максу: Огоша, сегодня шлепаем на коктейль к канадцам, а послезавтра фильм и буфет в Спасо-Хаус, и не забудь о субботе, прием в честь театра «Голубятня» у французского посла. Все это произносилось беззаботным веселым говорком, как будто речь шла о турпоходах с шашлычками и гитарками. И он отвечал так же, с фальшивой легкостью: «лады», «схвачено», «усек», они как бы сговорились не замечать этой фальши, не замечать и свинцового мрака, что собирался по их души над крышами Москвы уверенно и медлительно. В этой медлительности — все равно никуда не уйдут — жил обжигающий страх.

В посольствах возникала другая блаженная фальшь — чувство безопасности. Так или иначе, но ведь «фишкины» рыла сюда впрямую не допускаются, а стукачишки рядятся под деятелей советской общественности, стараются вообще держаться в стороне, потому что всякий их знает, а тебе здесь аплодируют как знаменитому фотографу в обществе красивой жены, только и всего. Позвольте вам представить... да-да, тот самый... как, вы не знаете... редактор независимого журнала... ах, вот как... какое удовольствие... познакомиться... вы должны приехать к нам в Швейцарию... и в Бельгию... и в Норвегию... а малыми странами, сударь, вы, надеюсь, не пренебрегаете... я — князь Лихтенштейн...

Гостей на приеме в честь «Голубятни» было несколько сотен. Толпа продвигалась сначала по приничным залам ста-

рого здания, бывшего купеческого особняка периода расцвета торговой Москвы, а затем попадала в новый стеклянный павильон. По пути обносили шампанским, а на месте назначения ждали сыры и паштеты.

Присутствовали чуть ли не все «изюмовцы». Ай да молодцы французы, всех наших созвали! Олежа Охотников, чудеса в решетке, был в заграмоничном смокинге с разводами, тарасил zenки, рыжей бородою овеяла премилую блондиночку в очках. Откуда блонда эта, паря? Из Копенгагена, вестимо. Отбил Олежа кралю у дружка, у Веньки Пробкина, известного в столице. Теперь Офелия летает к нам учиться поморскому лихому фотоделу, Олежа продвигает иностранку к таинственным вершинам мастерства.

Венечка Пробкин сопровождал свою бедную Машу, изображал примерного супруга, не забывая, впрочем, посылать приветы бровями, взглядами, вращеньем носа по всевозможным женским направлениям, он «импульсами» это называл.

Иной раз в толпе мелькал и величественный Чавчавадзе, надевший в этот вечер в дополнение к великолепной темно-синей паре немалое количество медалей, что заставляло многих иностранцев превратно думать, будто он — ЦК.

Шуз Жеребятников в кожанке и с шарфом, небрежно переброшенным за спину, могучими плечами подпирает витую москворецкую колонну, щелчками пальцев, будто полководец, шампанского потоки направлял.

Был тут и мастер Цукер, на этот раз не только штаны не забывший, но даже дедовскую цепь с часами и брелоками, спасенную бабулей от чекистов, по животу пустивший в убеждение, что всем понятен европейский шик.

К Максиму направился с протянутыми руками кавалер ордена Почетного легиона, не кто иной, как французский посол. Господин Огородников, очень рад вас у нас видеть! Мадам Огородникова, да вы сегодня, клянусь республикой, великолепно выглядите! Максим, хоть и не очень-то был уверен, что они раньше встречались, поддержал нужный тон. Клянусь союзом республик, теннис идет вам на пользу, господин посол. Попал в точку. При слове «теннис» посол расплылся. Мы должны с вами сразиться вновь, любезный Огородников! Вновь? Да, вновь! Конечно, необходимо сразиться

вновь. Разговор в дальнейшем то скользил с отличной неприужденностью, то вдруг начинал безобразно буксовать, и тогда посол Мюран-Осси с профессиональной ловкостью вытягивал еще одну рельсу для скольжения — последний фильм, морозная зима, сравнение Крыма и Лазурного берега... Самое любопытное заключалось в том, что он не отпускал от себя Огородниковых. Представлял их почетным гостям, артистам «Голубятни», и в последний момент, когда Максим намеревался «слинять», опять цеплял его под локоть. Господин Огородников, а что вы думаете о современном театре?

Максим и Настя переглядывались, ситуация казалась основательно дурацкой, но ведь и не уйдешь ведь, посол все же, представитель все же державы, столь же просвещенной, сколь и могущественной, давшей нашему Великому-Могучему-Правдивому-Свободному столько великолепных слов, и среди них «буфет», «душ», «дирижабль», открывшей, в конце концов, миру великое чудо фотографии. Оглядываясь по сторонам, они ловили недоуменные взгляды дипломатов первого, второго и третьего миров. Во взглядах советских представителей, кроме недоумения, читалась еще и какая-то нечитаемая дикость. Впоследствии выяснилось, что в нарушение протокола посол Мюран-Осси в течение получаса не обращал внимания на заместителя министра культуры СССР, увлекшись по меньшей мере странной беседой со скандально известной личностью. Можно было заметить, что кое-кто из советских гостей перешептывается, глядя на посла, но тот беззаботно хохотал и аплодировал, ибо извлечена была на сей раз рельса советского анекдота. Пикантность еще заключалась в том, что за несколько голов от группы Мюрана-Осси определялись пегие патлы вождя советского фото Фотия Фекловича Клезмцова, на которого, увы, никто из дипломатов не обращал внимания.

Все это продолжалось ни много ни мало, но ровно тридцать минут, после чего посол Галлии сердечным образом попрощался с фотографом Московии, взяв с него слово обязательно заходить еще, звонить всякий раз, когда что-нибудь понадобится от Франции, ну а также не забывать, что и послы — тоже люди, которым иной раз бывает скучно на чужбине и которые совсем не прочь поближе познакомиться с интересным миром московских художников.

Отвалив от посла, Огородников стал круто забирать к буфету: пока не поздно, надо захмелиться, а то приему-то скоро конец.

Макс, что это значит? — спросила бурно влекомая Настя. Он пожал плечами. Мелькнул со вкусным бутербродом у рта либеральный соседусшка, многозначительно подмигнул, хотя в его исполнении подмиг обернулся еще большим расширением круглого глаза, вышепнул «браво», беззвучное, как мыльный пузырек, слинял.

Браво, громко сказал румяный и стройный, как десятиборец, Харрисон Росборн. Я заметил по часам: тридцать две минуты с послом! Это очень хорошо, очень, очень хорошо, Макс! Огородников быстро загружался возле буфета. А что тут такого особенно хорошего, Харрисон, что тут такого вообще-то сногшибательного? Просветите дурака!

Не притворяйтесь, Макс, все только и говорили об этой демонстративной аудиенции. Демонстративной, вы сказали? Тут Настя как бы слегка рассердилась. Не придуривайся, Ого, ты что, сюда жрать пришел, что ли? Росборн отвел их от буфета в угол, где при помощи какого-то извечного там стоявшего фарфорового истукана можно было слегка отсоединиться от толпы.

Благодаря вашей беседе с послом я сделал два любопытных вывода, сказал Росборн. Во-первых, у французов, оказывается, неплохая информация о глубинных московских делах. Во-вторых, этот Мюран-Осси явно неплохой парень, просто-напросто неплохой и нетрусливый парень.

Да просветите же, Харрисон, черт возьми, ну, скажите же, как все это в политике называется, шамкал Огородников набитым ртом, да еще сморкался попутно в большущий салатного цвета платок. Настя очень строго стояла и молча переводила глаза с одного на другого.

Видите ли, Макс, у меня есть в Москве, ну, то, что называется «сорсес», ну, словом, «источники». Это уже многолетнее дело, и я, прекрасно понимая, откуда, с какого дна эти источники бьют — увы, в английском эта экспрессия не вполне работает, — но, знаете ли, кроме этой дурацкой игры, есть ведь еще и человеческие отношения... В общем, я научился разговаривать с «источником» и различать, где подсаживают утку, где

пахнет дичью, то есть правдой. Вчера я ужинал со своими «источниками», и разговор шел в большой степени о вас, что естественно — о «Скажи изюм!» сейчас говорит вся политическая Москва. Блядство, вставил тут краткий комментарий предмет разговоров всей политической (оказывается, есть и такая) Москвы. Это слово мне почему-то не дается, улыбнулся Росборн. Вообще матом стараюсь не пользоваться. Однажды употребил в компании, где все ругались, а оказалось ни к городу, ни к деревне, всех шокировал... Ни к селу ни к городу, мрачно поправила Настя. Она не спускала взгляда с Ого, кажется, понимала, что, несмотря на чавканье паштетом и хлопанье «бужоли», Макс начинает «пустеть», то есть вновь возникает дикое ощущение распирающей пустоты; необходимо найти для него какие-нибудь надежные транквилизаторы.

Харрисон Росборн покраснел: он очень серьезно относился к своему русскому. Позор, сказал он, простите за дурацкую ошибку, это просто от волнения. Если бы я по-английски так, как вы по-русски... Макс заторопился... вот расскажу вам случай, дикий курьез в Австралии... Он, кажется, охотно замаял бы разговор об «источниках», однако Настя остановила словоблудие. Пожалуйста, Харрисон. Почему вы волнуетесь? Видите ли, Росборн посмотрел через плечо, я понял, что Макс угрожает что-то очень серьезное. Об этом мы догадываемся, сказала Настя, но есть ли у вас что-то конкретное? Вот именно, кивнул журналист, в «Фотогазете» готов фельетон. Заголовок — «Скрытая камера Огородникова». «Источники» сказали, что такого не припомнят со времен Солженицына.

— Здорово, — сказал Максим. — Можно гордиться. Полчаса с послем Франции. Статья в ведущей газете. Сравнение с Солженицыным. Гордись, Настя! Лично я буду гордиться сегодня весь вечер, а завтра вдребодан облююсь, обосрюсь, обосрюсь, истеку и испарюсь!

— В своем репертуаре, — сказала Настя. — Не слушайте его, Харрисон.

— Почему? Мне нравится этот план, — засмеялся Росборн, потом добавил, понизив голос: — Пожалуйста, держите меня в курсе всего происходящего, звоните прямо в бюро и домой. Думаю, что сейчас это вам уже не повредит.

Остаток вечера Огородников и впрямь выкаблучивал, как в прежние времена. Насосался шампанским. Танцевал с женой бразильского посла, а потом и с самим бразильским послом. Торговал свою жену Настю в гарем представителя Объединенных Арабских Эмиров. Общество было в восторге. Постепенно все же гости разошлись, в пустынных и порядком захламленных залах остались только «изюмовцы» да несколько стукачей. Вдруг в глубине анфилады возникла чрезвычайная фигура: Васюша Штурмин в своем цилиндре и развевающейся крылатке. Потрясенный обслуживающий персонал смотрел на его звонкое приближение, казалось, позвякивали шпоры. Казалось, оставил лошадь у крыльца. На самом деле — ни шпор, ни лошади. Только что прилетел из Свердловска, из гущи народной жизни. Узнал, что у франков гужуется, и вот я здесь. Да как же, Васюша, без приглашения? Не проблема, проехал в багажнике «Ситроена». А обратно-то как? Не проблема, обратно — под банкой!

Песня из глубин народной жизни

*Коммунисты поймали мальчишку,
Затащили к себе в КГБ,
Ты признайся, кто дал тебе книжку,
Руководство к подпольной борьбе!*

*Ты зачем совершал преступления,
Клеветал на наш радостный строй?
Братъ хотел я на вашего Ленина! —
Отвечает им юный герой.*

*Восстановим республику навиую,
Хоть Чека и силен, как удав!
И Россия воспрянет уставшая
Посреди человеческих прав!*

*Так вещал в глубине заточения
Лев Соколкин, народный боец,
И слова его без исключения
Доходили до юных сердец!*

*А однажды в гэбэшной компании
Появилась живая душа,
Синеглазка пришла по заданию,
Нина Щорс, дипломант ВэПэШа!*

*Среди урок, пестрящих наколками,
В той тюрьме, что зовется «Багдад»,
Нина Щорс увидала Соколкина.
Два сердечка забилися в лад!*

*Повлияйте на юного циника,
Попросил ее старый чекист,
Но в глазах ее, чистых и синеньких,
Жил поэт, а не дохлый марксист...*

В том же духе далее сорок четыре куплета.

V

Сканцин и Планцин засиделись за полночь в штаб-квартире опергруппы. Нужно было завершить разбор огромного потока информации и окончательно сформулировать акции следующей недели.

Генерал наслаждался: отличная же, в самом деле, обстановка! Огромный кабинет погружен в темноту, только два стола освещены яркими настольными лампами, его собственный и стол любимого ученика, талантливого и миловидного Володи. Заварен крепкий чай, не чай — деготь. В наличии и бутылка коньяку. Выпьем, когда закончим. Домой не хотелось. Дом с верной супругой «Георгием Максимилиановичем» опостылел хуже горькой редьки.

Капитан хандрил. Во-первых, потому, что сорвалась свиданка с дорогой Викторией Гурьевной. Во-вторых, претила эта гора бумаг, оперсводок, информашек и доносов. Попахивает канализацией это хозяйство, говном разит, иначе и не скажешь. Лучше бы художественную литературу сейчас почитать. Коллега из «лишки» как раз обещал на пару дней реквизированную при обыске «Лолиту». В-третьих, вообще на-

доело работать. На юг бы! В-четвертых, боялся, как бы генерал не вспомнил о своей дурацкой идее «сигнал предостережения», порученной для исполнения лично ему, нет чтобы Кольке Слязгину, позорнику, отдать. И в-пятых, неприятнейшим образом отыгривалась встреча с вышестоящим лицом, просто-напросто возникало презрение к роду человеческому. Работая в «железах» уже третий год, Вова Сканщин не переставал удивляться многоступенчатости начальства, или, как извлечено было из словаря инслов, «иерархии». Вот этот, вышестоящий, перед которым сам генерал придыхает, кто он таков? Мы сейчас, Володя, с тобой в такие верха поднимаемся, голова закружится! Шли-шли по разным этажам, ехали-ехали на разных лифтах, подъемы и спуски, запутаешься, где тут верха, где низы. Наконец предстали перед личностью Врагу-во-сне-не-пожелаешь-увидеть. Сидело молча, пока Валерьян Кузьмич докладывал, никаких эмоций на глиняном лице не выражалось, только лишь раз левая бровь поползла вверх при докладе о тридцатидвухсполовиннойминутной беседе М.П.Огородникова с французским послом. В этой связи изрекло звук «хм». Генерал тут же подхватил: в этой связи мы чуть тормознем наших журналистов. Оно сделало себе пометку.

Генерал, как будто по заказу, только об Огороде докладывал, все его передвижения, словечки и контакты, об альбоме же вообще ни слова. Странное впечатление от вышестоящего лица, вроде даже одобрил работу капитана Сканщина — резкий подъем, каблуки вместе, подбородок вверх, демонстрация лица, то есть показ преданности, служу Советскому Союзу! — вроде бы тишина, спокойствие, непреодолимая сила, а все равно какое-то странное ощущение, как в художественной литературе пишут, странное ощущение какого-то знакомого тошнотворного позора. Из папаниных, что ли, складских корешей? Тьфу, придет же такое в голову.

Вдруг в темном кабинете, в тишине осенило: да ведь из «Щепок» же! Вот именно эта образаина и просвечивает на колымских, таймырских и печорских снимках Огорода! Неужто рыло сие узнало себя, неужто оно и закрутило машину?

— Володя, перекиньте мне последнюю сводку на Древесного, — мягко попросил Планщин.

— Не располагаю, Валерьян Кузьмич.

— Куда ж вы ее засунули?

— Да сводка-то здесь, напареули-по-гудям...

— Володя, Володя, пора отвыкать от комсомольского жаргона!

— Ну, в общем сводочка-то, вот она, но сведениями о Древесном не располагаем. Так и значится в докладной Слязгина — «след А. Е. Древесного утерян».

— Что за ерунда? — забеспокоился генерал. — Этот-то еще куда делся?

— Нет сведений, товарищ генерал. Пропал.

— Ну что за чепуха! Никуда он уже не денется! Завтра напомните, в отсутствие Кочерги позвонить Полинке. Небось на даче где-нибудь отсиживается гений русского фото.

Володя пожал плечами: хозяин — барин. Генерал внимательно на него посмотрел. Что-то в последнее время эдакое «не вполне» происходит с молодым специалистом. Неужели доносчики Слязгин и Плюбышев хоть отчасти правы? Неужели такой блестящий парень, истинная находка для «желез» на современном этапе, — «поплыл»? А кстати, Володя... Сканщин чуть дернулся: он предчувствовал это «кстати». Да, кстати, товарищ генерал, с деланным оживлением зачастил: вот тут в сводках об Огороде, о «грузине», о «мойше», то тут, то там имя мелькает любопытного молодого человека Раскладушкина такого Вадима, вот, кстати, о нем... Тут он замолчал, будто память отшибло, — какие такие «кстати», ничего не поделаешь, придется генеральскому «кстати» внимать. Генерал отодвинул кучу бумаг, не спуская с него взгляда. Кстати, Володя, как насчет «сигнала предостережения»?

Володя замычал, будто от зубной боли. Глупейшая идея принадлежала самому генералу, не оспоришь. В издательстве «Софот» вышла недавно книга германского фотографа-миролюбца Кнута Гутентага под заголовком «Сигнал предостережения», то есть в том смысле, что человечество, мол, в опасности. Ну вот, Володя, позвони-ка Огороду и скажи, что книжку ему хочешь подарить. Да зачем? А вот получит он по почте, вытащит из пакета и прочтет на обложке «сигнал предостережения»... Так что, товарищ генерал? Не понимаете? Плохо. Не понимаете, какой удар будет по нервной системе? Такие вещи надо понимать. М-м-м, товарищ генерал.

— Можно откровенно, товарищ генерал? — спросил в тиши ночного кабинета капитан Сканщин.

— Нужно, — сказал генерал Планщин.

— Как вы думаете, Валерьян Кузьмич, они нас сильно презирают?

— Кто?

— Ну, вот все эти фотографии, художники... наши подопечные...

Планщин вытащил из ящика стола чуть початую бутылку «Трех звездочек», наполнил два стакана. Эх, Володя, вздохнул он, тебе определенно нужно работать над собой, преодолевать слюнявость. Нужно ошкетиниться, дорогой, ведь самое заветное защищаем. Какое тебе дело до *их* эмоций. Наши эмоции для нас на первом плане, а мы их, этих подонков, ненавидим, хоть и сохраняем корректность. Вот основа нашей работы, и никаких зигзагов!

— Зигзагов, — уныло поправил Сканщин.

— Встать! — рявкнул генерал. — Завтра доложите об исполнении. Можете идти!



ЧИНГИЗ

I

Автобус подали в третьем часу ночи на задний двор гостиницы, и до этого Андрей Евгеньевич успел весь известись. Днем в информационном центре сказали: готовьтесь к полуночи, рекомендуем выспаться. В полночь он был готов, как штык. Вся аппаратура уложена, сам — чист и бледен. Длинными шагами по номеру успешно преодолевал дрожь. Голод помогал бороться со страхом. Хорошо, что предупредили: есть много не надо. Сейчас бы даже жареная мразь «простинома» не помешала б, внушал он себе с бодреньким смешком, даже от «салата юбилейного» не стошнило б...

В полночь, однако, никто не позвонил. Прошло еще минут десять, и его охватила смесь дикого волнения и радости: а вдруг обо мне позабыли, без меня уехали? Схватив куртку и сумки с аппаратурой, он устремился вниз. В холле гостиницы было пустынно. Информационный центр закрыт, администратор, разумеется, отсутствовал, только лишь два казаха, старый и молодой, то есть милиционер и швейцар, оба в валенках, пристроившись у батареи отопления, играли в шахматы. Автобус? Швейцар помотал большой башкой. Ничего не знаем.

Из ресторана еще доносился бухающий барабан и неслась дикая песня «Листья желтые над городом кружатся». Каким-то странным синеватым светом была освещена в глубине холла дверь, наводившая на местное население священный ужас, — валютный бар.



Древесный посидел немного в изодранном кресле. Из ресторана как раз и несло упомянутой выше простипомой: четверг, рыбный день. Прошел пьяный офицер. «Лица желтые над городом кружатся...» Поймал взгляд Древесного, полубморочно подмигнул. Лица, не листья, понял, друг? Песня китайских десантников.

Древесный вышел из гостиницы, постоял у подъезда. Мрак, тишина, стоит такси с работающим мотором. Куда здесь ездят на такси? А вдруг все-таки в номер позвонят? Лифт уже отключили. Пришлось пешком нестись на седьмой этаж. Бессмысленно и бесчувственно сидел на кровати, вдруг вспомнил Москву, Союз фотографов и все прочее, все тело безобразно зачесалось. Вдруг сейчас внизу собираются? Уедут без меня! И в этом провалюсь, опозорюсь! Помчался.

Внизу никаких намеков на отъезд, на автобус, ничего. Холодно. Почему так холодно в интуристовской гостинице? Так прошло больше двух часов. У Андрея Евгеньевича начала дергаться левая щека, все предприятие показалось какой-то подлостью, глупой хитростью... Это все выдумки Полины, ее уловки, ее «связи», а я безвольная шмазь... В ужасе он посмотрел на свой прорыв глазами какого-нибудь московского недоброжелателя из «левых кругов»: сбежал в самый горячий момент, бросил товарищей... Тут вдруг появилась, шевеля боками, администраторша, девка в розовой пуховой шапке. Товарищ Древесный, шо ж вы, вас ищут, а вы заховались...

Огромный «Икарус» стоял во дворе. Древесный прыгнул внутрь. Здравствуйте, товарищи! Ему никто не ответил. Не похоже было, что кто-то тут его искал. Человек двадцать народу разобралось по разным углам салона с большущими окнами, подернутыми морозной пленкой. Кто-то покуривал, иные спали, видны были запрокинутые лица. Древесный занял кресло в середине. Вся душевная мразь улетучилась. Невероятная значительность момента. Надо все запомнить! Вот так буднично все и происходит? Удобно ли сделать снимок?

Ждали еще не менее получаса. Стекла стали оттаивать. Радиостанция «Маяк» передавала концерт народной немецкой музыки в честь столетия ГДР. Наконец влезли две толстых тетki, за ними внесли несколько картонных коробок и

железных бачков. Из темноты кто-то крикнул: Клава, чем кормить сегодня будешь? Авось не подавитесь, любезно ответила одна из теток.

Автобус тронулся и вскоре вырулил на шоссе, окаймленное сугробами в рост человека. Несколько поворотов в пустом степном мраке. Появились огоньки Байконура, потом из-за холма вдруг выплыло огромное светящееся пятно. Это была стартовая площадка. Станным образом она, однако, не приближалась, а вскоре, наоборот, стала уплывать в сторону. Исчезли все огни. Асфальтовая лента под фарами и снег по краям. КП, три солдата в стеганых комбинезонах. Один влез в автобус, поговорил с водителем, крикнул всем «счастливо», спрыгнул. После этого автобус стал быстро набирать скорость, вдоль бортов все сильнее засвистел пустынный ветер.

Куда же он идет? Может быть, я все-таки не в тот автобус попал? Деревесный обратился с деликатным вопросом через проход к массивной какой-то фигуре, покрытой чабанским тулупом. Куда мы сейчас направляемся? Как куда, пробурчал сосед, на Чингиз.

В автобусе почему-то стало нестерпимо холодно. Напарули-по-гудям, выматерился сосед. Опять отопление не работает! Вы сказали, на Чингиз, переспросил Деревесный. Ну да, космодром Чингиз.

Разве не в курсе? Старт сегодня отсюда. Как? Не из Байконура? Сосед хохотнул. Байконур у нас для рекламы. Валюта, брат! Летаем с Чингиза. Вопросы больше не принимают-ся, ухожу в подполье. Он соорудил себе из тулупа подобие палатки и скрылся в ней.

По дороге вдруг остановились среди мрака. Наши девки из «Пятилетки» бегут, сказал шофер. Возьмем? Впрыгнули три совершенно закоченевших девки. В кино, оказывается, были, в какой-то «Пятилетке». Одна из поварих стала на них орать: задрыги, придатки себе отморозите! Кто-то сзади захохотал. Иди к нам, Ирка, придатки погреем! Ух, ух, ух, стонали девки. А кто сегодня летит, мальчишки? Группа Белялетдинова, был ответ. Ой, Маратик! Отдаться мало! Девки куда-то бухнулись. Кажется, их и в самом деле кто-то на задах стал весьма активно греть.

Прошло не менее двух часов, прежде чем автобус остановился на КП «рабочего» космодрома Чингиз. По небу тут ша-стали два прожекторных луча, то пересекались в высоте, то расходились в стороны и ложились на снег, на проволочные заграждения и сторожевые вышки. По склону пологого холма тянулись, один выше другого, несколько длинных темных барakov. Возле них стояли армейские грузовики. А где же все-таки Она? Луч прожектора лег на безобразную гипсовую статую космонавта, копию московского чудовища из нержавеющей стали, человеко-ракета, распростертые руки, подмена Рас-пятия. А вот и Она! Из-за холма вздымалась на две трети своего роста гигантская ракета-носитель. Древесного при взгляде на этот предмет вновь пронизало ощущение какой-то дикости.

В автобус влезли молодой офицер и два автоматчика. Привет, сказал офицер, все свои? Водитель показал ему на Древесного. Тут один какой-то, говорят, из Москвы. Ага, я в курсе. Офицер приблизился. Вы фотограф? Документы, пожалуйста. Просмотрев паспорт, молча козырнул, чем основательно уколол Андрея Евгеньевича. Десять лет назад такой офицерик с полуинтеллигентным личиком просто бы обалдел: глазам своим не верю — сам Андрей Древесный? Катастрофическое десятилетие. Неупоминание, замалчивание, выпячивание вместо нас всех этих дутых фотил-деревенщиков — детально продуманная политика. Ну а сейчас? С Запада идут в эфир только имена Огошки, Шуза, иногда Славы, говорят об этих мальчишках, меня почти не называют... Что ж, вскоре многим придется вспомнить Андрея Древесного! Все-таки Полин-ка — молодец, пробить такую командировку! Ни одному фотографу ведь еще не удавалось... Тут появилась предательская мыслишка: не прикидывайся, что за славой побежал, хоть сам с собой не хитри... Мыслишка была отброшена.

У соседа под огромным чабанским тулупом оказался серебристый космический костюм. Это был, как впоследствии выяснилось, сам майор Белялетдинов, командир экипажа «Кремль-1», башкир, то есть с прицелом на захват общественного мнения в странах Третьего мира. Эй, фотограф, пошли пошамаем!

Древесный нервно старался подмечать все детали будничной и даже в чем-то убогой, удивительно среднесоветской обстановки на космодроме Чингиз. Он ужинал-завтракал в обществе экипажа в маленькой комнатке с паршивыми плюшевыми занавесками, дешевой гостиничной мебелью, портретом Андропова, плакатом «В авангарде человечества», замусоленными экземплярами журнала «Огоньки Москвы» и телевизором далеко не последней модели, словом, в типичной советской «комнате отдыха». Хмуроватые советские «мамани» сервировали стол повышенной калорийности: большая банка зернистой икры, югославская ветчина, брикеттики финского рафинированного масла, даже бананы, слегка тронутые морозом. Хлеб, однако, был тяжелый и влажный, по всей вероятности, местный, а кофе — молочная бурда; наливали из бачка черпаком.

Можно снимать? — спросил Древесный командира. Тот пожал плечами. Двое других космонавтов посмотрели на фотографа так, будто в первый раз его увидели. У всех троих были большие белые лица, аккуратно причесанные волосы. У старшего при редких улыбках любопытно вспыхивал в углу рта золотой зуб. Вы давно из Москвы? Вчера прилетел. Последовал неожиданный вопрос: ну а как там Театр на Солянке? Древесный удивился. А почему вы спрашиваете? Ну, вот по радио говорят, по «рупорам»-то, что у них главреж на Запад сбежал. Древесный подскочил: ничего не знаю! Отстал, друг! Радио надо слушать! Все трое бурно, но коротко похотали. Потом заговорили о главреже. Что ему не хватало? А вы прикиньте, ребята, сказал майор Белялетдинов, что он здесь имел и что он там будет иметь. Древесный вспомнил главрежа с Солянки. Даже его довели до ручки, проклятые! Теперь театр, последний оплот Шестидесятых, конечно, рухнет...

Вдруг вошел полковник в папахе. Почему фотографируете? Кто разрешил? Древесный растерянно кивнул на Белялетдинова — вот товарищ разрешил. Полковник надулся тяжелым лицом на космонавта. Вы что же, не знаете правил внутреннего распорядка? Поманил пальцем Древесного. Следуйте за мной. Напареули-по-гудям, сказал за спиной вставшего

фотографа кто-то из космонавтов. Полковник шел впереди по узкому коридору барака. Если впереди, значит, не конвоирует, успокаивал себя Андрей Евгеньевич, а у самого от страха кишки слипались. Ничего я особенного не совершил, пленку, в конце концов, можно просто отобрать, аресту не подлежу, расстрелу — тем более... Не придуривайся, в то же время корил он себя, не делай вид, что боишься этой дурацкой папачи, признайся, что боишься последующего...

Полковник остановился перед дверью с табличкой «Инвентарь», вынул из нахопного кармана связку ключей, подобрал один к висячему замку. За дверью никакого инвентаря не оказалось. Цементные ступени вели в подвал.

В подвале снова пошли по коридору, только на этот раз мимо стальных тяжелых дверей. На одной из них горела красная лампочка. Следственная комната? Бардак? Войдя, прервала зевек единственной присутствующей персоны, докторши средних лет. Раздевайтесь до пояса, уныло сказала она и отложила «Огоньки Москвы». Андрей Евгеньевич выполнил приказание и застыл, покрытый «гусиной кожей». «А вы какой-то, хм... симпатичный такой... — пробормотала докторша, щупая его бока, — даже и не скажешь, что такого года рождения...»

Манжетка надувается на предплечье. Очередное и неизбежное восстание ртути. Что же это, Андрей, как вас, Евгеньевич, такое у вас давление высокое. Забракуют, метеором пролетела радостная мысль. Доктор, прошу вас, это не гипертония, это у меня так называемый «симптом манжетки»... вот когда измеряют, тогда и подскакивает... Умоляю, доктор!

Что-нибудь не в порядке? — спросил из угла полковник, углубившийся в «Огоньки Москвы». Все в порядке, сказала докторша и провела пальцем по позвоночнику Андрея Евгеньевича. Товарищ маленько волнуется, но это вполне объяснимо. Товарищ этот годен. Пошли, сказал полковник. Времени мало.

Они углубились еще на один уровень. Там почему-то был дикий холод. Сновали солдаты, возили что-то продолговатое и ржавое, бомбы, что ли, авиационные, нет, кислородные баллоны. Ну, что варешку раскрыл, грубо сказал полковник, давай сюда!

В тускло освещенной гардеробной вдоль стен висели серебристые космические костюмы, а на полках красовались шлемы с надписью СССР. У вас десять минут, сказал полковник. Старший сержант поможет подобрать спецодежду. Подошел хмырь в мягком бушлате, опухшая физиономия выпивохи и плута. Стащил с крюка костюм. Вот этот тебе подойдет, влезай! Вот так просто и влезать, как бы с милым юмором ужаснулся Древесный, кишки теперь бурлили. Хочешь, раком влезай, любезно ответил каптерщик. Однако здесь «молния» не расстегивается, товарищ старший сержант. Гребена платъ, высказался каптерщик, отсырели «молнии», напару-ли-по-гудям! Курить что-нибудь стоящее есть? Вот «Уинстон», Древесный отдал каптерщику почти полную пачку. Годится, повеселел тот, сейчас я тебе подберу «комбик» клевый, хоть на Венеру высаживайся.

Через десять минут Древесный в космическом костюме и со шлемом на сгибе руки вышел в коридор. Полковник орал на солдат, которые, говна куски, никогда не закрывают при погрузке двери, позорят родину и вооруженные силы безобразным внешним видом, а у тебя, Пшонцо, изо рта разит, как из мусоропровода, доложите командиру — три наряда вне очереди!

Полковник провел Древесного в большой грузовой лифт. Кроме них там оказалась группа рабочих в касках и с цепями. Пока лифт поднимался, никто друг с другом не разговаривал. Синяя краска над плечом Древесного была процарапана соответствующим образом — икс, игрек, и краткое... Двери лифта открылись, и все вышли на открытую железную платформу, пронизанную ледяным ветром Казахстана. Гремела могучая, едва ли не сатанинская музыка. «Под солнцем родины мы крепнем год от года. Мы делу Ленина и Партии верны! Зовет на подвиги советские народы Коммунистическая партия страны!...» Когда на горизонте обозначилась желтая нить начинающейся зари, Древесный понял, что они стоят высоко над землей. Сделав шаг вперед, он увидел внизу освещенную площадку утоптанного снега и на ней толпу людей в бушлатах и спецовках. Задрав головы, все смотрели вверх.

Железная стена. Вот сюда, пожалуйста! Да ведь это же как раз и есть Она, ракета-носитель «Народ-5». Вдоль стены

поднимается узкая, вроде пожарной, лестница. Дальше вам придется одному, Андрей Евгеньевич. Ну, давайте традиционным рукопожатием обменяемся. Эх, по-русски говоря, ни пуха ни пера! На банкет, надеюсь, пригласите?

Древесный вскарабкался еще на одну, теперь уже пустынную платформу. Перед ним в стальной закругляющейся стене медленно открылся овальный люк. Поднимайтесь в «Кремль-1», сказал радиоголос. Последний раз хлестнула струя казахстанского ветра, взвизг Чингиз-хана. Шаг на шаткую ступеньку, еще шаг. Люк за спиной задвинулся. Темнота. Бухает собственное что-то. Сердце? Слишком сильно для сердца. Через минуту открылся другой люк, и он увидел рубку «Кремля-1». Три космонавта сидели откинувшись в креслах. Одно кресло пустовало. Неужели для меня? Приглушенно звучала героическая музыка «Я, Земля, я своих провожаю питомцев...». При виде Древесного один космонавт нахмурился, другой рассмеялся, третий сказал почему-то по-английски: Welcome aboard!

III

Нет, это немыслимо! Отрыв от Земли? Выброс в неумолимое, черное, необъяснимое? Кто, в конце концов, позволил эту авантюру? Ведь я же полностью неподготовлен! Я умру от гравитации! Этих жеребцов тренируют годами, а меня просто засушили, как собаку Лайку, едва лишь Полина шепнула какому-то шишке какой-нибудь вздор вроде «нужно защитить позиции Андрея Древесного, надо послать его куда-то». Лечу в космос по благу! Мерзкая, блядская, полная говна безответственность! Сплющенное тело фотографа. А где окажется душа? Лопнувшим пузырьком, лопнувшим пузырьком, лопнувшим пузырьком...

— Постарайтесь при старте не обосраться, — сказал майор Белялетдинов.

— В каком смысле? — вздрогнул наш герой.

— Не запачкайте штаны. В космосе вонь — паршивая штука...

Древесный захлебнулся в диких чувствах. Неужели все-таки летим? Не факт, сказал командир, шансов на полет пол-

ста из ста. Fifty-fifty, сказал знаток английского. Ракета-носитель «Народ-5» отработана очень жуево, продолжал командир. Преждевременное зажигание, и все, привет с кисточкой. Ну, а скорее всего, просто часа два тут позагораем, а потом домой поедем. Номер 2, Анатолий Кимович Павленко, расхохотался. Как в прошлый-то раз, ребята, загорали! Номер 3, Дедюркин, хмыкнул с неожиданной злостью. Прошлый раз тут у нас чувиха все-таки сидела, комсомолка ГДР, а с этого козла толку чуть... Андрей Евгеньевич забыл и о космосе, настолько его поразила гримаса отвращения, адресованная непосредственно к нему.

Не успел он, однако, осознать всю внезапность этих негативных чувств, как музыка вдруг оборвалась, заморгала какими-то глазами бесконечная доска приборов, голос, как бы охвативший все пространство кабины, сказал: «Надеть шлемы! Через три минуты начинаем отсчет!»

Дальнейшее только мелкими клочками прорывалось к Древесному через почти полное отсутствие существования. Отсчета не слышал, но звук «старт» прошел. Вдруг возникла дикая, дичайшая, запредельно дичайшая сплюсненность, сплюсненность, сплюсненность, и, отменив всякое сопротивление, фотограф Древесный Андрей Евгеньевич, 1936 года рождения, умер.

Все-таки он подтек, капельку подмочился. Все-таки я капельку оскандалился, подумал он с шаловливым смешком, когда смерть прошла. Да хрен с ним, Андрюха, не обращай внимания, сказал чей-то голос. Он открыл глаза и увидел рядом с лицом основательный задок майора Белялетдинова, обтянутый уже не «комбиком», а тренировочными штанами. Все трое космонавтов были уже без скафандров. Облаченные в мягкие тренинги, они висели в воздухе кабины. Павленко как бы на боку, Дедюркин же вверх ногами. Этот последний, превратившийся вдруг из мерзкого жлоба в очаровательного парня, помог Древесному отстегнуться и вылезти из «комбика». Мы все малость ссымся при подъеме, сказал он фотографу и дружески подтолкнул его локтем. Давай знакомиться. Эдик Дедюркин. Я ведь тебя с детства знаю, на твоих фото, можно сказать, рос. С веселым подмигом, диссидентским шепотком на ухо: «обожженное поколение»...

Древесный, хохоча, плавал по кабине, натываясь на своих веселых товарищей. Было, как в детстве, когда научился держаться на воде. Лучше, чем в детстве. Ха-ха-ха, тыкал он пальцем в иллюминатор, «планета голубая по имени Земля». Вот за что я люблю космос, сказал Толя Павленко, за эту эйфорию. Как будто после первой банки, и держится долго. Эх, потер руки Марат, вот до «Памира-8» доберемся и «пулю» распишем... Эдик, швырни мне камеру с-под сиденья, заливи-стым каким-то голосом попросил Древесный. Камера подплыла. Он начал снимать. Экое кувыркание, экое счастье, детство человечества. Первая космическая (!!!) серия Андрея Древесного «Детство человечества».

Ну хватит, ребята, сказал всеобъемлющий голос. По местам! «Памир-8» в поле зрения! Эйфория продолжалась еще довольно долго по мере приближения к космической лаборатории, похожей на примус. Командир выдвинул в космос стыковочное устройство, весьма убедительный стальной дрын с резьбой. Ввожу шершавого, передал он на Землю старую космическую шутку, и, несмотря на то что шутка эта пятнадцатилетней давности была обсосана до дыр, экипаж «Кремля-1» пока-тился с хохоту.

К моменту перехода на «Памир-8», однако, эйфория, в общем и целом, испарилась. Для Древесного этот переход оказался пренеприятнейшим испытанием. Стыковочный шлюз показался ему каким-то клаустрофобическим капканом. На мгновение он даже потерял ориентацию и стал как бы биться в боковые стенки, забыв о том, что за стенками бесконечность. Это продолжалось, впрочем, всего одно лишь мгновение. Уже в следующее мгновение он просунул лицо в пыльный мутный свет «Памира-8». Прибывший ранее Эдик Дедюркин всей пятерней схватил его за нос. Здорово, балласт! Готовься к сбросу!

I

Если раньше жители кооператива «Советский кадр» поглядывали на Максима Огородникова с лукавыми улыбочками, просто как на модную штучку, теперь — застывали! Сами почтенные «объективы партии», и домочадцы, и даже няни (особливо те, что с иностранным языком) смотрели на него с ужасом: вот он, злокозненный Огородников, да как он может по улицам ходить, лучше бы дома сидел.



Он вышел из «охотниковщины» и огляделся — где «товарищи»? Что за чудеса? В переулке не было ни одной машины, кроме его собственной да темно-зеленого такси-фургона. Даже «скорая помощь» со слухачами «фишки», которая, казалось бы, уже и в землю вросла, в этот день отсутствовала. А день был мягкий и солнечный. Влияют ли такие дни на сыскную? Эти искорки на глазированных шапках сугробов какие-нибудь вызывают искорки у Сканщина и Планина? Колыхание вот этих обледенелых веток что-нибудь у них там колыхнет? Он усмехнулся. Много ли надо человеку — сняли слезку, и он уже расслюнявился — искорки, видите ли, веточки...

Что за чудеса? Посреди зимы стояла девка по-летнему — прозрачная кофтенка до пупа в стиле детской распашонки, джинсы в обтяжку, туфли на босу ногу. Подзывала голою рукою. Меня, что ли? Он оглянулся. За спиной никого не было, значит, его зовут. Огородников! — крикнула девка с белыми глазами. Что угодно, барышня? Садитесь в

машину, тоном, не терпящим возражений, сказала девка. Ба, да она ведь из этого зеленого такси выскочила, а там внутри двое широкоплечих, вот они искорки-веточки... Кажется, сейчас произойдет что-то страшное. Он повернулся и быстро пошел к своему автомобилю. Девка сзади застучала каблукками по асфальту, догоняет.

Ключ, паразит, как всегда в таких случаях, не лезет в дырку. Впрочем, таких случаев раньше не было. Успел, плюхнулся на сиденье, однако и девка успела — протискивается в дверь, он выталкивает, она давит да вдруг, как взвояет сущей ведьмой: пусти, гребена плать, отсоса не хочешь?! Постыднейшая борьба, от девки разит потом, в зеркале заднего вида медленное приближение зеленого фургона, там — две головы в ондатровых шапках и темных очках. Вдруг что-то произошло. Девка отлетела через всю проезжую часть переулка — в сугроб. Ба, да это Шуз ее отшвырнул, могучий друг Жеребятников. Зеленый фургон остановился. Никто не вылез помочь упавшей девке. Садись, Шуз! Линяем в темпе!

Выезжая из переулка, они увидели, что и фургон разворачивается, а девка бежит к нему. Возле первого же светофора оказалось, что псевдотакси у них прямо за плечами. Безучастная физиономия водителя. Напарник, зарыв ряшку в воротник, говорит по радиотелефону. На заднем сиденье маячит девка с сигаретой. На следующем светофоре, Ого, попробуй под красный проехать, сказал Шуз. Перевесившись через спинку сиденья, он, не отрываясь, смотрел на преследователь, но те этого взгляда как бы не замечали.

Между тем шел московский час пик. Машины сплошным потоком, по четыре ряда в обе стороны текли вдоль Ленинградского шоссе. Сманеврировать так, чтобы проскочить в последний момент под красный, было трудно. Удалось только на четвертом светофоре, но толку было мало: красный свет для «товарищей» не помеха.

Прошли в тоннеле под Соколом, проехали мимо метро «Аэропорт»... Возле Академии имени Жуковского, что развалилась неуместным русским пирогом посреди советского строя, в левом от Огородникова ряду оказалась еще одна любопытная машина, черная и с лиловым фонарем на крыше, внутри два типа, похожие на тренированных в догон добер-

манов. Все четко, сказал Жеребятников, одна давит сзади, вторая прижимает слева. И по рубцу! И глухо! Чего они хотят, Шуз? Огородниковские «пустотки» начали заливаться яростью. Думаете, все будет так просто, как в 37-м? Просчитаетесь, суки!

Поток машин подходил уже к Белорусскому вокзалу. Девку они тебе совали, чтобы «насилку» пришить, — отработанная техника. А вот сейчас чего они хотят?.. Шуз вылез из своего кожаного дворца и демонстративно начал вздывать бицепсы. Доберманы слева смотрели на них без всяких эмоций, деловито и профессионально. Дорога сузилась, теперь уже шла улица Горького, забитая переполненными троллейбусами и толпами людей у дверей магазинов. Легкий толчок сзади. Водитель зеленого фургона смущенно улыбнулся: извините, мол, слегка не рассчитали. Шуз показал ему двумя кулаками выразительное закручивающее движение. Доберманы вдруг резко взяли вправо, подставляя свой борт. Огородников, чтобы избежать удара, машинально тоже взял вправо. Не прошло и нескольких секунд, как доберманы с исключительной ловкостью притерли Огородникова к тротуару, а сами умудрились встать впереди, чем полностью его заблокировали.

Зеленое такси — сзади. Одна ондатровая шапка говорит по радиотелефону, вторая прикрылась газетой. Девки не видно, прилегла, должно быть, на заднем сиденье. Доберманы сидят не оборачиваясь, торчат уши. Народ валит мимо, не обращая на ситуацию никакого внимания, вообще не подозревая никакой ситуации.

Небо начинало зеленеть в преддверии заката. Мерзавцы, оторвали нас от Европы и думают навсегда, сказал Максим. Не могут понять, гудилы, что рабству — шиздец, отозвался Шуз. Думают, книжечку свою поносную покажут, мы им и отдадимся, как бляди. А вот сейчас мы им такой шухер устроим на улице Горького!

Вы слышали, «Орел»? — спросил Сканцин в рацию и вздохнул. Ну и народ... Огород достает свою пушку, никого не стесняется. Прямо положил ее над доской приборов. Вы слышите их разговор, «Орел»? Ждем приказаний, сказал Слязгин. Продолжайте наблюдение, рывкнул «Орел», и офицеры сообразили, что главная птица в замешательстве. Замешаешь-

ся тут, если такие люди пошли — на машинах да с газовыми пистолетиками.

Сколько зарядов в твоей игрушке, Бим? — спросил Жеребятников. Двенадцать, Бом, ответил Огородников. Отличное средство при нападении бандитов. Патроны сильного нейрорепаралитического действия. Хорошо еще, что у нас прочная машина «Волга», этот легкий советский танк. Сейчас начнем бить бамперами вперед и назад. Если же какой-нибудь бандит попытается взломать наши двери, тут же получит нейрорепаралитический патрон прямо в харю. Удачно, что вокруг нас наш благородный народ, не правда ли? При нападении бандитов орем на всю Ивановскую: бандиты похищают фотографов Огородникова и Жеребятникова! Передайте иностранным корреспондентам — похищены знаменитые фотографии! А сигнал у тебя в машине сильный, Бим? Очень сильный, Бом!

Они говорили так в расчете на мгновенное прослушивание, хотя и не верили в такие исключительные способности своих унылых «фишек». Как вдруг доберманы впереди отчалили от тротуара, круто вошли в движение и через минуту исчезли из поля зрения. Огородников тогда сразу поехал по прямой и вскоре пересек площадь Маяковского, где меж широких штанин в этот час пролетал вольный весенний ветер. Неужто наша взяла? Не тут-то было, зеленый фургон по-прежнему висел у них на хвосте. Огородников прижал палец к губам — Шуз, молчи!

Проехали мимо Центрального телеграфа. Последний квартал улицы Горького заканчивался поворотом в три ряда вокруг угла гостиницы «Националь». Метров за сто до поворота Максим внезапно перешел из крайнего правого ряда в крайний левый и сделал поворот по внешней дуге. Огромное пространство Манежной площади открылось перед ними. В середине площади был знак разворота. Слева стремительно налетала очередная волна движения, но несколько секунд еще было в их распоряжении, и, не раздумывая, он рванул через всю площадь к знаку разворота. Этих секунд не оказалось у «фишек», потому что те завершили поворот по внутренней дуге. Теперь фотографов и «фишек» разделял поток машин, несущийся по проспекту Маркса.

Хохоча, Макс и Шуз развернулись на Манежной, проскочили мимо Исторического музея и музея Ленина, бывшей Городской Думы, нырнули под арку Китайгородской стены, вынырнули на бывшей Большой Никольской, по Бумажному проезду на бывшую Ильинку, косячком через Красную площадь скатились к Москве-реке, дунули по Кремлевской набережной к бывшей Остоженке, и все хохотали.

Еще целый час они хохотали в мастерской на Хлебном в обществе Насти, а потом вдруг Максим хватил недопитую бутылку коньяку об стенку и взвыл — чего они от нас хотят?! Шуз неподвижно сидел за столом, в каменном молчании, напоминая памятник Карлу Марксу Метропольскому.

Капитана Слязгина разбирала злость. Руководство сковывает инициативу оперативного отдела, и вот результат — фотографии внаглую уходят из-под носа «желез»! Он подошел к отдыхающей в дореволюционных сумерках машине Огородникова, вытащил из портфеля нож, портфель зажал меж ног и вонзил нож в левую заднюю. Суке Огороду, жидовскому кадру, по самую рукоятку.

Слушай, чего ты делаешь, Николай, возмутился капитан Сканцин. Чего-то не по-чекистски у тебя получается! Какие-то банальности!

Отскочи, Вовка-сучонок, видеть тебя не могу! Слязгин сломал нож внутри камеры и отшвырнул рукоятку в снег. Получайте подарок, фашисты!

II

С поселком Проявилкино у генерал-майора Октября Огородникова связано было немало славных воспоминаний. Собственно говоря, все эти подмосковные привилегированные поселки, Барвиха, Николина Гора, Жуковка, ну, вот отчасти и «городок фотографов» Проявилкино, как раз и были в те молодые Пятидесятые годы страной его приключений. Авто и мото, поддача, раскадрож, «ключи от дачи», кирянье-баранье... Wasn't it a nice time? — думал Октябрь, медленно проезжая за рулем комитетской машины по пус-

тынным аллеям, мимо дач, прячущихся за соснами. Мягкий весенне-зимний вечер, середина марта. Stalin was a bastard, but who cared? I wouldn't give a damn, if I... Он проехал на территорию Дома творчества фотографов, оставил машину возле импозантного портика с лепным изречением «Партия дала фотографам все права, кроме одного — права снимать плохо. Ким Веселый» и пешком проследовал дальше на аллею Классиков, сквозь ветви которой светились ранние звезды, мимо которых проплывали пассажирские лайнеры курсом на близкий аэропорт Дедково. That was really terrific time, продолжал он вспоминать свою молодость. Golfstream, стремление к гольфу...

Пока шел по аллее, всего лишь одна фигура попалась на встречу, немолодая дама в великолепной дубленке. Лицо ее повернулось к нему не без внимания. Сверкнула под ухом бриллиантовая серьга. My Goodness, подумал Октябрь, she resembles a girl I fucked... It's impossible... She resembles a daughter of a Soviet classic photographer... I fucked her right here in a standing position... She used to be a chick!..

Он приблизился к воротам дачи Марксятниковых, но открыть калитку не поспешил. It's hard to stand it any longer, думал он. I am sick of Socialism, of these stupid slogans, of these miserable deceived people, of the ghosts of my youth... it's time to... gosh... come back home... to Washington...

На даче Марксятниковых уже неделю жили Макс и Настя, к ним Октябрь и направлялся. Crazy, пробормотал он, увидев в конце асфальтированной тропинки большое окно-фонарь, в котором, словно манекены в витрине, стояли длинный полубрат и хорошенькая полуневестка. I swear he doesn't understand how serious things are... Макс и Настя, стоя, пили кофе и разговаривали. Оба были в свитерах с оленями. Услышав шаги на крыльце, даже и не подумали о «железах», напротив, заулыбались, видно, ждали друзей.

Ну, вы, ребята, даете, сказал Октябрь, в лесу сидят одни, даже без собаки, — и не страшно? Нас тут охраняют, быстро сказала Настя. Кто? — быстро спросил Октябрь. Свои, быстро ответила она. Ха-ха-ха, тут же захохотал он. У меня, между прочим, неплохие новости. Разве хорошие новости еще существуют? — спросил Максим. Я не сказал «хорошие», я ска-

зал «неплохие». А как вы нас тут нашли, Октябрь Петрович? Бурррль, Настена, не задавай таких вопросов человеку моей профессии.

Давайте ужинать! У нас сегодня далма, вы когда-нибудь едали? Да, и не раз. Рядом с моим домом есть ресторан «Сербская корона», там я беру средиземноморские блюда. Рядом с вашим домом? Максим захохотал. Да это же в Вашингтоне, Настя! Вот именно, кивнул Октябрь. Висконсин-авеню.

Итак, неплохие новости, в чем же они? А в том, что появилось мнение о твоём выезде за границу. Хм, вот так новости... Макс, два дня назад этого «мнения» не было. Настя сжала пальцами край стола. А какое было мнение два дня назад, Октябрь Петрович? Максим подумал: надо все-таки ей сказать, чтобы она так уж сильно на него не выпучивалась, ведь брат все же.

Не знаю, пожал плечами Октябрь, может быть, вообще не было мнения. Это паршиво, когда там... — он показал большим пальцем в потолок, за которым, то есть на чердаке, по его предположениям, третьего дня под видом ремонта проводки установили подслушивающего «клопа», — ... когда там нет отчетливого мнения. В такой обстановке вот и возникают... — Он махнул рукой.

— Да говорите уж! — Настя совсем уже и заострилась, и выпучилась.

Октябрь налил себе полстакана водки и насыпал туда черного перцу. Напиток сильных мужчин из разведки. Как всегда, good news and bad news. К плохим новостям относится то, что дело «Изюма» и «Нового фокуса» передано следователю по особо важным государственным преступлениям. Запинка. Водка проглочена одним духом. Странные все-таки ребята: реакция на плохую новость отсутствует, да и на неплохую была вяловатой. Настя пошла в кабинет Марксытникова позвонить по телефону. Максим стал влезать в оранжевую куртку. Хочу снять ночную аллею, объяснил он. Там сейчас должен быть такой проем среди деревьев, почти голубой, нечто космическое. В детском смысле. Конек-горбунок, еще яснее объяснил он. Они вышли вдвоем.

Ну и нервы у тебя, братишка! В разведку годишься! Ваше счастье, что я не в разведке, пробормотал Макс. Он смотрел в

«зеркалку» и делал снимки «проема», в котором, с точки зрения Октября, не было ничего особенного, кроме дури. Я бы вам нашпионил, бормотал Макс, я бы... К этому времени, сидя на даче, он понял, что только камера и может его спасти от этих приступов «пустоты» и адреналиновых шквалов.

Октябрь стоял с сигарой. Пока Насти нет, все-таки надо тебе сказать самое тревожное. Раз уж такие нервы, должен знать. Был секретариат ЦК по вашей душе. Детали пока неизвестны, но докладывал Жериленко. Воображаешь? Макс сплюнул в снег. Третий человек в государстве: не фера им делать, других проблем нет...

Вдруг стукнула дверь. Настя с порога закричала в темноту: мальчики, скорей, чрезвычайное сообщение! Октябрь, одобренный призывом «мальчики», махнул через четыре ступеньки. Влез и Максим.

Вовсю работал телевизор «Рубин». Впервые в истории советский человек, летчик-космонавт СССР майор Белялетдинов Марат Нариманович, высадился на планете Венера! Несмотря на неблагоприятные атмосферные условия, майор Белялетдинов проводит на поверхности планеты научные работы в полном объеме! Сердца всего советского народа полны гордости за питомца Коммунистической партии! Спасибо родине и партии, говорит майор Белялетдинов, за то, что мне дана возможность совершить этот звездный подвиг! Диктор Кириллов, казалось, готов был обосраться от торжественности. К счастью, его сменила диктор Жильцова с более конкретной информацией.

Космонавт Белялетдинов стартовал в сторону Венеры с борта советской космической лаборатории «Ермак-8». Финальному броску через Солнечную систему предшествовали космические будни на борту этой знаменитой станции. Последовала череда фотографических снимков.

Что такое, заволновался Макс, знакомый почерк! Посмотрите, у них никто так сроду не снимал. Это же высший класс!

Вы видите экипаж «Ермака-8», занятый подготовкой к дерзновенному броску своего командира. Снимки сделал присутствующий на борту станции известный советский фотограф Андрей Евгеньевич Древесный.

Максим как стоял возле «ящика», так и сел на пол. Настя, наоборот, — подпрыгнула, а приземлившись, так и засыпала на цыпочках. Октябрь, разумеется, не дрогнул, как будто прекрасно знал все наперед, как будто такой великолепный трюк, как выброс в космос из самого пекла идеологической войны, не мог пройти без его участия.

Между тем на экране вновь появился задыхающийся от патриотической астмы диктор Кириллов. Наш звездный герой успешно проходит процесс акклиматизации на Венере. Он гуляет, ест и даже читает. Что вы взяли с собой, Марат Нариманович, из произведений искусства?

Послышался глухой голос с Венеры. Ну конечно же, роман Николая Островского «Как закалялась сталь»; он всегда помогает мне как коммунисту и космонавту. Ну, кассету с сонатой «Апассионатой», любимым произведением основателя нашего государства. Ну, не обошлось и без новинки фотоискусства наших дней, сборника работ нашего советского классика Касьяна Блужжаежжина с проникновенной вступительной статьей боевого лидера советских фотографов Фотия Клезмцова. В обстановке обострения идеологической борьбы с темными силами империализма, хрипел сквозь венерианский пар майор Белялетдинов, особенно важно крепить принципы социалистического реализма. Так считаем мы, космонавты. Убежден, что деятели искусства дадут отпор...

Далее диктор Жильцова объяснила, что прямой телевизионный контакт с поверхностью Венеры пока затруднен «в связи с помехами, возникающими за пределами Советского Союза», но сейчас будут включены камеры на борту «Ермака-8». Появились три плавающих в невесомости субъекта. Все трое были в своего рода подштанниках. Присутствие декадентской физиономии Андрея Евгеньевича придавало всей сцене нечто бардачное и даже сюрреальное, сродни картине Руссо «Игроки в мяч».

Древесный подплыл ближе к камере, лицо искажено как широкоугольной съемкой, так и ощущением жизненного триумфа. Какое счастье, сказал он, быть первым в пути! Наш командир первым из космонавтов ступил на Венеру. Я оказался первым советским фотографом в космосе! Дружба, вот пер-

вое, что приходит в голову, нерушимая спайка! Наши друзья на Земле могут на нас рассчитывать, мы не подведем!

Сзади к первому космическому фотографу подплыл один из членов экипажа. Андрей Евгеньевич как-то странно на него покосился и слегка вильнул бедром, будто опасаясь, что его ущипнут за ягодицу. Хочется поблагодарить нашу партию за отеческое внимание к советскому фотоискусству, сказал он с достоинством и полуобнял сополетника за плечи, как бы отодвигая его от своего мягкого места. Застывшая улыбка на лице космического профессионала, однако, не оставляла сомнения, что тот намерен повторить свою попытку. На этом передача с орбиты закончилась. Запел огромный хор. Под солнцем родины мы крепнем год от года...

Настя еле сдерживалась. Ну, что скажете? По-моему, он намекал на нерушимую спайку в альбоме «Скажи изюм!», сказал Максим. Гениальная экспедиция, сказал Октябрь, только вот насчет отеческой заботы. Это он зря. Наша партия — все-таки дама. Забота должна быть... какой, Настя? Материнской, что ли? — совсем осерчала Настя. Что-то я никогда о материнской не слышала, всегда они говорят «отеческая». За забором прошли огни фар. Она вскочила. Это к нам: I need another shot of vodka... to brush aside all that junk... — подумал Октябрь.

Настя вернулась с американским корреспондентом Росборном и его женой Беверли. Вскоре на даче один за другим стали появляться и другие «коры» — итальянец, пара французов, датчанин, немцы, японец Яша Кимура и даже корреспондент журнала «Жорнало» из Бразилии. Октябрь, сказав себе «I've got to keep low profile!», прикидывался старшим братьником из технарей. Остановив на кухне Настю, он спросил: это ты нарочно их вызвала, чтобы на меня произвести впечатление? Альпинистка захохотала: ну что вы, сами приехали, у нас так каждый вечер.

За столом установился многоязычный, с преобладанием, однако, русского воляпюка, шум. «Коры» были возбуждены космическими новостями, хотя, по вредной своей привычке бросать тень на все наши достижения, не могли удержаться и от сплетен. Согласно одной из них, трюк с Венерой был чистой туфтой к открытию конференции неприсоединившихся стран.

В разгаре ужина позвонил Чавчавадзе и сообщил, что в «Фотогазете» уже набран фельетон «Ваши пленки засвечены, господа!» и что секретариат собирается для исключения из Союза фотографов Максима Огородникова. Можешь не сомневаться, батона! — кричал старик с сильным на этот раз грузинским акцентом. Я последую за тобой!

Максима, хоть он и был вздрючен всеми сегодняшними новостями, последняя все-таки прихлопнула: не мог пока все-таки себя вообразить вне союза, куда когда-то, чуть ли не двадцать лет назад, был принят с триумфом. Он пошел проводить полубрата. В «проеме Конька-горбунка» теперь висела мутная лунная краюха. Погода менялась, обещая на завтра метель.

— На чем ты сейчас едешь? — спросил Октябрь.

Вот моя тачка. Они остановились возле максимовской «Волги». Тянет? Неплохо, знаешь ли, тянет. Это экспортный вариант. V-образный движок, шесть цилиндров. А помнишь тот «Хорч»? Еще бы не помнить! Мы сзади... с Эскимо... «Эскимо, Эскимо, промелькнуло в далекой аллее...» С того времени ее ни разу не видел. Знаешь, она в эмиграции...

Октябрь потрепал его по щеке. За рулем поосторожнее, сынок. В каком смысле? В прямом. Просто поосторожнее, повнимательнее, почетче за рулем. Пока!

III

На следующий день пришлось съезжать с дачи. События закручивались. Из фельетона «Ваши пленки засвечены, господа!» вытекало, что все дело с независимым альбомом затеяно «спецслужбами» подрывной части света, т. е. Запада. Идеино нестойкие, неразборчивые, падкие (эх, словечко сладкое) до дешевой западной славы, вроде М. П. Огородникова, становятся игрушкой в руках реакционных... злейших... матерых... Вот они — плоды необъективного захваливания, нечеткой работы нашей фотографической критики, вовремя не успевшей распознать... Союзу фотографов следует сделать выводы...

Огородников отослал членский билет по почте, даже не сопроводив запиской. Вдруг среди «изюмовцев» начался раз-

брод. Иные говорили, что он не имел права один выходить. Надо было всем выходить, а теперь он, видите ли, один такой оказался мученик. Другие говорили — не поздно и сейчас, давайте соберем пресс-конференцию и объявим массовый выход. «Коры» пришли в возбуждение. «Вечерняя Москва» напечатала подборку писем трудящихся под заголовком «Порнография духа», гневно разоблачающую таинственный, никем из трудящихся не виденный фотоальбом. Вдруг среди бела дня загорелась студия мастера Цукера. После пожара комитет ветеранов жилищно-эксплуатационной конторы потребовал выселения пострадавшего на 101-й километр.

В один из дней, заполненных подобным хламом, вдруг прозвучал звонок полузабытого человека, Славы Германа. Он глухо и мрачно в своем стиле похихатывал: что-то вы, братцы, обо мне забыли, думаете, я тоже в космос свалил.

Германа издавна сопрягали с Древесным, еще со времен молодой дружбы и первой выставки в Музее транспорта. Герман и Древесный — на выставку тогда обалдевшая валила вся Москва. От пылкой дружбы давно уже и угольков не осталось. Однако при имени Древесный непременно выплывает и имя Герман, и наоборот.

Вообрази, Ого, ха-ха-ха, болею, хо-хо-хо, и бочонок рому, может быть, заедешь? Хреновато чувствую себя, а поговорить трэба. «Хохлизмы» были коронным номером Славы Германа, все эти неизвестно откуда взявшиеся «нэ трэба», «разжуваты», «попэрэд батьки»...

Он жил, разумеется, в коммунальной квартире, иначе и быть не могло. Большущая, сто раз перестроенная и перегороженная, но все же сохранившая что-то от «барских времен» квартира на Чистых прудах. Полдюжины звонков на дверях. Максим подумал, что не был здесь уже несколько лет, а так как все прошлые посещения проходили в пьяной вьюге, то он попросту и не помнит Славкину квартиру.

Дверь открыла соседка, завитая, да еще и в египетском несусветном халате. Дохнула здоровенной дозой коньяку. Максимка, ты? Оказывается, я здесь еще и Максимка! Как хорошо, что ты пришел! Прижавшись мягким боком к выпирающему огородниковскому мослу, дама повела его по столь типичному, почти кинематографическому — студии

имени Горького — коридору с обязательным, к стене подвешенным велосипедом древней модели, мимо тазов с замоченным бельем, репродукций из «Огоньков Москвы», среди которых мелькнула тошнотворная, та, что, казалось, уже не повторится, «Снова двойка», мимо общего фикуса, свидетеля первой пятилетки, и общего кота-мухолова. Ему это сейчас очень нужно, жарко шептала соседка и в глубину куда-то кричала: это Максим пришел, Максим! Квартира, оказывается, его помнила.

Герман полулежал на диване. Вокруг разбросано было журналов, снимков, альбомов с зарисовками. Гриппуешь или с похмелья? — спросил Огородников. Просто не двигаюсь, ответил старый друг. Какой он когда-то был шикарный, почему-то подумал Огородников. Какой старомодный. Как бабы теряли головы при нем. Гитара? Конечно, вот она на прежнем месте. Его бухой репертуар бил безотказно даже по питерским снобкам. Коньяком здесь пахло всегда, а вот мочой прежде не пахло. В окне деревья и памятник Грибоедову, его могучая спина — что-то припоминаю. Советская интерпретация автора «Горе от ума», на манер маршала Скалозуба с матерым загривком. Рядом с окном фотография окна, известный германовский шедевр. А вот здесь это что-то новое, вернее, выплывшее старое — девушка на пляже, держит тяжелые свои волосы тонкой рукой. Поalinka Штейн в незапамятные годы...

Прочти вот это! Слава протянул хрустящий листок отличной бумаги.

«В Союз фотографов СССР. В связи с грязной клеветой в адрес фотоальбома «Скажи изюм!» и М. П. Огородникова заявляю о своем выходе из союза и возвращаю членский билет. Святослав Герман».

— Ну знаешь, Славка!

— А, ерунда, мне это ничего не стоит.

— Да как же? Ведь жить же надо!

— В том-то и дело, старый, что уже не надо. Нэ трэба, хлопче...

Ну это еще что за мрак? Вдруг Огородников понял, что случилось что-то ужасное, когда Герман с кривоватой улыбкой на своих полных, едва ли не негритянских губах приподнялся на локте и, концом трубки разбередив бумажный хлам

на столе, вытащил нечто в коричневом пакете. Рентгеновский снимок. Это моя грудная клетка, старый. Вот здесь, вот это темное — это конец, и очень быстрый. Туда лазали бронхоскопом и брали клетки. Теперь ты понимаешь, Огоша, почему мне этот клочок бумаги ничего не стоит?

... Ну-ну, перестань, Макс, да что ты...

От многоточия до многоточия что-то выпало. После этого Огородников сообразил, что у него был мгновенный провал сознания. Слава Герман смущенно улыбался. Вот уж не думал, что ты так... как-то так... Макс, ты как-то уж так... как-то слишком... что с тобой? Максим сообразил, что он открывает и закрывает рот, как бы пытаясь что-то сказать. Вот уж не хотел произвести такого сильного впечатления, проговорил Слава. Слав-Славка, пробормотал наконец Максим. Дальше опять не пошло. Кажется, сейчас разревусь. Слезами я еще не изливался. Вечереет. Опустошается часть Москвы. Хочешь чаю?

Хорошо, что ты пришел, заговорил Герман. Можно перед тобой порисоваться — не горюй, мол, Макс, ничего особенного, дело житейское. Без этого невыносимо. Знаешь, я сейчас пытаюсь думать о своей жизни, но ничего не получается. Никаких фундаментальных умозаключений, никаких даже стоящих воспоминаний, все они превратились в ворох фотографий, батя мой. Одна только штука приходит в голову и стыдит безмерно. Всю жизнь я старался «производить впечатление» и больше, старый, по сути дела, ничем не был озабочен. Каждый кусок жизни проигрывается, как в дешевом театре. Везде я в позе... Или как в хорошем театре, какая разница. Везде — поза. Даже сейчас, Огоша... Попросил тебя приехать, а сам думаю о сцене «У постели умирающего друга», протягиваю тебе рентгеновский снимок — театральный эффект... Вместе с заявлением о выходе из союза получается... б-р-р... Говорю тебе в сумерках об этой дряни, и снова выходит жуткая показуха. Увы, только это еще и соединяет с жизнью. Без этого я вою, Макс. С этим тоже вою, но негромко, подвываю, а без этого уже все кончается, и только лишь вой... В общем, ты сейчас иди, Макс. Сделай одолжение, разыграем сцену ухода...

В темноте Огородникову показалось, что на диване, возле подушки прыгает нечто, размером с жабу. По потолку проехал свет от проходящего троллейбуса, и он увидел, что это рука Германа подбирается к тумбочке. Он потянулся и поцеловал Славу в колючую щеку. Может быть, тебе священник нужен, Славка? Герман вздрогнул... Да, да... Знаешь, Макс, я и без болезни тянулся к религии, да только лишь боялся переиграть... Это уродство, и я даже рад, что теперь театрику конец. Иди, Огоша, иди! Найди мне священника, может быть, напоследок научит молиться в одиночку...

Огородников прошел через комнату к дверям. Голос Германа догнал его там. Макс, а помнишь?.. Что?.. «Огнями улиц озарюсь»... Нет, ничего, иди... «перегородок тонкоробость»...

На Чистых прудах дивно падал, быть может, последний в этом году вечерний снег. Советской власти в поле зрения не было. Он очищал снег со стекол машины и вдруг испытал забытое и странное ощущение нормальности. Нормальный московский вечер, нормальный человек счищает снег со своей машины, только что посетил нормально умирающего друга, сел, машина нормально завелась, к светофору нормально подъехала чуточку юзом, постовой нормально указал палочкой на обочину, нормально попросил права, осмотрел со всех сторон машину, вернул права, козырнул — будьте внимательны, подмораживает...

Пока ехал по Мясницкой, охваченный нормальной тоской и горечью, вспоминал что-то из прошлого. Все время возникало что-то самое раннее, самое молодое, хулиганское, ярчайшее — танцы конца пятидесятых, девчонки в туфлях на платформах, расквашенные носы, мы неразлучны — Слава, Андрей, Максим...

Между тем постовой подошел к серой «Волге», дежурившей под аркой «Гастронома». Задание выполнено, иронически козырнул он двум хмырям из «желез». Что же, так и поехал? — прищурился на постового один из хмырей. Постовой пожал плечами. А чего же ему не ехать? У товарища все в порядке. Ну что ж, сержант, и на том спасибо. «Волга» выкатилась из своей пещеры. Постовой нехорошо смотрел ей вслед. Трутни, думал он, настоящие трутни.

IV

Два полубрата Огородниковы пришли вдвоем в ресторан «Хрустальный». Огромный зал с четырехгранными колоннами и стеклянной стеной, по которой весь день сползали талые ледяные пласты, а сейчас, под вечер, снова пошли морозные узоры. Все же сквозь стекло отчетливо был виден обелиск «Москва — город-герой», шедевр брежневского бегемотизма.

Ни на что не похоже, сказал Октябрь. Все, что окружает меня сейчас, ни на что не похоже. С первого взгляда еще вспомнишь Лас-Вегас, но со второго взгляда тут же забудешь. Он очень внимательно всмотрелся в подошедшего официанта. Нет, все совершенно другое, не похоже ни на что.

Им удалось занять столик подальше от оркестра, то есть можно было разговаривать. Официант хотел было подсадить к ним «симпатичную пару», но Максим сунул ему бумажку в карман, «забудь об этом», и они остались одни. Ну что, усмехнулся Максим, опять какие-нибудь жуткие новости? Не без этого, сказал Октябрь, снял великолепные очки, потер большим и указательным пальцем усталые веки. Могу тебя поздравить, ты — агент ЦРУ!

Бесшумный выхлоп пустоты. Запасы пустоты в организме, очевидно, неисчерпаемы. Быстро расширилась по всем клеткам и продолжает распирать. Сколько-то времени прошло, прежде чем в максимовские «пустоты» стали проникать октябрьские слова.

...я чувствовал, что *там* именно к этому клонят... страшно только было признаться самому себе, что чувствую. Вчера на закрытом партсобрании в Союзе фотографов Ванька Фаднюк объявил тебя «крупным резидентом американской разведки», а потом эта вонючка, бывший смершевец Фарпов, альманах «Герой», потребовал применения к тебе законов военного времени... Ты, конечно, понимаешь, от кого эти ублюдки говорили... Руки у Октября дрожали, он смотрел в сторону, где сквозь ресторанныю муть видел двух офицеров своего учреждения, самку и самца, наблюдавших за тем, как он выполняет задание. Зверение, братишка, зверем зверским вывернется озверелая зверюга...

Вдруг что-то пронеслось от входа через танцевальные порядки города-героя. Мчалась Анастасия. Слава Богу, вы здесь! Случайно узнала! Капитолина Тимофеевна проговорила! Вы что это, Октябрь, пугаете Макса? Вас что же, попросили его запугивать?

Да, Настя, подожди! Прилет ее в «хрустальную» конюшню вдруг все стал приводить в порядок. Пустота испарялась через кожу. Ты, Настя, еще не знаешь — я шпион! Меня предлагают расстрелять! Как это я не знаю, прекрасно все знаю, бормотала она, хватая на столе какие-то предметы, словно на ощупь хотела определить их реальность. Подошедший официант, внимательно глядя на нее, расставлял бутылки и закуски. Все уже знают, продолжала она, все хохочут. Мне только что Симка звонила, а ей Володька сказал. Все просто хохочут... Бормотание ее увяло, и странным образом, так, как раньше не замечалось, отвисла нижняя губа. Воцарилось молчание.

Дивное выражение, не правда ли? Царство молчания — гордость великоросса. Нечто подразумевается сродни обелиску с четырьмя гранитными истуканами вокруг. Несколько меньше соответствует этому перлу родной речи атмосфера в «Хрустальном» с ее ревушими и подвизгивающими электрогитарами и с доброй сотней граждан всех весовых категорий, выкаблучивающих «современный танец» в неудержимом стремлении к счастью. Слово, однако, не воробей, а потому именно в царстве молчания мы предлагаем читателю проследить последние в этом романе движения международного обозревателя агентства печати «Социализм», советского разведчика Октября Петровича Огородникова.

Он встал. Одну руку положил на плечо полубрату, другую на плечо полуневестке. Чуть сжал — прощание. Повернулся и стал пересекать ресторанное пространство по направлению к эстраде. Unbearable, думал он на ходу, и эту мысль отчетливо выражала его спина. Мы смотрим на него от столика, где он только что сидел, и кроме мысли «невыносимо», выраженной на том языке, на котором он в силу своей профессии привык думать, видим, увы, большую плешь. Впрочем, по мере уда-

ления и мысль становится менее отчетливой, и плешь как бы теряется среди параметров головы. Уже без мысли и без плещи он подошел к оркестру, протянул лидеру 25-р-банкнот, что-то заказал, и отправился далее, вниз, и взял в гардеробе пальто и шляпу. Плешь окончательно скрылась под твидовой шляпой ирландского стиля, мысль проявилась в движении руки, влезавшей в рукав. Unbearable. Он вышел на Кутузовский проспект. Через несколько минут оркестр стал исполнять его заказ — фокстрот «Гольфстрим».

V

Максим и Настя, покинув «Хрустальный», немедленно решили бежать. Ну, вовсе не с целью спасения огородниковской skóry, ее не спасешь, а просто из Москвы сбежать на некоторое время, из опостылевшего скопления фотил и «фишек».

Их машина, разумеется, стояла скособоченная на две левых спустивших шины, и это-то как раз и давало шанс к бегству. Не исключено, что «фишки», проткнув две шины сразу, на сегодня сняли наблюдение — далеко, мол, не уедет. А вот как раз и уедем подальше. На Кавказ! В конце концов, могу себе позволить отдых перед расстрелом, в хорошем стиле пошутит Ого.

Остановили такси. Хочешь с ходу заработать сотню? Шофер, разговаривая с Огородниковым, не отрываясь смотрел на Настю. Можно и дешевле, криво усмехнулся он. Огородников вытащил сотенную. В темпе, друг, перемонтировать надо два ската! Шофер тогда поверил, что не шутят, выскочил с энтузиазмом.

Это был молодой московский волчок с вертким задом. Такого рода типчиков подбирают и в оперативку. В багажнике у него оказалось все, что надо, включая и запасные камеры. Он стал быстро шуровать на задах обелиска «Москва — город-герой». Почерневшие сугробы вдоль мостовых еще демонстрировали свое ноздреватое величие, но вся проезжая часть была чиста и даже как бы позванивала под проносящимися стайками машин, звала в дорогу.

Подошел постовой, поинтересовался. А вот товарищу помогаю, непрофессионалу, объяснил шофер. Постовой ничего не сказал, только на стройной дубленочке, то есть на Насте, поиграл глазами. А как вообще-то получилось, что ты сразу на две захромал? — спросил таксист. Да муж, наверное, проткнул, неожиданно для себя сказал Огородников. Мы с ней от ревнивого мужа удираем. От мужа, радостно ахнул паренек. От мужа, от мужа, весело подтвердила стройная дубленочка, от товарища Старого-Грозного! Отлично, сказал таксист, эх, жизнь половая!

Информация его как бы вдохновила. Шуруя монтировками, он стал рассказывать о своих собственных сногшибательных половых приключениях. Присутствие Насти нимало молодца не смущало. Он был из тех таксистов, что в каждой пассажирке предполагают проститутку. Она мне говорит «пятерку до Зацепы», а я ей говорю «и губки в придачу»... Из Домодедова везу даму, инженера-химика, зарулил в лесок, ну, она мне строчит, а тут... Макс, Макс, хохотала Настя на ухо Старому-Грозному, что он такое несет, ведь уши же вянут... Ты, друг, видно, французским видом спорта увлекаешься, сказал Огородников. А как же иначе, удивился таксист, будто иначе и нельзя.

Закончив работу, он протянул Максиму две проколотых камеры. Заваришь где-нибудь. Там в одной тебе муж подарочек оставил, месарь клевый. Скажи спасибо, что не кастрировал.

Они сели и помчались и на четвертый день пути, точно следуя маршруту Пушкина, догонявшего экспедицию графа Паскевича, прибыли к подножию гигантской Кавказской горы. Там, в предгорье, Огородников с блаженством вдруг ощутил себя «вторым человеком». Все знали Настю, все ахали «Настя приехала», он тут был пока что только «Настин муж».

Несколько дней они провели в курортной зоне, шляясь среди туристов и лыжников, толпами собиравшихся вокруг единственного в округе подъемника с дерзким лозунгом на моторной будке «Наша цель — коммунизм!». Проблема была со жратвой, как они выражались теперь на студенческий манер. Приходилось быть на подножном корму, то есть шлять-

ся по продмагам, где единственным съедобным предметом был полусъедобный «Завтрак туриста». Посещали и так называемые кафе, предлагавшие бутерброды с засохшим, коробом вставшим сыром. В кафе сидели сумрачные мужчины местной малой народности. Оторванные от Корана, они приобщились к алкоголю. Зажав стопарики в кулаках, чокались кулаками в честь сороковой годовщины изгнания из родных ущелий в степи Казахстана; такие были злопамятные.

Через несколько дней Настины коллеги приехали за супругами на вездеходе. С ними поднялись еще на тысячу метров вверх по склону великой горы. Там стояло несколько барачков постоянно действующей гляциологической экспедиции «Четыре тройки». Коллеги, от долговременной жизни на дикой высоте, частично потерявшие связь с Советским Союзом, дали Насте и Максусу пару «дутых» анораксов, лыжи и нужную сбрую. Потекли дни полнейшего Настиного торжества. Огородников представлял из себя на склоне постыднейшую картину, катил вниз с ловкостью телеграфного столба, а рухнув, обращался в подобие городошной фигуры «бабушка в окошке». Настя же скользила вокруг легчайшими, как пух, христианиями.

Однажды сверху на крутых виражах спустился в «Четыре тройки» совсем уже особый человек Эдуардас Пятраускас. У него была хижина с кое-каким научным оборудованием еще на один километр выше. Хижину эту он сам, а вслед за ним и другие горцы называли «приютом убогого чухонца». Вечный ультрафиолетовый ожог сделал Эдуардаса каким-то мифическим существом, переносчиком санскрита. С вами даже как-то коньяк пить странно, признался Макс, как будто пьешь с... с сагой. Пожалуйста? — по-прибалтийски переспросил Эдуардас. Он все смотрел на Настю и сиял. Влюблен гад, догадался Огородников и стал напрашиваться в «приют убогого чухонца». Пришла идея снимать влюбленное мужское лицо среди белых и синих провалов. Еще через день они поднялись туда.

Макс провоцировал прогулки втроем, а во время прогулок старался стушеваться, оставить Эдуардаса вдвоем с Настей и снимал «зумом» простодушного нибелунга. Ради тебя, милый, говорила Настя, я готова влезть к Эдику в постель. Пока не требуется, отвечал артист-фотограф, пока что я луч-

ше влезу в его внутренний мир, и он коварно заводил с персонажем беседы.

Эдуардас признался, что ему давно уже стало трудно спускаться с горы. Даже «Четыре тройки» кажутся ему суетным курортом, а ниже, в горнолыжном центре, он просто впадает в транс. Что же касается зеленой и плоской родины, то она вспоминается вне связи с реальностью, почти как некая прежняя инкарнация. Оказалось также, что он часто и всерьез думает о ядерном холокосте. В случае этой катастрофы непопавшими окажутся только пики горных хребтов. Внизу наступит посядерная зима, остатки человечества впадут в дегенерацию и одичание. Нужно создать на предельно больших высотах автономные очаги цивилизации. Пройдет несколько поколений, прежде чем Земля очистится от смрада, и тогда горное племя спустится из заоблачных островов, вроде Джомолунгмы, Казбека, Монблана, Килиманджаро, и продолжит расу землян.

Это вы сами придумали, Эдик? — вежливо спрашивал Максим. Пожалуйста? — переспрашивал Пятраускас.

Колоссальные восходы солнца открывались со склона, закатов же не было, солнце просто скатывалось за зубцы близкой вершины. Послушай, сказал однажды Эдуардас Максиму, есть вшивые новости, очень говенные новости. Огородников подумал, что сегодня горец впервые разговаривает с ним, как с отдельно взятым человеком, а не как с досадным приложением к предмету обожания. Оказалось, что кореш снизу, с лыжной базы, передал ему по радиостанции спасателей — в местных «железах» тревога. Из Москвы прилетела опергруппа. Всех расспрашивают об Огородникове. Пока еще не дознались, ни где вы сидите, ни где машина стоит, наши ребята дурачками прикидываются, но все-таки... ты же сам понимаешь...

Максим ответил, что понимает и уходит немедленно. Не удержался все-таки от последней провокации. Может, Настю здесь оставить? Послушай, литовец положил ему руку на плечо, если когда-нибудь захочешь мотануть в Турцию, я могу помочь. Я знаю на границе места, где, кажется, есть шансы на успех. Ну, Эдуардас, пробормотал Огородников, ну, Эдька, черт тебя побери...

Ночью он повел их вниз, минуя «Четыре тройки». В огромном пространстве, залитом луной, мысль о «железах» и «фишках» казалась вздором. К утру они достигли шоссе. Огородниковская «Волга» спокойно ждала там, где ее и оставили, в поселке Карабахчи, во дворе метеоролога Равиля Газданова. Они попрощались с Равилем и Эдуардасом и отправились восвояси.

Внизу весна шла уже на полный ход. Вдоль Ставропольщины даже торговали сиренью. В Ростовской области деревья стояли в зеленом пуху. Большие массы нарушителей священных советских границ летели к Северу. На Орловщине еще лежал снег, но дорога была суха, и машина неслась. В последний день путешествия, часам к восьми вечера, они подъехали к известному всем советским автомобилистам шалману с игривым названием «Тещины блины».

На крыльце с провалившимися досками сидело несколько местных мужиков. На них было страшно смотреть: почерневшие от химических «портвейнов», они почти не шевелились, только лишь слабо зывали к проезжим «эй, браток, на стакан» и, не получив ни мелочи, ни ответа, бессмысленно улыбались. Вокруг крыльца стоял народ поздоровее — водители рефрижераторов. Курили, говорили о похабном. Покосившийся фонарь бросал свет на загаженный палисадник, где несколько человек присели орлами. Сортир здесь за истекшие три года так и не починили, огорченно заметил Огородников. Ну, это не беда, бодро сказала Огородникова-Бортковская, вон девчата из автобуса за кустики побежали, я с ними. Три года назад здесь все-таки чем-то кормили, сказал Макс, когда она вернулась. Вообрази, помню блины из кукурузной муки.

Они вошли внутрь и едва не выпали наружу из-за ужасного запаха: дело в том, что в этот час в «Тещиных блинах» как раз мыли котлы и жаровни. Вообрази, и сейчас здесь что-то едят, смотри — жуют! Вот тут я уже не могу, Макс, сваливаем, взмолилась Настя. Однако посмотри, Настя, ведь жуют же что-то мясное! Макс, да ведь что-то пупырчатое же жуют! Вымя жуют! Вот и в меню же — «Вымя КРС с пюре картофельным, 67 коп.».

Несолоно хлебавши, они помчались дальше по ревущему моторами и плюющему соляжкой шоссе мимо Спасского-

Лутовинова, то есть через Тургеневскую Русь. Только через полчаса, отдышавшись, они задумались над аббревиатурой КРС. Вдруг Настя хлопнула себя по лбу: как же раньше-то не догадалась — «вымя крупнорогатого скота»! Знаешь, сказал тут Огородников, я уже не могу шутить на эту тему. У меня, кажется, все меньше и меньше остается шутейного пороку...

За всеми этими приключениями они, конечно, не заметили, что их в «Тещиных блинах» ждали. Странствующий гидальго из сысского ведомства, едва они отъехали, тут же бросился к мотоциклу, помчался в поссовет и оттуда сообщил вперед по трассе — едут фашисты!

К ночи движение стало реже. Настя развела в термосе остатки кофе, наломала лаваш и очистила свалевшиеся плавленые сырки. Не прекращая движения, они стали ужинать. Может быть, ты не знаешь, но у меня приемник здесь с короткими волнами, сказал Макс и искоса глянул на жену. За две недели они ни разу не слушали «вражьих рупоров», таков был уговор. Ну что ж, Настя пожала плечами, теперь уж все равно: утром — Москва.

Тургеневские поля глушилками были еще не целиком охвачены, прием отличный. Они стали слушать подряд всю вечернюю программу «Голоса Америки».

...«Панорама»... «В мире книг»... «События и размышления»... знакомые голоса вашингтонских суперзвезд Виктора Французова, Людмилы Фостер, Ильи Левина... Под рубрикой «Американская печать о Советском Союзе» промелькнул и «Измю», и собственное имя владельца удачливой радиоточки не оказалось забыто. Корреспондент газеты «Нью-Йорк уэйз» Харрисон Росборн сообщил, что сопротивление группы фотографов продолжается. Вслед за атаками в прессе на Максима Огородникова еще трое фотографов подали заявление о выходе из контролируемого государством Союза фотографов...

Уже на территории Тульской области, во время программы «Джаз для коллекционеров», гаишник светящимся жезлом показал на обочину. Подошел, проверил документы, поинтересовался: «Не устали?», заглянул внутрь. Из открытого окна поста ГАИ доносилась та же самая джазовая программа.

«Программа для полуночников» (Огородников знал, что на «Голосе» ее называют «Сова») началась уже на подходах к Оке. Настя спала на заднем сиденье. В темноте проносились мимо белые стволы берез. Загадочное исчезновение крупного советского журналиста Октября Огородникова вызвало большой резонанс в мировой прессе, сказал знакомый голос «голосиста», в этот момент как бы бегущий вровень с березами вдоль неподвижного шоссе. Убегает и не исчезает, разве так может быть? Максим тряхнул головой и сильно потер лицо ладонью. Еще один такой момент — и сыграю в кювет. Новость, однако, развивалась и наяву. Советское посольство в Париже в связи с исчезновением Октября Огородникова заявило решительный протест Министерству иностранных дел Франции. В опубликованной «Известиями» статье обозреватель Мехаморчик утверждает, что Октябрь Огородников похищен агентами американской разведки. В статье, однако, не сообщается, что пропавший является братом известного советского фотографа Максима Огородникова, недавно вместе с другими членами официального Союза фотографов бросившего вызов советской цензуре...

Вместо берез мимо окон застывшей машины понеслись теперь фермы серпуховского моста.

VI

Планцин и Крость поспешали домой в полном молчании. Их машина основательно превышала ограничение скорости, однако инспекторы дорожного надзора умели на глазок различать, к какому роду машин относятся вроде бы неразличимые «Волги», и потому только провожали их взглядами. Иные даже козыряли. Вот это уже лишнее — вовсе не обязательно показывать то, что знаешь.

Валерьян Кузьмич последние дни пребывал в основном раздражении из-за ситуации с Огородниковым. Тип хитрил, опять стал скрываться, обрезать «хвосты». Из-за этого группе Планцина тоже приходилось хитрить, обманывать верха, изображать полнейшую осведомленность —

сколько сигарет в день выкуривает, сколько палок кидает сожительнице, каков стул и моча. Но главное не в этом. Главное раздражение присутствовало в отсутствии присутствия определенности. Верха ни разу не высказались по Огородникову окончательно и определенно. Все приходилось угадывать. Смешно сказать, все варианты группы были до сих пор в подвешенном состоянии — не приняты и не отклонены. Последний, разработка которого началась на закрытом партсобрании фотографов, кажется, вызвал одобрение, однако после предательства Октября его по понятным причинам немедленно пришлось прикрыть. Нынешний вариант, по идее, неплох, хоть и прямолинеен, но поучителен, в этом его главное достоинство, однако кто может поручиться, что впоследствии за этот вариант не навешают собак: ведь сослаться-то на верха нельзя будет.

Опять же Клезмцов... Достает проклятая Кочерга, упорно гнет свою, тоже не вполне понятную линию, юлит по этажам на Старой площади, вчера опять к Фихайлу Мардеевичу пролез...

Забормотала рация. «Ласточки» вызывали «Голубя». Возьмите трубку, Крость! Да ведь, наверное, с вами хотят говорить, Валерьян Кузьмич, пробормотал майор. Выполняйте, рявкнул генерал. Разболтался аппарат, всякий раз приходится повторять приказание. Он слегка опустил стекло. Пошла струя ночного, весеннего, почти теплого воздуха. Справа от шоссе склон бугра был чист от снега, белели только стволы берез. В отставку! Развод с «Георгием Максимилиановичем» и бегство к брату на Дагомыс! Брат богат, подпольно разводит нутрий, вместе будем промышлять по шапочному бизнесу...

VII

В 4 часа ночи по длинной платформе станции Чехов прогуливались два молодых человека — Владимир Сканшин и Вадим Раскладушкин. Они встретились не далее как четверть часа назад, и, конечно же, совершенно случайно. Вначале Владимир Гаврилович меланхолически поднялся на белеющую под

луной бетонную ленту. Сквозь туман, мама-родная, кремнистый путь блестит, подумал он. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу... Странно все-таки, Михаил Юрьевич, передовой человек своего времени, а так писал...

Тут на дальнем конце платформы появилась стройная фигура. По приближении выяснилось — в руке лукошко. Еще ближе — Вадим! Какими судьбами? Да вот, понимаешь ли, по грибы ездил. По грибы? Об эту пору? Спасибо за юмор, а то настроение хреновое. Вадим приподнял тряпицу, а в лукошке боровики один к одному, светятся, как лампочки Ильича вполнекала... Я тебе позже, Володя, покажу здешние чеховские грибные места. Лады!

Оба посмотрели на часы, у обоих оказались светящиеся. Четыре ноль одна. Давай прогуляемся?

Боюсь, Вадик, попрут меня скоро из «желез», вздохнул Сканщин. Шибко умный стал. Множество неприятностей. Четыре часа ноль семь минут.

— У тебя часы правильные? — спросил Раскладушкин.

— Каждую ночь сверяю по курантам, — заверил его Сканщин.

Гуляли дальше. Сканщин вздыхал. Вот сейчас, в данный момент, сослуживцы куда-то поехали, а его с собой не взяли. Глупое ночное одиночество.

— На твоих? — спросил Раскладушкин.

— Четыре двенадцать с копейками, — сказал Сканщин.

Просматривая современную литературу, иной раз удивляешься. В Тамиздате слово Бог — всегда с большой буквы. Это что, избыток уважения, что ли? Приблизительно такая же история происходит и у нас, в фотографии...

Они остановились, и оба одновременно взглянули на свои светящиеся циферблаты. Было — четыре часа девятнадцать минут восемь секунд утра. Раскладушкин поставил свое лукошко на платформу, взял Сканщина за обе руки и затем скрутил его в каком-то могучем объятии с захлестом рук за спину. Головы обоих молодых людей закинулись, и они увидели огромное, полное звезд, хоть и неузнаваемое, небо. Так прошло несколько мгновений. Потом объятие распалось.

— Да ты, Вадим, не припадочный ли?..

VIII

До Москвы оставалось меньше девяноста километров, когда Огородников увидел впереди дальний свет идущего навстречу грузовика. Очень яркие фары у гада. Огородников убрал свой «дальний», ожидая что и встречный в соответствии с правилами ночной езды поступит так же. Грузовик не обратил на сигнал никакого внимания. Экий хам, привычно подумал Огородников: такое и раньше не раз случалось. Железа много, плюет на все. На изгибе шоссе за темной массой грузовика обнаружились еще две, одна за другой, одиночные фары. Похоже, что там идут два мотоцикла. Огородников стал снижать скорость — свет четырех фар слепил глаза. Он еще дважды просигналил. Никакой реакции. При ослеплении огнем встречных фар скорость снижается до минимума, руль держится прямо, никаких маневров, так легче всего разойтись на узком шоссе.

Вдруг произошло невероятное. За сто метров до встречи грузовик скатился на левую полосу и пошел Огородникову прямо в лоб. Мотоциклы остались на своей полосе. Шоссе таким образом оказалось полностью закрытым. Показалось, что вспыхнули еще какие-то дополнительные фары на грузовике. Все расплылось в глазах, а затем как бы обрело объем. Огромный сверкающий шар летел прямо на него, слева летели два шара поменьше. Послышался вопль «конец!», то ли сам кричал, то ли Настя проснулась.

Ничего не понимая, он выкрутил руль до отказа вправо и тут же стал мощно выкручивать его влево, одновременно выжимая до упора педаль акселератора. Взревев, его «Волга» проскочила по самому краю глубокого кювета мимо грузовика.

Минуто они ехали молча, потом оглянулись. Габаритные огни грузовика и двух мотоциклов удалялись. Пропали за поворотом. Четыре часа двадцать минут, 86-й километр Симферопольского шоссе. Тут их обоих стала колотить сильная дрожь: слишком много выплеснулось в кровь адреналину.



ПЕРФОРМАНС

I

К середине апреля просохли подмосковные поля, и наступило время романтического концептуализма. За Старой Рузой решено было устроить основное действие-перформанс «Вытягивание из рощи семикилометрового мотка бельевой веревки». Верховодил один из «изюмовцев» Васюша Штурмин — солдатская шинель внакидку, цилиндр на затылке.

Зрители в количестве до тридцати человек стояли и сидели на пригорке. Бригада концептуалистов из семи персон для начала скрылась в роще, отстоящей от пригорка метров на триста. Дул холодный ветер. Отсутствовала всякая символика, если не считать ослиных ушей башни-глушилки, торчавших в юго-восточном секторе пространства. На них, впрочем, никто не обращал внимания.

Сначала из рощи, где скрыт был рулон веревки, вышел Штурмин и установил старинную фотомашину на треноге. Накрывшись шинелью, он поджег магний. Вслед за вспышкой и подъемом пара из рощи появились девушки Алена Бромберг и Нина Шестеренкина. Они тянули веревку и вместе с ней приближались к бугру. Зрители встретили их аплодисментами.

Акция успешно развивалась, вернее, вытягивалась в течение полутора часов. Фотографы соединяли свои усилия с концептуалистами. Хорошо работали Олежа Охотников и его датчанка. Пара уже месяца ждала от Советского Союза разрешения на

бракосочетание. В случае благосклонности гиганта намечалось еще одно концептуальное действие в одном из соответствующих дворцов столицы. Многим наш брак с Нели кажется противоестественным, говорил Олежа, а между тем исторически Архангельск гораздо ближе Копенгагену, чем, скажем, Ростову-на-Дону. Ганза, господа, северное мореходство...

Это я отдал Нели другу Олехе, хвалился Венечка Пробкин. И очень рад, что они счастливы. Счастливый друг — что может быть прекраснее? Умение поделиться с другом — что может быть важнее? Последнюю рубашку отдать не хитрость, девушку-загранблондинку или «Мерседес-турбодизель» — сложнее! Невероятные нравственные изменения произошли в душе московского полужулика с тех пор, как он примкнул к «Изюму». Ведь не секрет, что иные фотографии смотрели на него косо, кое-кто даже задавался вопросом — не «фишкина» ли это подсадная утка? Даже и эти скептики ахнули, когда Пробкин поехал в Грузию на своем бесценном «Мерсе», а вернулся оттуда на тарахтящем «Запорожце». Продав, оказывается, лимузин, а из вырученных денег выделил нуждающимся друзьям — кому по тыще, кому по полтыщи.

Нуждающихся, надо сказать, становилось все больше. Клезмцов требовал предательств в обмен на гонорары. Всем на удивление, «изюмовцы» такой обмен полагали для себя невыгодным. Беспрецедентный случай в истории творческих союзов СССР: кампания идет который месяц, а никто до сих пор не обкакался. Андрюша, правда, Древесо совершил сомнительный подвиг в космосе, но ведь не заложил же все же никого и даже не расплевался...

Вытягивание веревки продолжалось. На бугре среди зрителей играли два флейтиста. Шуз Жеребятников грелся четвертинкой из рукава. Перформанс был ему не очень-то по душе. Я понимаю, говорил он, если бы это дело завершилось всеобщей «греблей-с-пляской», но, поскольку этого не намечается, осуждаю как декадентщину. Хочешь хлебнуть, Макс?

Огородниковы тоже присутствовали. Акция в Старой Рузе оказалась для Насти хорошим предлогом, чтобы вытащить Макса на люди, на вольный воздух. После адреналинового шквала на 86-м километре Симферопольского шоссе Огородников никак не мог прийти в себя. По несколько раз в день

его охватывало то, что он стал называть «элементарными агониями», т.е. приступ «пустот», головокружений и тошноты. В промежутках между ними он предпочитал сидеть в кресле и тупо смотреть все подряд телевизионные программы. Его потрясала мысль, что на его жизнь совершено покушение... или имитация покушения?... может быть, все-таки покушение?... может быть, просто клюнул носом тот шоферюга?... и все-таки ошеломляет присутствие в близлежащем пространстве отряда могущественной власти, озабоченного именно Максом Огородниковым, именно идеей искоренения его личности. С какого хера они все-таки сорвались? На артистическую дурость звереть с такою силой? Откуда вообще они такие взялись с претензией на полную русскую власть? Разве Русь раньше не терпела скоморохов?

Третьего дня Харрисон Росборн добавил пищи для таких размышлений. «Источники» шушукуются, что секретарь ЦК Жериленко предлагает в отношении «Изюма» и «Нового фокуса» какие-то определенные акции. «Источники» шушукуются в ночи, эдакие бахчисарайские фонтаны. Неограниченные диктаторы, соль русской земли, хозяева самого большого в истории склада взрывчатки, на тайном толковище решают дело одной богемной компании. Скажите, Харрисон, презираете Россию?

Росборн с трубкой. Оплот человечества — англо-шотландское просвещение. Прежде он, да, презирал Россию, но сейчас научился не переносить большевизм на народ. Это нелегко, мой друг. О, да, нелегко. Революция проводит колоссальную селекцию в общем-то нелучшего человеческого материала. Скажем так — человеческой дряни. Она всплывает. В любом народе дряни немало, но не на всех еще обрушилась теоретическая революция. Я говорю «теоретическая», потому что к жизни и к жизненному опыту она не имеет никакого отношения. Как тут не стать метафизиком?

К чертям все это дело, сказала Настя сегодня утром. Смотри, Ого, еще день прошел, а ты все еще не расстрелян. Поехали в Старую Рузу, подышим русским концептуализмом. Поехали. Макс даже камеру взял и, сидя на бугре, в том местечке русской земли, где на скоморохов сроду не охотились, сделал несколько снимков.

После полутора часов усилий веревка была полностью вытянута из рощи и теперь лежала основательной кучей у подножья бугра, как бы напрашиваясь в памятники большому событию отечественной культуры. Хотели было уже открыть шампанское, но тут по краю поля проехали два газика-«козла» и тут же из-за рощи стала вытягиваться вторая, незапланированная часть перформанса — цепь дружинников. Жаль, пулемета нет, сказал Жеребятников, бутылками не отобьемся. Газики подъезжали с тыла. Операция была тактически продумана.

Из машин выпростались милиционеры и пара начальников в штатском. Всех попросим предъявить документы! Дружинники подходили, сияя идиотскими улыбками. А по какому праву, рывкнул Жеребятников. Молодежь покорно вытаскивала занюханные документки. У такого рода молодежи самые добротные советские ксивы почему-то очень быстро затаскиваются. А на каком основании, продолжал по старой лагерной привычке «качать права» Шуз. Капитан милиции улыбочиво пообещал: найдем, найдем основания. Да что вы, господин Жеребятников, как-то странно волнуетесь, сказал Васюша Штурмин — в правом глазу монокль. Ничего особенного не происходит, дело, ей-ей, вполне заурядное.

Граждане, громко объявил капитан, все задержаны до соответствующих распоряжений. Попрошу следовать за мной. Большая группа людей, похожая с птичьего полета на демонстрацию сторонников земельной реформы, двинулась через безобразное поле озимых. По дороге к поселковому клубу, то есть к месту задержания, дружинники перемешались с артистами, обменивались сигаретками. Любопытные задавались вопросы. А вы чего хотели веревкой-то сказать? Чтобы вся колхозная система удавилась? Или насчет советского рабства?

Едва разместились в клубе, как прикатило «соответствующее распоряжение» в лице Сканщина Владимира Гавриловича. Он стал с озабоченным видом бегать туда-сюда, от начальства к задержанным, хлопотливо выяснял мелкие неточности с пропиской, иногда, как своим, делал художникам большие глаза и разводил руками — что, мол, с деревенщины возьмешь! Огородников издали наблюдал своего «куратора», и вдруг пришло в голову, что вся эта история и тому не про-

ходит даром. Пропала недавняя комсомольская округлость. Не был бы чекистом, можно было бы подумать, что в глазах иной раз мелькают светлячки отчаяния...

Вскоре все были освобождены и отправились на электричку, усталые, но довольные: перформанс удался, лучше не закажешь! Устроило всех и объяснение, данное представителем местных властей. У нас здесь рядом желудочный курорт, приходится проявлять повышенную бдительность.

II

Буколическое настроение, увы, продержалось недолго. Еще до рассвета пронесся телефонный смерч. Ночью арестован Жеребятников, прошли обыски у Пробкина, Чавчавадзе, Штурмина, Цукера, Марксятникова, даже у умирающего Германа... Конфискованы экземпляры альбома как оригинальные, так и уже поступившие контрабандой из-за моря в роскошном издании «Фонтана». Конфискованы также все отснятые пленки, корреспонденция, книги, пишущие машинки и даже орудия производства — фотокамеры... Всем подвергшимся обыску вручены повестки на допрос в прокуратуру. Буквально разгромлена «охотниковщина», там даже отдирали обои. Олеху и его датчанку «фишки» увезли с собой, допрашивали три часа, потом отпустили, взяв подписку о невыезде. Позднее пришли новости из Тарту — там арестован профессор Юри Ури.

К Огородниковым не пришли, хотя под окном в ту ночь стояли две машины, а со стройки в окно светил сильный прожектор.

III

— Ведь ты же обещал, что не будет жертв! Ты называл себя политиком крупного масштаба!

— А ты в этом еще сомневаешься?

— Теперь, после арестов и обысков, сомневаюсь!

— Напрасно. Взгляни трезво. Жеребятников — настоящий враг, почти такого же калибра антисоветчик, как Ого-

родников. После его ареста Макс у деваться некуда, любой шаг ведет — к пропасти! Огородникову конец, и поделом — грязнейшее пятно в советской фотографии! Остальные... Ну что ж, открою тебе секрет... остальные у-це-ле-ют! Это согласовано мной, подчеркиваю *мной*, на уровне... ну, ты догадываешься. Тем, кто хочет нажить карьерный капитал за счет советской фотографии, придется утереться! Это не означает, однако, что «изюмовская» бражка выйдет сухой из воды. Придется отвечать перед коллегами, перед партией, перед народом!!! Не надо, не надо воды, я в порядке! Ишь ты, вообразили себя чистенькими, свободными художниками, мастурбируют на своей солидарности, на ложно понятом товариществе! Свободы сейчас нет! Нет нигде! Есть б-о-о-орьба-а-а!!!

— Ну нельзя же так! Ты губишь себя! Подумай о детях! Ну, вот возьми это и до дна! И вот эту таблетку, нет, две сразу!

.....

— Теперь тебе все ясно?

— Да. Есть только один невыясненный вопрос.

— Догадываюсь.

— Тогда что же?

— Ты все-таки... произнеси!

— Ну хорошо. У него срывается поездка в Бразилию.

— А ты думаешь, мы в Бразилию пошлем такого сомнительного героя?

— А ты хочешь, чтобы он в дерьме вывалился?

— Да!!!

— Я... умоляю тебя...

— Умоляешь? Это хорошо-о-о. Тогда только так.

— Как?

— Так, как ты не любишь.

— Нет! Я же предупреждала: так — никогда больше!

— Вот, вот...

IV

Святослав Герман сгорел, будто сухой лист. Последние несколько дней в Герценовском институте, оглушенный нарко-

тиками, он почти не приходил в себя. Однажды правая его рука упала с кровати и угодила в тазик с водой. Тогда сидящие вокруг постели увидели на его лице блаженную улыбку. Кисть руки играла с водой. Он был хорошим пловцом, и, может быть, ему представлялись (вспоминались? воображались?) часы молодого счастья на пляже.

Приехала из Баку его пожилая жена и взрослая дочь. Оказалось, что у первоклассного московского холостяка всю жизнь имелась бакинская семья, в лоне которой он время от времени отсиживался, а потом, возвращаясь в «свой круг», на вопросы, где был, отвечал таинственными улыбками. Жена настояла, чтобы тело было отправлено в Баку и похоронено там рядом с могилами прадеда, деда и отца Славы, русских кавказцев, инженера, юриста и врача.

Проститься к моргу Герценовского института пришло человек сто из «оставшейся», как тогда говорили, Москвы. В толпе было несколько заплаканных женских лиц. Вечная Славкина любовь Полина Штейн-Клезмцова не обнаружилась. Стоял бледный, прямой, словно гвардейский офицер из прошлого, «космический герой» Андрей Древесный. «Изюмовцы» явились все. Георгий Автандилович произнес трехминутную речь: гений... рыцарь... неблагодарная родина... Сквозь крохотное окошечко цинкового гроба Слава и в самом деле казался рыцарем — каменное лицо, полное мрака и спокойствия.

Побрели со двора больницы, никто не мог разговаривать. Только за воротами на Беговой Огородникова окликнули. Подошел Древесный. Макс, ты куда сейчас? Мы в Проявилкино, к Марксятниковым. Древесный как бы не замечал «эту альпинистку», как он называл Настю. Удачное совпадение, мне тоже в Проявилкино. Огородников слабо удивился. Тоже к Марксятниковым? Все как-то уж привыкли, что Древесный после полета не принимает участия в собраниях «Нового фокуса». Нет-нет, поспешил Древесный, у меня там комната. Снимаю. Врет, тихо сказала себе под нос Настя. Огородников вспомнил, что «космическому фотографу» выделили недавно в Проявилкино две комнаты с террасой. Снимки его печатались и в «Честном слове», и в «Комсомольском честном слове», и в «Московском честном слове». Дача в Проявилкино уже полагалась по чину.

Такси! Андрей Евгеньевич рванулся было. Да зачем же такси? Максим Петрович кивнул длинным носом. Ведь вот же моя тачка стоит. Андрей Евгеньевич весьма заметно отпрянул. Как, ты еще едешь? Настя грубо хохотнула. Древесный высокомерно на нее скопился: что это с вами? Огородников открыл обе двери. Все сели. Древесный за последнее время как-то странно стал оскаливаться, вдруг ни с того ни с сего показывать все зубы. Тебе сейчас поосторожнее надо быть за рулем, Огоша, бормотал он. Ты же знаешь, какое вокруг хулиганство, какие нравы, какая жестокость... В космосе было не так страшно, Андрей Евгеньевич? — медовым голосом спросила Настя. Древесный с яростью столкнул два кулака. Скажи своей «альпинистке», чтобы перестала меня провоцировать.

Они поехали, и сразу все успокоилось. В потоке вечернего часа пик никто на машину Огородникова не обращал внимания. Поток катил по Беговой, мимо Ваганьковского кладбища, где с интервалом в пятьдесят пять лет успокоились два лирических поводыря России — по улице 1905 года и по Большой Пресне, на баррикадах которой Москва когда-то дралась против Санкт-Петербурга, и далее по набережной, чтобы взять уже прямой разбег в сторону грешного поселка Прохилкино.

Сказать ли Андрею, зачем к Марксытниковым едем, думал Огородников. Нет, не скажу о пресс-конференции, еще подумает, что опять я его в дело втягиваю.

Пресс-конференция для свободной прессы была последней картой «Нового фокуса». После обысков и арестов руководство союза провело еще один раунд вызовов, склоняли к отречениям и покаяниям всех, и старых и молодых, за исключением Огородникова. Этого как бы оставили в покое, если, конечно, не считать телефонных звонков, вроде «завтра, сволочь, иди на Колпачный, визу проси, сваливай в Израиль», или «из дома, падла, не выходи, пришьем предателя родины», или — взволнованным женским голосом — «будьте любезны, мы, учителя Житомира и Жмеринки, обеспокоены — правда ли, что товарищ Огородников арестован как американский шпион?»... Все это уже как бы входило в рутину дня. Ну, вот, правда, недавно загорелся у дверей квартиры

разборный щиток, но это ведь могло произойти и без умысла, просто из-за плохо законченной аппаратуры.

Итак, пресс-конференция — это последняя попытка вытащить схваченных друзей, спасти отснятые пленки и копии альбома. Баш на баш. Или «они» еще больше озвереют, или нажмут на тормоза. Мировая пресса, по сути дела, единственное, с чем «они» хоть немного еще считаются.

Над западными рубежами Москвы стояло в этот час чудесное золотое небо. Древесный и Огородников одновременно вспомнили далекую весну, когда таким же вот золотым вечером покатали втроем со Славкой в Литву. Ты поедешь на похороны в Баку? — спросил Андрей. Максим почесал затылок, похожий на заброшенную копну соломы низкого качества. А ты? Андрей положил ладонь на костлявое плечо друга, как бы не замечая косого взгляда «альпинистки», вздохнул. Стыдно, суетно, но не могу. Славка простит. Завтра улетаю за границу. Куда? В Болгарию. Врет, еле слышно прошипела Настя, в Бразилию летит...

Над ними висел большой авиалайнер. Самолеты сейчас замечательно научились тормозить перед посадкой. Огромная дылда просто-напросто висит над шоссе в золотом небе.

— Я надеюсь, Макс, что мы с тобой и *там* все-таки будем иногда видаться, если, конечно, меня будут пускать, — вдруг сказал Древесный.

Огородникова вдруг передернула дрожь.

— Где это там?

— На Западе, — вдруг уточнил Древесный. — Где ты будешь жить? Наверное, в Нью-Йорке?

— Да почему же? — вдруг яростно изумился Огородников.

— Это лучший выход для тебя! — вдруг стремительно стал пояснять Древесный. — Уезжай, да поскорее! Говорю тебе как друг!

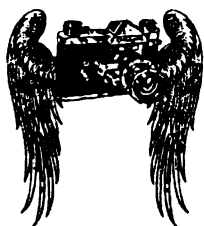
— Не смейте! Не лезьте! — вдруг закричала Настя.

— Не слушай честолюбивую дуру! — У Древесного вдруг стали как бы выкатываться глаза, обнаруживая порядочную желтизну белков. С заднего сиденья он навалился на спинку водительского кресла и вытянувшимся лицом как бы влез в зеркало обратного обзора. — Не тяни за собой ребят! Они

не виноваты! Ты начал все, бери огонь на себя! Вспомни 68-й год, я тогда действовал в одиночку, никого за собой не тянул! А ты всех тянешь! Думаешь, я не знаю, куда ты едешь сейчас?! Ты всех вынуждаешь на крайние действия, а если кто за тобой не пойдет, сразу же и будет ославлен на Западе предателем!

Вдруг золотой свет мгновенно померк. В кромешном мраке на Огородникова полетел огромный вращающийся, переливающийся электрический шар. Слева налетели два шара поменьше. «Конец!» — вскричал кто-то из них или все трое вместе. Звук отсутствовал. В тишине после удара произошел развал машины и выброс всех тел.





...ИЗЮМ

I

Его разбудил дождь. И сразу после пробуждения пробрало холодом до костей. Я просто в глине лежу, в раскисшей яме. Малейшее движение, и все хлопает вокруг и под одеждой. Хорошенькое дело — брошен в кювете! Щека лежала на скате кювета. Мимо глаза протекал ручеек, снижаясь к луже, в которой покоились ноги. В ручейке иной раз проплывали красные пятна. Кровь все еще сочится из разбитой рожи, но жить, кажется, можно.

Оскальзываясь, он стал выбираться из кювета. По мере подъема мир представлял перед ним во все более и более неприглядном виде. В веерах грязи проносились бесчисленные самосвалы. Мрачные тучи волокли отвисшие брюховища по фонарным столбам и по корявому контуру крыш гандонной фабрики поселка Факовка. Шире размах социалистического соревнования — из праздничных призывов на воротах. Алюминиевый, словно поднятый на попа самолет, стоял божок. Если бы в Симбирске была тогда такая фабрика, не расплодилось бы столько миллионов копий. Скромная резиновая халтура поселка Факовка корректирует историю.

Фабрика помогла ему сориентироваться в пространстве. Неподалеку от шоссе отходила боковая дорога, спуски и подъемы к Проявилкино. Сориентироваться во времени было труднее, но он все-таки побрел по боковой дороге вниз, туда, где, как сквозь

клочковатый туман, просвечивали клочки матери-природы — кусты и камни.

Было пустынно: ни людей, ни машин, о собаках и говорить нечего — перевелись, должно быть, славные твари в этой зоне. Он завершил асфальтовый спуск и начал асфальтовый подъем. Теперь вокруг стояли сосны. Дважды в аллеях дачного поселка появлялись фары сыскного автомобиля, но всякий раз растворялись в тумане. Нелегко им меня нащупать, думал он с легким злорадством.

И все-таки нащупали. Сверху спускалась отчетливая фигура. По мере приближения, уходя в туман, становилась расплывчатой, но все-таки приближалась. Да почему же они меня так неумолимо преследуют? Ей-ей, для такой неумолимости все-таки маловато оснований. Огородников разрыдался. Пытаясь закрыть лицо, набрал пригоршню слез. Вытащил из кармана свой газовый пистолет.

Сейчас нейрорепаративным патроном — в харю!

— Не надо, не надо, Макс, — послышался молодой голос. — Бросьте свою игрушку, в ней толку никакого нет!

Вплотную стоял теперь перед ним Вадим Раскладушкин, одной из отличительных черт которого являлось ловкое умение одеваться в соответствии с погодными условиями. Сейчас он был в английском плаще, вокруг шеи — клетчатый шарф, на ногах — резиновые сапожки. Сюда, он показал на узкий проход между двумя штакетными заборами.

Они двинулись. Скользко, муторно, глина, слизь. Можно, я вас за руку буду держать? — спросил Огородников. Рука, исполненная надежности и силы, немедленно была предложена. Вскоре заборы кончились, тропинка стала забирать вверх, на сосновую кручу. Вдруг дунуло по макушкам, слегка развеялось, и меж стволов обнаружилось уютное кладбище, тихий крестовый поход. Если уж задержаться, то где-нибудь здесь, подумал Огородников, но они пошли дальше.

Сразу за кладбищем начинались неприглядные постройки станции Фрезеровщики. Истинные трущобы. Полуразвалившиеся гаражи, забытые склады, скособоленные колья заборов. На одном из поворотов увидели вдоль бетонной трубы лозунг мазутом «Долой коммунистов!». В этих джунглях

они поворачивали немало, пока не подошли к кирпичному строению, похожему на старинный волжский амбар. Железная ржавая дверь, большой висячий замок. Уместней вряд ли сыщешь — на стене частично обвалившаяся звезда Осоавиахима, винтовка и противогаз. У Раскладушкина оказался ключ, он снял замок и отложил чеку.

— Проходите за мной, Макс, не смущайтесь. Это часовня Святого Николая.

Зажглась пыльная лампочка под сводчатым высоким потолком. Образа, как ни странно, все еще просвечивали сквозь штукатурку советских эпох. В одном месте обвалилось, и виден был Спаситель на ослике. Помещение было завалено поломанной канцелярской мебелью и всякой прочей жуткой всячиной, среди которой выделялось учебное пособие — распиленный вдоль пулемет «максим». Смущали здоровенные бутылки, наглухо закупоренные грязью пятилеток. Огородников поинтересовался, можно ли тут курить, в том смысле, что нет ли здесь легковоспламеняющихся материалов — бензина, керосина, моторного масла, напалма.

В ответ Вадим Раскладушкин сдул пыль с какой-то тумбочки и выщелучил из ящика коробку папирос «Северная Пальмира». Сейчас таких не курят, а ведь неплохой табак. Огородников затынулся. Здесь все в общем-то так или иначе относится к Тридцатым, не так ли?

— Тридцатые и Сороковые, насколько я понимаю, — задумчиво сказал Вадим Раскладушкин. — Вот, извольте, патефон. Пластинка, кажется, относится к тому периоду, что столь неуклюже назван Второй мировой войной.

Заскрипело и запело. «Вспомню я пехоту, и вторую роту, и тебя за то, что дал мне закурить...» Вадим провел Максима дальше внутрь часовни-склада. В углу неожиданно обнаружился хоть и продавленный, но удобный кожаный диван. Таким вещам сейчас цены нет. Пригоден для всего, даже для любовных утех.

— О да, — подтвердил Раскладушкин. — Собственно говоря, это как раз и есть заднее сиденье с лимузина «Паккард» образца 1936 года.

Он еще несколько раз надувал щеки, сдувал пыль с некоторых предметов вокруг дивана. В разных ракурсах и плос-

костях открылись некоторые лики, в том числе бесстрастные черты того, чье имя носил сей каменный мешок, покровителя моряков Святого Николая. Под ным Вадим Раскладушкин поставил негасимый, на батарееке, фонарик. Потом он, будто больного, усадил Огородникова на кожаном диване.

— Вот здесь, Макс, вам нужно отсидеться.

Что делать-то мне, взмолился Огородников, молиться, что ли?.. Он брал Раскладушкина за сильную белую руку. Вадим, не сразу уходи!

— Молитесь, если хотите, — сказал Раскладушкин и положил руку на голову Огородникову. — А не хотите, не молитесь. Увы, мне надо идти...

Огородникова снова стали продирать приступы рыданий. Ой, подожди, дружок, не оставляй! Видишь, огромное истечение влаги из глаз началось у меня. Бесповоротное излияние слезы.

— Это, пожалуй, хорошо, — сказал Раскладушкин. — Из всех человеческих влаг слеза, как говорят, ближе всего к корням души. То есть слеза, как иные тут считают, входит в состав мирового океана. Речь идет, по мнению определенных кругов, не об океане бурь и борьбы, а об океане греха и горя.

С этими словами он снял руку с головы Огородникова и удалился. Слышно было, как он закладывает снаружи щеку и навешивает замок. Огородников закрыл мокрое лицо ладонями и позволил слезе бурно катиться меж пальцев в сопровождении пузырьков, вызванных одновременным исходом слюны и сопли. Он молился с дикостью, присущей всякому человеку, получившему советское воспитание.

*Господь Создатель, Боже Правый,
и ты, Блаженный Николай,
привизу я, как встанут травы
над нашим пеплом и золой.*

*Ловил я мимолетный образ
и в этом, грешный, был ретив
и не заметил, что обобран
размахом рук, рычаньем ртов,*

полетом ног, сдвижением чресел.
Увидев все, слетел с рессор,
как будто с бочек Красной Пресни
скатился сбитый комиссар.

*Господи, правда ли, что в прохождении звездных путей
скрыт и проход в зазвездность?
Милостивый, поделись секретом темных пространств!
Место, которое мы здесь называем Россией,
ничто существенней, чем геологический шлак?*

*Детские вечера,
лепет сиреневых душ,
но принимать пора
таинств свирепых душ.*

Юности тихий мед,
запахи крымских слив...
время шагнуть вперед
в грозных теорий слив.

*Вечный плетячий писк,
краткий слоновий рев.
Время... монах Франциск
Тащится через ров.*

*Господи, просвети, где разместимся с друзьями в союзе
далеких душ?
Все эти комбинации, именуемые поколениями, правда ли не
случайны?
Господи милостивый, единый в трех образах Отца, Сына и
Духа Святого,
вспомни о малых своих среди материализма!
Не дай предстать, Милосерд, перед Твоим отсутствием!
Господи, чудо яви и посрами атеизм!*

II

К тому времени, когда Вадим Раскладушкин покинул часовню Святого Николая, в округе было уже темно. Неподалеку по стенам и низким крышам бараков проплывали фары сыскного автомобиля. Раскладушкин вышел на завиток шоссе и поднял руку. Сыскная тут же остановилась. Подбросишь до электрички, Володя? Об чем разговор, садись, Вадим!

Сканщин в машине был один. Он ехал медленно и сокрушенно мотал головой, явно хотелось человеку чем-то важным с попутчиком поделиться. Прямо беда, Вадим, всякую надежду уже потерял найти Огорода, а найти надо, живым или мертвым.

— Зачем он тебе, Володя? — поинтересовался Раскладушкин.

Хорошее любопытство какое-то светится в глазах у этого недюжинного юноши. Повестку, Вадим, мне надо ему вручить на допрос по делу Жеребятникова. Матерого врага недавно взяли.

Вот какая странная жестикуляция. Пальцы пианиста берут ваше ухо и перебирают его, будто это листок капусты. По телу проходит освежающий жар.

— Там у вас злодеяние готовится, Володя.

Разве? Какая-то все-таки формулировка, прости, Вадим, ненаучная. Там у нас акция проводится с одобрения вышестоящих «желез». Палец пианиста — вот как раз такие участвуют в выколачивании сонаты «Апассионаты», этой, по словам великого Ленина, «нечеловеческой музыки», лезет в глубину ушной раковины и извлекает на конце ногтя плотный клубень слежавшейся серы. Вот и «дорогая» вчера говорили: вам нужно прочищать сокровенные места, капитан! Согласен, пользу такого дела под вопрос не поставишь. По-новому задрожала слуховая мембрана, резко усилился процесс насыщения кислородом клеток гемоглобина, о которых немало было сказано хороших слов в средней школе.

— Ты лучше не ищи Огородникова, Володя, — посоветовал Раскладушкин. — Не участвуй в дурном деле.

Серная пробка под давлением свежего воздуха вылетает из левого уха даже без вмешательства музыкального пальца. Да ведь риск же огромный, Вадим! Из «желез» же вылечу! Больше того — из партии же почистят!

— Зато не попадешь в злодеи, Володя!

От хороших этих слов зазвенели ушные мембраны, как в пионерском детстве! Гарантируешь, Вадик? Ручаешься?

— Приехали, Вова! Пока и будь здоров!

III

Утро следующего дня оказалось кристально прозрачным и свежим. За ночь как-то сбалансировалось атмосферное давление, так что можно было, по мнению Раскладушкина, исключить большое число негативных сосудистых реакций, что ведут нередко к принятию дурацких партийных и правительственных решений.

Вадим ехал на велосипеде к Миусской площади и, чтобы скоротать время, читал вслух кое-что из молодых стихов Пастернака. «Пью горечь тубероз, небес осенних горечь»... «под ней проталины чернеют, и ветер криками изрыт, и чем случайней, тем вернее»... «я рос, меня, как Ганимеда, несли ненастья, сны несли»... А ведь неплохо, думал Раскладушкин, не так уж далеко от того, что именуется истиной.

В Союзе фотографов в этот час начался закрытый секретариат, который должен был подвести итог борьбе боевого отряда «объективов партии» за сплоченность своих рядов перед лицом очередной провокационной попытки спецслужб Запада. «Изюмовская» кампания всех уже основательно измочалила. Творческие показатели за истекший период значительно снизились. Ну, вот сегодня подведем итоги, и — в заслуженные, очень даже заслуженные загранкомандировки!

Нужно было вынести резолюцию, одобряющую арест «железами» ГФИ псевдофотографов Жеребятникова и Ури. Затем предполагалось одобрение текста статьи «Чужой» — о предательстве Огородникова. В тексте высказывалось пожелание общественности СФ СССР о привлечении предателя к

уголовной ответственности. Далее ожидалось условное исключение из союза всех «изюмовцев», как подавших заявления о самовыходе, так и колеблющихся. Из союза, как и из Партии, самому выйти нельзя, как нельзя одной отдельно взятой личности возвыситься над народом! Условный срок — один год. За это время здоровые элементы одумаются, гнилье — будет отсечено!

На секретариат приехал сам великий старец Блужжаежжин. В последнее время Клезмцов и Блужжаежжин очень сблизились. Поговаривали, что старец в лице Фотия готовит себе замену на посту генерального.

Едва расселись все вокруг стола, «милея друг ко другу людскою лаской», как отворилась дверь, и секретарша Ниночка, тараща глаза в исключительной значительности, сказала, что Фотия Фекловича спрашивает «тут один товарищ». Клезмцов ахнул, пёхнул, бухнул пухлым. Вы что не понимаете, Нина Сергеевна, что здесь происходит? Скажите, что меня нет! Ниночка хрустнула худенькими хрящиками. Нет, лгать не могу! В следующий момент она была деликатно, за талию, отстранена, и в кабинет вошел светлоглазый молодой человек.

— Лгать дурно! — сказал он с дружелюбной улыбкой и поклонился по-светски. — Я — Вадим Раскладушкин. Разрешите поприсутствовать?

Участники секретариата, ошеломленные, смотрели на незванного гостя. Он явно был лучше татарина. Все секретарские рожи будто поплыли в едином магнитном движении лицевых мышц, обращаясь в одно коллективно улыбающееся лицо. Как это здорово и неожиданно в своей простоте! Великолепно сказано, товарищ Раскладушкин! Лгать — это... как?

— Дурно, — подсказал Раскладушкин, уже усевшийся между Клезмцовым и Блужжаежжиным и поглаживающий старцево трясущееся коленце в сукне Первой Конной. — Кроме того, врать бессмысленно, потому что все известно.

— Bravo! — шамкнул Блужжаежжин. — Я всегда об этом догадывался, милостивые государи, то есть товарищи!

Тут вдруг застенчиво заалел порученец Куненко. Отчего же не «милостивые государи», судари мои? Что ж нам

от культурного наследия нашего отказываться, что ли! Все согласились с ним, даже такие товарищи, как Фарков и Фаднюк, на которых пробы негде было ставить. Блужжаежжин же, подняв ровесника Первого съезда РСДРП, то есть свой указательный палец, взялся поучать присутствующих, говоря, что даже такие кремлевские тайны, как шоколадные бонбонны и полусладкий «Киндзмареули», известны там, где надо, и потому Его высокоблагородие господин Раскладушкин совершенно правильно заметил — врать бессмысленно!

— Об этом позже, — сказал Вадим. — Пока что нужно ликвидировать всю эту мерзость, которую вы, товарищи — нет-нет, именно «товарищи», мне так проще, — заготовили против честных фотографов.

Все взволнованно загудели. Конечно же, и чем скорее, тем лучше! Всю эту гадость — в корзину! Корзину — в печку! Пепел — в коробку! Коробку — хоть в стенку крепостную, хоть в мировой океан! Ниночка, Симочка и Алевтина Макаровна не заставили себя дважды упрашивать, быстро собрали все подготовленное, включая и спонтанные «реплики из зала». Вскоре стол очистился, и все участники секретариата навалились на него в сторону Вадима Раскладушкина. Какие еще будут предложения?

— Закажите сюда обед, — сказал юноша.

И все пришли в окончательный восторг. Если бы все проблемы решались в этом ключе!

Вадим дождался закусок и графинчиков, чокнулся с растрепанным, потным и как бы слегка бесшабашным Фотиком, сделал себе бутерброд, подцепил огурчик и откланялся: есть еще дела в городе.

IV

В ГФИ тем временем шел допрос арестованного гражданина Школы-Университета-Завода Артемьевича Жеребятникова. Допрос проходил в соответствии с современными установками, то есть при отсутствии унижения человеческого достоин-

ства. В прежние времена из-под каждого ногтя негодяя торчало бы уже по иголке!

Стоял стул. На нем сидел мошага Жеребятников. Вокруг прогуливались генерал-майор Планшин, майоры Плюбышев и Крость. Протокол вел капитан Слязгин, заменивший капитана Сканщина. Последнему, вероятно, придется пройти курс соответствующего лечения, чтобы вернуться к созидательному труду.

Плюбышев и Крость одновременно заглядывали в надменное лицо пожилого хулигана. Сознавайтесь, Жеребятников, брали деньги у иностранца по имени Лерой? Жеребятников от напряжения часто мигал, будто глаза засорил. Был грех, сознавался он. В каком размере? — из-за спины надавливал генерал. Сто тысяч получил, а мог бы и больше. В какой валюте? В монгольских тугриках, гражданин генерал. Следовательно менялись местами, генерал выходил на фронтовую позицию, жег взглядом. А вот издеваться над собою мы вам не позволим! Эх, мотал головой писчий Слязгин, дали бы мне один на один поговорить с Шузом Артемьевичем! Брось, Коля, увещевал его подследственный, посмотри на себя и посмотри на меня. Ничего хорошего от нашего интима тебя не ждет. Молчать, гражданин Жеребятников!

В кабинет тут вошел Вадим Раскладушкин с двумя бутылками массандровского шампанского. В движениях сквозило немало доброго комизма. Все присутствующие, конечно, ахнули. Чекисты, конечно, ахнули про себя: тренировка помогла не ахнуть вслух, не выдать эмоций. Их жертва, человек мужского пола Жеребятников, ахнул громко. Вадька, да как ты сюда попал?

— Через седьмой подъезд, — исчерпывающе пояснил гость.

Генерал схватился за телефонную трубку. Ох, сейчас разъярюсь! Он чувствовал, что только лишь служебная ярость еще может спасти его от обаяния вошедшей персоны, да и то под вопросом. Пропускать в следственный блок посторонних? За такое разгильдяйство головы надо снимать! Третьего дня баба какая-то забрела по ошибке вместо «Детского мира», в прошлом году шапки меховые из приемной

председателя потырили... Хорошо, если свои ребята, а если НТС пробрался? Вы, так-вас-разтак-четырёхэтажным, на проходной. Кого это вы пропустили? Вадима Раскладушкина, был ответ. Под расстрел захотели? Кто ему пропуск подписал, ррры? Не валяйте дурака, товарищ генерал, сказали с вахты. Какой еще пропуск? Без всякого пропуска пропустили голубоглазого. Товарищ ведь пришел, чтобы... погодите, я записал, вот... чтобы «развеять недоразумения и предрассудки, мешающие нормальной жизни общества». Генерал, потрясенный, положил трубку. А шампанское-то зачем? — мягко спросил он Раскладушкина.

— Отметить освобождение Шуза, — пояснил Вадим и попросил принести стаканы.

Пришел Вова Сканшин со стаканами на всех. Оказывается, выбыл из больницы по собственному желанию. Освобождай столик, Жопа-Новый-Год, дружески сказал он Кольке Слязгину. Вдвоем они смахнули в корзину следственный хлам, расставили стаканы. Раскладушкин комично мучился с пробкой. Наконец — бум. Ура! Генерал, пока пьянка не началась, попросил телефонистку соединить его с Таллином. А они как раз на вас выходят, Валерьян Кузьмич. Вот, пожалуйста, цветущая Эстония, равная среди равных, полковник Сыро Колбасс. Товарисса Ури Юри освобозаэсса са оссусвием сосава прессупления. Правильное решение, Колбасс! Чем сейчас заняты? Пи-и-ем, товарис генерал! Мы — тоже!

Стаканы с пузырящейся влагой взлетели в радостном бессловесном тосте. Эх, хорошо, то ли думал, то ли говорил генерал. Вовремя пришел Вадим Раскладушкин. Ведь экая гадость готовилась, уму непостижимо! Не хватало мне только этого к моему прошлому. Один лишь только ведь Северный Кавказ вспомнишь, и мочи нет. Вот уж не думал, что шампанское так от этого помогает.

V

Раскладушкин хотел с ходу проскочить на своем велике под арку Спасской башни, да не тут-то было. Пара огромных мен-

тов обратала его за милую душу. Сегодня Кремль закрыт как для москвичей, так и для гостей столицы, а за попытку на велосипеде вообще схлопочешь. Ты кто таков?

— Да бросьте, ребята, в самом деле, — смеялся Вадим, будто от щекотки, в милицейских лапах. — Я ведь тут не по пустякам, на заседание Политбюро иду, а зовут меня Вадим Раскладушкин.

Менты тут же отпустили его и взяли под козырек. Добро пожаловать, Вадим, в историческую твердыню марксизма-ленинизма! В закрытом секторе Кремля, куда не ступала нога человека, с террасы, на которой стоят настоящие, а не туристические, гипсовые, Царь-пушка и Царь-колокол, четыре спецсолдата с недоумением смотрели на ведущего свой велосипед по торцовой мостовой Вадима Раскладушкина. Их инструкция гласила, что любое лицо, появившееся здесь без соответствующих предупреждений, должно быть немедленно застрелено. Практически данная инструкция, конечно, была пустым звуком, потому что через электронный блок даже птица не могла пролететь без соответствующих многоступенчатых распоряжений, однако вот ведь, оказывается, не зря инструкция-то писалась: гуляет себе паренек с великом, и гуляет прямо по направлению к «святая святых», к секретнейшему из секретных теремов, где как раз в данный момент заседает наша мудрость. Что делать? Не убивать же такого симпатичного?

— Привет, ребята, — сказал Раскладушкин. — Загорае-те? Пушки в сторону, мальчики, я иду на заседание Политбюро. Там сегодня решается судьба моих товарищей.

Дальнейшая инструкция уже касалась подразделения охраны сессий Политбюро. Спецсолдаты этого подразделения должны были немедленно уничтожить охрану здания в случае малейшего нарушения распорядка. Те в свою очередь подлежали уничтожению силами личной охраны Генерального, состоящей из трех независимых групп, следящих друг за другом. Каждая отдельная подлежала уничтожению двумя другими в случае каких-либо неточностей. К этой системе, разумеется, следует прибавить несколько электронных блоков, предотвращавших малейшие поползновения.

Вадим Раскладушкин на каждом посту убедительно объяснял цель своего прихода и продвигался все глубже. Наконец он оказался в последнем, широком и светлом, коридоре, ведущем прямо к заветным дверям. Четыре последних спецчеловека вышли из стен с короткими бронебойными автоматами израильского производства, готовясь прихлопнуть его, как муху. Впрочем, он и им объяснил цель визита.

Тут появилась самая уж распоследняя надежда, начальник личной охраны Генерального секретаря генерал-полковник Степанов, хромал, задыхался, с нечищеным пистолетом за пазухой. Что здесь происходит? Почему электроника провалилась? Эх, наверняка ЦРУ наслало на нас свой самолет-невидимку. Не дожить мне до пенсии. Отборные спецмолодцы, однако, улыбались: нет базы для паники, товарищ генерал-полковник, тут просто Вадим Раскладушкин на Политбюро идет, у него причина очень уважительная...

...Никогда эта дверь прежде не скрипела, а тут чуть пискнула. Члены Политбюро, кандидаты в члены, секретари и помощники, всего народу примерно полста, разом к дверям тут обернулись. Вошел скромный и милейший, одетый в стиле «ретро» — кардиган в оксфордскую клетку, брюки-гольф. Сел в углу, сделал жест — продолжайте, продолжайте, товарищи!

Брежнев смотрел на него с опаской. Хотя и был незваный гость явно лучше татарина, а все-таки походил на иностранца, а этой братии генсек никогда не понимал и смущался. Товарищ у нас тут по какому вопросу, скосил Брежнев глазное яблоко в сторону помощников. Те, потрясенные, молчали. Брежнев похолодел: мама родная, неужто по всей повестке?

— Не волнуйтесь, Леонид Ильич, я только лишь по вопросу «Скажи изюм!», — сказал Вадим Раскладушкин.

Генсек величаво зачмокал. Изюм? Что там у нас с изюмом? На удивление всему составу Политбюро, даже в этот ошеломляющий момент вождь притворился неплохо. Если бы знали товарищи, с каким трудом это ему давалось! Внутренне он трепыхался, тонул, выныривал и снова тонул. Неужели не обмануть Вадима? Хрущева обманул. Дубчека обманул. Картера поцелуем усыпил, даже Андропова ведь в конечном счете запутал... Какой-такой узум, что-то не припомню...

— Не нужно врать, Леонид Ильич, — сказал Раскладушкин и подошел вплотную к главному столу государства. По композиции это напомнило присутствующим захват кабинета министров в октябре 1917 года, но в отличие от Антонова-Овсеенко нынешний визитер был вооружен не «маузером», а улыбкой.

Брежнев застонал. Внутренняя борьба коржила черты его лица. Зрелище было — врагу не пожелаешь! Да ведь дело-то идеологическое, товарищ Раскладушкин, стонал генсек. Не может партия пойти на компромисс в идеологическом вопросе. Войдите в наше положение. Ведь счастья человечеству хотим...

— А от жестокостей нужно воздерживаться. — Вадим Раскладушкин стал обходить огромный стол, мягкими прикосновениями ободряя присутствующих к воздержанию. Затем он остановился возле секретаря ЦК товарища Тяжелых, заглянул тому в глаза и добавил: — Это ко всем относится.

По большевикам прошло рыданье. Раскрыта была самая крайняя тайна партии — истинная власть. Ведь именно товарищ Тяжелых с его старушечьим мордальончиком, а вовсе не генсеки Маленков, Хрущев, Брежнев и Андропов, произносил магическую фразу «есть мнение» в послесталинском ЦК.

— Есть мнение, — заговорил товарищ Тяжелых под взглядом Вадима Раскладушкина. — Закрыть дело фотоальбома «Скажи изюм!». Поставить перед очередной сессией Верховного Совета вопрос об отделении искусства от государства. Пока все.

Брежнев, как всегда, на полсекунды опередил Андропова. Я за! Генерал-полковник Степанов вкатил в залу тележку с фруктовым мороженым. Как всегда, при зрелище поднятых рук у старика навернулась слеза умиления.

VI

Славянская чувствительность — неисправимая штука, сказал кто-то, склонный к обобщениям. И он прав, думал Огородников, стоя на пороге часовни Святого Николая, бывшего

склада Общества Содействия Армии, Aviации и Флоту, что на станции Фрезеровщики Киевской ж. д. Славянская чувствительность неискоренима, особенно если к ней примешивается североευропейский позитив или еще что-нибудь, впрочем, любое...

Замок упал сам по себе, и ржавая дверь открылась, не дожидаясь приглашений. Теперь перед Огородниковым под ярчайшими солнечными лучами лежала российская юдоль. Чудо из чудес — в конце проулка жалкий заборчик согнулся под тяжестью разбухшей во влажную пору сирени. Русский и, как всегда, негативный сентимент одолевал исплакавшегося Огородникова, но в то же время где-то поблизости саксофон Сте-на Гетца исполнял пьесу «Старый Стокгольм», что при всей необязательности все-таки соединяло русский негатив с запад-ным позитивом.

В конце проулка, в проеме между кабельной катушкой и опорой высоковольтной линии, появилась тоненькая фигурка. Она остановилась на мгновение, покачнулась, теряя равновесие, ухватилась за опору. Надо ей помочь, думал Огородников, но не мог двинуться навстречу. Настя тяжело пошла дальше. Она явно еще не научилась оперировать костылями. Культия ампутированной левой ноги, обтянутая ярко-синей штаниной, нелепо болталась, как бы пытаясь участвовать в процессе ходьбы. Он все стоял, не двигаясь, а она приближалась. Лицо ее то опускалось в поисках безопасной почвы и тогда искажалось страданием, то поднималось в сторону мужа и тогда заливалось радостью. Наконец руки их соединились. Ах, Огоша!

Они вошли под своды оскверненной ДОСААФом часовни и с детской радостью и жадностью предались любовным утехам на заднем диване лимузина «Паккард» выпуска 1936 года. Конечно, жаль твою левую, Настя, сказал он, я так ведь любил класть ее на свое правое плечо. Какой ты похабник и грешник, мой милый, сказала она. А ты, спросил он, разве не грешница? Признайся теперь, сколько раз мне изменяла? Она подсчитала. Не больше пяти. За последний год? Она кивнула. А раньше-то совсем не изменяла. Они забыли закрыть дверь, и в часовню время от времени заглядывали какие-то живот-

ные: то волк, то лиса, то олень... Известно ли тебе, что произошло с Древесным? — спросила она и тут же сообщила: весь искалечен, но улетел в Бразилию. От таких возможностей, говорит, не отказываются.

Он посмотрел на часы. Нам пора на Красную площадь. Такси сейчас не поймашь. Я понесу тебя на руках, любимая девушка.

VII

Сбор населения Советского Союза на Красной площади начался ровно в полдень. Весна в разгаре. Благоухают голубые ели вдоль крепостной стены. Венки, возложенные к усыпальницам героев, благоухают еще пуще. Словом, неприятный запах на площади почти не ощущается.

Народы подходили миллионами и поодиночке. Скептики, конечно, сомневались — хватит ли всем места. Оказалось — более чем достаточно. На уступах Мавзолея, например, без всякой давки разместилось население Советской Прибалтики. Молдавия вкупе с Каракалпакией облюбовали палисадник вокруг памятника Минину и Пожарскому.

Так размещались, втекая на площадь. Настроение было, ну не то чтобы праздничное, но и не сволочное. Никто никому не грубил. Не было никаких криков восторга или воплей раскаяния. Не для этого собрались, в конце концов. Впрочем, как говорится, нет правил без исключения. На Лобном месте билось в муках совести одинокое тело пилота-перехватчика, сбившего своей зверской ракетой международный пассажирский самолет. Разумеется, никто не собирался его казнить, но и на помощь, надо признаться, никто не спешил. Попросту мало кто обращал внимание, потому что товарищ «выступал не по делу».

Продолжали стекаться. Корпус гбэз в этот день ни за кем не следил. Все его миллионы стеклись на площадь в числе других и попросту расположились. Это вовсе не значит, что жизнь в Стране Советов прекратилась. Население даже не заметило перерыва в работе своих любимых органов и «желез», ибо весь этот всенародный сбор был всего лишь мгновенной задерж-

кой дыхания. То же самое относится и к другим важным гос-и идеоинституциям страны.

Упомянутое уже Политбюро, конечно, оказалось тут всего лишь пригоршней капель в человеческом море. Вторая по численности, после гэбэ, структура, именуемая армией, явилась в походных порядках, но на площади разобралась по человеческим габаритам. Министерства, ведомства, плюгавый комсомол, все дети заводов и пашен, заключенные концлагерей и тюрем, паразиты пропаганды и агитации, деятели науки, литературы и искусства... Все промелькнули перед нами, все побывали тут, однако держава, повторяем, не пострадала, потому что сбор этот в масштабах истории был подобен просто мгновенному перехвату дыхания. Подобные перехваты, между прочим, нередко применяются в йоговской практике, они — пользительны и способствуют лучшему всасыванию кислорода слежавшимися и огрубелыми альвеолами.

При полном, тотальном двухсотсемидесятимиллионном стечении неловко как-то говорить о незначительных группах, однако весь характер этого сборища был таков, что люди не сливались в безликую массу, а, напротив, каждый довольно четко выделялся, и потому вовсе не зазорно будет здесь указать, что присутствовал весь советский дипкорпус, прибывший из-за рубежа, все загранкомандировочные, включая покорителей Афганистана, экипажи плавающих территорий, то есть кораблей. Национально активная эмиграция тоже присутствовала. Под занавес из своего узилища, столь отвратного самой сути его имени, пришел главный ссыльный страны.

Нечего и говорить, странноватым героям этого романа тоже нашлось место среди населения Советского Союза на Красной площади города-героя. Чудесным образом избежав своей непривлекательной судьбы, они к последней странице будто бы забыли о всех предшествующих. Забыты страхи и амбиции, угрызения совести и воспарения духа. Вместе со всеми они готовятся к мгновенному и серьезному акту. Читатель может по своему желанию либо вычестить их, либо приплюсовать к данным последней переписи населения.

В определенный час произошел сигнал сродни одиночному удару колокола. На крыше Исторического музея, между двумя башнями, появилась фигура Вадима Раскладушкина. Она была видна всем. Весело махнув собравшимся рукою, он установил фотоаппарат на треноге и обратился к площади со звучной просьбой:

— Скажите изюм!

Население Советского Союза просто и охотно пошло ему навстречу. Вспыхнул магний. Поднялся дым. Вот и все.

Сняв свитер через голову, он ощутил блаженное освобождение и блаженное, с шорохом, шелковистое за спиной разворачивание.

ноябрь 80 — декабрь 83

Ашш-Арбор, Саита-Мошика, Шугарбуш-Вэлли, Вашингтон Ди-Си.



ВЕРТЕПЩИК ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

— Рабинович, правда ли, что вы критиковали советскую систему?

— Я? Критиковал советскую систему? Да пошла бы она на... эта ваша советская система, чтобы я ее еще и критиковал !

Древний советский анекдот

Может быть, лучше все-таки себя не властью называть, а силой? Попросту злой советской силой, а, товарищи? Чтобы не было уже никакой путаницы с Библией, лады?

Василий Аксенов. «Скажи изюм»

... А широкие читательские круги, не знавшие подоплеку дела, были убеждены: КГБ прихлопнул «Метрополь», и поэтому пришлось издавать его за рубежом.

Каково же было мое удивление, когда года два спустя в одной из статей Феликс Кузнецов упомянул «Метрополь», утверждая, что они, секретариат московского отделения Союза писателей СССР, противостояли расправе. Подобных примеров беспринципности немало в нашей жизни и сегодня.

Филипп Бобков, бывший начальник 5-го управления КГБ СССР. Из книги мемуаров «КГБ и власть». М., 1995

Для начала не о В.П.Аксенове, а об А.П.Чехове.

Не потому, что оба они получили медицинское образование.

Не потому, что пьесы «Чайка» и «Цапля» покойный французский режиссер Антуан Витез объединил в одном спектакле.

А потому, что у Чехова есть рассказ про веселого пьянчужку Митю, который получил известность и его «пропечатали» в газетах за то, что он попал под извозчика.

В известном смысле вся дружная компания участников альманаха «Метрополь», где несомненным лидером был В.П.Аксенов, попала под советского извозчика, который, вдобавок, огрел отдельных представителей этой компании строгим кнутом.

Сукин сын извозчик ехал себе тихонько по обледенелой, слабоосвещенной, нечищенной мостовой, лениво погоняя злобную лошаденку по имени Власть, а тут на пути — неосторожные литературные пешеходы. Налицо — дорожно-транспортное происшествие.

И гордиться этим решительно глупо. Гордиться вообще глупо.

Вот почему я вынужден заранее просить прощения у читателей за то, что несколько раз вверну в свой текст словосочетание «ИСТОРИЯ С «МЕТРОПОЛЕМ».

Ведь, казалось бы, история эта выедена до конца, как яйцо. По этому поводу неоднократно высказывались участники ее, как с той, так и с другой стороны, включая и упомянутого генералом Бобковым главного супостата «Метрополя» Феликса Феодосьевича Кузнецова, тогдашнего первого секретаря Московской писательской организации, а ныне почтенного члена-корреспондента РАН и директора ИМЛИ им. А.И.Горького.

Поэтому предъявляю сухую академическую справку.

МЕТРОПОЛЬ, лит. альм., Москва, 1979. Составители — В.Аксенов, А.Битов, Виктор Ерофеев, Ф.Искандер и Е.Попов — предложили СП СССР напечатать этот альм. без вмешательства цензуры. Когда предложение было отклонено и намеченная 23.1.1979 в одном из моск. кафе презентация не состоялась под давлением властей, изготовленный в 8-ми (легкая ошибка — 12-ти. — *Е.П.*) экз. альм, передали в САМИЗДАТ. Фотомеханическое репринтное изд. было выпущено изд-вом «Ардис» г. Анн Арбор США (763 стр.). Альм., его составители и авторы подверглись резкой критике

со стороны ведущих представителей СП, последовал ряд ограничительных мер, запрет публикаций, исключение из СП. В этой связи следует рассматривать выезд из СССР В.Аксенова в 1980. Перестройка привела к полной реабилитации всех авторов и самого альманаха. (...) 23 советских писателя (плюс американец Джон Апдайк, а также 3 художника — Д.Боровский, в те времена главный художник Театра на Таганке, А.Брусиловский и Б.Мессерер. — *Е.П.*) представили в альманах свои тексты, в осн. такие, которые уже раньше напрасно предлагались для публикации многим изд-вам. К наиболее известным авторам М. принадлежат В.Аксенов (нереалистическая драма), Юз Алешковский (три лагерные песни), Б.Ахмадулина (сюрреалистическая проза), А.Битов (четыре прозаических текста, не публиковавшихся с 1970–1971), А.Вознесенский (несколько стихотворений, уже публиковавшихся в СССР), («ТЬМАТЬМАТЬМАТЬ» не публиковалась. — *Е.П.*), В.Высоцкий (25 страниц стихов и текстов песен), Ф.Горенштейн (большая повесть), Ф.Искандер (две очень удачные сатиры), С.Липкин и его жена И. Лиснянская (несколько стихотворений), Евгений Попов (столь же короткие, сколь емкие трагикомические рассказы из сов. быта), Е.Рейн (22 стихотворения, свидетельствующие о его интересе к рус. истории, к религии), М.Розовский (поэтически-философские размышления), Генрих Сапгир (11 стихотворений, убеждающих в его мастерском владении формой). Физик В. Тростников представлен текстом, отражающим метафизическую неудовлетворенность интеллигенции 70-х гг. Альм. не обнаруживает критики сов. системы, которая могла бы послужить поводом для его запрещения. Правда, в формальном отношении он представляет собой прорыв за рамки того, что было принято в СССР, отчасти благодаря религиозной настроенности, отчасти из-за своего предисловия, где отмечается «муторная инерция», которая существует в журн. и ред., а в качестве противовеса предлагается «внекомплектная лит-ра».

Вольфганг КАЗАК, Лексикон русской литературы XX века. М. РИК «КУЛЬТУРА», 1996

Все в основном верно, несмотря на обратный перевод русских идиом. Уточню лишь, что «резкой критикой» являлись шаманские сборища больших и малых писательско-партийных-ГБ-шных начальников и истерическая кампания в печати под названием «ПОРНОГРАФИЯ ДУХА» (украденным у Андрея Вознесенского) с характерным «единодушным отпором», «сплачиванием рядов» и другой идеологической ерундой, каковая в нынешние времена может привидиться писателям и читателям, особенно молодым, лишь в глупом сне.

А «ряд ограничительных мер» заключался в многолетнем перекрывании кислорода профессиональным писателям, в слежке, подслушке, прямых угрозах и другой уголовщине, особенно в отношении В.Аксенова, С.Липкина и И.Лиснянской, которые в знак протеста против исключения из СП своих младших коллег (т.е. меня и Вик. Ерофеева) вернули свои членские билеты в писательский рай. Короче — последний крупный литературно-политический скандал в цепи скандалов канувшей тоталитарно-коммунистической эпохи, в ряду которых — травля Зощенко, Ахматовой, Платонова, Пастернака, Солженицына, дело Синявского и Даниэля, процесс Бродского, исключение из СП и принуждение к эмиграции «диссидентов и подписантов». Короче, попали под извозчика, как и многие другие из упомянутых писателей, которые хотели заниматься ТОЛЬКО ЛИТЕРАТУРОЙ и вопреки реалиям жизни какое-то время наивно верили (или притворялись, что верят), будто это возможно в СССР.

А сейчас — что? Ну что? Ну, хеппи-энд, что ли? Все участники альманаха являются ныне полноправными членами общества, официальный Союз писателей расползся, как тришкин кафтан, В.П.Аксенову вернули нагло отобранное гражданство страны СССР, которой больше не существует, Ахмадулина, Битов, Искандер, Лиснянская, Липкин, Рейн получили Государственные премии, Владимиру Высоцкому поставили памятник, Марк Розовский держит популярный театр «У Никитских ворот», Виктор Тростников стал религиозным философом, принужденный к эмиграции и возвратившийся в Россию Юрий Кублановский — одним из

крупных русских лирических поэтов, историк культуры Леонид Баткин издал несколько замечательных книг, сходил в «большую политику», но, кажется, в ней разочаровался, Виктора Ерофеева повадились хулить и бранить коллеги-критики, но без его имени не обходится ни одна статья о «новой литературе», «Метрополь» вышел шикарно оформленный в московском издательстве «Текст», об альманахе пишутся исследования, снимаются фильмы...

Однако... однако ВРЕМЯ ПРОШЛО, и все, включая самого юного автора альманаха ленинградца Петра Кожевникова постарели ровно на 20 лет. Иных уж нет (Б.Бахтина, В.Высоцкого, Ю.Карабчиевского, Г.Сапгира), иные далече (В.Аксенов и Ю.Алешковский — в США, Ф.Горенштейн и В.Ракитин — в Германии). ВРЕМЯ УШЛО, как вода уходит в песок, и все ТО, ЧТО БЫЛО, смыто теперь новым «бурным потоком», и возникли новые реалии, в которых мы теперь и живем. Водевиль под названием «Ты этого хотел, Жорж Данден, или За что боролись, на то и напоролись» опять с успехом идет на русской сцене. Нравится нам это или нет, но нынче властям до писателей нет решительно никакого дела.

Все смыто. Но остались два текста. Альманах «Метрополь» и роман «Скажи изюм», посылом для которого послужила ИСТОРИЯ С «МЕТРОПОЛЕМ».

И хотя Аксенов честно просил, чтобы читатели не охотились за прототипами, как за ведьмами, не высчитывали, как соотносятся с персонажами-фотографами Огородниковым, Древесным, Лионель, Пироговой, Германом, Охотниковым, Пробкиным и т.д. писатели-участники альманаха «Метрополь» — первые читатели романа, вышедшего порусски в том же «Ардисе» (1985) и тут же нелегально ввезенного в СССР, этому предложению не вняли. По Москве поползли слухи, что Аксенов «залудил» злобную карикатуру, обделал не только коммуняк, но и «своих». То, что — «и себя тоже», якобы «обделанных» не утешало.

Вот почему натуральная цель моего «послесловия» — свидетельствовать, хотя бы и через двадцать лет, что ИСТОРИЯ С «МЕТРОПОЛЕМ» не имеет, как нынче выражаются, ЭКСКЛЮЗИВНЫХ взаимоотношений с романом «Скажи изюм».

Ибо искусство и жизнь — две вещи несовместные, а может быть, и взаимоисключающие. Я, знающий всех участников «Метрополя», утверждаю, что «Скажи изюм» — всего лишь фантазия на «метропольские темы». А если мрачная, убийственная или сардоническая, то уж извините автора, такова его жизнь, такова наша жизнь, и требовать от художника какой-то там ОБЪЕКТИВНОСТИ может только полицейский или идеолог, что в данном контексте одно и то же.

Главный герой романа «знаменитый советский фотограф «новой волны» Максим Петрович Огородников, временами подозрительно смахивающий на знаменитого советского писателя «новой волны» Василия Павловича Аксенова, декларирует: «Фотография — это связь видимой реальности с астралом. Тайна эмульсии непостижима. Суть фотопроцесса скрыта в перемещении космических и астральных сил. Нам надо лишь по-детски радоваться этой, одной из малых тайн, приоткрытых нам Высшей Милостью, благоговейно предполагать за этой малой сонм великих, а мы объясняем фотографию какой-то механической дурью».

Поэтому в романе — не жизнь, не натура, не отражение, а нечто принципиально иное. Я догадался. Это — вертеп.

Вертеп не в смысле «Притон, скривище каких-либо дурных дел» (*В.И.Даль*), а «Нар. укр. кукольный т-р, получивший распространение в 17–19 вв. Куклы, укрепленные на проволоке внутри 2-ярусного ящика — В., приводились в движение в е р-тепщиком (разрядка моя. — *Е.П.*). Сцены на библейские сюжеты, сатирич. интермедии сопровождалась музыкой, осн. на нар. мотивах (опять разрядка моя. — *Е.П.*). *Большой Энциклопедический словарь, М. 1998.*

Куклы, или, если угодно воспользоваться терминологией знаменитого английского режиссера Гордона Крэга, «сверхмарионетки», — вот что такое персонажи «Изюма». Усы Генриха Сапгира приклеиваются на гладко выбритое лицо Юза Алешковского. Князь Чавчавадзе родился в Москве, а не на Кавказе, как Фазиль Искандер, или, к примеру, в Одессе, как Семен Липкин. Андрей Древесный в качестве фотографа-космонавта летит «для отмазки» на Венеру. Да разве ж такое мыслимо, граждане, и при чем здесь наконец ИСТОРИЯ С «МЕТРОПОЛЕМ»?

Более того, человек, хорошо осведомленный в культурной жизни официальной и неофициальной Москвы 60–80-х, непременно заметит, что куклам приданы определенные черты не только «метропольцев», но и вообще многих известных, а также «широко известных в узких кругах» личностей той эпохи. Я не говорю о Фотии Фекловиче Клезмцеве, первом секретаре Союза советских фотографов Российской Федерации. Сей персонаж «с улыбкой всемогущего подлеца» вечен, как дуб, и прозрачен, как продукт Баковского завода резиновых изделий. Или о «трешке любителей народной правды». Или в конце концов о «снайпере партии» Матвее Грабочее, о котором автор меланхолически сообщает (с фотографической точностью), что «в былые времена боевая его голова многим напоминала порядочный пенис». Я о настоящих ТВОРЦАХ и настоящих, со всеми их слабостями и недостатками, ЛЮДЯХ, которые всего лишь певцы, всего лишь поэты, всего лишь фотографы, всего лишь ХУДОЖНИКИ, а не «борцы за права человека» или народные герои из песни «Коммунисты схватили мальчишку». Многие из них еще живы, и я не стану разводить туры на колесах, намекая на WHO IS WHO и отбивая хлеб у грядущих литературоведов. Бог рассудит, «кто мы и откуда».

Я лучше вспомню фразу Резо Габриадзе, гения созданного им Театра марионеток, который как-то коротко объяснял зрителям, что не каждый человек может стать собственной куклой, а лишь значимый человек. Не значительный, а **ЗНАЧИМЫЙ**. И если в куклах вертепщика Василия Аксенова угадываются участники «Метрополя» или продажные «борцы за нравственность», то из этого следует — сии персоны суть **ЗНАКИ**, вне зависимости от их подлости или благородства. А нравственность тут не требуется искать, потому что, увы, нравственно только само искусство, любое искусство, и никогда — его творцы, любые творцы. И если кто не верит моим словам, то пусть почитает мемуары великих прошлого века или поговорит на эту тему с женой любого нашего знатного современника, предпочтительно — бывшей. Аксенов не злобствует и не жалеет. Аксенов — внутри процесса. Аксенов — писатель, и его дело писать, **НАПРИМЕР**, такую фразу, которую никто, кроме него, не способен написать: «Он

говорил тоном обиженной бабы, у которой тесто убежало, и сам был похож одновременно и на бабу, и на тесто».

И еще. Василий Аксенов традиционно считается «западником». Уже в самом начале перестройки известный журнал «советской сатиры» презрительно именовал его «штатником» и спустил на него традиционную свору собак, организовав «гневную отповедь простых читателей эмигранту и отщепенцу». Я же полагаю, что он в своем творчестве столь круто рванул из душного эзэсэзровского пространства на Запад, что и сам не заметил, как проскочил круглое пространство и опять попал на Восток, в Россию.

Ведь все эти знаменитые аксеновские брутальности, непристойности, эротика плюс иррационализм ведут свое происхождение, скорее, от русского лубка, анекдота, частушки, чем от дедушки Фрейда, непристойного дяденьки Генри Миллера или ученого кузена Леви-Стросса.

*Я люблю этот город бязевый.
Пусть обрюзг он и пусть одрях.
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах, —*

цитирует есенинскую строчку персонаж «Звездного билета», книги, сделавшей Аксенова в начале 60-х бесспорным лидером «новой прозы». И не случайно в подзаголовке «Изюма» значится — РОМАН В МОСКОВСКИХ ТРАДИЦИЯХ.

Аксенова весело читать и весело слушать. Выпихнутый из страны «кумир поколения», регулярно выступая в начале 80-х по «Голосу Америки», обращался к землякам, очумевшим от «зрелого социализма» или как там все это называлось, с уважительным «господа».

Это обращение, ставшее ныне расхожим до пошлости, и тогда воспринималось некоторыми как некая ироническая вычурность. Я же полагаю, что это было подлинной сутью его отношения к НАРОДУ, тому самому народу, именем которого вершились и вершатся мерзости и убийства, к народу, о котором так любили потолковать советские идеологические бонзы, передавшие свою эстафету новым правителям страны или по крайней мере тем из них, для кого человеческая жизнь

по-прежнему — копейка, кадры по-прежнему решают все, а слова песни «жила бы страна родная» по-прежнему означают «даешь Империю» или «ты умри сегодня, а я — завтра».

Тоска по цивилизованной, богатой, веселой, а не традиционно угрюмой, нищей, забитой, изолированной России, желание вырваться из Ада, всепрощение, жажда свободы, покоя, требование вернуть достоинство и стране, и людям ее населяющим — вот угадываемый мною нерв творчества Василия Аксенова, делающий это творчество уникальным и обеспечивающий его произведениям сохранность во времени и пространстве.

Сбор всего «населения Советского Союза» на Красной площади не под руководством «партии и правительства», а во главе с Ангелом, имеющим облик разбитного московского паренька и земное имя Вадим Раскладушкин, коллективное «Скажи изюм», что это, если не желанная соборность?

Ну, а если — пьяные, если — глупые, если и не трусливые, но и не храбрые, если — усталые, злые, опустившиеся, то ведь, может, действительно «дух дышит где хочет». Может, действительно, не в Советском Союзе, так в России осуществится, наконец, эта Божья связь «видимой реальности с астралом», о чем смутно догадывались «метропольцы», та самая связь, которой столь жаждут персонажи прочитанного вами романа да и все мы, «население».

Евгений ПОПОВ
25 октября 1999 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЭПИГРАФ	3
ЖИЛТОВАРИЩЕСТВО	11
ОГО	27
ДРУЖБА	65
БЕРЛИН	79
УИК-ЭНД	84
ОШИБОЧКИ	93
УИК-ЭНД-2	108
ГЛЯЦИОЛОГИЯ	122
БЕРЛИН-2	129
ПАРИЖ	163
СНЕГА	181
МОХНАТЫЙ	215
АТЛАНТИКА	239
САМБА	247
«РОСФОТО»	269
АХ, АРБАТ	291
ВЕРНИСАЖ	320
ПОЛУБРАТ	335
ЗАВЬЮЖИЛО	346
ЧИНГИЗ	371
ШОССЕ	381
ПЕРФОРМАНС	408
...ИЗЮМ	418
<i>Евгений Попов. ВЕРТЕПЩИК ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ ..</i>	<i>436</i>

Василий Аксенов

Скажи изюм

Редактор *Михаил Гуревич*
Художники *Александр Анно, Максим Горбатов*
Издательский редактор *Александр Перевозов*
Корректор *Татьяна Калинина*
Компьютерная верстка *Евгений Евсеев*

Издательство «Изографус»
109193, Москва, ул. Петра Романова, д. 19, строение 1
Тел./факс 277-75-75. E-mail: izografus@izograf.ru. Интернет: www.izograf.ru

Оптовая и розничная торговля:
115114, Москва, 3-й Павелецкий проезд, д. 9, стр. 1
Тел./факс 235-07-31, тел./факс 235-02-37. E-mail: izograf@izograf.ru

ООО «Издательство «Эксмо».
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5.
Интернет/Home page: www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail): info@eksmo.ru
Книга — почтой: Книжный клуб «Эксмо»
101000, Москва, а/я 333. E-mail: bookclub@eksmo.ru

Оптовая торговля:
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2.
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16.
Многоканальный тел. 411-50-74. E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76.
ООО «Медиа группа «Логос»

103051, Москва Цветной бульвар, 30, стр.2
Единая справочная служба: (095) 974-21-31. E-mail: mg1@logosgroup.ru
ООО «КИФ «ДАКС». 140005, М. О., г. Люберцы, ул. Красноармейская, д. 3а
Тел. 503-81-63, 796-0624. E-mail: kif_daks@mtu-net.ru

Книжные магазины издательства «Эксмо»:
Супермаркет «Книжная страна». Страстной бульвар, д. 8а. Тел. 783-47-96.
Москва, ул. Маршала Бирюзова, 17 (рядом с м. «Октябрьское Поле»). Тел. 194-97-86.
Москва, Пролетарский пр-т, 20 (м. «Кантемировская»). Тел. 325-47-29.
Москва, Комсомольский пр-т, 28 (в здании МДМ, м. «Фрунзенская»). Тел. 782-88-26.
Москва, ул. Сходненская, д. 52 (м. «Сходненская»). Тел. 492-97-85.
Москва, ул. Митинская, д. 48 (м. «Тушинская»). Тел. 751-70-54.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 09.09.2003.

Формат 84x108 ¹/32. Гарнитура «Таймс».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,52.

Тираж 5 000 экз. Зак. № 8307.

ISBN 5-94661-073-2



9 785946 610735

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в Тульской типографии.

300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.

ЧИТАЙТЕ КНИГИ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА

Затоваренная бочкотара

В давние времена, шестидесятые — семидесятые, люди до дыр зачитывали журнальные тетрадки с его новыми повестями и рассказами. Особенно популярна была «Затоваренная бочкотара» — фразы из нее становились крылатыми. Пусть и нынешний читатель откроет для себя эту мудрую и озорную повесть, откроет «Поиски жанра», «Пора, мой друг, пора», «Рандеву», «Свияжск». Ведь, по сути дела, Россия сегодня все та же...

Апельсины из Марокко

«Коллеги», «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», написанные Василием Аксеновым в шестидесятые (прошлого уже века!) годы, сделали его знаменитым. Время действия всех трех повестей — те же шестидесятые — многим сегодняшним читателям может показаться царством абсурда. К примеру, сюжет одной из них лихо закручен вокруг незаурядного для советской действительности события: лютой зимой в дальневосточный городок пришел груз экзотических апельсинов и стал центром для всей таежной и морской округи. Между тем герои всех трех повестей — веселые, непоседливые, славные молодые люди со всеми достоинствами и недостатками нынешних — ищут в море, в тайге, в сельской больнице, кто где, приложение своим силам, свободу, свежий воздух. То, чего так часто не хватает нам и сегодня.

Остров Крым

Знаменитый роман «Остров Крым» Василия Аксенова принес автору мировую известность. В основе фабулы невероятное допущение: как могла повернуться история, если бы Крым не был захвачен большевиками, а остался свободным и независимым. В романе много приключений, гротескных житейских ситуаций. Несмотря на фантастический сюжет, книга во многом оказалась провидческой.

Кесарево свечение

В новом романе Василия Аксенова «Кесарево свечение» действие — то вполне реалистическое, то донельзя фантастическое — стремительно переносится из нынешней России в Америку, на вымышленные австром Кукушкины острова, в Европу, снова в Россию и Америку. Главные герои — «новый русский» Слава Горелик, его возлюбленная Наташа и пожилой писатель Стас Ваксина, в котором легко угадывается автор.

Ожог

Роман Василия Аксенова «Ожог», донельзя напряженное действие которого разворачивается в Москве, Ленинграде, Крыму шестидесятых — семидесятых годов и «столице Колымского края» Магадане сороковых — пятидесятых, обжигает мрачной фантазмагорией советских реалий.

Книга выходит в авторской редакции, без купюр.

Московская сага

«Поколение зимы», «Война и тюрьма», «Тюрьма и мир» — эти три романа составляют трилогию Василия Аксенова «Московская сага». Их действие охватывает едва ли не самые страшные в нашей истории годы: с начала двадцатых до начала пятидесятых — борьба с троцкизмом, коллективизация, лагеря, война с фашизмом, послевоенные репрессии.

Вместе со страной семья Градовых, три поколения российских интеллигентов, проходит все круги этого ада сталинской эпохи.

Новый сладостный стиль

Один из последних романов Василия Аксенова. Главный герой книги театральный режиссер, актер и бард Александр Корбах, в котором угадываются черты Андрея Тарковского, Владимира Высоцкого и самого автора, в начале восьмидесятых годов изгнан из Советского Союза и вынужден скитаться по Америке, где на его долю выпадают обычные для эмигранта испытания — отсутствие языка, безденежье, поиски работы. Эмигрантская жизнь сталкивает его со многими людьми, возносит к успеху и бросает в бездну неудач, мотает по всему свету. Это книга о России и Америке, о переплетении человеческих судеб, о памяти поколений, о поисках самого себя, о происхождении человека — не от обезьяны, а от Бога. И еще это — книга о любви.







1503390

130.00



Люблю в Москве поднять самум,
друзьям устроить перекличку...
Say cheese, my friends! Скажи изюм!
Вниманье, вылетает птичка!

Один из самых известных романов
Василия Аксенова, озорная, с блеском
написанная хроника вымышленного
неподцензурного фотоальбома
«Скажи изюм», — не что иное,
как метафора. За нею может
угадываться реальная история
знаменитого литературного альманаха
«Метрополь», авторы которого
замахнулись на один
из краеугольных камней режима —
цензуру и заплатились за это.



ИЗОГРАФУС

ЭКСМО